



3

Василь Быков

ВАСИЛЬ
БЫКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



Василь Быков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



Василь Быков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

ПОВЕСТИ

ВОЛЧЬЯ СТАЯ
КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ
ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ
ОБЕЛИСК

Перевод с белорусского

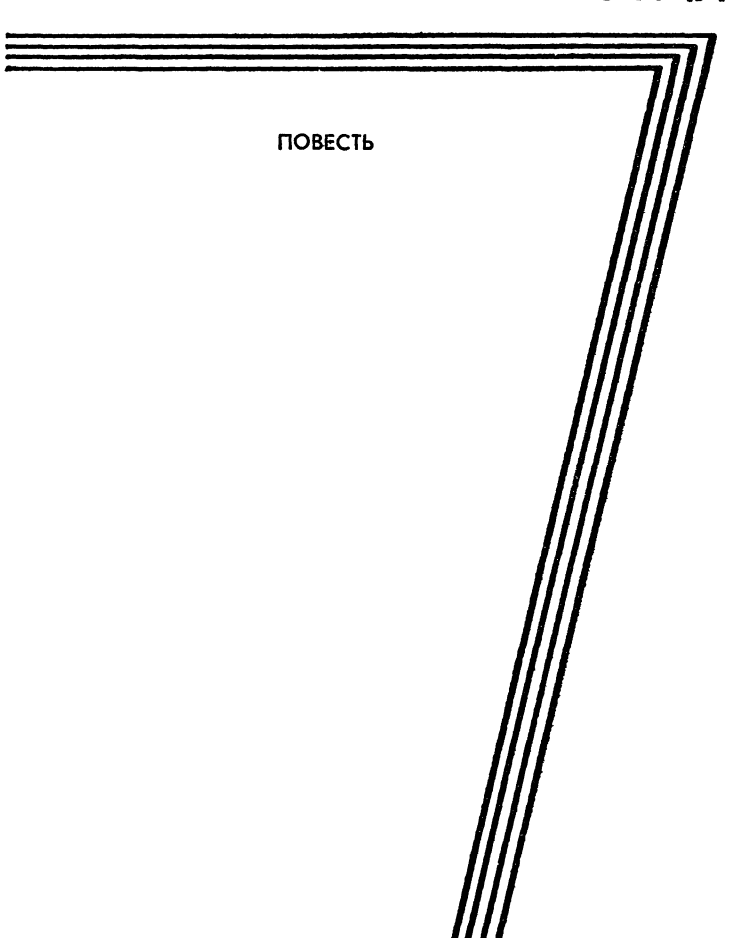
МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1985

84 Бел7
Б 95

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Б $\frac{4702120200-237}{078(02)-85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985

Волчья стая



ПОВЕСТЬ

1

С трудом протиснувшись в людском потоке через распахнутые железные ворота, Левчук очутился на просторной, запруженной автомобилями привокзальной площади. Здесь толпа пассажиров из только что пришедшего поезда рассыпалась в разных направлениях, и он замедлил свой и без того не слишком уверенный шаг. Он не знал, куда направиться дальше — по уходящей от вокзала улице в город или к двум желтым автобусам, поджидавшим пассажиров на выезде с площади. В нерешительности остановившись, опустил на горячий, в масляных пятнах асфальт неновый, с металлическими уголками чемоданчик и осмотрелся. Пожалуй, надо было спросить. В кармане у него лежал помятый конверт с адресом, но адрес он знал на память и теперь присматривался, к кому бы из прохожих обратиться.

В этот предвечерний час людей на площади было немало, но все проходили мимо с видом такой неотложной поспешности и такой занятости, что он долго и неуверенно вглядывался в их лица, прежде чем обратиться к такому же, наверно, как сам, немолодому человеку с газетой, которую тот развернул, отойдя от киоска.

— Скажите, пожалуйста, как попасть на улицу Космонавтов? Пешком или надо ехать автобусом?

Человек поднял от газеты не очень довольное, как Левчуку показалось, лицо и сквозь стекла очков строго посмотрел на него. Ответил не сразу: то ли вспоминал улицу, то ли присматривался к незнакомому, явно нездешнему человеку в сером примятом пиджаке и синей рубашке, несмотря на жару, застегнутой до воротника на все пуговицы. Под этим испытующим взглядом Левчук

пожалел, что не завязал дома галстук, который несколько лет без надобности висел в шкафу на специально для того вбитом гвоздике. Но он не любил да и не умел завязывать галстуки и оделся в дорогу так, как одевался дома по праздникам: в серый, почти еще новый костюм и первый раз надетую, хотя и давно уже купленную, сорочку из модного когда-то нейлона. Здесь, однако, все были одеты иначе — в легкие, с короткими рукавами тенниски или по случаю выходного, наверно, в белые рубашки с галстуками. Но не большая беда, решил он, сойдет и попроще — не хватало ему забот о своем внешнем виде...

— Космонавтов, Космонавтов... — повторил человек, вспоминая улицу, и оглянулся. — Вон садитесь в автобус. В семерку. Доедете до площади, там перейдете на другую сторону, где гастроном, и пересядете на одиннадцатый. Одиннадцатым проедете две остановки, потом спросите. Там пройти метров двести.

— Спасибо, — сказал Левчук, хотя и не очень запомнил этот непростой для него маршрут. Но он не хотел задерживать, видно, занятого своими делами человека и только спросил: — Это далеко? Наверно, километров пять будет?

— Каких пять? Километра два-три, не больше.

— Ну, три можно и пешком, — сказал он, обрадовавшись, что нужная ему улица оказалась ближе, чем ему показалось сначала.

Не спеша он пошел по тротуару, стараясь своим чемоданчиком не очень мешать прохожим. Шли по двое, по трое, а то и небольшими группками — молодые и постарше, все заметно торопясь и почему-то все навстречу ему, в сторону вокзала. Возле попавшегося ему на пути продуктового магазина народу было и еще больше, он взглянул в блестящие стекла витрины и удивился: у прилавка, словно пчелиный рой, гудела плотная толпа покупателей. Все это было похоже на приближение какого-то праздника или городского события, он прислушался к обрывкам торопливых разговоров рядом, но что-либо понять не смог и все шел, пока не увидел на огромном щите оранжевое слово «футбол». Подойдя ближе, прочитал объявление о намеченной на сегодня встрече двух футбольных команд и с некоторым удивлением понял причину оживления на городской улице.

Футболом он мало интересовался, даже по телевизору редко смотрел матчи, считая, что футбол может увлекать

ребятишек, молодежь да тех, кто в него играет, а для пожилых и здравомыслящих — занятие это малосерьезное, детская забава, игра.

Но горожане, наверно, относились к этой игре иначе, и теперь по улице трудно было пройти. Чем меньше времени оставалось до начала матча, тем заметнее торопились люди. Переполненные автобусы едва ползли возле тротуаров, из незакрытых дверей гроздьями свисали пассажиры. Зато в обратном направлении большинство автобусов катило пустыми. Он ненадолго остановился на углу улицы и молча поудивлялся этой особенности городского быта.

Потом он долго и не спеша шел по тротуару. Чтобы не надоедать прохожим расспросами о дороге, посматривал на углы домов с названиями улиц, пока не увидел на стене одного из них синюю табличку с долгожданными словами «Ул. Космонавтов». Номера, однако, тут не было, он прошел к следующему зданию и убедился, что нужный дом еще далеко. И он пошел дальше, приглядываясь по дороге к жизни большого города, в котором никогда прежде не был и даже не предполагал быть, если бы не обрадовавшее его письмо племянника. Правда, кроме адреса, племянник ничего больше не сообщил, даже не разузнал, где и кем работает Виктор, что у него за семья. Но о чем мог разузнать студент-первокурсник, который случайно наткнулся на знакомую фамилию в газете и по его просьбе раздобыл в паспортном столе адрес. Вот теперь сам обо всем узнает — за этим ехал.

Прежде всего ему радостно было сознавать, что Виктору удалось пережить войну, после которой судьба, надо полагать, отнеслась к нему благосклоннее. Если живет на такой видной улице, то, наверное, не последний человек в городе, может, даже какой-либо начальник. В этом смысле самолюбие Левчука было удовлетворено, он чувствовал, что тут ему почти повезло. Хотя он понимал, конечно, что достоинство человека не определяется только его профессией или должностью — важен еще ум, характер, а также его отношение к людям, которые в конце концов и решают, чего каждый стоит.

Присматриваясь к огромным, многоэтажным, из светлого кирпича фасадам со множеством балконов, заставленных у кого чем — лежаками, раскладушками, старыми стульями, легкими столиками и ящиками, разным домашним хламом, опутанным бельевыми веревками, — он старался представить себе его квартиру, тоже конечно, с

балконом где-нибудь на верхнем этаже дома. Он считал, что квартира тем лучше, чем выше она расположена — больше солнца и воздуха, а главное — далеко видать, если не до конца, то хотя бы до половины города. Лет шесть назад он гостил у сестры жены в Харькове, и там ему очень понравилось наблюдать по вечерам с балкона, хотя тот и был не очень высоко — на третьем этаже десятиэтажного дома.

Интересно все же, как его примут...

Сперва, конечно, он постучит в дверь... Не очень чтоб громко и настойчиво, не кулаком, а лучше кончиком пальца, как перед отъездом наставляла его жена, и, когда откроется дверь, отступит на шаг назад. Кепку, пожалуй, лучше снять раньше, может, еще в подъезде или на лестнице. Когда ему откроют, он сперва спросит, здесь ли живет тот, кто ему нужен. Хорошо, если бы открыл сам Виктор, наверно, он бы его узнал, хотя и прошло тридцать лет — время, за которое мог до неузнаваемости измениться любой. Но все равно, наверно, узнал бы. Он хорошо помнил его отца, а сын должен хоть чем-нибудь походить на отца. Если же откроет жена или кто из детей... Нет, пожалуй, дети еще малые. Хотя вполне могут открыть и дети. Если ребенку пять или шесть лет, почему бы не открыть дверь гостю. Тогда он спросит хозяина и назовет себя.

Тут, чувствовал он, наступит самое важное и самое трудное. Он уже знал, как это радостно и тревожно — встретить давнего своего знакомого. И воспоминание, и удивление, и даже какое-то чувство неловкости от того странного открытия, что ты знал и помнил вовсе не этого стоящего перед тобой незнакомого человека, а другого, навечно оставшегося в далеком твоем прошлом, воскресить которое не в состоянии никто, кроме твоей не мутнеющей с годами памяти... Потом его, наверно, пригласят в комнату и он переступит порог. Само собой, квартира у них хорошая — блестящий паркет, диваны, ковры, — не хуже, чем у многих теперь в городе. У порога он оставит свой чемоданчик и снимет ботинки. Обязательно надо не забыть снять ботинки, говорят, в городе теперь повелся такой обычай, чтобы обувь снимать у порога. Это дома он привык в кирзе или резине переться прямо от порога к столу, но здесь он не дома. Значит, перво-наперво снять ботинки. Носки у него новые, купленные перед поездкой в сельмаге за рубль шестьдесят шесть копеек, с носками конфуза не будет.

Потом пойдет разговор, конечно, разговор будет нелегкий. Сколько он ни думал, не мог представить себе, как и с чего они начнут разговор. Но там будет видно. Наверно, его пригласят за стол, и тогда он вернется за своим чемоданчиком, в котором всю дорогу тихонько булькает большая бутылка с заграничной наклейкой и дожидается своего часа кой-какой деревенский гостинец. Хотя и в городе теперь сытно, но кольцо деревенской колбасы, баночка меду да пара копченых лещей собственного улова, наверно, окажутся не лишними на хозяйском столе.

Задумавшись, он прошел дальше, чем следовало, и вместо седьмого десятка увидел на углу цифру восемьдесят восемь. Немного подосадовав на себя, повернул обратно, быстрым шагом миновал скверик, здание с огромной, на целый этаж вывеской «Парикмахерская» и увидел на углу номер семьдесят шесть. Минуту он в недоумении глядел на него, не в состоянии понять, куда же девался целый десяток домов, как услышал вежливый голосок рядом:

— Дядя, а какой вам дом надо?

Сзади на тротуаре стояли две девочки — одна, белоголовая, лет восьми, помахивая вокруг себя сеткой с пакетом молока, простодушно рассматривала его. Другая, черняненькая, ростом чуть выше подружки, в коротких мальчишечьих штанишках, вылизывала из бумажки мороженое, несколько сдержаннее наблюдая за ним.

— Мне — семьдесят восьмой. Не знаете, где такой?

— Семьдесят восьмой? Знаем. А какой корпус?

— Корпус?

О корпусе он слышал впервые, на корпус он просто не обратил внимания, запомнив лишь номера дома и квартиры. Какой еще может быть корпус?

Чтобы убедиться, что не ошибается, он опустил на тротуар тяжеловатый таки свой чемоданчик и достал из внутреннего кармана пиджака потертый конверт с понадобившимся теперь адресом. Действительно, после номера дома была еще буква К и цифра 3, а потом уже значился номер квартиры.

— Вот, кажется, три. Корпус три, так, кажется.

Девочки, разом заглянув в его бумажку, подтвердили, что корпус действительно третий, и сообщили, что они знают, где этот дом.

— Там Нелька-злая живет, это за грибком-песочни-

цей, — сказала черняменькая с мороженым. — Мы вам покажем.

С некоторой неловкостью он пошел следом за ними. Девочки обошли угол дома, за которым оказался огромный, не очень еще обжитой двор в окружении нескольких пятиэтажных домов, отделенных друг от друга вытоптанными площадками, полосами асфальта и рядами молодых, недавно посаженных деревцев. На скамейках возле подъездов судачили женщины, где-то между домами бухал волейбольный мяч, и по асфальту гоняли на велосипедах мальчишки. Всюду бегала, горланила, суетилась детвора. Девочки шли рядом, и меньшая спросила, заглядывая ему в лицо:

— Дядя, а почему у вас другой руки нет?

Подружка понимающе перебила ее тихим голосом:

— Ну что ты спрашиваешь, Ирка? Дядину руку на войне оторвало. Правда, дядя?

— Правда, правда. Догадливая ты, молодец.

— У нас во дворе живет дядя Коля, так у него только одна нога. Другую у него немцы оторвали. Он на маленькой машине ездит. Маленькая такая машинка, чуть больше мотоцикла.

— А моего дедушку фашисты на войне убили, — печально вздохнув, сообщила подружка.

— Они хотели уничтожить всех, но наши солдаты не дали. Правда, дядя?

— Правда, правда, — сказал он, с улыбкой слушая их лепет о том, что ему было так близко и знакомо. Меньшая тем временем, забежав вперед, повернулась к нему, продолжая раскручивать возле себя сетку с пакетом.

— Дядя, а у вас есть медали? У моего дедушки было шесть медалей.

— Шесть — это хорошо, — сказал он, избегая ответа на ее вопрос. — Значит, герой был твой дедушка.

— А вы? Вы тоже герой? — забавно жмурясь от солнца, допытывалась меньшая.

— Я? Да какой я герой! Я не герой... Так...

— Вон этот дом, — показала чернявая через зеленый ряд молодых липок на такой же, как и все тут, пятиэтажный дом из серого силикатного кирпича. — Третий корпус.

— Ну, спасибо, девчатки. Большое спасибо! — сказал он почти растроганно. Девочки обе разом охотно пропели свое п о ж а л у й с т а и побежали по дорожке в сторону, а

он, вдруг заволновавшись, замедлил шаг. Значит, уже приехал! Почему-то захотелось отодвинуть на какое-то после и этот дом, и предстоящую встречу с тем, о ком он думал, вспоминал, не забывал все эти долгие тридцать лет. Но он преодолел в себе это неуместное теперь малодушие — коль уж приехал, то надо было идти, хотя бы взглянуть одним глазом, поздороваться, убедиться, что не ошибся, что это именно тот, который столько для него значил.

Сначала он подошел к углу дома и сличил номер в бумажке с тем, что оранжевой краской был выведен на шершавой стене. Но девочки не ошиблись, действительно на стене значилось К-3, он спрятал письмо в карман, тщательно застегнул его на пуговицу, взял чемоданчик. Теперь надо было разыскать квартиру, что, пожалуй, тоже не просто в такой громадине на сотню или больше квартир.

Не очень решительно, оглядываясь по сторонам, он направился к первому подъезду, согнав по пути серую кошку, лениво разлегшуюся возле клумбы. Прежде чем открыть дверь, прочитал на ней сообщение о номере почтового индекса, о том, что, уходя из квартиры, следует выключать электроприборы, ознакомился с напечатанным на папиросной бумажке объявлением о собрании квартиросъемщиков по поводу благоустройства территории двора. Выше над дверью висела табличка с указанием подъезда и номерами квартир — от первой до двадцатой, следовательно, нужной ему квартиры здесь не было. Поняв это, он прошел вдоль дома, миновал подъезд номер два и свернул в третий.

На скамейке у самой двери сидели две древние, одетые, несмотря на жару, во все теплое старухи, одна даже в валенках, другая, державшая в руках палку, сосредоточенно водила ею по асфальту. Прервав свою тихую беседу, они внимательно пригляделись к нему, очевидно, ожидая вопроса. Но он ни о чем не спросил, он уже знал, где и что надо искать, и с некоторой неловкостью прошел мимо, вглядываясь в табличку над дверью. Кажется, на этот раз он не ошибся, нужная ему квартира была здесь. Почувствовав, как дрогнуло сердце в груди, он открыл ногой дверь и вошел в подъезд.

На первой площадке было четыре квартиры — от сороковой до сорок четвертой, и он не спеша пошел выше, миновал синий ящик с рядами занумерованных отделений, из которых торчали уголки газет. Присмотревшись

к номерам, он понял, что пятьдесят вторая должна быть этажом выше.

На очередной лестничной площадке пришлось перевести дыхание: с непривычки к крутому подъему одолела одышка. К тому же он не мог отделаться от странной, все время донимавшей его неловкости, словно он шел с обременительной просьбой или был виноват в чем-то. Конечно, как он ни думал, как ни успокаивал себя, а понимал, что волноваться еще придется. Наверно, было бы лучше эту встречу устроить несколькими годами раньше, да разве он что-нибудь знал о нем раньше?

Дверь пятьдесят второй оказалась на площадке справа, как и у всех тут, она была окрашена масляной краской, с аккуратным половичком у порога, номером сверху. Поставив у ног чемоданчик, он передохнул и не сразу, преодолевая в себе нерешительность, тихо постучал согнутым пальцем. Потом, выждав, постучал снова. Показалось, где-то раздались голоса, но, прислушавшись, он понял, что это звучало радио, и постучал еще. На этот его стук открылась дверь соседней квартиры.

— А вы позвоните, — сказала с порога женщина, торопливо вытирая передником руки. Пока он недоуменно осматривал дверь в поисках звонка, она переступила порог и сама нажала едва заметную на дверном косяке черную кнопку. За дверью трижды раздался пронзительный треск, но и после этого пятьдесят вторая не открылась.

— Значит, нет дома, — сказала женщина. — С утра тут малая бегала, да вот что-то не видно. Наверно, пошли куда в город.

Обескураженный неудачей, он устало прислонился к перилам. Как-то он не подумал раньше, что хозяев может не оказаться дома, что они могут куда-либо уехать. Впрочем, понятное дело. Разве он сам весь день сидит дома? Даже и теперь, когда вышел на пенсию.

Но, видно, делать тут было нечего — не ждать же бог знает сколько на этой площадке, — и он отправился вниз. Соседка перед тем, как закрыть свою дверь, крикнула сзади:

— Да футбол же сегодня! Как бы не на футболе они.

Может, и на футболе или еще где. Мало ли куда можно пойти в городе в погожий выходной день — в парк, кино, ресторан, театр; наверно, интересных мест тут хватает, не то что в деревне. Уж не надеялся ли он, дурак, что они тридцать лет будут сидеть дома и ждать, когда он заявится к ним в гости?

Он протопал вниз шесть крутоватых лестничных маршей и вышел из подъезда. Старухи при его появлении снова прервали свою беседу и снова с преувеличенным интересом уставились на него. Но в этот раз он не почувствовал прежней неловкости и остановился на краю дорожки, размышляя, как поступить дальше. Наверное, все-таки надо подождать. Тем более что после долгой ходьбы хотелось присесть, вытянуть ноги. Осмотревшись. он заметил в глубине двора в тени какого-то кирпичного строения свободную скамейку и медленным шагом утомленного человека направился к ней.

Поставив на скамейку чемоданчик, он сел и с наслаждением вытянул натруженные ноги. Тут он отругал себя за то, что послушал жену и надел новые ботинки — лучше бы ехать в старых, разношенных. Теперь неплохо было бы их совсем снять с ног, но, оглянувшись, он постеснялся: вокруг были люди, в песочнице под деревянным грибком играли дети. Невдалеке у такой же, как эта, постройки — гаража двое мужчин возились возле разобранного, с поднятым капотом «Москвича». Отсюда ему хорошо был виден подъезд со старухами и было удобно наблюдать за прохожими — казалось, он сразу узнает хозяина пятьдесят второй, как только тот появится у своего подъезда.

И он решил никуда не ходить, дожидаться тут. Сидеть было, в общем, покойно, не жарко в тени, можно было не торопясь наблюдать жизнь нового городского квартала, который он видел впервые и в котором ему многое нравилось. Правда, мысли его то и дело возвращались к его давнему прошлому, к тем двум партизанским дням, которые в конце концов и привели его на эту скамейку. Теперь ему не было надобности припоминать, напрягать свою немолодую уже память — все, что произошло тогда, помнилось до мельчайших подробностей, так, если бы это случилось вчера. Три десятка лет, минувших с тех пор, ничего не приглушили в его цепкой памяти, наверно, потому, что все пережитое им в те двое суток оказалось хотя и самым трудным, но и самым значительным в его жизни.

Множество раз он передумывал, вспоминал, переосмысливал события тех дней, каждый раз относясь к ним по-разному. Что-то вызывало в нем запоздалое чувство неловкости, даже обиды за себя тогдашнего, а что и составляло предмет его скромной человеческой гордости. Все-таки это была война, с которой не могло сравниться

ничего последующее в его жизни, а он был молод, здоров, и особенно не задумывался над смыслом своих поступков, которые в большинстве сводились лишь к одному — убить врага и самому увернуться от пули.

2

Тогда все шло само по себе — трудно, тревожно, голодно, они пятые сутки отбивались от наседавших карателей, вымотались до предела, и Левчуку очень хотелось спать. Но только он задремал под елкой, как кто-то его окликнул. Голос этот показался знакомым, и сон его с той минуты ослаб, готовый исчезнуть совсем. Но не исчез. Сон был такой неотвязный и с такой силой владел организмом, что Левчук не проснулся и продолжал лежать в зыбком состоянии между забытьем и явью. В полусонное его сознание то и дело врывалось ощущение тревожной лесной реальности — шума ветвей в кустарнике, какого-то разговора поодаль, звуков негромкой, хотя и недалекой, стрельбы, которая не затихала вокруг с первого дня блокады. Однако Левчук упорно обманывал себя, что ничего не слышит, и спал, ни за что на свете не желая проснуться. Ему надо было поспать хотя бы час, кажется, он впервые в жизни заимел такое право на сон, которого теперь, кроме немцев, никто не мог лишить его в этом лесу — ни старшина, ни ротный, ни даже сам командир отряда.

Левчук был ранен.

Ранило его под вечер на Долгой Гряде, вскоре после того, как рота отбила четвертую за день атаку и каратели, постаскивав с болота своих убитых и раненых, немного успокоились. Наверно, они ожидали какого-то приказа, а начальство их медлило. Нередко случается на войне, что командир, четыре атаки которого не принесли успеха, чувствует надобность подумать, прежде чем отдать команду на пятую. Уже несколько поднаторевший в военных делах Левчук догадался, сидя в своем неглубоком, перевитом корнями окопчике, что каратели выдохлись и для роты наступил какой-никакой перерыв. Выждав еще немного, он опустил на бруствер увесистый приклад своего «дегтяря» и достал из кармана недоеденную вчера горбушку. Настороженно поглядывая перед собой на неширокое лесное пространство с осокой, кустарником и неглубоким мшистым болотцем, он сжевал хлеб, несколько заморив червяка, и почувствовал, что хочет ку-

рить. Как на беду, курево кончилось, и он, прислушавшись, окликнул соседа, сидевшего невдалеке в таком же мелком, отрытом в песке окопчике, от которого в тихом вечернем воздухе уже потянуло душистым дымком махорки.

— Кисель! Кинь «бычка»!

Кисель, немного погодя, кинул, однако не очень удачно — надломленная ветка с зажатым в разломе «бычком» упала, не долетев до окопчика, и Левчук не без опаски потянулся за ней рукой. Но достать не смог и, высунувшись из окопчика по пояс, потянулся снова. В этот момент под рукой что-то стремительно щелкнуло, по лицу стегануло хвоей, сухим песком и недалеко за болотцем ахнул винтовочный выстрел. Бросив злополучный «бычок», Левчук рванулся назад в окопчик, не сразу почувствовав, как в рукаве потеплело, и он с удивлением увидел на плече в пиджаке небольшую дырочку от пули.

— Ах ты, холера!

Это было куда как скверно, что его ранило, да еще таким глупым образом. Но ранило, и, по-видимому, серьезно: кровь вскоре густо потекла по пальцам, в плече запекло, защипало. Опустившись в окопчик и выругавшись, Левчук кое-как обернул плечо несвежей ситцевой тряпкой, в которую заворачивал хлеб, и сжал зубы. Только со временем до его сознания стал доходить весь невеселый смысл его ранения, взяла злость на себя за неосторожность, а больше на тех, за болотцем. Испытывая все усиливающуюся боль в плече, он схватился за пулемет, чтобы хорошей очередью чесануть по лозняку, из которого его так вероломно подкараулили, да только сдавленно ойкнул. От прикосновения пулеметного приклада к плечу его пронизала такая боль, что Левчук сразу понял: отныне он не пулеметчик. Тогда, не высовываясь из окопа, он снова прокричал Киселю:

— Скажи ротному: ранило! Ранило меня, слышь?

Хорошо, что уже смеркалось, солнце после бесконечного знойного дня сползло с небосклона, болотце заволакивалось реденькой кисеей тумана, сквозь которую уже плохо было видать. Немцы так и не начали своей пятой атаки. Когда немного стемнело, на сосновый пригорок прибежал ротный Межевич.

— Что, ранило? — растянувшись рядом на сухой хвое, спросил он, вглядываясь в притуманенное болото, из которого тянуло пороховой вонью и повеяло вечерней прохладой.

— Да вот, в плечо.
— В правое?
— Ну.
— Ладно, что ж, — сказал ротный. — Дуй к Пайкину. Пулемет отдашь Киселю.
— Кому? Тоже нашли пулеметчика!..
В этом распоряжении ротного Левчук поначалу усмотрел что-то оскорбительное для себя: отдать исправный, ухоженный им пулемет Киселю, этому деревенскому дядьке, который как следует не освоился еще и с винтовкой, означало для Левчука сравняться с ним и во всем прочем. Но Левчук не хотел с ним равняться, пулеметчик была у них специальность особая, на которую подбирали лучших партизан, бывших красноармейцев. Правда, красноармейцев уже не осталось, и пулемет действительно вручить было некому. А впрочем, пусть ротный решает как знает, рассудил Левчук, не его это забота, теперь он раненый.
С подчеркнутым безразличием он отнес пулемет под соседнюю сосну Киселю, а сам налегке побрел в глубь леса к ручью. Там, в тылу этого обложенного карателями урочища, и размещалось хозяйство Верховца с Пайкиным, их отрядных «помощников смерти», как в шутку называли врачей партизаны. Отчасти они имели для того основание, так как Пайкин до войны работал зубным врачом, а Верховец вряд ли когда-нибудь вообще держал в руках бинт. Однако лучших врачей у них не нашлось, и эти два и лечили, и перевязывали, и даже, случалось, отрезали руки или ноги, как тому Крицкому, у которого приключилась гангрена. И ничего, говорят, живет где-то на хуторе, поправляется. Хотя и с одной ногой.
Возле ручья у шалаша санчасти уже сидело несколько человек раненых, Левчук дождался своей очереди, и доктор впотьмах, кое-как обтерев жгучей перекисью водорода его окровавленное плечо, туго стянул его самодельным холщовым бинтом.
— Суй руку за пазуху и носи. Ничего страшного. Через неделю будешь кувалдой махать.
Кому не известно, что хорошее слово доктора иногда лечит лучше лекарства. Левчук сразу почувствовал, как притихла боль в плече, и подумал, что, как только настанет утро, сразу вернется на Долгую Гряду в роту. А пока он поспит. Больше всего на свете он хотел спать и теперь заимел на это полное право...
После короткой невнятной тревоги он снова, кажется,

задремал под елью на ее жестких узловатых корнях, но скоро опять услыхал близкий топот, голоса, шорох повозки в кустах и какую-то суету рядом. Он узнал голос Пайкина, а также их нового начальника штаба и еще кого-то из знакомых, хотя со сна не мог понять кого.

— Не пойду я. Не пойду никуда...

Конечно, это была Клава Шорохина, отрядная радистка. Ее звонкий голос Левчук узнал бы за километр среди сотен других голосов, а сейчас он слышал рядом, в десяти шагах от него. Сон его сразу пропал, он проснулся, хотя и не мог еще раскрыть глаз, только повел под телогрейкой раненым плечом и затаил дыхание.

— Как это — не пойдешь? Как не пойдешь? Что, мы тебе тут больницу откроем? — гудел знакомый злой бас их нового начальника штаба, недавнего комроты-один. — Пайкин!

— Я тут, товарищ начштаба.

— Отправляйте! Сейчас же отправляйте вместе с Тихоновым! До Язминок как-нибудь доберутся, а там у Лесковца перебудет. В Первомайской.

— Не пойду! — опять послышалось из темноты безысходно-тоскливое в своей безнадежности возражение Клавы.

— Поймите, Шорохина, — мягче вступил в разговор Пайкин. — Вам ведь нельзя тут. Вы же сами сказали: пора.

— Ну и пусть!

— Убьют же к чертовой матери! — кажется, не на шутку разозлился начштаба. — На прорыв идем, на пузе ползти придется! Ты понимаешь это?

— Пусть убивают!

— Пусть убивают — вы слышали? Раньше надо было, чтобы убили!

Наступила неловкая пауза, слышно было, как тихонько всхлипнула Клава да где-то поодаль стегал коня ездовой: «Каб ты сдох, вовкарэзина!» По всей видимости, тылы куда-то собирались переезжать, но Левчук все еще не хотел просыпаться, прогонять сон и даже не раскрыл глаз — наоборот, затаился, придержал дыхание и слушал.

— Пайкин! — решительным тоном произнес начштаба. — Сажайте в повозку и отправляйте. С Левчуком отправляйте, если что, он досмотрит. Но где Левчук? Ты же говорил, тут?

— Тут был. Я перевязывал.

«Вот тебе и поспал!» — уныло подумал Левчук, все еще не шевелясь, будто надеясь, что, может, вместо него позовут другого.

— Левчук! А Левчук! Грибоед, где Левчук?

— Да тут где-то спал. Я видел, — предательски просипел поодаль знакомый голос ездового санчасти Грибоеда, и Левчук молча про себя выругался: он видел! Кто его просил видеть?

— Ищите Левчука! — распорядился начштаба. — Кладите на воз Тихонова. И через гать. Пока еще там дыру не заткнули. Левчук! — зло крикнул начальник штаба.

— Я! Ну что? — с раздражением, которое теперь он не счел нужным скрывать, отозвался Левчук и не спеша выбрался из-под обвисших до самой земли ветвей елки. Во мраке лесной ночи ни черта не было видно, но по неясным разрозненным звукам, приглушенным голосам партизан, какому-то суетному ночному оживлению он понял, что стойбище снималось с места. Из-под елок выезжали повозки, суетясь в темноте, возчики запрягали коней. Кто-то шевелился рядом, и по шороху плащ-палатки на рослой фигуре Левчук узнал начальника штаба.

— Левчук! Топкую гать знаешь?

— Ну знаю.

— Давай, Тихонова отвезешь! А то пропадет парень. В Первомайскую бригаду отвезешь. Через гать. Разведка вернулась, говорят, дыра. Можно еще проскочить.

— Ну вот еще! — с неприязнью сказал Левчук. — Чего я в Первомайской не видел! Я в роту пойду!

— Какую роту? Какую роту, если ты ранен?! Пайкин, куда он ранен?

— В плечо. Пулевое касательное.

— Ну вот, касательное. Так что давай на гать. Вот повозка под твое начало. И это... Клаву захватишь.

— Тоже в Первомайскую? — недовольно проворчал Левчук.

— Клаву? — Начштаба на секунду запнулся, казалось, он не имел определенного мнения, куда лучше отправить Клаву. И тогда из темноты тихо отозвался Пайкин:

— Клаву лучше бы в какую деревню. К бабе. К какой-нибудь опытной бабе.

— Бабе, бабе! — раздраженно подхватил Левчук и отвернулся, левой рукой сдвигая на ремне жесткую немецкую кобуру с парабеллумом, который надавил бедро. — Не хватало мне еще...

Что касалось Клавы, то он уже догадывался, в чем было дело, но он и во сне не видел таких нелепых забот — все пойдут на прорыв, а ему отбиваться неизвестно куда, в Первомайскую бригаду, да еще при такой компании — Грибоед, Клава, этот доходяга Тихонов... Левчук, как только пришел вечером с Долгой Гряды, обратил на него внимание — десантник отрешенно лежал возле шалаша санчасти, прикрытый какой-то дерюжкой, из-под которой как чурбан торчала обмотанная бумажными бинтами его голова. Глаза его тоже были забинтованы, он не шевелился и, казалось, не дышал даже, и Левчук с непонятной опаской прошел мимо, подумав, что, наверно, отфорсил десантничек. Да и эта Клава... Было время, когда Левчук посчитал бы за счастье проехаться с ней лишний километр по лесу, но не теперь. Теперь Клава его не интересовала.

Вот же чертово это ранение, сколько оно задало ему забот и, судя по всему, еще не меньше задаст впереди! Близкий свет эта Первомайская бригада, попробуй добраться до нее через фашистскую осаду, мало что разведка сказала: дыра! Еще неизвестно, какая и куда там дыра, поеживаясь от ночной сырости, сам с собою рассуждал Левчук. Лучше бы он не отдавал Киселю пулемет и совсем не появлялся в этой санчасти.

Левчук уже собрался было поругаться с начальством и вернуться в роту, наверное, ротный бы не прогнал и он бы снова стал воевать вместе с другими, чем переться неизвестно куда и зачем. Но когда он вознамерился заявить о том, заявлять уже было некому. Начштаба пошел прочь, в кустах прошуршала и стихла его плащ-палатка, а Пайкин еще раньше исчез в темноте. Рядом, постебывая хвостом по оглоблям, стояла лошадь, возле которой, прилаживая сбрую, топал ездовой Грибоед да, тихонько всхлипывая, ждала в стороне Клава, и Левчук, не обращая ни на кого внимания, выругался:

— Подсуропили, начальнички! Ну ладно же, трясцу вашей матери!

3

В сплошной темноте они ехали по лесу. Временами повозка едва не опрокидывалась на каких-то ямах и выворотнях, ветви кустарника нещадно скребли по телеге и стегали по седокам. Нагнув голову и оберегая под накинутой телогрейкой плечо, Левчук перестал уже и по-

нимать, куда они едут. Хорошо, что Грибоед, кажется, знал местность и не спрашивал дорогу, лошадь с немалым усилием тащила повозку — думалось, едут правильно. Еще не отойдя от своей злости, Левчук молчал, слушая, как погромыхивает вокруг и больше всего сзади; иногда где-то загоралась ракета, и ее далекий дрожащий отсвет долго мерцал на верхушках деревьев, подсвечивая и без того светловатое летнее небо.

Кое-как продравшись сквозь чащобу кустарника, они наконец выехали на лесную дорожку. Повозка пошла ровнее, и Левчук уселся удобнее, слегка потеснив неподвижно лежавшего рядом десантника. Похоже, тот спал или был без сознания, и Левчук тихонько потянул за ствол его автомат, который мешал в телеге и ему и раненому. Но только он потянул автомат сильнее, Тихонов залапал подле себя рукой и цепко ухватился ею за шейку приклада.

— Н-не... Не трожь...

«Чудак! — удивленно подумал Левчук, сделав вид, что автомат его не интересует. — И чего он за него держится?..»

По правде говоря, Левчук был не прочь завладеть этим автоматом, потому как чувствовал, что скоро тот ему очень понадобится. В этой дороге вряд ли можно было избежать встречи с немцами, а у него был лишь парабеллум с двумя пачками патронов в запасе, да у Грибоеда торчала за спиной винтовка. Возможно, еще был какой-нибудь браунинг у Клавы — в общем, очень немного для того, чтобы пробиться за двадцать пять километров в Первомайскую бригаду. Особенно если за гатью немцы, что, пожалуй, так и окажется. Не может того быть, чтобы, блокировав урочище, они оставили неприкрытой гать. Мало что докладывает разведка...

Подумав так, Левчук тронул Грибоеда за локоть:

— Стой!

Ездовой потянул вожжи, лошадь остановилась, они настороженно прислушались. Погромыхивало далеко сзади, поблизости было тихо. Утихло, казалось, и под Дубровлянами, где весь вечер и ночь особенно люто грохотала стрельба, рядом отчетливо слышно было усталое дыхание лошади да шум ночного ветра в кустарнике.

— Далеко гать?

— Ды близко уже, — сказал Грибоед, не поворачивая к нему головы. — Выгарину проедем, а там соснячок и гребля.

— Туда не поедем, — решил Левчук.

— Во як! А куды ж?

— Давай куда в сторону.

— Як жа в сторону? — подумав, несогласно сказал Грибоед, по-прежнему не оборачиваясь к Левчуку. — Там болото.

— Поедем через болото.

Грибоед недолго подумал и с очевидным нежеланием свернул лошадь с дороги. Но по бездорожью лошадь идти не хотела, тем более через заросли, и ездовой, что-то ворча про себя, слез с повозки и взял коня под уздцы. Левчук тоже соскочил на землю и, оберегая здоровой рукой раненую, полез через кустарник вперед.

Он сам не знал почему, но упрямо не хотел ехать на гать, если бы даже в безопасности этой дороги его убеждали семь разведок. Гать не могла быть не занятой немцами — это он чувствовал всей своей кожей. Правда, он не знал и другой дороги, где-то тут должно начаться болото, а как перебраться через него, с лошадью и телегой, он не имел представления и успокаивал себя тем, что там будет видно. Он уже был научен войной и знал, что многое становится ясным в свое время, на месте, что любой самый дальновидный план немногого стоит, что, как ни планируй, ни обдумывай, немцы или обстановка все переиначат. За время своей партизанской жизни он привык поступать, непосредственно исходя из обстановки, а не держаться, как слепой тына, какого-то плана, через который недолго оказаться в могилевской губернии и еще потащить за собой других.

Грибоед же, кажется, рассуждал иначе, и пока они продирались сквозь заросли, раздраженно покрикивал на лошадь, обзывая ее то холерой, то злыднем, то дергал за уздечку, то хлестал по бокам кнутовищем. Левчуку начала надоедать эта его показная злобивость, и он собрался прикрикнуть на ездового, как заросли кончились. Началась луговина, вокруг посветлело, прояснилось небо над головой; по росистой траве стлался холодный туман, тянуло запахом гнили и водорослей — впереди лежало болото.

Повозка остановилась, а Левчук прошел по невысокой траве, пока под сапогами не начало чавкать. Тогда он вслушался. Издали все еще доносились выстрелы, но вблизи было тихо; потонув до половины в тумане, на болоте дремали кусты ольшаника, где-то негромко скрипел коростель, другие птицы, наверно, все спали. Левчук еще

прошел немного вперед, под сапогами становилось все мягче, начался мшаник, ноги в нем завязли по щиколотку, в правом, с дырой, сапоге уже стало мокро. Но ехать тут, пожалуй, еще было можно, лошадь пройдет, а за ней пройдет и повозка.

— Эй, давай там! — негромко крикнул он в серый туманный сумрак.

Левчук ожидал, что Грибоед вскоре тронется и догонит его, но минуту спустя, ничего за собой не услышав, он рассердился. Видно, этот ездовой слишком много брал на себя, чтобы не слушаться старшего, каким тут все-таки был назначен Левчук. Немного выждав, он скорым шагом вернулся к опушке и застал повозку на том самом месте, где и оставил ее. Похоже, Грибоед и не думал двигаться и, ссутулясь в своем кургузом немецком мундирчике, стоял возле лошади.

— Ты что?

— А куды ж ехать?

— Как куды? За мной едь! Куда я иду, туда и езжай.

— В болото?

— Какое болото! Держит же.

— Тут пока держить, а далей багна. Ужо я ведаю.

Левчук готов был вскипеть — он ведает! Багна — значит, надо перебираться через багну, не сидеть же тут до рассвета — разве этот ездовой первый день на войне?

Но он знал, что Грибоед не первый день на войне, что он, может, не меньше других научен этой войной, и это сдерживало Левчука от того, чтобы обругать ездового. Он только удивился, услышав, как тот недовольно заворчал о гати.

— Сказали же, через гать треба. Так же сказали? А то — болото...

— На гать, говоришь, да? — взъярился Левчук. — Тебя сколько раз стреляли? Два раза стреляли? Ну так вот, на гати застрелят в третий. В третий уже хорошо стреляют. — И, смягчившись, добавил: — Что тебе немцы — дураки гать так оставить? Мало что начальник сказал. Надо и свою голову иметь.

Покорно выслушав его, Грибоед трудно вздохнул:

— Так што ж! Я не против. Но как только?

— Двигай за мной!

Повозка медленно и бесшумно покатилась по невысокой траве, к самому краю болота. Лошадь все чаще стала припадать то на переднюю, то на заднюю ногу, кото-

рые временами проваливались глубоко, и, чтобы вытащить их, надо было сильно опереться остальными, и тогда проваливались эти остальные. Она все время дергалась так, стараясь выбраться на более твердое, только твердого тут, наверное, оставалось все меньше. Клава тоже слезла с повозки и шла сзади, Грибоед, часто останавливаясь, брал лошадь за уздечку и вел точно по следам Левчука. Но вот пришло время, когда и Левчук остановился: начинались заросли осоки, трясина; над болотистым пространством ползло низкое клочье тумана, между которым тускло поблескивали частые окна стоячей воды.

— Ну вот и въехали! — выдохнул Грибоед и притих возле лошади, от которой клубами валил пар, лошадиные бока ходили ходуном в одышке. Задние ее ноги уже до колен утопли в болоте.

— Ничего, ничего! А ну обожди, пусть конь передохнет.

Левчук бросил в повозку телогрейку и, хватаясь здоровой рукой за низкорослые кусты ольшаника, решительно полез в болото, забирая несколько в сторону, наискосок, — так еще можно было держаться. Он уже не берег своих ног, которые до колен были мокрые, в сапогах хлюпало и чавкало, мешала раненая рука, и он держал ее на груди, засунув за пазуху. Очень скоро он провалился, едва не до пояса, как-то выбрался под ольховый куст, где вроде бы было потверже, — надо было прикинуть, в каком направлении двигаться дальше.

— Эй, давай сюда!

Повозка дернулась, лошадь выбросила по ходу переднюю ногу и сразу же провалилась по самый живот. Левчук, оглянувшись, подумал: вылезет — но не вылезла. Лошадь бросалась в стороны, билась, но выбраться из ямы не могла. Тогда он, булькая сапогами в жидкой грязи, вернулся и, пока Грибоед тянул коня за уздечку, уперся здоровым плечом в зад повозки. Минуту он толкал ее изо всех сил, намокнув по грудь, и повозка, както свалившись на бок, выползла из топи. Сзади, подобрав над белыми коленками юбку, перебралась через развороченное место Клава.

— О господи!

— Вот тебе и господи! — язвительно подхватил Левчук. — Закаляйся, понадобится.

Он снова отправился вперед, шаря в воде ногами. Но всюду было глубоко и зыбко, и он по пояс в воде с немалым усилием долго брел по трясине. Однако пригод-

ного пути тут, наверно, не было. Он прошел сотню шагов, но так и не достиг берега — всюду была топь, осока, травянистые кочки и широкие окна черной воды, над которыми курился сизый туман. Тогда он вернулся к повозке и ухватился рукой за оглоблю.

— А ну взяли!

Грибоед потянул за уздечку, лошадь послушно шагнула раз и другой, напрягла все свои силы, повозка немного сдвинулась с места и остановилась.

— Давай, давай!

Они вдвоем не на шутку впряглись вместе с лошадью: Левчук тянул за оглоблю, Грибоед с другой стороны — за гуж, лошадка билась, дергалась, все глубже погружаясь в черную, разбитую ногами жижу. Она старалась и смело шла, казалось, в самую прорву, куда ее вел ездовой, сверхлошадиным усилием волоча за собой телегу, колеса которой уже погрузились в трясину. Все они были по грудь в воде и в болотной жиже; по лицу и спине Левчука лился пот. Сзади, как могла, толкала телегу Клава.

Наверное, они пробарахтались бы до утра в этой прорве, а конца болота все не было. И тогда пришло время, когда все молча остановились. Чтобы окончательно не погрузиться в болото, они держались за оглобли и телегу; по хребет ушедшая в воду лошадь вытянула вперед голову, стараясь как-то дышать. Казалось, если бы не повозка сзади, то она бы поплыла по этой топи. Только куда было плыть?

Левчук впервые засомневался в правильности своего выбора и пожалел, что сунулся в это болото. Может, действительно лучше было ехать на гать — авось проскочили бы. А теперь ни взад ни вперед, хоть дожидайся рассвета. Или бросай тут повозку и неси на себе десантника. Хорошо еще, что Клава не упрекала, терпела все молча и даже в меру своих сил толкала повозку.

— Вот влезли так влезли! — сокрушенно сказал Левчук.

— Я же говорил! — живо подхватил Грибоед. — Влезли, як дурни якия. Як теперь вылезем?

— Может, с километр проехали, — тихо отозвалась сзади Клава. — О, боже, я уже не могу...

— Треба назад, — сказал ездовой. — А то и коня утопим, и этого. Да и сами. Тут окна есть — ого! По голову и еще останется.

Левчук растерянно вытирал рукавом лоб и молчал.

Он сам не знал, как теперь быть, куда податься: вперед или назад? Да и сил почти уже не осталось ни у лошади, ни у людей: все до конца вымотались. Действительно, чем так выкладываться, подумал Левчук, может, лучше попытаться проскочить через гать?

— Стойте! — немного отдышавшись, сказал он. — Я посмотрю.

Он снова полез в болото, стараясь как можно меньше плескаться в воде, и в одном месте так провалился в окне, что едва не скрылся весь, с головой. Все же коекак удержался, ухватившись за кочку, но кочка, все ниже оседая в воду, оказалась плохой опорой, и он понял, что долго на ней не удержится. Тогда он резко отпрянул в сторону, к травяным зарослям, где оказалось помельче, и побрел, как он думал, не поперек, а вдоль по болоту. Теперь он уже не думал о том, как одолеть это проклятое болото. Теперь бы не утопить лошадь и не утонуть самому. Действительно, тут начиналась, пожалуй, самая глубь, прогалы воды стали шире, меньше стало травы, лоза и ольшаник совсем исчезли. Тут уже кстати была бы лодка, а не лошадь с повозкой, и Левчук в который раз выругал себя за опрометчивость. Как нелепо все получилось, обеспокоенно думал он, наверно, придется выбираться тем же путем назад.

С этой еще окончательно не оформленной мыслью он начал пробираться к повозке, одиноко застывшей посреди болота с двумя фигурами возле. Они терпеливо дожидались его, но скоро должно было начаться утро, а утром им на голом болоте не место.

Но Левчук еще не дошел до них и ничего не придумал, как недалеко в ночи стремительным эхом прокатился по лесу выстрел. Через секунду ему ответил второй, дробным треском рассыпалась пулеметная очередь, глухо и важно ахнул миномет, и мина, звонко пропев в самой высоте неба, лопнула где-то в лесу. И тут началось — загрохотало, завизжало, заахало, удивительно, откуда что и взялось в этой сонной туманной ночи.

Они все замерли там, где стояли. Левчук, разинув от удивления рот, впился в ночь, стараясь что-то понять или увидеть в ней, но в затуманенном полумраке ничего не было видно. И тут он почти содрогнулся в торжествующей злой догадке.

— На гати, ага?

— На гати, — уныло подтвердил Грибоед.

И они стояли, раздавленные сознанием внезапной бе-

ды, обрушившейся на других, и почти почувствовав, как просто эта беда могла обрушиться на них, четверых. Но они вот избежали ее, а каково сейчас тем, кто попал под этот огонь? Слушая стрельбу, все думали: кто кого? Но тут, наверно, нечего было и думать: стреляли немцы, весь огонь шел с той, их стороны. Опять же и минометы — в отряде минометов не было. Значит, кто-то все-таки не удержался от соблазна проскочить по гати, понадеявшись на разведку, и теперь вот расплачивается. Теперь там невесело.

И Левчук, знобко ежась от стужи или от осознания своей неожиданной удачливости, с радостным озлоблением набросился на своих помощников:

— Ну вот, вашу мать! А вы — назад! А ну давай вперед! Изо всех сил вперед! Раз, два — взяли!

Прислушиваясь к стрельбе, они снова взялись толкать и тянуть повозку, стегать и понукать выбившуюся из сил лошаденку. Однако силы у них были уже не те, что вначале, да и повозку, наверно, засосало как следует. Напрасно помучившись, Левчук разогнулся. Перестрелка на гати все громыхала в ночной дали, и он, немного передохнув, снова полез в болото, забирая то влево, то вправо, широко шаря в воде ногами. Хорошо, что сапоги у него были кожаные, не кирзачи, намокнув в воде, они сели, плотно обтянув ноги, и не спадали, иначе бы он скоро остался босой.

Он решил прежде сам отыскать какой-нибудь путь к берегу, если только где не провалится с головой в прорву, а уж потом вывести за собой повозку. Теперь он перестал обращать внимание на глубину, все равно по шею был мокрый, и, хватаясь рукой за кочки, где шел, а где плыл, раздвигая грудью густую, вонючую топь. Слух его при этом все время ловил звуки боя на гати, который то затихал, то начинался снова, и было трудно понять, чья там берет верх. Может, наши сбили немецкий заслон, а может, заслон перестрелял партизан.

«Ну и дураки, — думал Левчук. — Зачем было переть на рожон, лучше уж так, по болоту. Если только там, за болотом, тоже не засели немцы...»

Удивительное дело, но теперь ему вовсе не казалось страшным болото, скорее наоборот: страшно было там, на дороге и гати, а болото не впервые уже укрывало его, спасало, теперь он просто любил болото. Только бы оно не оказалось бездонным и, конечно, не очень бескрайним.

Как-то неожиданно для себя он различил в тумане вершины кустарника и с радостью понял, что это берег. В самом деле, через каких-нибудь двадцать шагов болото кончилось, за неширокой полосой осоки виднелись кусты ольшаника, перед которыми расстилалась лужайка с прокосами свежей травы. Он не стал даже вылезать на сухое, живо повернул назад, в болото, и по пояс в воде побрел к повозке. В этот раз он едва не потерял ее, пройдя в тумане дальше, чем следовало, но услышал сзади тихое хлюпанье воды и вернулся. В полузатопленной телеге сидела Клава, наверно, спасала от воды десантника, Грибоед бултыхался возле коня, не давая тому совсем погрузиться в болото. Они молчаливо дожидались его.

— Вот что! — сказал Левчук, хватаясь за оглоблю. — Надо по отдельности. Распрягай лошадь, перевезем Тихонова, потом, может, повозку. Берег тут, недалеко...

4

Начинало светать, когда в белом, как молоко, тумане они выбрались наконец из болота. Потерявшего сознание Тихонова вывезли верхом, взвалив на мокрую спину лошади, которую вел под уздцы Левчук; Грибоед и Клава поддерживали раненого по сторонам. Ездовой, кроме того, тащил дугу и седелку, которые он не захотел бросить в болоте, где осталась затопленная их повозка. Но повозку они надеялись достать в какой-либо деревне — была бы лошадь да упряжь.

На берегу у них едва нашлось силы снять с лошади обмякшее тело десантника, они уложили его в прокосе на мокрую от тумана траву и сами попадали тут же. Подняв ногу, Левчук вылил из левого сапога жидкую грязь, из правого она вытекала сама через дырку. Грибоед летом ходил по-крестьянски босой, и теперь у него не было забот с обувью. Вынув из винтовки затвор, он продувал ее забитый грязью ствол. Рядом тихонько лежала Клава, и над всеми, низко опустив голову и лихорадочно дыша запавшими боками, стояла лошадь с мокрым хомутом на шее.

— Ну вот! А вы говорили! — с усталым удовлетворением выдохнул Левчук.

Одним ухом он ловил нечастые уже выстрелы с гати, а другим чутко прислушивался к обманчивой тишине этого болотного берега. Тут как раз начиналось самое

опасное, на каждом шагу им могли встретиться немцы. Сторожко поглядывая по сторонам, чтобы быть готовым к любой неожиданности, он левой рукой вынул из размякшей кожаной кобуры свой парабеллум, вытер его о полу пиджака. Две картонные пачки с патронами раскисли в воде, и он выбросил их на траву, ссыпав патроны в карман. Затем подобрал с земли автомат Тихонова. Десантник был без сознания и только бормотал что-то, пока они возились с ним на болоте, а теперь и вовсе затих. Жаль, что при автомате был всего один магазин, Левчук отомкнул его и взвесил в руке, но магазин, пожалуй, был полон. Чтобы убедиться в том, он хотел снять крышку, но передумал: становилось чертовски холодно. Мокрая одежда студила тело, сушиться же пока было негде, приходилось ждать, когда поднимется солнце. Хотя небо над лесом совсем прояснилось, но до восхода еще оставалось около получаса. И тогда на стылой сырой траве задвигался раненый.

— Пить... Пить!

— Что? Пить? Сейчас, сейчас, браток! Сейчас мы тебя напоим, — с готовностью отозвался Левчук. — Грибоед, а ну сходи, посмотри, может, ручей где.

Грибоед вставил в винтовку затвор и не спеша побрел в тумане по берегу, а Левчук перевел взгляд на Клаву, тихонько дрожавшую рядом. Мимолетное ощущение жалости к ней заставило его скинуть с плеча подмоченную его телогрейку.

— На, укройся. А то...

Клава укрылась и снова прилегла боком на травяном прокосе.

— Пить! — опять требовательно произнес десантник и зашевелился, будто испугался чего-то.

— Тихо, тихо. Сейчас принесет пить, — придержала его Клава.

— Клава? — по голосу узнал девушку раненый. — Клава, где мы?

— Да тут, за болотом. Лежи, лежи...

— Мы прорвались?.

— Почти да. Ты не беспокойся.

— Где доктор Пайкин?

— Пайкин?

— Зачем тебе Пайкин? — сказал Левчук. — Пайкина тут нет.

Тихонов помолчал и, будто заподозрив неладное, испуганно зашарил подле себя по траве.

— Автомат! Где мой автомат?

— Тут твой автомат. Куда денется, — сказал Левчук.

Но раненый требовательно протянул руку:

— Дай автомат.

— На, пожалуйста! Что только ты с ним будешь делать!

Слепо придвинув к себе оружие, десантник вроде успокоился, хотя этот его покой и оставался заметно напряженным, как перед новым рывком. И действительно, вскоре без всякой связи с предыдущим Тихонов глухо спросил:

— Я умру, да?

— Чего это ты умрешь? — нарочно грубовато удивился Левчук. — Вынесем, жить будешь.

— Куда... Куда вы меня несете?

— В одно хорошее место.

Тихонов помолчал, подумав о чем-то, и снова вспомнил о докторе.

— Позовите доктора.

— Кого?

— Доктора Пайкина позовите! Или вы оглохли? Клава!

— Доктора тут нет. Он куда-то пошел, — нашлась Клава и ласково погладила десантника по рукаву.

Тот облизал запекшиеся губы и растерянно заговорил дрогнувшим голосом:

— Как же... Ведь мне надо знать. Ослеп я. Зачем я слепой? Я не хочу жить.

— Ничего, ничего, — бодро сказал Левчук. — Еще захочешь. Потерпи немного.

— Мне надо... Мне надо знать...

Раненый замолк на полуслове. Левчук с Клавой переглянулись — мало еще им забот, — и Клава сказала тихонько:

— Не повезло Тихонову.

— Как сказать, — несогласно заметил Левчук. — Война не кончилась, еще неизвестно, кому повезло, а кому нет.

Вскоре пришел Грибоед с шапкой, полной воды, которую он, не найдя ручья, зачерпнул из болота. Но десантник, видно, опять был в беспамятстве. Ездовой нерешительно потоптался с шапкой в руках, из которой лилась вода.

— Котелка нет? — спросил Левчук.

— Нет.

— Эх ты, дед-Грибоед! Незапасливый ты.

— Я такий дед, як ты внук. Мне сорок пять годов только, — обидчиво сказал ездовой и выплеснул воду.

— Тебе? Сорок пять?

— Ну.

— Гляди-ка. А я думал, все шестьдесят. Чего же ты такой старый?

— Того, — уклончиво бросил Грибоед.

— Дела! — вздохнул Левчук и перевел разговор на другое. — Надо посмотреть, может, где деревня какая.

— Залозье тут где-то, — отвернувшись, сказал ездовой. — Не спалено еще было.

— Тогда пойдем.

— А коли это самое... А коли там немцы?

Если там немцы, то, конечно, идти не годилось. Наверно, было бы лучше разведать сначала одному, а остальным подождать в кустах. А то в случае чего с раненым им не очень легко будет уйти от беды, которая могла тут настигнуть их всюду. Только ждать в этой мокряди возле болота у них не хватало терпения, и на прокосе первой зябко зашевелилась Клава.

— Левчук, надо идти, — со сдержанной настойчивостью сказала она.

— Вот видишь! Надо, значит, идти.

Они не сразу, по одному, повставали, взвалили на лошадь раненого, все не выпускавшего из рук автомата, который они кое-как приладили к хомуту. Нащупав оружие, Тихонов обхватил руками скользкую, в тине, шею лошади и положил на нее желтую, в бинтах, голову. Придерживая его с двух сторон, они повели лошадь на край лужка, где в тумане обрывался кустарник и как будто начиналось поле.

Несколько минут спустя между низкорослых кустов ольшаника показалась опушка, и они, чтобы обойти открытое поле, свернули по ней в сторону. Изголодавшаяся лошадь то и дело хватала из-под ног пучки высокой травы, раненый едва не падал с ее спины, и они с усилием удерживали его на лошади, которую Грибоед сердито пинал кулаком в бок и ругался:

— Тихо ты, вовкарэзина! Не нажрэшся...

— Ну чего ты? — сочувственно сказал Левчук. — Она ведь тоже живая, есть хочет.

Небо быстро светлело. Туман с болота почти уже сошел, стало видать далеко; впереди над лесом багровым по-

жаром пылал край неба, вот-вот должно было взойти солнце. В утренней лесной сырости было чертовски холодно, людей пробирал озноб, мокрая одежда не сохла и все липла к телу; в раскисшей обуви скользили и чавкали ноги. У Левчука к тому же вовсю болело плечо. Стараясь как можно меньше им двигать, он левой рукой поддерживал под мышку десантника, а сам все шарил по сторонам взглядом, с нетерпением ожидая увидеть это Залозье.

Но, судя по всему, место им попалось лесное, довольно пустынное, до деревни, наверно, надо было потопать. И они медленно шли, после суматошной ночи едва передвигая ноги и с трудом отгоняя от себя сон. Более-менее благополучно преодолев болото, Левчук немного успокоился и теперь думал о том, как там обошлось на гати — прорвался отряд или нет? Если нет, то сегодня там будет жарко. Этих карателей наперло пропасть, а в отряде давно уже было туговато с патронами и, наверно, вовсе не осталось гранат. Командир, в общем, правильно решил прорываться, но куда? Интересно еще, кого это он пустил на гать, уж не тылы ли с санчастью, которые, конечно, там и остались. Называется, понадеялись на разведку.

Когда-то Левчук тоже воевал в разведке и отлично знал цену некоторых ее докладов. Сходят в разведку, а многое ли удается узнать о противнике? А начальство требует предельной ясности, ну и понятно: немало догадок выдается за истину. И он вспомнил, как год назад, будучи разведчиком, ездил в Кировскую бригаду за первой в отряде рацией, присланной для них из Москвы.

Новость о том, что у них будет рация, наделала тогда немало радостного шума в отряде — шутка сказать, они смогут поддерживать связь непосредственно с самым главным партизанским штабом в Москве. Командиры провели по этому поводу митинг, выступали партизаны, комиссар Ильяшевич — все брали на себя обязательства, обещали, клялись. В неблизкий поход за радистами выделили троих лучших разведчиков во главе с Левчуком, который тогда тоже был лучший, не то что сейчас. Вечером перед выездом комиссар с начальником штаба долго инструктировали их: как ехать, что с собой взять, как разговаривать с гостями, что можно сказать, а чего и не надо. Такого инструктажа Левчук не помнил ни до, ни после того, отправляли как на самое важное задание.

Был март, кончалась зима, все веселее светило солнце. Днем хорошо подтаивало, а ночью под утро дорога была как стекло, санки бежали со звоном и шорохом: цо-

кот копыт по ледку был слышен, казалось, на всю округу. В одну ночь они отмахали шестьдесят километров и к утру появились в штабе Кировской, где и встретили своих радистов. Старшим из двоих был сержант Лещев — немолодой, болезненного вида человек с желтым лицом и прокуренными до желтизны зубами, который им не понравился с первого раза: слишком уж придирчиво стал выяснять, где располагается отряд, как они поедут, удобны ли сани, насколько отдохнули кони и есть ли чем укрыться в дороге, потому что у него хромовые сапоги на одну портянку. Они достали для него попону и еще укутали ноги соломой, и то он все мерз и жаловался на сырость, дурацкий климат и специфические партизанские условия, которые для него не годились. Зато радисточка очаровала всех с первого взгляда, такая она была ладненькая в своем новеньком белом полушубочке и маленьких валеночках, мило поскрипывавших на утреннем морозце; уши ее цигейковой шапки были кокетливо подвязаны на затылке, на лбу рассыпалась светлая челочка, а на маленьких руках аккуратно сидели маленькие меховые рукавички с белым шнурком, закинутым за воротник полушубка. Не в пример сержанту ей здесь все нравилось, и она без конца смеялась и хлопала рукавичками, восторженно радуясь лесу, березовой роще, дятлу на елке. А когда по дороге увидела белку, игриво летавшую в ветвях, остановила сани и побежала за ней по снегу, пока не промочила валенки. Ее нежные щечки с ямочками по-детски раскраснелись, а глаза излучали столько веселья, что Левчук просто проглотил язык, забыв весь их вчерашний инструктаж. Он мучительно перебирал в голове и не находил ни одной подходящей фразы, которую было бы кстати произнести при этой девушке. Остальные тоже онемели, будто оглушенные ее девичьей привлекательностью, и только дымили в санях самосадом. Наконец она не могла не заметить этой неестественной скованности ее спутников и, мило прикидываясь, что не понимает, в чем дело, спросила:

— Мальчики, ну что же вы молчите? Вроде не русские...

Тут она, между прочим, попала в точку. Из них троих русского не было ни одного — был украинец Зеленко и два белоруса, Левчук и Межевич. И этот Зеленко, который, кроме как на своем родном языке, не мог ни слова сказать по-другому, пошутил некстати:

— А мы — нимцы!

И надо же было тогда Левчуку в тон Зеленко выкинуть свою еще более нелепую шутку, которую ему и теперь вспоминать стыдно. Но кто знал, что так обернется. Сидя сзади в санях, он при тех глупых словах Зеленко вдруг распахнул на себе тулуп, под которым с зимы для тепла носил суконный, со множеством галунов и нашивок трофейный мундир, и крикнул:

— Хэнде хох!

Не успели они опомниться, как их новый радист опрометью кувыркнулся с саней и скрылся за канавой в густой полосе молодого ельничка. Удивленный Зеленко придержал коня, они молча уставились взглядами в ельник, откуда, направленный на них, торчал вороненый ствол ППШ.

— Стой! Ни с места! — прозвучал оттуда чужой, напуганный голос.

Они еще не сообразили, как реагировать на все это, как рядом, в санях, раздался заливистый озорной смех их радистки. Откинувшись на соломе, она безудержно хохотала, уронив на дорогу шапку, из-под которой вывалилась целая копна светлых, бережно подрезанных волос.

— Ой, не могу! Ой, кончаюсь!..

Несмело поддаваясь ее веселью, они заулыбались, с опаской поглядывая на ельник, откуда не сразу, настороженно, вылез радист. Не опуская автомата, он остановился на дороге, будто не зная, как отнестись ко всему этому и прежде всего к обескураживающему смеху его напарницы.

Наконец, вволю насмеявшись, она взяла с дороги шапку и аккуратно подобрала в нее рассыпавшиеся волосы.

— Ладно, Лещев, хватит! Посмешили партизан...

Лещев после этих слов нерешительно опустил автомат, подошел и боком сел на самый задок саней, будто еще не веря, что напрасно испугался сам и напрасно напугал остальных. Все замолчали, было неловко, радистка с трудом отходила от своего долгого смеха.

А на другой день она плакала.

Какой-то отряд в Волкобродском урочище ввязался в бой с полицаями, и разведчики вынуждены были объезжать это неподходящее место, припозднились и заночевали в знакомой деревне у связного. Дядька хорошо принял их, натопил в хате и разостлал на полу куль соломы, на котором они и улеглись спать. Радистка же попросилась на печь, к хозяйке, где она никогда в жизни не спала. Она долго и подробно расспрашивала хозяйку, как и

что там нагревается, куда идет дым, какие и для чего травы торчат по углам и что в мешочках в печурке. Перед тем как лечь спать, они распределили время охраны во дворе, хотя дядька и взялся охранять их сам, но Левчук не хотел полагаться на одного дядьку. Чтобы никто не остался в обиде, как это было заведено в разведке, бросили жребий — каждый вытащил из его шапки бумажку с обозначенным на ней часом заступления на пост. Всем по два часа за ночь — такая работа! Она также захотела стоять наравне со всеми и вытащила бумажку четвертой смены, с трех до пяти — самое неудобное и сонное время ночи. Стоявший до трех Левчук предложил поменяться, но она ни за что не согласилась, она хотела исполнять свои партизанские обязанности наравне со всеми. Левчук не очень настаивал, он старался угождать ей во всем и ночью, отстояв свое время, продрогший от холода, зашел в хату. На загнетке мерцала заставленная заслонкой коптилка, храпели на соломе ребята, он тихонько протопал в промерзших сапогах к запечью и позвал радистку. Она не отозвалась, а иначе будить он не решился, он просто не отважился дотронуться своей рукой до ее высунувшегося из-под одеяла остренького в гимнастерке плеча. Позвал еще раз, но она так сладко спала, что он третий раз звать не стал, погрел возле печи руки и вышел. Он отстоял и еще два часа — за нее, а потом уже разбудил ребят, и они начали собираться в дорогу.

Вот тогда она и расплакалась.

Плакала от обиды на себя, оттого, что так безбожно проспала свою первую в жизни боевую службу и что они так некстати пожалели ее. Весь следующий день она была угнетенно-молчаливая, и Левчук ругал себя за нерешительность, за робость, но ведь он же хотел как лучше. Он мерил на свой партизанский аршин, кто знал, что у этой москвички свои, иные, чем у него, мерки...

5

Кустарник на опушке сворачивал в сторону, впереди лежало картофельное поле, а деревни не было видно. Они ненадолго остановили коня, осмотрелись. От самой опушки в поле тянулись свежие, наверно, только на днях окученные борозды картофеля с фиолетовыми звездочками на сочной ботве, и они вошли в них. Бороздой пошире повели лошадь, сами пошли рядом.

Ботва была не очень высокой и не мешала идти. По-

одаль виднелся ряд каких-то деревцев и кустарника, дальше была лощина, и за ней темнел хвойный лес. Где было нужное им Залозье, никто из них не знал.

Они шли молча, часто поправляя на лошади Тихонова, который начал сползать на сторону. Постанывая и свесив голову, раненый, однако, цепко держался за автомат, надетый ремнем на хомут. Было похоже, что он в сознании, и действительно, минуту спустя десантник выдавил сквозь сжатые зубы:

— Долго еще?

—Что — долго? — не понял Левчук.

— Мучиться мне еще долго?

— Недолго, недолго. Потерпи малость.

— Где немцы?

— Да нет тут немцев. Чего ты боишься?

— Я не боюсь. Я не хочу без толку мучиться.

Левчук не стал разубеждать его: он чувствовал какую-то его правду и признавал за ним право требовать. Он уже насмотрелся на разных раненых и знал, что тяжелые иногда словно дети — и капризные, и привередливые, — и что обращаться с ними надо по-хорошему, с лаской. Правда, иногда надо и построже. Строгость годилась для каждого, хотя не всякий раз ее позволяла совесть, некоторых просто жаль было донимать строгостью.

Они еще недалеко отошли от опушки, как вдруг сзади раздался встревоженный голос Клавы:

— Левчук! Левчук, глянь!

Левчук оглянулся — девушка присела в борозде и, втянув голову в плечи, смотрела в сторону, где в реденьком кустарнике не более чем в километре от них стояло несколько крытых брезентом машин, между которыми расхаживали фигуры в зеленом. Это были немцы.

Левчук только взглянул туда, и в его груди что-то недобро оборвалось от пронзительно ясной мысли — попались! Попались-таки хорошо — среди поля, с конем, теперь что?..

Но бежать, наверно, было уже поздно. Грибоед сразу упал, весь скрывшись в ботве, и Левчук рванул на себя тяжелое тело десантника. Одной рукой он не смог его удержать, и они вместе рухнули в картошку. Тихонов застонал, но тут же притих, растянувшись в борозде, а лошадь, оказавшись предоставленной себе самой, озадаченно уставилась вдаль на дорогу.

— Вот влезли так влезли! Это тебе не болото! — минуту спустя просипел Грибоед.

Левчук хотел было податься поближе к лошади, чтобы стащить с хомута автомат, но автомата там не оказалось, наверно, падая, его сгреб с собою десантник. Тогда Левчук осторожно выглянул из ботвы: прикрытые кустарником машины находились на прежнем месте, из одной, кажется, кто-то вышел, вдали тихо брякнула дверца. Наверно, там проходила дорога, и немцы остановились на ней по какой-то своей временной надобности. Похоже, в в поле они не смотрели и ничего еще не заметили.

А может, они скоро уедут?

В тягостном ожидании партизаны затаились среди росистого с ночи картофеля. Над лесом тем временем взошло солнце и широко разложило над полем блестящий веер прохладных с утра лучей. Наверно, эти лучи слепили немцев, которые потому и не замечали посторонних в поле.

Солнце поднялось выше, а они все лежали, неизвестно чего ожидая и на что надеясь. Тихонов держался спокойно, не двигался и молчал, хотя, как показалось Левчуку, слышал и понимал все, что здесь происходило. Левчук то и дело выглядывал из ботвы и скоро заметил, что там, на дороге, уже кто-то стоит лицом к полю и смотрит в их сторону. Наверно, то же заметил и Грибоед, который злым шепотом принялся отгонять лошадь.

— Пошла! Пошла прочь! Прочь ты, холера!..

Но было уже поздно: немцы наверняка увидели одинокую лошадь в поле. Вскоре к первому подошел второй — высокий, в длинной шинели немец с ведром в руке, недолго они поговорили о чем-то, размахивая руками и всматриваясь в их сторону. И Левчук с уверенностью понял, что немцы их еще не заметили, заметили только лошадь.

А вдруг они пойдут за ней в поле?

Эта мысль не на шутку встревожила Левчука, и он тоже зашикал на их бедную, еще не обсохшую с ночи лошадку.

— Прочь отсюда! Прочь! А ну прочь! Пошла!..

Неразумное животное постояло, пооглядывалось по сторонам и без всякого внимания к непонятным окрикам ее хозяев стало обрывать губами ботву. Левчук едва не завыл с досады, но он не мог подняться, чтобы отогнать лошадь. Он не мог даже как следует замахнуться на нее.

— Грибоед! Грибоед! Отгони! Скорее отгони!

— Пошла, холера! Прэчь! А ну прэчь! Пошла!.. — громким шепотом старался Грибоед отпугнуть лошадь, но

та, повернувшись поперек борозд, спокойно щипала молодую ботву.

— Чтоб ты издохла! Чтоб тебя волки съели!..

Если бы она издохла, для них бы, наверно, наступило облегчение. Но издыхать она явно не собиралась, а, дорвавшись до ботвы, спешила насытиться, хотя и с хомутом на шее. И они, приуныв, съежились в своих бороздах, то и дело с тревогой выглядывая на дорогу.

— Что, немцы далеко? — забеспокоился раненый.

— Тихо! Лежи ты!.. — одернул его Левчук.

— Немцы далеко?

— Тихо! Какое далеко... Вон, на дороге...

— Сюда идут?

— Да нет. Лежи...

— Как же нет, — просипел в своей борозде Грибоед, который, выглянув, тут же скрылся в ботве. — Идут уже.

Левчук только на какую-то долю секунды высунул из картошки голову, но и той доли было достаточно, чтобы увидеть, как два немца, неторопливо перешагивая через борозды, направлялись к ним. Что к ним, в том не было никакого сомнения — направление их движения Левчук определил точно. Но лошадь, похрупывая ботву, уже удалилась шагов, может, на двадцать, может быть, со временем она отошла бы и дальше. Слабая надежда мелькнула в сознании Левчука, только в ней и было спасение — другого не находилось.

— Где немцы? — снова встревожился Тихонов.

— Тихо! Замри!

— Где немцы? Идут?

— Идут! Тих...

— Брать идут? Нет уж, меня не возьмут!..

Последние его слова, которые он почти выкрикнул, предчувствием новой беды встряхнули Левчука. Через ботву он бросился к раненому, как вдруг от него в сторону брызнула и рассыпалась по картофелю автоматная очередь.

Теряя самообладание, Левчук рванул у него автомат, посчитав в запале, что десантник выстрелил в немцев. Но тут же он увидел разодранный и окровавленный бинт на запрокинутой его голове, из которой, впитываясь в мягкую землю, медленно плыла кровь. Тогда он понял другое и вскочил, оборвав ремень автомата. С колена, не целясь, он дал короткую очередь в сторону немцев, которые сначала остановились в картошке, а потом прытко бросились

назад, к дороге. Рядом звучно бахнул винтовочный выстрел Грибоеда, Левчук крикнул: «Беги!», и они, пригибаясь, изо всех сил побежали назад, к опушке.

— Ах ты, дурак!.. Ах, обормот! — на бегу ругался Левчук, такого он не ожидал. По сути, это было предательством. Он не посчитался ни с кем, он заботился только о самом себе. О своей легкой смерти... Левчук быстро догнал Клаву, тоже бежавшую на опушку. На бегу они то и дело оглядывались на машины, куда уже добежали немцы и откуда прозвучало несколько выстрелов из винтовок — пули с тугим свистом прошли над головами. Но от дороги до опушки было все же не близко, и погодя Левчук начал обретать прежнюю уверенность, поняв, что они уйдут. Кустарник был рядом, в кустарнике далекие выстрелы им не страшны.

Прежде чем забежать за кусты, Левчук оглянулся: несколько немцев возле машин смотрели им вслед. Но, наверно, не надеясь попасть, они не стреляли. Поодаль в картофеле, помахивая хвостом, сиротливо стояла лошадь с хомутом на шее. Тихонова отсюда уже не было видно.

— Балда стоеросовая! — не мог успокоиться Левчук. — Столько мучились с ним. А он...

Один за другим они скрылись в кустарнике и долго еще шли и бежали, стараясь как можно дальше уйти от этого злополучного места. Кустарник был тут негустой, с березнячком и редкими молодыми елками, места, что казались погуще, Левчук обходил стороной. Они могли бежать и быстрее, если бы не все время отстававшая Клава, которую они боялись тут потерять и сдерживали свой шаг. Девушка с немалым усилием догоняла их и, чтобы не упасть, хваталась руками за стволы и ветви деревьев. Чувствовала она себя плохо, Левчук видел это, но тут останавливаться не годилось, надо было уходить как можно дальше, и он упрямо стремился вперед.

Спустя какое-то время они выбрались из мелколесья на широкую луговую пойму с редкими кустами лозняка в высокой траве. На краю ее Левчук позволил себе задержаться, чтобы отдышаться и подождать Клаву. Немцы их, кажется, не преследовали, но внутри у него все мелко дрожало, и он думал, что они только чудом избежали гибели. И все через Тихонова, который убил себя, на что, конечно, он имел полное право, но ведь тем самым он едва не погубил и остальных. Пристально всматриваясь в кусты на лугу, чтобы опять не наскочить на немцев, он

почему-то не в лад со своим настроением подумал: а может, десантник их спас? В самом деле, если бы он не выстрелил и тем не испугал немцев, те, разумеется, подошли бы ближе и наверняка обнаружили бы их в картофеле. Стала бы неизбежной стычка, в которой еще неизвестно, кому бы повезло больше, очень просто могли полечь все.

Вот тебе и балда!..

Действительно, было похоже на то, что десантник их спас. Освободил от себя — это уж точно. Уже за одно это следовало быть ему благодарным, иначе как бы они убежали без лошади, с раненым? Война преподала Левчуку несколько самых удивительных уроков, он много узнал на ней и считал, что больше удивить его невозможно. Но вот, выходит, все удивлялся. Наверно, ее неожиданностям не будет конца, и вряд ли хватит всей жизни, чтобы как следует разобраться в ее причудах.

Вот хотя бы и Клава.

Радистка со страдальческим выражением тронутого коричневатыми пятнами лица догнала мужчин и тяжело опустилась коленями на траву.

— Ой, не могу... Не могу я...

— Ну вот еще! — не сдержался Левчук. — Что ж тогда? Отошли всего километр...

— Ды ужо километры два, — поправил Грибоед.

— Так что ж — два! Для них это — пара минут. Видели машины?

Ему никто не возразил, все замолчали. Клава, сидя в своей прежней позе, устало опиралась руками оземь и все запаленно дышала, готовая вот-вот расплакаться, а они двое стояли над ней и не знали, что делать. Грибоед хмуро поглядывал на нее из-под своей зимней шапки, что-то озабоченное тая в своих чувствах,— может, жалость, а может, упрек за все, что с нею случилось. Левчук был на нее почти зол, ясно сознавая, что задерживаться тут не годится. Им тут не место, тут их запросто могут настигнуть немцы.

— Так. Давай поднимайся. Луг перейдем, вон соснячок, там передохнем.

Клава придержала дыхание и, сделав над собой заметное усилие, поднялась.

Они медленно, с остановками перешли луг, перебрались на другой берег обросшего осокой ручья, через который Грибоед перевел Клаву. В редком соснячке взобрались на пригорок, и Клава снова в изнеможении упала на

сухую вересковую поросль. Мужчины остановились. Левчук снял с головы пропитанную потом кепку, он уже согрелся, уже с неба неплохо пригревало солнце, день обещал быть жарким и безветренным. День этот надо было пережить, что в их положении было не легче, чем пережить вечность. Особенно с такой спутницей.

— Да, дела! — проговорил Левчук и внимательно посмотрел на Грибоеда. Тот, трудно, сипато дыша, выжидательно стоял в своем узкоплечем мундирчике, оснащенном по немецкой моде множеством карманов и пуговиц.— Хоть бы где баба какая. Какой лагерь семейный, что ли. Как на грех...

— Коня надо и повозку. Без коня как?.. — рассудительно сказал Грибоед.

— Была повозка. И конь. Проворонили балбесы... Вот что! Давай, дед, иди искать деревню. Может, где есть недалеко. Без немцев чтоб.

Грибоед не стал долго тянуть, озабоченно взглянул на Клаву и неслышным шагом направился с пригорка.

— И не задерживайся, слышь? — крикнул ему вслед Левчук.

Клава затихла на траве, а Левчук огляделся. За сосняком, кажется, лежало невспаханное поле, за которым опять тянулись леса, и нигде не было видно никаких признаков близкой деревни. Стояла утренняя тишина, в сосновых ветвях беззаботно возились птицы; выстрелов или человеческих голосов не было слышно. Присматриваясь к сосняку, Левчук полукругом прошел по взлобку, послушал — вроде нигде никого. Тогда он вернулся к Клаве и, все вслушиваясь в лесные шорохи, сел подле девушки. Подумав, что, наверно, Грибоед вернется не скоро, стащил сапоги, разбросал по траве сырые портянки.

Клава лежала на боку и большими, полными тоски глазами смотрела в сосняк.

— Наделала я вам забот. Ты уж меня извини, Левчук.

— Что извинять. После войны сочтемся.

— Ох, как только дожить до ее конца? Не доживу я.

— Должна дожить. Он не дожил, а ты должна. Надо постараться.

— Разве ж я не стараюсь...

Она вдруг заплакала, тихонько и жалостно, а он сидел рядом, вытянув к солнцу красные натертые стопы, и молчал. Он не утешал ее, потому что не умел утешать, к тому же считал, что в том, что с ней случилось, Клава была виновата сама.

6

Тихо всхлипывая, Клава плакала долго, и Левчук в конце концов не стерпел.

— Ничего, — сказал он, смягчаясь. — Как-нибудь. Ты потерпи.

— Ой, я уж так терплю, но... Сам знаешь.

— Главное, к какому-нибудь жилью прибиться. Да вот ни черта нет. Все вокруг посжигали.

— А если где не сожгли, так ведь немцы, — сказала Клава с наболевшей тоской. Видно, она об одном этом только и думала всю дорогу.

— Немцы, конечно, — невесело согласился Левчук.

Он старался вести себя сдержанно и с виду казаться безразличным к ней, а внутри в нем все возмущалось — такого поворота событий он не ожидал. Еще вчера он сидел на Долгой Гряде и думал только о том, отобьют очередную атаку карателей или нет, а если нет, то куда и как бежать, где спасаться. И вдруг это проклятое ранение, которое все так переиначило, навалив на него новые обязанности с Тихоновым да еще с Клавой. Что ему теперь делать, если ей вдруг приспичит? Он даже начал бояться, чтобы этого не случилось тут же, и искоса поглядывал на нее. Но Клава, полежав немного и, наверно, переведя дух, села ровнее на ватнике, по-прежнему опираясь оземь руками. Ее шитые на заказ кожаные сапожки с белыми, вытертыми о траву носками были мокрые, юбчонка тоже подмокла снизу, и Левчук сказал:

— Сними сапоги. Пусть подсохнут.

— Да ну...

— Сними, сними! — И, поняв, что ей неловко сделать это в ее состоянии, поднялся. — А ну дай!

Левой рукой он стащил с ее ног один, а затем и другой сапог. Клава после минутного замешательства почувствовала себя свободнее и подняла к нему благодарный взгляд.

— У тебя как плечо? Перевязать, может?

— Ерунда. Не надо.

Он уже притерпелся к ране в плече и все жалел, что пошел в санчасть, лучше бы остался в роте. Глядишь, пробился бы со всеми из кольца и не знал бы забот, которые теперь одолевали его.

— Ну и Тихонов! Не знаю даже, что и думать, — сказал он, присев на траве невдалеке от Клавы.

— Испугался. А может...

— Испугался, факт. Но что бы мы делали, если бы не испугался?

— А может, он ради нас? — сказала Клава.

— А кто его знает? Разве теперь поймешь? Чужая душа — потемки.

— Знаешь, хорошего человека издали видно.

— Ну да! А плохие, они, думаешь, не маскируются? Вон как тот гад? Уж такой симпатяга был...

— Ты о ком?

— Все о том же.

— Что теперь о том говорить! — недолго помолчав, сказала Клава. — После мы все умные.

— Вот именно — после. И умные и строгие. А поначалу такие добренькие. Уши развесили, а он нож в спину.

— Платонов и тогда говорил: есть подозрение. Но ведь доказательств-то не было.

— А, доказательств ждал? Ну и дождался.

Они помолчали недолго, Левчук, откинувшись на локоть, кусал травинку, обводя взглядом сосняк. И Клава, что-то преодолев в себе, заговорила негромким голосом:

— Конечно, насчет Платонова мы теперь можем судить по-разному. Осуждать его. Но каково и ему было? Я же понимаю, он говорил мне: что-то нечисто, но как узнаешь? Для того чтобы узнать, время надо.

— Надо было шлепнуть обоих, — просто решил Левчук. — А что? Раз сомнение, то и обоих. Чтоб без сомнения. Вон у Кислякова было: прибежал дядька из деревни, просится в отряд, а у самого брат в полиции. Ну что делать? Как говорится, бабка надвое гадала: может, честный, а может, и агент. Ну и шлепнули. И все хорошо. Немного первое время совесть щемила, но пощемила и перестала. Зато никаких сюрпризов.

— Нет, так нельзя, — тихо сказала Клава. — Вы все обозлились на этой войне. Оно понятно, но нехорошо это. Вот Платонов был не такой. Он был человечный. Может, потому у нас с ним так и получилось. Он другого человека чувствовал как себя самого.

— Вот-вот-вот! — подхватил Левчук и сел ровно. — Человечный! Через эту его человечность вот как тебе быть? Да и нам тоже...

— Что ж, может, и будет плохо. Но все равно он хороший. Главное — добрый. А доброта не может стать злом.

— Что ты говоришь? — язвительно удивился Левчук и вскочил на ноги. — Не может? Вот смотри. Я буду добрый и скоренько сплавлю тебя куда в деревню. В первую попавшуюся. Ты же хочешь, чтобы скорее куда определиться. Ведь правда? Чтобы тебе успокоиться. Вот я тебя и пристрою. А немцы через день и схватят. Так нет, я недобрый, я тебя мучаю вот, тащу, а ты проклинаешь меня, правда? И все-таки я, может, туда затащу, где спокойнее. Где ты родишь по-человечески. И присмотреть будет кому.

Он выпалил это одним духом, запальчиво, и она промолчала. Но Левчуку не надо было ни ее согласия, ни возражения — он был уверен в своей правоте. Он давно воевал и знал, что на войне другой правоты быть не может. Какая-то там доброта — не для войны. Может, в свое время она и не плохая штука, может, даже случается кстати, но не тогда, когда тебя в любой момент подстерегает пуля.

Клава затихла, погрузившись в свои нелегкие думы, а он босиком отошел по колючей траве на пригорок, через верхушки сбегавших вниз сосенок посмотрел на пойму. Кажется, в той стороне не было ни дорог, ни деревень, не слышно было никакого звука и не видно никакого признака присутствия немцев. Наверно, все же они неплохо забились в эту лесную глушь, если бы только им попалась какая-нибудь деревня. Им теперь крайне нужна была какая-нибудь деревенька, хутор, лесная сторожка с людьми, без помощи которых Клава не могла обойтись.

Левчук тихонько прошелся по пригорку между молодых сосенок, послушал и, осторожно ступая босыми ногами по колючей земле, вернулся к Клаве. Радистка лежала на боку, с закрытыми глазами, и он с некоторым удивлением вспомнил, как она оправдывала Платонова. Довел девчонку до невеселой жизни, погиб сам, но и мертвый все еще для нее что-то значил. Впрочем, любила, потому вся эта каторга, на которую он ее обрекал, и кажется ей сладким раем.

Он тихонько присел на траву, ближе пододвинул к себе автомат. Очень хотелось лечь, расслабить усталое тело, но он боялся невзначай заснуть и не ложился. В тиши утреннего леса он начал думать об их положении, о бедолаге Тихонове, о том, где бродит теперь Грибоед. И конечно, не мог не думать о Клаве.

Насчет Платонова она, возможно, была и права,

Платонов был человек рассудительный, на редкость справедливый ко всем и не по-военному спокойный. Левчук знал его еще с довоенного времени, когда они вместе служили в Бресте — Левчук командиром отделения связи, а капитан Платонов — ПНШ полка по разведке. После окружения и разгрома дивизии Левчук перебился зиму в деревне у отца, а весной, когда их группа слилась с группой Ударцева, он встретил там и Платонова. И удивительное дело: бои, разгром, лесная, полная явных и скрытых опасностей жизнь, казалось, ничуть не повлияли на характер капитана, который по-прежнему оставался уравновешенным, бодрым, одинаковым со всеми — начальниками и подчиненными, никогда не порол горячки, всегда старался поступать обдуманно, наверняка. Он изменил себе только однажды, поступив второпях, необдуманно, и эта его необдуманность стоила ему жизни.

Началось все с двух красноармейцев, которые в конце мая появились в отряде.

Они прибежали со станции, где большая команда военнопленных перегружала с узкоколейки лес для отправки его в Германию. В отряд их привела Зойка, отрядная связная из путейской казармы, которую они упросили связать их с партизанами. И Зойка связала. В отряде к тому времени уже было немало бежавших из плена, поэтому появление еще двух беглецов ни у кого не вызвало удивления. Удивиться и даже встревожиться пришлось несколько позже, когда с новичками начали беседовать в особом отделе.

Первым вызвали туда Шевцова, высокого, исхудавшего от непосильных работ человека, до армии, по его словам, работавшего инженером в Кемерове. Он рассказал, что год искал случая вырваться из плена и найти партизан. Теперь он был счастлив, что его мечта осуществилась, и просил дать ему оружие, чтобы бить тех, кто причинил ему столько страданий и горя.

Все было просто, обычно, как и со многими другими в отряде. Шевцова без особых сомнений наскоро зачислили во вторую роту и отправили за ручей в ротный шалаш.

Беседу с его напарником пришлось отложить на вечер, потому что начальник особого отдела Зенович должен был куда-то уезжать и коновод с оседланной лошадью уже дожидался возле землянки. Вернулся Зенович поздно, когда партизаны, поужинав, располагались на отдых, и возле своей землянки нашел второго беглеца

по фамилии Кудрявцев. Оказывается, около часа тот дожидался начальника, к которому у него было неотложное дело. Зенович слегка удивился, но, отдав коня коноводу, открыл дверь землянки и зажег на столе коптилку.

Кудрявцев — привлекательный на вид парень с простодушной улыбкой на чернобровом лице — сразу и подробно рассказал о себе: как в тяжелых боях потерял свой танк, как товарищи спасли его из огня, и даже показал на спине шрам от тяжелого ранения, из-за которого оказался в плену. Родом он был из Ленинграда, до армии работал на знаменитом заводе, любил Родину и ненавидел немцев, с которыми готов был драться в любой партизанской должности, хотя сам, между прочим, имел специальность радиста высшего класса. И еще он заявил по секрету, что его напарника Шевцова незадолго до их побега несколько раз вызывали к шефу СД, похоже, вербовали в агенты. Впрочем, возможно, Кудрявцев и ошибается, так как сам при беседах в СД, разумеется, не присутствовал, но, как патриот и честный человек, не может не поставить об этом в известность командование отряда. Зенович нарочно спокойно сказал, что ему обо всем известно, хотя об истории с СД он слышал впервые. Наскоро закончив с ним разговор, он тут же послал дежурного за Шевцовым.

Шевцова привели не скоро, оказывается, тот уже спал и, услышав теперь о вызовах в СД, очень удивился. Или, может, сделал вид, что удивляется. Он отрицал, что его вызывали в СД, клялся, что не брал никаких обязательств перед немцами и не является их агентом. О Кудрявцеве он ничего плохого сказать не мог — вместе работали, вместе спали в бараке, улучив момент, бежали во время переноски старых лежаков с эстакады.

Зенович доложил обо всем командиру, и, посоветовавшись, они велели обыскать Шевцова. Когда той же ночью ребята распороли отвороты его брюк, то обнаружили в них ситцевую тряпицу с какими-то цифрами, написанными водостойкой краской. Что это такое, Шевцов объяснить не мог, но все поняли, что это немецкий шифр. Такие штучки партизанам уже были известны, и Шевцова на другой день расстреляли в овраге.

А Кудрявцев этим поступком снискал всеобщую симпатию среди партизан отряда. Действительно, помог разоблачить немецкого агента и тем, можно сказать, спас отряд; нетрудно было представить, что бы случилось с

отрядом, если бы в нем оставался этот Шевцов. Да и вообще новый партизан оказался удивительно симпатичным парнем, отличным стрелком, понимал толк в ремонте часов и вдобавок ко всему великолепно играл на гармошке. Гармошка, правда, была у них никудышная, с прорванными мехами и все время западавшими клавишами, голоса ее были разлажены, тем не менее Кудрявцев играл на ней так здорово, что можно было заслушаться. Улучив свободную минуту, он садился на пенек возле шалаша первой роты и начинал потихоньку наигрывать «Страдание» или «Синенький скромный платочек», возле него собирались ребята, все слушали да смотрели, как ловко бегают по клавишам его пальцы, а сам гармонист светло всем улыбается, сдержанно радуясь своей игре.

Как-то не сразу и незаметно к шалашу первой роты стала наведываться Клава.

Приходила она одна и с какою-то застенчивой робостью останавливалась возле березок, поодаль от горластой группки ребят, которые сразу же начинали зазывать ее подойти ближе. Кудрявцев по обыкновению живо отзывался на ее появление у березок и дальше играл, улыбаясь уже только одной ей. Клава, замечая это к себе внимание, немного терялась, но стояла, слушала, легко и приветливо отбиваясь от приставаний чрезмерно развязных ребят. Впрочем, к ней особенно не приставали, в отряде уже было кое-что известно о ее отношениях с начштаба Платоновым. Левчук в то время обычно находился там же или поблизости за каким-либо пустяковым занятием, но он всегда замечал ее появление возле гармониста, и ни один ее шаг, взгляд, улыбка не ускользали от его внимания. Он сразу заметил симпатию к ней Кудрявцева, и это его насторожило.

Левчук сам точно не знал, любил ли он Клаву, может, она просто немного нравилась ему, но он ничем не показывал этого, потому что не хотел переходить дорогу Платонову. Еще в первый день, когда он привез ее из Кировской, с первого взгляда между их новой радисткой и их начальником штаба он понял, что так у них не обойдется: очень уж они были подходящими друг для друга. И он отступился от нее, но только ради одного Платонова и более отступаться не хотел ни для кого на свете. Даже если бы тот был, как ангел, красивый и играл на органе, а не на этой разбитой гармошке. И Левчук тихо, но упрямо, со всей ревностной молодой силой возненавидел их новоявленного партизана, всеобщего любимца

Кудрявцева. Однажды он даже решился о нем поговорить с Платоновым и остановил начштаба, встретив его на тропке, но того позвали в штабную землянку, и Левчук, минуту выждав, пошел по своему делу. Потом он очень жалел, что их разговор сорвался. Кто знает, может, он предотвратил бы большую беду, которая вскоре разразилась в отряде.

Как-то у Клавы начались нелады с рацией, однажды она пропустила сеанс утренней связи, так как не могла настроить свой «Северок». Лещева в то время в отряде уже не было — откомандировали в группу Теслюка, и тогда в штабе вспомнили о Кудрявцеве. Он охотно взялся помочь, что-то там подвинтил, подладил, и рация действительно заработала. Правда, тут же оказалось, что долго она не продержится, что надо заменить какую-то зубчатку. Но где было взять в лесу эту зубчатку? И Кудрявцев, подумав, сказал, что попробует ее раздобыть на станции у знакомого человека, который может довериться ему и никому больше. Платонов подумал, посовещался с Клавой, и они решили рискнуть, послать Кудрявцева, только не одного, а с группой, и командиром группы был назначен Левчук. Левчук уже много раз ходил на ту станцию, имел там кое-каких знакомых и не придал этому заданию большого значения. Он бывал на заданиях куда более трудных, и все обходилось, считал, что обойдется и на этот раз.

На станцию Левчук должен был отправиться в воскресенье, а в субботу, возвращаясь из Клесцов во главе трех разведчиков, забрел по дороге на хутор к знакомому хозяину, который хлебосольно их угостил. И когда, прибыв в отряд, Левчук доложил командиру о выполнении задания, тот сразу же распорядился отправить его в яму возле караульной землянки, где у них помещалась гауптвахта. Левчук вскипел, наговорил командиру грубостей, после чего был вынужден сдать автомат и под конвоем командирского ординарца отправиться к яме. Там он в сердцах швырнул в нее свою телогрейку, спрыгнул сам и сразу же улегся спать, подумав, что утром его отпустят.

Но его не отпустили ни утром, ни вечером, он просидел в яме до понедельника, пока в отряде не разнесся слух, что на станции, попав в засаду, погиб их начштаба Платонов.

Услышав об этом, Левчук не мог больше выдержать, не обращая внимания на окрики часового, выскочил из

ямы и бросился к штабной землянке, возле которой уже билась на траве Клава и бушевал командир отряда. Другие командиры ходили с поникшими головами и тяжело вздыхали.

Как и предчувствовал Левчук, в неожиданной гибели начштаба была и его большая вина. Из-за его ареста командовать группой взялся Платонов, который вечером в воскресенье вместе с Кудрявцевым и тремя партизанами отправился на станцию. Двое из этих партизан сидели теперь перед командиром и рассказывали, как все случилось.

Их предал Кудрявцев.

Сначала все шло хорошо и не наводило ни на какие подозрения, в вечерних сумерках они подобрались к станционным огородам и укрылись в густой, разросшейся за лето конопле. Выждав, когда стемнеет совсем, Кудрявцев узеньким переулочком отправился к знакомому дядьке, остальные начали ждать. Ждать пришлось долго, думали, с Кудрявцевым случилось что-нибудь непредвиденное. Потеряв терпение, Платонов вылез в темноте из конопли, чтобы взглянуть, что делается поблизости. Но не успел капитан подлезть под изгородь, как послышался его сдавленный крик, поодаль грянули выстрелы. Ребята бросились из конопли на другую сторону огорода, но и там наткнулись на полицейских, ударивших по меже из автомата. Поняв, что попали в засаду, все бросились врассыпную и уже на бегу услыхали голос Кудрявцева, кричавшего полицаям: «Того, того держите, в кубанке!»

В кубанке у них был Платонов.

Потом стало известно, что начальника штаба с простреленной грудью привезли на допрос в полицию, где он, не приходя в сознание, скоро скончался. Кудрявцев после той акции куда-то пропал со станции. Наверно, хозяева перебросили его в другое место, где тоже ценили хорошую игру на гармошке.

Клава безутешно убивалась, скрипел зубами Левчук. Спустя несколько дней его перевели из взвода разведки в третью роту рядовым пулеметчиком.

7

Грибоед пришел часа через три, не раньше.

Левчук уже передвинулся в тень, стало жарко, портянки на солнце сделались жесткими, как из жести, сапоги тоже подсохли, и он едва натянул их на ноги. Кла-

ву почему-то стал сотрясать озноб, она то и дело вздрагивала, и Левчук прикрыл ее телогрейкой, уговаривая успокоиться, заснуть. Он думал, что во сне не должно начаться т о. Его самого неудержимо клонило в сон. Но спать он себе не позволил. Чтобы разогнать сонливость, решил чем-либо заняться: отомкнул диск от автомата, снял крышку. Диск был неполон, Левчук сосчитал патроны, их оказалось всего сорок три — на четыре хорошие очереди. И он снова собрал магазин, приладил оборванный ремень и стал нетерпеливо выглядывать Грибоеда. Он ждал его с той стороны, в которую тот ушел, но ездовой появился из сосновых зарослей сзади и первым делом принялся отряхивать от хвои свою косматую шапку.

— Ну что? — не стерпел Левчук, ничего определенного не увидев на лице ездового.

Подойдя ближе, тот молча положил на траву винтовку, устало опустился сам и снял с головы шапку, обнажив потный, лишенный загара, морщинистый лоб. Последний раз брился он, видно, на прошлой неделе, и все его лицо было покрыто густой беспорядочной порослью.

— Ды як сказать? Деревня там есть одна. Но спаленная.

— Что радости — спаленная! — разочарованно бросил Левчук. — Нам с людьми надо.

— Спаленная, ага, — не обращая внимания на его недовольство, продолжал Грибоед. — Гуменцо и уцелело только. С краю. Думал, пустое, гляжу, баба ходить там, возле жита.

— Баба?

— Баба, ага.

— Говорил с ней?

— Да я не говорил. Я увидал и назад. Спешил же.

— Ага, ну хорошо! — подхватился Левчук. — Тогда давай, Клава. Вставай! Это далеко?

— Ды не очень. Вунь за соснячком ров, ручей гэты. Затем растряроб... Жито там, — начал припоминать Грибоед.

— Ну сколько? Километр, два, три?

— Может, два, ага. Или три.

— Пошли!

Клава с усилием поднялась, пошатнулась, едва устояв на ногах. Потом с трудом встал Грибоед. Выглядел он уставшим, наверно, ему тоже надо бы сперва отдохнуть,

но Левчук спешил дойти до людей, чтобы избавиться от затянувшейся лесной неопределенности. Все-таки в нем жила и с каждым часом усиливалась тревога за Клаву.

Они не спеша, чтобы не оставить сзади радистку, сошли с соснового пригорка, обошли овраг, за которым вскоре набрели на лесную дорожку. Прежде чем пойти по ней, Левчук посмотрел направо, налево, пригляделся к следам. Но следы тут были все старые — замытые дождем колеи, несвежие отпечатки копыт и колес, похоже, тут давно уже не ездили. Тем не менее Левчук сдвинул на плече автомат, чтобы тот был под рукой, стволом вперед, и пошел, вглядываясь в каждый поворот дороги.

— Ды никого тут нет, чего глядеть, — заметив настороженность Левчука, сказал Грибоед. — Я же шел...

— Гляди, какой смелый: шел! — огрызнулся Левчук. — А если немцы?

— А черт с ними. Видно, такая судьба. Куда денешься...

— Ну знаешь... Это ты так можешь о себе думать. А нам еще жить хочется. Правда, Клава?

Ковыляя сзади, Клава не отозвалась. Видно, ей было не до шуток. Кусая засохшие губы, радистка уже едва терпела эту дорогу. Левчук озабоченно сдвинул брови — хотя бы скорее дойти до этого разведанного Грибоедом гумна, а то еще приспичит в лесу, что тогда с ней делать? Слова Грибоеда относительно своей судьбы не понравились Левчуку, который вообще был против всякой покорности, тем более в войну. Хотя и нетрудно было понять этого ездового, которого не очень баловала жизнь и совсем доконала война.

— А я, знаешь, так и жить не очень хочу. Можно сказать, и совсем не хочу, — загребая босыми ногами слежалый песок, говорил Грибоед.— Зачем мне та жизнь, если моих никого не осталось? Ни бабы, ни дитенков. Война кончится, что я? Кому буду нужный?

— Чудак ты! — сказал Левчук. — Война кончится, в почете будешь. Ты же вон какой заслуженный! С первой весны в партизанах?

— С первой, ага.

— Орден заработаешь, человеком станешь. Хотя, конечно, для ордена надо не обозником быть.

— Э, зачем мне орден! Мне бы Володьку моего. Всех бы отдал — и дочек и бабу. Лишь бы вернуть Володьку одного...

— Володьку что, тогда убило? — заинтересованно спросил Левчук.

— Ну. Считай, на моих руках. Разрывная в бок. И кишочки вылезли. Такие тоненькие, как у птички. Собирал, собирал, да что... Разрывная!

— Да, это плохо, — посочувствовал Левчук. — Хуже некуда.

Плохого в эту войну хватало, но судьба Грибоеда была особенно скверной. Трудно сказать, то ли для этого были какие причины, то ли все решала слепая власть случая, но пережил он столько, что не пожелаешь врагу. Частично через свою доброту, как считал Левчук, который уже был наслышан в отряде о несчастьях этого человека.

Грибоед с семьей жил на Выселках — так называлась деревня, стоявшая в стороне от больших дорог возле пущи. Усадьба его была и еще дальше — на отшибе от деревни, почти на опушке леса. Фронт в то первое военное лето прокатился по здешним местам никем не замеченный — крестьяне не видели ни отступления наших, ни прихода гитлеровцев. Люди долго еще занимались тем, чем занимались сотни лет до войны, и в тот день копали картошку. Копал ее и Калистрат Грибоед с женой, престарелой матерью, им помогали дети — старшие Галя и Володька; Шура и самая меньшая Манечка грелись возле костерка на меже — пекли картошку. Грибоед спешил, оставалось копать немного, как вдруг, распрямившись, увидел на краю ольшаника человека, который молча махал рукой — звал его подойти.

Грибоед бросил в корзину картофелину и оглянулся. Жена, сосредоточенно перебирая руками землю, ничего не замечала вокруг, и он, широко перешагивая через борозды, пошел к опушке.

Спрятавшись за молодой сосенкой, незнакомец ждал. Это был обросший бородкой, еще не старый человек в военном бушлате с немецким автоматом в руке. Он расспросил Грибоеда о немцах, полиции и попросил помочь — невдалеке за болотцем остались его товарищи, двое из них ранены и сами идти не могут. Кроме того, им надо где-то укрыться на время. Грибоед все понял и, ничего не сказав, вернулся на поле, запряг кобылку и поехал по дорожке в ольшаник. Тут к нему подсел тот военный с немецким автоматом в руках.

Они отъехали недалеко, военный показал место в еловой чаще возле дороги, где ждали его товарищи. Их

было трое — двое тяжело раненных, которые сами идти не могли, и молоденький курносый боец с нежным пушком на щеках, по имени Веня. Они перенесли раненых в повозку и, когда стемнело, приехали к Грибоеду на усадьбу.

Три недели раненые — полковник-танкист и политрук — лежали в избе, бабы, как могли, ухаживали за ними, однажды Грибоед привозил из местечка знакомого фельдшера, хорошо заплатил ему, и фельдшер оставил какое-то лекарство, которым сказал присыпать раны. Лекарство оказалось хорошее, раны неплохо заживали, хотя и не так скоро, как хотелось бы раненым. Их здоровые товарищи — Терехов с Веней — часто отлучались с усадьбы и по нескольку дней не ночевали дома. Они ничего не рассказывали хозяину, но он знал — искали партизан.

Все обходилось более-менее благополучно, постепенно полковник начал подниматься с кровати и прохаживаться по избе, политрук пока еще только начинал садиться в постели, как на Выселки заявилась полиция.

Правда, Грибоед заметил опасность вовремя, раненых наспех забросали тряпьем в запечье, и когда два полицая зашли в избу, посторонних в ней не было видно. Чтобы задобрить полицаев, Грибоед сунул им бутылку самогона, жена достала из кубла кусок сала, и довольные бобики смылись похмеляться. Однако, похмелившись, они продолжали облаву и, отъезжая в местечко, увезли с собой трех незнакомых, обнаруженных в Выселках, их хозяев забрали тоже. Вечером, когда вернулись домой Терехов с Веней, они все недолго совещались и решили в ближайшее время переселиться в лес.

За ольшаником по соседству с усадьбой вырыли землянку, тщательно укрыли ее мхом и лапником и так замаскировали, что в десяти шагах невозможно было угадать, где тут землянка. Внутри поставили склепанную из жести печурку, хорошо натопили ее и в ночь под Октябрьские праздники переправили туда раненых. Правда, долгое время просидеть там безвылазно было невозможно, надо было заботиться о пище, одежде, и по ночам военные наведывались к Грибоеду, да и он нередко заходил в землянку. Пока не нападал снег, все обходилось благополучно, но после первых же снегопадов начали оставаться следы, и чем дальше, тем больше. Образовалась даже небольшая тропинка от усадьбы в ольшаник. Как Грибоед ни маскировал ее от чужого глаза, все-таки недобрые люди что-то заметили и донесли немцам.

Его спас случай, или, может, судьба, как считал Грибоед. Другим повезло меньше.

Незадолго до Нового года кончились дрова, которых теперь требовалось вдвое больше, потому что в землянке топили подолгу и часто — все равно было холодно, особенно раненым. Но хороших дров поблизости уже не осталось, крестьяне ездили за десять километров в пущу. Както утречком, на рассвете Грибоед разбудил Володьку, запряг в сани кобылку, и они поехали к знакомой делянке, где несколько лет лежали заготовленные, да так и не вывезенные в Донбасс штабеля рудстойки. Делянка была неблизко, но Грибоед имел намерение к ночи управиться и одним заездом подбросить дров и в землянку. Тем более что с утра посыпал мелкий снежок, значит, следа не будет, что и требовалось для безопасности.

Однако произошло непредвиденное. Когда они с нагруженными санями переезжали Кривой ручей, сломались два копыла в санях, бревна осели концами в снег, кобылка, как ни старалась, не смогла выбраться на ровное. Пришлось разгружать сани и вытаскивать дрова из овражка за три раза, потому они припозднились и только около полуночи подъезжали к Выселкам. Грибоед шел рядом с кобылкой, Володька, притомившись, сидел на дровах; недоспав утром, мальчишка начинал клевать носом, и отец все оглядывался, чтобы тот сонный не свалился под полоз.

Им оставалось, может, километра два до землянки, как в ночной тишине посыпались выстрелы.

Выстрелов было немного — несколько раз бахнули винтовки, протрещал и смолк автомат. Вроде бы донесся и крик, или, может, им так показалось, и все снова затихло. Встревоженный недобрым предчувствием, Грибоед свернул с дороги под ельник и, передав вожжи Володьке, пустился через лес к землянке.

Еще не добежав до нее, он понял, что случилась беда. Дверь в землянке была сорвана с самодельных петель, на снегу валялись соломенные матрацы, скамейка, кое-какое тряпье из землянки, снег вокруг был истоптан чужими ногами. Наверно, тут же произошла и перестрелка, несколько гильз, подобранных Грибоедом, свеже воняли порохом.

Грибоед бросился по снегу, через ручей к своей недалекой усадьбе и вскоре услышал, как там распоряжались полицаи. Раздавался зычный командирский голос, слышался женский плач, там громили его усадьбу, как потом

оказалось, забирали семью и погружали на сани имущество.

Грибоед простоял под кустами до того времени, пока не увидел, как трое саней отправились на большак в местечко. Тогда он подался было к ограбленной своей хате, но, увидев ее распахнутую настежь дверь, затаился за вербой. Он уже понимал, что все пропало, что уцелели только он да Володька. Бобики могли также оставить засаду, и Грибоед, постояв за вербой, потащился назад, в кустарник.

Он вернулся к напуганному Володьке, сказал, что теперь они остались вдвоем, сбросил с саней дрова и направил кобылку в самую глушь пущи. Там они построили под елкой шалаш, в котором продрожали от стужи два дня и две ночи, доели последний кусок хлеба, прихваченный с собой в лес. Начали голодать. Спустя еще два дня голод и тревога о семье снова погнали Грибоеда в Выселки. На этот раз там засады не было, Грибоед походил по выстуженной, непривычно молчаливой хате, подобрал кое-что из одежды, ведро картошки набрал в погребе — больше тут ничего не осталось, все забрала полиция. Эти жалкие остатки его имущества, а также картошка и спасали их первое время в пуще, не давая замерзнуть или помереть с голода. Неделю спустя они построили крохотную земляночку в чаще, смастерили печку, которая хотя и страшно дымила, но немного и грела.

Так отец с сыном решили дожить до весны и, возможно, дожили бы, если бы не их молодая жеребая кобылка, которой тоже хотелось есть. Сена же в пуще зимой нигде не было, оно было в пуне в Выселках, и Грибоед, жалея скотину, раза два съездил на усадьбу. Все обошлось хорошо, его никто не встретил, а выследить было нельзя: время Грибоед выбирал под метель, чтобы не оставалось следов.

Однажды поехать за сеном напросился и Володька. Мальчишка за время их лесной жизни заметно соскучился без людей, замкнулся в молчаливом одиночестве, перестал смеяться, видно, тосковал по сестренкам и матери. Сначала Грибоед не обращал на это большого внимания, но потом начал даже бояться, кабы с мальчишкой не случилось плохое — уж очень не по возрасту свалилась на него эта беда. И когда сын начал проситься в их нелегкий ночной путь, скрепя сердце Грибоед согласился.

Все-таки он не хотел его брать, что-то щемило в нем скверным предчувствием, но он не совладал с жалостью к последнему своему ребенку и не прогнал его в землянку, когда тот начал устраиваться в передке саней.

Ночь была ветреная и непогожая, сильно шумели елки в лесу, по снегу гуляла метель, кобылка почти всю дорогу шла шагом, отворачивая голову от ветра. К полуночи они переехали пущу, свернули на едва заметную дорогу к Выселкам. Уже близко была усадьба, уже Грибоед нетерпеливо вглядывался сквозь ветреный мрак, стараясь что-нибудь различить в нем. С надеждой думалось человеку: а вдруг блеснет знакомый огонек в окне и он найдет там своих дочерей и жену, которых, возможно, выпустили из полиции, потому что за что же их там держать? В чем они виноваты перед немецкой властью?

Но не суждено было Грибоеду увидеть никого из своих, не знал он, что его жену давно замучили на допросах в полиции, а детей куда-то увезли, что старая мать его, не стерпев мук, тихо скончалась в полицейском подвале, а в его дворе уже третий день подряд сидят в засаде трое полицейских.

Между тем Калистрат Грибоед погонял кобылку, и они все ближе подъезжали к своей беде. Уже стала заметна в сумраке кривая верба возле ворот, колодезь с журавлем, разломанный чужими лошадями тын у сарая. И тогда кобылка его почему-то остановилась, вскинула голову и тихонько тревожно всхрапнула. Он уже знал ее чисто собачий, нелошадиный, обычай и потянул вожжи. Изо всех сил он всматривался в темный двор, но ничего там заметить не мог. И все-таки он почувствовал: что-то там есть. Володька тоже не на шутку встревожился и тихо приговаривал в санях: «Тата, не езжай! Не езжай, тата!»

И он начал торопливо разворачивать кобылку.

Но не успела кобылка выбраться из придорожного снега и вывернуть на дорогу оглобли, как со двора раздался злой окрик: «Стой!» Грибоед с размаху ударил кобылку кнутом, одновременно грохнул винтовочный выстрел. Володька сразу же ткнулся в сани, что-то проговорив чужим, изменившимся голосом, а он, не обращая на него внимания, поднялся в санях на колени и что было силы погнал кобылку. Будто чуя людскую беду, та с места рванула галопом, они мигом проскочили открытый участок дороги и под частые выстрелы сзади въехали в лес.

Только заехав поглубже в чащу, Грибоед остановил сани и схватил за плечи Володьку.

Володька лежал на боку, обеими руками запахнув на животе полы армячка. Отец разорвал его судорожно сведенные руки, распахнул армячок и ужаснулся. Из кровавой раны, будто живые, полезли, странно пузырясь под руками, тоненькие Володькины кишки. Тихонько скуля, мальчик испуганно подбирал их под окровавленную сорочку и плакал от боли и беды, справиться с которой не было уже возможности.

Он привез его в землянку еще живого. Володька что-то говорил слабым голосом, звал мать, потом стих и до утра лежал молча, лишь слабо подергивая ногой или рукой.

На рассвете он вовсе затих...

8

Узенькой лесной дорожкой они перешли мысок соснового бора, миновали старую, заросшую мелким сосняком вырубку и свернули влево. Четверть часа спустя Грибоед вывел их к краю холмистого ржаного поля. На нескольких разделенных низкими, небрежно обпаханными межами полосках дозревала реденькая рожь, между чахлых стеблей которой синели дремучие заросли васильков, белели головки ромашек. Грибоед выбрал межу пошире и свернул на нее; они пошли следом.

— Во и вёска, — сказал ездовой.

Левчук ожидал увидеть какие-нибудь строения или хотя бы соломенные крыши с трубами — обычные признаки близкой деревни, но он не увидел ничего этого. Недавнее ее тут присутствие угадывалось разве что по нескольким высоким деревьям, видневшимся поодаль за рожью. Деревни не было. Подойдя ближе, они увидели за обросшими сорняком изгородями обкуренные остатки печей, местами обугленные, недогоревшие углы сараев, раскатанные бревна в заросших травой дворах. От многих строений остались лишь камни фундаментов. Близкие к пожарищам деревья стояли засохнув, с голыми, без листьев, сучьями. Высокая липа над колодцем зеленела одной стороной — другая, обожженная, странно тянула к небу черные ветви. На затоптанных, без грядок, огородах валялись разбитые кадки, разная домашняя утварь, палки, иссохшие серые тряпки. Наверно, деревню сожгли по весне, еще до вспашки огородов, озимые в поле росли уже ничей-

ными, а яровых нигде не было видно. Поле возле огородов лежало заброшенным, густо зарастая лебедой и осотом.

— Куда это ты нас привел? — остановился Левчук.— Где же тут люди?

— Чекай, чекай! Ходи сюды.

Грибоед расторопно припустил куда-то краем деревни, они перешли неглубокий овражек возле кустарника, выбравшись из которого сразу увидели маленькое, в две постройки, гумно на пригорке возле ольшаника.

— Ну во! Бачыли? Там она собирала что-то. Зёлки какие или что.

— Так, тихо. Побудьте тут, — отстранил ездового Левчук и сам скорым шагом пошел к гумну.

Из ольшаника выбегала, наверно, грязная по весне, а теперь сильно усохшая корявая дорожка, которая, немного не достигнув гумна, сворачивала в сторону бывшей деревни. Свежих следов на ней не было, но эта дорожка не понравилась Левчуку, и он, прежде чем перейти ее, осмотрелся. Из двух построек гумна ближе к дороге стояла поветь с остатками прошлогодней соломы в одном конце. Дальше был старый, покосившийся ток с продранной крышей, в дырах которой, будто ребра, торчали латы и стропила. Левчук поодаль обошел кучу камней на углу, заросли густого малинника у стены и оказался с той стороны, где находилась дверь. Дверь была прикрыта, и поблизости никого не было. На верху яблони-дичка, росшей на краю ржи, тихо раскачивался большой старый ворон, который, повернув голову, настороженно посмотрел на него. Левчук взмахнул рукой, но ворон даже не моргнул глазом, и только когда Левчук двинул с плеча автомат, тот лениво взмахнул крыльями и нехотя полетел в сторону деревни.

Нигде никого не увидев, Левчук тихонько приоткрыл одну половинку двери. В току стоял сумрак, пахло гнилой соломой и пылью; над головой с тихим писком прошмыгнули две ласточки, наверно, тут были их гнезда. Левчук шире распахнул дверь и переступил порог.

Нет, похоже, Грибоед не ошибся, когда говорил про женщину, — действительно, в этом току кто-то жил.

Под стенкой на охапке слежалой соломы была расстелена старенькая дерюжка, валялись какие-то лохмотья, тут же стояла кадушка для воды, висел кожушок на стенке. На чисто подметенном земляном полу у двери ровно стояли кожаные бахилы с обрезанными голенищами. Тем-

ные стены светились многочисленными щелями между бревен. Слева от входа была еще одна низенькая дверь, наверно в овин, там же, косо прислоненная к стене, стояла сколоченная из палок лестница.

Левчук подождал, послушал и тихонько окликнул:

— Эй! Есть кто живой?

Никто не отозвался, наверно, в току никого не было. Но рано или поздно должен же кто-то сюда прийти, если живет тут, подумал Левчук и вышел наружу. Грибоед с Клавой напряженно смотрели на него из кустов.

— Давай сюда! — махнул он здоровой рукой.

Когда те подошли, он широко распахнул дверь — заходите! — и Клава подбитым шагом, хватаясь за дверь, первой вошла в ток. Окинув пугливым взглядом это мрачное людское пристанище, она увидела на полу дерюжку и сразу обессиленно опустилась на нее.

— Ну вот! Отсюда уже никуда не пойдем, — сказал Левчук. — Но где же хозяйка?

Грибоед, не заходя в ток, обошел его обросшие малинником и крапивой углы, постоял, послушал. Но нет, поблизости никого не было. Было тихо. Лишь под свежими порывами утреннего ветра шумела недалекая яблоня да с тихим шорохом качалась на ниве рожь.

А Левчук тем временем, осмотрев углы этой постройки, стал на поперечину лестницы, заглянул на чердак овина. Он думал, что, может, здешние жители где-то попрятались. Но и на овине никого не было: земляная присыпка, не тронутая человеческой ногой труха да помет ласточек. Из серого гнездышка под стропилом выглядывали любопытные головки птенцов, слышался встревоженный писк. Левчук спустился на землю и распахнул низкую дверь. В тесном прокопченном закутке овина был сумрак. Маленькое, затянутое паутиной окошко бросало немного света на черную печку-каменку, от которой шел затхлый, удушливо-дымный смрад.

— Ладно, что ж, подождем. Ты как, немного еще потерпишь? — обратился он к Клаве, но та не ответила.— Теперь бы поесть чего...

Поесть было бы кстати, но у них не было даже куска хлеба, и о пропитании предстояло еще позаботиться. Левчук вышел во двор, осмотрел ток снаружи, повглядывался в недалекий ольшаник. Но, видимо, хозяева ушли куда-то далеко. И Левчук тихонько побрел краем ржи, перешел дорогу, постоял, чтобы увериться, что вокруг все спокойно, заглянул за крайние кусты ольшаника.

Там простиралась широкая лесная прогалина или край поля, дальше темнел ельник, и внимание Левчука привлекла полоска картофеля возле ячменя. Картошка была с рослой ботвой, на крайних бороздах лежали сухие стебли — значит, ее уже и подкапывали. Подумав, что, накопав, ее можно сварить, он скорым шагом направился назад — поискать какое-нибудь ведро или корзину.

— Эй, дед! Давай посудину, бульба есть! — крикнул он в распахнутые двери тока.

Однако Грибоед, не ответив, продолжал тихо сидеть на корточках возле прикрытой дерюжкой Клавы, которая недобро изгибалась на соломе, и у Левчука все опустилось внутри от мысли — неужели начинается? Он тихо переступил порог, но Грибоед, услышав его, замахал рукой, и он молча вышел назад. Бедная Клава, подумал Левчук, кажется, все же пришло ее время, и нет никакой нигде бабы, он же в таком деле помочь ей не мог. Разве что Грибоед?

Левчук постоял возле дверей в ожидании, не скажет ли еще что Грибоед, но тот молчал. Тогда Левчук вспомнил, что в таких случаях вроде бы полагается греть воду, значит, надо разжечь костер. Он бросился искать топливо и под поветью нашел несколько сухих палок, которые разломал ногой, и тут же на дворе, неловко управляясь левой рукой, разжег костерок. Хуже было с посудиной для воды. Но, поискав, он обнаружил в малиннике заброшенный дырявый казанок, щепкой заткнул дыру в его дне и сбегал к ручью за водой. Все время он прислушивался к звукам из тока и, хотя почти ничего не слышал, сам не заходил туда. Он начал хозяйничать возле огня, который неплохо разгорался на ветру, и вода в казанке стала понемногу греться.

— Вот и добра, — сказал Грибоед, выскочив из тока. — Догадливый!

— Ну как там? — спросил Левчук.

— Ничого. Все добра.

— А ты того... Что-нибудь понимаешь?

— Ды ужо ж, што-небудь, — уклончиво ответил Грибоед, схватил какую-то тряпку, что сушилась на прислоненной под стеной бороне, и снова исчез в току.

Тем лучше, подумал Левчук, с помощью Грибоеда, может, еще как-нибудь и обойдется. Хуже, если бы с Клавой остался один он, чем бы он ей помог? Теперь он не знал, что там делалось, но его внимание к току усилилось, и он начал тревожиться: а вдруг что будет не так?

Но, по-видимому, все шло как и следует в таких случаях. Вскоре Грибоед выбежал из тока и замусоленной полой своего мундира суетливо выхватил из огня казанок.

— Что, уже?

— Уже, уже...

Левчук несколько удивился: он ждал, не послышится ли сперва детский плач или хотя бы стон матери, а тут ни плача, ни стона, и этот старый повитуха говорит, что все.

— За́раз, за́раз, — несколько громче, наверное для него, сказал Грибоед из тока. — За́раз!

Левчук стоял за дверью и волновался, словно отец, волноваться которому уже не придется. Эта обязанность перепала им, его товарищам по войне, и теперь многое в отношениях Левчука к Клаве определялось его отношением к Платонову. Во всяком случае, Левчук чувствовал себя обязанным не столько ради самой Клавы, сколько ради их погибшего начальника штаба.

— Так кто там? — нетерпеливо спросил Левчук. — Парень или девка?

— Мужик! — каким-то незнакомым, подобревшим голосом сказал Грибоед. — Харошы дятюк. Иди сюды...

С неожиданным, просто невероятным для него любопытством Левчук шагнул в ток и взглянул на небольшой сверток из парашютного шелка в руках Грибоеда. Рядом в полумраке чужой соломенной постели почти со страхом в измученных глазах смотрела на них Клава.

— Во, погляди! Аккурат Платонов. Ага?

Маленькое сморщенное личико, плотно закрытые глазки — видать, что живое существо, и ничего больше. Но, чтобы подбодрить мать и сделать приятное ее повитухе, Левчук согласился:

— Конечно, конечно...

— Во нас опять трое мужиков, — обычным озабоченным голосом сказал Грибоед. — Чым тольки кормиться будем?

Левчук спохватился. Он, который все это время чувствовал тут себя почти лишним, понял свою новую обязанность, схватил казанок и выскочил из тока. Продравшись сквозь чащу ольшаника на картофельное поле, он левой рукой начал торопливо выдирать ботву, за которой тянулись из земли небольшие, по голубиному яйцу, картофелины. Его теперь полнило какое-то новое, еще не испытанное им или, может, забытое чувство причастности к

извечной человеческой жизни, в которой не было места войне, и его отношения к Клаве явственно менялись с небрежно-придирчивых на уважительные, почти родственные. Теперь она была для него уже не та кокетливая Клавка, которую он некогда привез в отряд, и не партизанская девка, нагулявшая ребенка с их хотя бы и пользующимся уважением начальником, а прежде всего молодая женщина-мать, присмотреть которую было их человеческим долгом. Кроме того, он слишком хорошо знал, каково ей будет в этом ее неожиданном лесном материнстве, и стремился хотя бы вначале облегчить все то нелегкое, что уготовила ей их партизанская судьба. Как ни удивительно, но именно сейчас, через Клавку, он впервые за много лет почувствовал себя не бойцом-партизаном, не разведчиком или пулеметчиком, а прежде всего человеком, и это было для него ново и чрезвычайно приятно. Так, будто не было уже и войны.

Закинув за спину автомат, он занялся картошкой — перемыл ее в холодном ручье, наполнил казанок водой, снова раздул огонь и приладил на него казанок.

— У меня соли есть трохи, — сказал Грибоед, выйдя из тока и увидев на костре картошку.

— Да ну! Может, у тебя и хлеб есть? — отозвался Левчук.

— Не, хлеба нема. А посолить трохи буде.

Ездовой опустился возле костра на колени, из нагрудного кармана мундира достал красную тряпицу, развернул ее, затем развернул бумажку и двумя пальцами взял щепоть соли.

— Больше бери! Что эта твоя щепоть! — сказал Левчук.

Грибоед взял чуть больше, но, подумав, отсыпал и тремя пальцами бросил соль в казанок.

— Берагчи треба. Где ее возьмешь после...

— Ну как там Клавка? — спросил Левчук.

— Заснула. Хай поспить, ей теперь треба.

— А малый?

— И малый спить. Сиську пососал и спить. А что ему...

— Ну хорошо. Сядь, посиди тут.

— Не, я ужо в засень. А то горячо. Боюсь, голову напяче.

Действительно, солнце поднималось все выше, в гумне стало жарко, и не верилось даже, что еще недавно они страдали от стужи. Но что жара или стужа — главное,

они ушли от немцев, зашились в лесную глушь, где не было никого — ни партизан, ни крестьян, ни немцев, в казанке доваривалась свежая бульбочка, обещая голодным какое ни есть насыщение. Все-таки самая большая беда их миновала, и если бы не смерть Тихонова, то Левчук, наверное, был бы доволен сегодняшней своей судьбой.

Правда, его немного тревожило отсутствие хозяев этого немудрящего жилища, все-таки им были нужны хозяин или еще лучше хозяйка, которые бы взяли на себя дальнейшую заботу о Клаве. К тому же Левчуку было необходимо кое о чем расспросить их, а может, и разжиться повозкой, если уж они не сумели сберечь свою. Но это была забота вообще, можно сказать, на потом, главная же забота с Клавой вроде бы уладилась благополучно, авось уладятся как-нибудь и остальные.

Картошка кипела, и, чтобы не прозевать, когда она сварится, Левчук все ширял в казанок протиркой, вынутой им из приклада ППШ. Протирка, однако, лезла с трудом, надо было еще варить, и он подкладывал в огонь все, что находил поблизости, — обломки струхлевших палок, доску, разломал тонкую жердь с изгороди. Грибоед с утомленным видом сидел на бороне под стеной и озабоченно глядел в огонь.

— Ну, что невеселый, дед? — взглянул на него Левчук. — Все же хорошо.

— Хорошо, да не все, — вздохнул Грибоед.

— Ну а что? Тихонов?

— Да хоть бы и Тихонов. Молодой еще. Хиба жить не хотел?

— Жить всем хочется. Да не всем выходит.

— Во пра то и думаю. А тут малое...

Малое, конечно, не вовремя, даже очень не вовремя, подумал Левчук. Если бы хотя на какую неделю раньше, когда не было этой блокады, а теперь действительно, каково ей будет с малым среди чужих людей, которых еще неизвестно где отыскать в этом гибельном, разоренном краю.

— Видно, надо еще где искать, — сказал Левчук. — А то черт его знает, дождешься ли тут кого.

Грибоед сидел молча, сосредоточенно глядел в костер, и Левчук, у которого от голода подвело живот, махнул здоровой рукой:

— Ладно. Сначала поедим бульбочки, а там видать будет...

9

Левчук просидел во дворе часа два, если не больше. Солнце спустилось за крышу соседнего дома, и двор утонул в широкой, растянувшейся тени. К Левчуку никто не подходил, не тревожил его на этой доске-лавке, двор жил своей обычной для него жизнью — дети развлекались соответственно своему возрасту, взрослые занимались хозяйственными делами выходного дня — поодаль от подъезда стряхивали половики, подметали дорожки; молодой мужчина возле забора выколачивал пестрый тяжелый ковер, и мощные удары его выбивалки отдавались гулким далеким эхом. Бабки посидели еще немного без солнца и потащились в свои квартиры, а мужчины возле недалекого гаража все еще ковырялись в чреве разобранного ими «Москвича». Там же вертелось несколько любопытных мальчишек.

Левчук хорошо изучил этот двор, все его углы и дорожки. В общем, тут ему нравилось — чисто, досмотрено, только чересчур много шума и людей, как на базаре в праздник. Правда, ко всему, наверно, нужна привычка. Он, например, привык к сельской тишине, которая редко нарушается человеческим гомоном, а больше голосами животных, птиц, далеким тарахтеньем трактора в поле. Тут же и гомон, и грохот, и тарахтенье — все вместе.

Перебирая в памяти разное из той давней истории, Левчук не мог избавиться от мысли-вопроса: кто он теперь? И какой он? Иногда, задумавшись, он зримо представлял себе его рослую фигуру, лицо уверенного в себе человека с внимательной, доброй улыбкой. Левчук не любил людей молчаливых, хотя сам не очень был разговорчив, но это сам. Он должен быть во всех отношениях лучшим. Возможно, он какой-нибудь инженер, специалист по части машин или механизмов, которых теперь развелось во множестве всюду. Может, даже сам строит машины, автомобили, к примеру. Автомобили Левчук уважал издавна, когда-то даже мечтал стать шофером, если бы не рука. Но с одной рукой не очень кем станешь. Года три назад в их колхоз приезжали из города шефы — инженер и техник, налаживали на ферме кормокухню, он немного поговорил с ними — понравились очень. Левчук даже подумал: а может, и он тоже специалист высокого класса. В общем, было приятно.

А может, он врач в какой-нибудь известной больнице,

делает операции, лечит людей. Левчук знал, как это важно — умело лечить людей, сам после войны частенько наведывался в больницы, был даже в санатории инвалидов войны в Крыму. Там же у него случилось досадное недоразумение с врачихой, и он думал, что если бы на ее месте был доктор — мужчина, то, возможно, никакого недоразумения и не произошло. И ему потом несколько раз даже приснилось, что его лечит он, хотя и не знает, кого он лечит, и Левчук не может ему рассказать о себе, потому что разве поверит? Действительно, все существовало лишь в его памяти, какие же у него еще доказательства?

Конечно, он мог стать кем хочешь — даже в голову сразу не придет, кем он мог быть в этой жизни, если человек не глупый и учился. Учился, так это уж точно, окончил институт и еще что-то, может, даже кандидат или как там у них называются эти ученые. Одна девка из соседней деревни вышла в городе замуж за сильно ученого, летом вместе приезжали к матери, и жена не называла мужа иначе как мой кандидат. А мать, известно, темноватая женщина, все перепутала и раза два назвала его депутатом. Но он не обиделся.

Наверно еще, он хозяйственный, любит считать копейку и уж никак не увлекается чаркой, ставшей главной радостью многих мужчин. Правда, Левчук и сам когда-то имел такой грех, но уж давно выпивает только по праздникам или по какому-нибудь уважительному случаю, если, к примеру, заявятся гости. Но жизнь Левчука ему не в пример — он должен быть лучше.

Еще он не сквернословит, ни в коем случае. Не то чтобы совсем не сказал когда грубого слова, но уж не так, как некоторые из нынешних, — что ни слово, то мат. Таких Левчук не уважал нисколько, хотя бы они были куда как ученые или даже начальники. Это в войну, среди крови, голода, смерти ссорились и ругались, а теперь за что? Чего теперь не хватает в жизни?

Но кем бы он ни был по специальности или положению, прежде всего должен быть человеком. Левчук не вкладывал в это понятие какого-нибудь сложного или философского смысла, это у него формулировалось просто: быть добрым, умным и удачливым, но не за счет других. Он уже нагляделся в жизни на разных ловкачей, строивших свое благополучие за счет ближних и умевших быть умными с выгодой для себя. С наибольшею для себя поль-

зой. Таких Левчук ненавидел, как можно было ненавидеть на войне тех, кто пытался выжить ценой гибели ближних. Сам он никогда нигде не схитрил, никого не обманул с корыстью для себя, это ему было противно, и он ненавидел все малые и большие хитрости в людях.

Впрочем, все это были его мечты, мысли, передуманные им за долгие тридцать лет — ровно половину своей не очень удавшейся жизни. На деле же, знал он, все может оказаться не так. Но он не хотел, чтобы оказалось не так, он жаждал, чтобы было так, как должно быть, как бы он хотел, чтобы было с его сыном, которого не дал ему бог. Вместо сына родились три дочки со всеми чертами их матери, ее характером, внешностью. Отцовского в них ничего не было. Виктор, конечно, не сын, но столько с ним связано. Все, что Левчук пережил потом, до конца войны, хотя тоже было не легче, но уже не то. Тогда же он выложился весь, может, даже превзошел себя, и на другой раз у него просто не хватило бы пороха...

10

Очередной раз ткнув в казанок протиркой, Левчук почувствовал, как та долезла до дна, и сказал Грибоеду отцедить — самому с одной рукой сделать это было неловко. Грибоед прикрыл казанок полой шерстяного, наверно, когда-то шикарного, с кантами мундира и опрокинул его над травой. Воды там оказалось немного, он дождался, когда она выльется вся до капли, и поставил казанок на огонь:

— Хай посохнет.

— Что там сохнуть! Неси в ток, есть будем.

Грибоед опять взял казанок, из которого валил пар, Левчук раскрыл двери тока. Задремавшая было Клава с маленьким белым свертком в руках очнулась от шума и слабо, как показалось Левчуку, улыбнулась одними губами.

— Давай есть будем! Вот бульбочка свежая. Наверно, свежей не ела в этом году?

Она сделала попытку приподняться, и Левчук ей помог, подвернул под спину соломы, подмял от стены кожушок. Не выпуская из рук малого, Клава кое-как устроилась, поправила на лбу волосы.

— Спить? — спросил Грибоед, подвигая к ней казанок.

— Спит. Что-то все спит и спит, — сказала радистка с некоторою даже тревогой в голосе.

— Ничего. Пускай спить. Буде, значит, як батька, спокойный.

— Спасибо вам, дядька, — покорно сказала Клава.

— Нема за что. Конешне, якая баба, может бы, лепей управилась...

— А и ты неплохо, — сказал Левчук. — Ни крику, ни плачу.

— Гэта не я. Што я? Гэта яна во.

Они вдвоем, обжигая пальцы, начали доставать из казанка горячие картофелины, а Клава покойно сидела, откинувшись к стене с малым под рукой. Левчук, взглянув на нее, сказал:

— Ну ешь. Чего ты?

— Там, в сумке, ложка была, — сказала она.

И он, вытащив из-под Клавы тощую немецкую сумку, порылся в ее содержимом.

—Ложка — вот, на.

— И фляжечка там. Достань уж. Ради такого случая.

— Фляжка? Ого! Го-го! — не сдержался Левчук и действительно вскоре извлек из сумки белую алюминиевую флягу, в которой что-то тихонько плеснулось. — Самогон?

— Спирту немного. Держала все...

— Ох ты, молодчина! — проникновенно сказал Левчук. — Дай тебе бог здоровьечка, малому тоже. Грибоед, как, киданем?

— Ды ужо ж, коли такое дело, — смущенно ответил Грибоед, и глаза его как-то по-хорошему блеснули в пестрых от множества теней сумерках тока.

Они охотно и с некоторой даже торжественностью выпили разведенного во фляге спирта: сначала Левчук глотнул, выдохнул, сделал небольшую паузу и со смаком закусил картофелиной. Флягу передал Грибоеду, который сперва поморщился, сделал небольшой глоток, поморщился больше — всеми частями своего обвялого, без времени состарившегося лица.

— А хай на его! Ужо самогонка лепей.

— Сравнил! Это же чистый, фабричный... А то самогон...

— Так что, что фабричный. Кажу, приемней, мякчей быдта.

— А ты выпьешь? — Левчук поднял глаза на Клаву.

— Так нельзя же мне, видно, — смущенно ответила Клава.

— А чаму? — сказал Грибоед. — И выпей. Бывало, моя, как кормила, так иногда и выпье. В свята. Ребенок тады добра спить.

— Ну я немножко...

Она поднесла флягу к губам и немножко сглотнула, будто попробовала. Левчук удовлетворенно крякнул — чужое удовольствие он готов был переживать как свое собственное.

— Ну вот и хорошо! Теперь есть будем. Бульбочка хотя и нечищеная, а вкуснота. Правда?

— Вкусная картошка, да. Я, кажется, никогда в жизни такой не ела.

— Как грибы! Соли бы чуток побольше, а, Грибоед? — с намеком сказал Левчук. Но Грибоед только повертел головой:

— Нет, не дам. Савсем мало осталося. Яще треба буде.

— Не знал я, не знал. Скупой ты.

— Ну и что, что скупой? Каб же ее больше было. А так... На раз языком лизнуть.

Клава съела пару картофелин и откинулась спиной к стене.

— Ой, как в голове закружилось! — сказала она.

— Это ничего, это пройдет, — успокоил ее Левчук. — У меня у самого оркестр играет. Так весело.

Грибоед неодобрительно посмотрел на него. Морщины на лице ездового прорезались четче, что-то характерное и осуждающее появилось в его всегда обеспокоенном взгляде.

— Чаго веселиться? Яще солнце вунь где.

— Ну и что?

— А то. До вечера яще вунь кольки.

Левчук с очевидным аппетитом уплетал картошку. Как и двое других, он устал за ночь, проголодался и теперь захмелел немного, тем не менее неизвестно почему чувствовал себя уверенным и сильным. Конечно, он понимал, что может случиться разное, но у него был автомат, одна крепкая, здоровая рука, хотя и второй он уже наловчился, превозмогая боль, помогать здоровой. За войну он перебывал в десятках самых невероятных переделок, изо всех пока что выбирался живым и теперь не представлял

себе, что в этой тиши с ними может случиться скверное. Самым скверным, конечно, было погибнуть, но гибель не очень пугала его, он свыкся с ее неизбежностью и, пока был живой, не очень пугался смерти. Силы для борьбы у него доставало, так же как и готовности постоять за себя.

Другие вели себя иначе.

На Грибоеда все заметнее начала находить какая-то тяжелая задумчивость, будто он вспоминал что-нибудь невеселое. Жуя картофелину, вдруг переставал двигать челюстями и замирал, неподвижным взглядом уставясь перед собой. Клава все успевала делать одновременно: и ела и все время с какой-то нервной обеспокоенностью охаживала младенца, вместе с тем будто вслушивалась во что-то, слышимое одной ей. Левчук уже не однажды заметил за ней эту особенность и, доедая картофелину, сказал:

— Что ты все ушами стрижешь?

— Я? Кажется, слышно что-то. Голоса вроде...

Они все прислушались, но ничего определенного не было слышно, и Левчук, чтобы окончательно убедиться в их безопасности, взял за шейку автомат и вышел из тока.

Время приближалось к полудню, на гумне здорово припекало солнце, слабо шумела под ветром яблоня, и нигде никого не было видно. Над разомлевшим от жары пространством растекалась дремотная тишь. Левчук обошел гумно и вернулся в ток.

— Мерещится тебе, Клавка. Нигде — никого.

— Может, и кажется, — успокоенно согласилась Клава. — Это у меня бывает. Я малая такая была трусиха! Боялась дома одна оставаться. Особенно вечером. Жили в Москве, на Солянке, дом старый, мышей была тьма. Отец часто в разъездах, а мама когда припозднится, так я забьюсь за буфет, в угол, и плачу. Мышей боялась.

— Мышей? — удивился Грибоед.

— Мышей, да.

— Мышей чаго же бояться. Хиба они укусять?

— Мыши — не волки. Волки — да. Волков и я боялся. Напугали когда-то, — сказал Левчук и с наслаждением вытянулся на твердом земляном полу. — Теперь бы кимарнуть часок. Как думаешь, Грибоед?

— Як знаешь. Ты — старший.

Грибоед без особой охоты доедал из казанка картош-

ку. Левчук зевнул раз и другой, прикидывая, как бы так сделать, чтобы оставить Грибоеда посторожить, а самому действительно немного вздремнуть. Спать хотелось зверски, особенно теперь, когда он немного удовлетворил чувство голода да еще глотнул спирту. Но он ничего не успел сказать Грибоеду, как рядом, недобро всхлипнув, зашлась в каком-то безудержном плаче Клава, и Левчук подхватился с пола.

— Что такое? Ты чего? Ну чего ты? Все же хорошо, Клава!

Но она все содрогалась в беззвучном рыдании, спрятав в ладонях лицо. Левчук не мог взять в толк, что случилось, и всячески пытался ее успокоить, а Грибоед тихо сидел, подобрав под себя босые ноги, и печально глядел на обоих.

— Ну ладно, чаго ты? — погодя сказал он Левчуку. — Ну и что! Хай поплача. У кожнага нешта ёсть, как поплакать. У нее свое. Хай.

Левчук сел на прежнее место, и Клава действительно, раза два всхлипнув, рукавом гимнастерки вытерла глаза:

— Извините. Не удержалась. Больше не буду.

— Ты брось так шутить, — серьезно заметил Левчук. — А то знаешь... И мы заревем, на тебя глядя.

Губы ее снова скривились, казалось, она снова не сдержит в себе какую-то обиду, и Грибоед поспешил заверить ее:

— Ничога. Все добра. Галовнае — дитёнок ёсть. Ладный таки. Вырасте. Война проклятая скончится, все наладится. У маладых все хутка налаживается. Старому уже тупик, а у маладых все впереди. Не треба убиваться. Кому теперь лёгко? Мне, думаешь, лёгко? Каб мне ваше горе...

— Да, — помолчав, заметил Левчук. — Давайте о чем веселом. Вот могу рассказать, как я перед войной чуть не женился.

Но Грибоед, занятый собственной мыслью, никак не отозвался на шутливое предложение Левчука и все сидел, печально уставясь перед собой.

— Век сабе не дарую: ну нашто я его тады в Выселки взял? Пачаму я его в землянке не кинул?

— Ты это про кого? Про сына?

— Ну. Пра Володьку. Век сабе не дарую...

— А я вот себе не дарую — отца не послушал, —

подхватив разговор, оживился Левчук и сел ровно. — Это же я в сорок первом домой прибег — хорошо, недалеко бежать было — от Кобрина до Старобина. Под Старобином деревня моя, Курочки называется. Как немцы расколошматили полк, так мы кто где оказались: кто в плену, кто на восток подался, кто в лес. А я к бате прибег. Прибег, военное с себя сбросил, цивильное натянул, бате помогаю, живу. Батя говорит: спрячься, пока суд да дело, а я где там! Герой! Кого я буду бояться? Немцев пока нет, один полицай на деревню — Козлюк, здыхляк такой, недоделок, ходит с повязкой, драгунка на ремне. Так что, я его буду бояться? У меня у самого СВТ в варивне под стрехой, если что, я его враз шпокну. И правда, он меня не трогал, побаивался. Но вот под весну таких, как я, вызывают в район регистрироваться. Некоторые пошли, испугались — и тю-тю! Забрали. Раз такое дело, я за СВТ — и в лес. Вот тогда Козлюк и осмелел. Приехал с оравой районных бобиков — и за батю. «Где сын?» — «Не знаю». — «Ах не знаешь, так мы знаем!» И забрали батю. И — тю-тю батя. Из-за меня, героя. Очень смелого. А что бы послушать да спрятаться. Так где там отца слушаться. Он же на печи сидел, а я повосвал уже. Защитник Родины, а батю защитить не сумел.

Малый на руках у матери начал проявлять беспокойство — затрепыхался в своем шелковом сверточке и впервые, наверное, подал свой тихий, плаксивый голос. Клава взяла его — очень бережно и неумело, тихонько приговаривая что-то ласковое, и Грибоед сказал понимающе:

— Ага, давай, давай! Бач, есть хоча. Ну а ты адвярнися, чаго не бачыв?

Левчук отвернулся, и Клава пристроила ребенка к груди, слегка прикрывшись дерюжкой.

— А и хорошо! Ей-богу! — сказал Левчук, снова вытягиваясь на полу. — Не было бы войны, была бы у меня женка. Имел одну на примете. Ганкой звали. Да где там — ни Ганки, ни женки. Война!

— Господи! — с внезапно прорвавшейся болью сказала Клава. — Да разве я понимала, что такое война! Я же сама пошла, сама напросилась. Брать не хотели, по блату в радиошколу устраивалась. Думала... А тут! Господи, сколько тут горя, сколько крови, смертей! Как тут люди выдерживают, те, которые местные? Ну, мужчины, это понятно. А то женщины, девушки, дети. Их, бедных, за

что? Бьют, собаками травят, сжигают. Да еще с такой звериной жестокостью!

— Во потому и бьють, — сказал Грибоед, тяжело вздохнув. — Бо без защиты. И разрешается. Партизанов не дуже побьешь — сдачи дать могут. А гэтых, як овечек. Приедуть, обкружать, погонять всех в клуб или в сарай, нибы документы проверить. Усе знають, что не документы, а идуть. Надеются. Уже и запруть где, а все надеются: а вдруг пужають? И уже стрелять начнуть — все надеются: а може, не всех. Так до самой смерти всё надеются на лепшее. Каб яно спрахла, тое надеянье. Як яно помогае им уходвать наших!

— Ну хорошо, бьют немцы. А то ведь и наши. Полицаи эти. Как же у них руки поднимаются?

— Поднимутся, — сказал Левчук и сел ровно. — Потому как приказ. Если уж на такое пошли — форму надели, винтовки взяли, так сделают, что ни велят.

— Но как же пошли на такое? — не могла понять Клава.

— Жить захотели. И чтоб лучше других. А некоторые по глупости. Думали, это им хаханьки — с повязкой ходить. Третьи со зла на Советы. Обиделись и подались к немцам. А те сперва добренькие — «я, я», — посочувствовали, а потом винтовки в руки и приказ: пуф, пуф! Все с малого начинается.

— Хорошо еще, коли из-под силы, — рассудительно сказал Грибоед. — Оно и видать, коли из-под силы. Вунь был в Заруднчах выпадок, як палили: один немец угледел под печью подлетка, ды прикладом яго, прикладом запихал в самый кут — сяди. И гэный уцелел. Всех побили, попалили, а гэный уцелел. Немец уратовал. А которые як звери. От крови, от самогонки шалеют. Чем болей льют, тым болей хочется.

— Боже! — сказала Клава. — До сих пор все за себя боялась, а теперь мне вдвойне бояться надо. За него вот. Такой махонький!.. Золотиночка ты моя горькая, несчастненький ты мой мальчишечка, как же мне уберечь тебя? Почему же доля наша такая несчастная?..

Левчук с недовольным видом встал на ноги и отошел к двери — он не выносил таких причитаний, тем более женских, к которым просто не привык в жизни.

— Ладно тебе плакаться! Вынянчим как-нибудь! Вот только бы подходящее место найти. Видать, тут ни черта никого не дождешься.

— Дык яе ж рано трогать. Лежать ей треба, — заметил Грибоед.

— Пусть лежит. И ты с ней побудешь. А я пойду. Надо все-таки людей поискать. Где-то же они должны быть. Не всех же перебили. Может, осталось еще.

— В Круглянку треба подойти. Целая вёска была. Отсюль километров десять.

— Что ж, можно и в Круглянку. У меня там дядька знакомый был. На май вместе полицию гоняли.

— Або в Шипшиновичи. Але Шипшиновичи невядома, уцалели али нет? При лесе стоять.

— При лесе навряд ли... Дай котелок, за водой схожу. Что-то пить хочется.

Только Грибоед потянулся за казанком, чтобы подать его Левчуку, как Клава, опять недобро содрогнувшись, вся напряглась во внимании.

— Что? — не понял Левчук.

— Слышите? Слышите?..

— Что? — недовольно прикрикнул на нее Левчук и сам тут же застыл на середине тока.

В полуденной тишине неизвестно откуда донесся робкий мотивчик губной гармошки. Левчук молча схватил автомат и бросился к двери.

11

Дверь он только слегка приоткрыл и тут же прихлопнул снова — в узкую щель между досок и без того было хорошо видать, как по дороге из сожженной деревни ехали две повозки с темными седоками в обеих. В руках и за спинами этих седоков в черных пилотках торчали стволы винтовок, доносились голоса, смех и нежные звуки губной гармошки.

Левчук угрожающе-зло выругался.

— Что там, что? — начала испуганно добиваться Клава. — Немцы, да? Немцы?

— Немцы! — сказал Левчук и отпрянул от двери. — Грибоед — в угол! Ты накройсь! — Подскочив к Клаве, он выдернул из-под ее спины кожушок. — И лежи! Тихо только. Они мимо едут, — сам не веря в свои слова, пытался он успокоить друзей.

Грибоед послушно подался в угол, нашел там удобную щель и прилип к ней, следя за дорогой. Левчук припал к щели возле двери, вперив взгляд в повозки, которые быстро спустились к ручью, переехали его и, взбираясь

на пригорок, поехали медленней. Он сосчитал седоков — в передней повозке их было четверо и трое в задней. Самое важное теперь заключалось в том, проедут ли они мимо или остановятся возле гумна.

Нет, они не поехали мимо — на этой стороне ручья повозки остановились. Послышалась какая-то команда или окрик, кто-то соскочил на дорогу, и вот все уже послезали с повозок. У Левчука недобро стиснулось сердце — похоже было на то, что из этой беды им просто не выбраться.

— Грибоед, смотри! Тихо!

Но и без его команды в току было тихо, Клава, вместо того чтобы прикрыться кожушком, привстала на коленях в соломе и, прижимая к себе младенца, не сводила глаз с Левчука. Грибоед напряженно сгорбился возле своей щели.

«Что они будут делать? Что будут делать?» — безмолвно твердил Левчук свой вопрос, наблюдая, как они там разбирали оружие, еще что-то, распихивали по карманам обоймы патронов. Но вот, оставив на дороге повозки, все тронулись по тропке к гумну. Почти в самом ее начале они разделились на две группы — одна взяла направление к току, другая, поменьше, начала обходить гумно с другой стороны от ольшаника. Все было бы просто и понятно, если бы они вели себя иначе, не с такой глупой беспечностью. Будто ничего не подозревая, покуривая и переговариваясь, без заметной опаски, открыто шли по стежке к гумну. Именно эта их глупая или показная беспечность вместе с неясностью их намерений и сбила Левчука с толку, внушив ему надежду — авось не сюда. Может, они идут дальше и пройдут мимо. Скованный ожиданием, он прижался к стене возле своей щели, поставил на боевой взвод автомат и большим пальцем левой руки тихонько потрогал переводчик, убеждаясь, что тот стоит в положении стрельбы очередями.

Четверо беззаботным, расслабленным шагом уже подходили к току. Их очень удобно было срезать теперь одной меткой очередью, но все та же неопределенность их замысла удерживала Левчука от этого. А вдруг пройдут мимо, ко ржи, по каким-то своим делам, потому что откуда им известно, что в этом току сидят партизаны, думал Левчук, деревенея от напряжения.

— Левчук, что? Что? Где они? — отчаянным шепотом домогалась Клава, но он только мотнул головой.

— Тихо!

На какое-то время полицаи скрылись за углом тока — Левчук прижался лбом к шершавому бревну стены и не мог ничего увидеть. Они появились уже возле самой стены за малинником. Впереди шагал рослый полицай в суконном мундире с обвисшим от тяжелых подсумков ремнем на брюхе, с немецкой винтовкой в руке. В пальцах другой он держал сигарету и поспешно несколько раз затянулся перед тем, как бросить окурок наземь.

Он уже был на середине двора, и у Левчука все еще тлела слабенькая надежда, что, может, пройдет себе дальше. Левчук напряженно следил через щель за направлением его взгляда, который сперва скользнул вдоль стены тока, слегка задержался на углу, наверно, на густой чаще малинника, потом метнулся куда-то в сторону и остановился на остатках их костерка, от нескольких головешек которого еще шел слабый, едва приметный дымок. Левчук молча выругал себя за роковую беспечность, но было поздно. Полицай шагнул к двери, и та тихо скрипнула.

Прижимаясь спиной к стене, Левчук вскинул навстречу автомат, все еще не в состоянии расстаться с последними мгновениями своей надежды. Он думал, что снаружи не много чего увидишь в сумеречном помещении тока. Но не успел полицай раскрыть дверь, как возле стены напротив взметнулась темная фигура Клавы и в напряженной тиши грохнул один, второй, третий выстрелы. Полицай тихо вскрикнул и то ли упал за косяк, то ли просто скрылся в малиннике. Левчук сквозь доски двери стрикнул коротенькой очередью, и, чувствуя, что тотчас выстрелят в них, растянулся на земляном полу. Под стеной напротив, забившись за солому, нервно тряслась с пистолетом в руке Клава.

— Ложись! Ложись! — успел крикнуть он дважды, и первая пуля снаружи ударила в стену, отколов от бревна возле двери толстую сухую щепку. Сразу же с двух сторон тока часто загрохали выстрелы, пули в нескольких местах продырявили истлевшие бревна стен, трухой и пылью осыпая чисто подметенный глиняный пол. Начиналась осада.

Недолго полежав возле двери, Левчук ползком бросился к стене напротив, заглянул в низкую щель. Выстрелы грохали не поймешь откуда, под крышей и в небе взвизгивали пули, но камни фундамента неплохо прикрывали их у самой земли. Правда, малинник, которым оброс ток снаружи, местами наглухо заслонял щели, и Левчук опа-

сался, как бы те сволочи не подошли слишком близко. С близкого расстояния они могли бы ворваться в дверь, забросать их гранатами или расстрелять из автоматов в упор. Во что бы то ни стало следовало держать их как можно дальше от тока. Издали пусть стреляют. Теперь, когда начался этот бой, для Левчука все стало просто и обычно, окончательно исчезла неопределенность, потому что кончилась наивная детская надежда на авось. Он понимал, что попались они как следует, и все в нем устремилось к единой цели — не даться.

Он метался по току от стены к стене, заглядывая в щели, но полицаи тоже, наверно, укрылись, и, пока в углу не начал стрелять Грибоед, Левчук не мог понять, куда они подевались. Но если Грибоед стрелял, значит, он что-то видел, хотя бы с той, своей стороны. Клава лежала под стеной, прижав к себе малого и не сводя взгляда с двери. Левчук только раз взглянул в ее полные отчаяния глаза и понял, что радистке не повезло окончательно. Попались они все здорово, но ей будет хуже всех. Он хотел как-то ободрить ее, только не нашел для этого слов и, молча выругавшись, метнулся к овину. Та сторона тока не была прикрыта никем — надо было прикрыть ее самому.

В провонявшем дымом и копотью овине было почти темно и не светилось ни одной щели, кроме подслеповатого узкого окошка в стене. Он ткнул в его мутное стекло стволом автомата и тотчас вытянулся на устланном жердями полу. Одновременно грохнул недалекий выстрел, и на черном боку бревна блеснуло белое пятнышко — след пули. Значит, они перекрыли уже и эту сторону тока, уныло подумал Левчук, значит, и в рожь тоже не выскочишь. Их незавидное положение час от часу ухудшалось.

Полежав немного, он осторожно поднялся к окошку и сбоку взглянул в сторону ольшаника. На краю ржаной нивы чернели по грудь две фигуры в пилотках — они караулили его. Левчук, не высовывая автомата, дал наискось в окно коротенькую очередь в их сторону — пусть знают, что и тут есть кому выстрелить. Пусть не надеются! Затем, пригнувшись, перескочил высокий порог овина и упал под стеной возле Грибоеда, пристально наблюдавшего в щель. Клава лежала за соломой, бережно прикрывая собой беленький сверток с младенцем. Бахнул одиночный выстрел, взвизгнула под балкой пуля, и стрельба вокруг почему-то смолкла.

— Грибоед, патронов много?

Ездовой повернулся на бок, не отрывая взгляда от цели, ощупал карманы мундира, скрюченными пальцами вытащил несколько обойм.

— Во, четыре обоймы.

— И все?

— Ну.

— У тебя, Клава?

— Было восемь штук.

— Три выстрелила, осталось пять. Да-а.... Повоюешь тут!

Положение, в общем, оставалось скверным, если не совсем безнадежным. Их обложили со всех сторон и держали под постоянным обстрелом. Конечно, патронов у полицаев хватало, им просто смешно было думать, чтобы долго отбиваться жалкими пятью десятками. Но тогда что же? Надо было на что-то надеяться или на что решиться, только Левчук не мог придумать на что. Полежав, он сдвинул переводчик автомата на одиночный огонь. Теперь он решил стрелять только прицельно и только по одному патрону.

— Что же нам делать, Левчук? Боже, что же нам делать? — с тихим отчаянием вопрошала Клава.

— Тихо! Лежи! Смотри на дверь. Ты смотри на дверь. Если кто, бей прямо в лобатину! — приказал он и посмотрел на эту чертову дверь — огромную, из тонких неструганых досок, обеими половинками открывающуюся наружу, отсюда же ее нельзя было ни подпереть, ни задвинуть. Стоит тем сволочам бросить гранату, и они вовсе останутся без двери, тогда врывайся и расстреливай всех на месте.

На какое-то время в перестрелке настала заминка, полицаи, наверное, совещались, как быть, и вот где-то поблизости раздался приглушенный стенами голос:

— Эй ты, Кудлатый! Не пора ли сдаваться?

Левчук вздрогнул: Кудлатым его одно время звали в разведке, и теперь этот голос показался ему до того знакомым, что он удивился — кто бы это мог быть?

— Эй! Слышь? Пора сдаваться, пока не поджарили, Или ты уже тае — загибаешься?

— Гэта ж той, — обернулся лицом к нему Грибоед. — Что со станции прибег.

— Кудрявцев?

— Ну.

Левчук тихо выругался, он был ошеломлен этим от-

крытием. Минуту он молча лежал, чувствуя, как его наполняет неодолимое желание сейчас же выскочить из тока и всадить в того подлеца все, что еще оставалось в его автомате. Пусть тогда убивают и его самого. Но все-таки он заглушил в себе внезапную вспышку гнева и не выскочил, а на коленях подался к Грибоеду.

— Вунь за поветкой. За соломой вунь вытыркается.

— А ну дай!

Он взял у ездового расхлябанную его драгунку и удобнее устроился возле стены. Как он ни старался просунуть винтовку в щель, туда пролезал только тонкий ствол с мушкой. Хорошо еще, что щели в стене снаружи прикрывал малинник, за которым вряд ли что можно было заметить. Впрочем, и отсюда видать было плохо, Левчуку стоило немалого труда направить винтовку на угол повети, где за соломой лежал Кудрявцев. Он дождался, когда тот шевельнулся, показав верх черной пилотки, и выстрелил. Потом, быстро перезарядив винтовку, выстрелил снова в то же самое место и подождал.

Но ждать не пришлось долго, из-за повети как ни в чем не бывало снова раздался зычный знакомый голос:

— Достреляешься, Кудлатый! Повесим за челюсть! На столбе подыхать будешь!

— Ахохо ты не хошь! — крикнул Левчук, не сдержавшись.

— Брось дурить, кретин! Высылай из сарая радистку и поднимай руки. Жить будешь!

— Я и так жить буду, подлюга! А ты в веревке подохнешь, продажная шкура!

— Ну, пеняй на себя! — донеслось снаружи. — А ну, хлопцы, огонь!

На этот раз они задали такого огня, какого Левчук давно уже не слышал. Грохало за поветью, возле дороги, от ольшаника; лесное эхо вокруг множило выстрелы, и казалось, целый взвод палит по ним со всех четырех сторон. Пули со злым частым стуком долбили и крошили истлевшее дерево стен, на головы сыпались щепки, труха, сухой мох из пазов. Соломенный мусор густо осыпал пол, и пыль столбом стояла в подстрешье. Наверное, они бы легко перебили тут всех, если бы не прикрытый малинником фундамент, который по-прежнему спасал их от пуль. Правда, теперь поднять из-за него голову, чтобы выглянуть в щель, невозможно, и все-таки выглянуть было необходимо. Левчук знал, что этот огонь не так себе,

что под его прикрытием эти волки попытаются подобраться к постройке. И он, лежа под стеной, чутко прислушивался к беспорядочно частым выстрелам, чтобы уловить в них момент, когда следует ударить навстречу. У него уже был некоторый на этот счет опыт, и теперь он не так увидел, как внутренне почувствовал, что они близко. Тогда, вскинув автомат, он выстрелил через щель в одну сторону, в другую; рядом несколько раз грохнул из винтовки Грибоед. Скрываясь с головой за камнями, он успел заметить сквозь сухие стебли малинника, как кто-то там тоже упал на землю, кто-то, пригнувшись, метнулся в сторону, за поветь. Наверно, умирать в этом гумне им тоже не очень хотелось. Минуту спустя из ольшаника еще постреливали, но возле повети уже притихли. Похоже, что он опять выиграл какую-то для себя передышку, возможность подумать, как быть дальше. Но тут его охватило новое беспокойство за тот конец тока, и он бросился по лестнице на овин.

Он сделал три шага по мягкой земляной засыпке и растянулся возле ветхого соломенного щитка. Здесь было несколько дыр, через одну он глянул сверху на рожь и злорадно ухмыльнулся: двое в черных пилотках, с расстегнутыми воротниками кителей по-воровски подкрадывались к току. Ощутив коротенькое удовлетворение в душе, он медленно взвел затвор. Полицаи, пригибаясь, чтобы не слишком высовываться над рожью, не могли здесь видеть его, и он, тщательно прицелясь, щелкнул одиночным выстрелом. Передний полицай, будто удивившись чему-то, выпрямился во весь рост, запрокинув голову, повернулся на каблуках и рухнул всем телом в рожь. Второй, не дожидаясь, когда попадется на мушку, прытко припустил к ольшанику. Левчук торопливо выстрелил вдогон без всякой надежды попасть и тут же пожалел напрасно истраченный патрон.

Двух выстрелов оказалось достаточно, чтобы его засекли, и как только первая пуля, сыпанув песком, ударила через потолок снизу, он скатился по лестнице в ток. Он ощутил в себе чувство признательности к этой старой постройке, которая своим простором и спасала их тут. Пусть стреляют, подумал Левчук, ток большой, не так легко здесь в кого-либо попасть.

Он лег у стены, к которой все время прижималась Клава, и в узкую щель между бревен попытался увидеть, куда девался бежавший из ржи полицай. Но, кажется, с этой стороны его нигде не было, или, может, он уже успел

скрыться в ольшанике. От повети еще раза два выстрелили, потом как-то разом все смолкло.

— Эй ты, живой еще? — глухо донесся все тот же голос Кудрявцева. — Хватит пулями кидаться! Давай радисточку и катись к чертовой матери! Слышь!

В гнетущей тишине, наставшей после лихорадочной стрельбы, эти слова за стеной прозвучали зловеще. Левчук молчал, и те тоже замолкли: наверно, ждали ответа. Трудно было понять, почему они требуют радистку и откуда им известно, что она тут. Но, по-видимому, известно. И Левчук вдруг понял, что именно за этим они сюда и приехали. А он, балда, все на что-то надеялся, полагался на знаменитое авось — надо было сразу же секануть по ним очередью, может бы, меньше осталось. А теперь что сделаешь? Клава, во второй раз услышав их требование, опустила на солому малого и заплакала.

— Ой, господи!.. Ой, что же нам делать?..

Действительно, что делать — было неизвестно, но и не сдаваться же этим подонкам. И Левчук, лежа за фундаментом, громко прокричал в ответ:

— Эй ты! Иди возьми радисточку! Ну! Иди возьми!..

И, вскинув автомат, выстрелил туда через щель — выстрелил всего только раз, больше он не мог позволить себе, но и этого раза для них, наверно, было достаточно.

— Ну, падла! — крикнул Кудрявцев. — Держись! Скоро мы тебя поджарим, как кабана в соломе!

12

Левчук сразу понял, что это было их намерение, а не пустая угроза. Конечно, куда как соблазнительно было сжечь всех вместе с током, но для этого, наверно, надо было к нему подойти. И он решил ни в коем случае не подпускать их к току, отбиваться до последней возможности. У него был парабеллум с горстью патронов, две обоймы оставались у Грибоеда и пять патронов у Клавы — может, и удастся продержаться до ночи. Им очень нужна была ночь, может, в ночи они бы и спаслись. Но солнце, черт бы его подрал, висело еще высоко, до ночи еще надо было дожить. До ночи им было не ближе, чем до конца войны.

— Грибоед, смотри! Будут подползать — бей!

Про себя он прикинул, что двух, наверное, они под-

стрелили, а может, даже и трех. По выстрелам трудно было определить, сколько их там осталось, но, пожалуй, не больше пяти. Двое лежали за углом повети, двое скрывались в ольшанике, и один, наверное, сидел в засаде во ржи. Второй там уже не поднимется. Постаравшись, наверно, можно подстрелить еще двух, и если к полицаям не придет подмога, то к вечеру их силы окажутся равными. Тогда они еще поглядят, кто кого.

Левчук стал следить за той стороной, от леса, которая теперь казалась ему наиболее опасной. Он думал, что кто-то из них поползет оттуда с огнем, чтобы подожечь ток. Или, может, прежде зажгут поветь? Правда, он не знал, с какой стороны дул ветер и куда понесет огонь. Но он как никогда прежде был бдителен и намерился не подпустить поджигателя.

Потому, когда из-за повети грохнул очередной выстрел и пуля, сверкнув в подстрешье, навылет пронизала крышу, он ничуть не встревожился, подумав, что это трассирующая. Следом грохнуло еще раз, никакой трассы не было видно, и он решил, что это обычная. И только когда прогремел третий выстрел, он понял, что́ они надумали, и от гнева у него помутилось в глазах.

Они начали обстрел зажигательными.

Клава лежала на боку под стеной, заслоняя собой младенца, в углу возле своей щели замер Грибоед — они не поняли еще ничего, и он ничего не сказал им. Он ждал, когда загорится крыша, и против этого был бессилен. Он даже не мог долезть до нее, чтобы попытаться затушить огонь. Да и чем тут было тушить?

Долго ждать ему не пришлось — после четырех-пяти выстрелов в току потянуло дымом. Клава первая повернулась возле стены, глянула вверх и приглушенно вскрикнула, будто от боли:

— Левчук, Левчук!

— Тихо! Подожди! Тихо!..

Но чего было ждать, он не знал и сам. Первые минуты он только смотрел, как с конца тока, над их головами, занималась огнем стреха и ток все больше наполнялся дымом. В соломе сначала прогорела небольшая дыра, потом огонь от нее быстро побежал вверх и в стороны. Порывистое пламя, набрав силу, затрещало, загудело, пожирая сухую солому; сквозь дым на их головы посыпались соломенная гарь и угли. Вскоре Грибоед вынужден был оставить свой угол и перебраться поближе к двери; Клава с младенцем подалась туда же. Левчук оставался на

прежнем месте, то и дело поглядывая в щель. Ему, в общем, пока было терпимо, если бы не клубами валивший в ток дым, от которого нечем было дышать, и Левчук представлял себе, что тут будет, когда займется вся крыша.

— Клава, в овин! — крикнул он радистке. — Живо!

Клаву не надо было уговаривать, она проворно перекатилась через порог, и Грибоед, стукнув дверью, запер ее в овине.

Вдвоем с Грибоедом Левчуку стало легче и проще, отпала надобность все время заботиться об этой несчастной матери. Пока по ним не стреляли, они могли посовещаться и решить, как быть, потому что очень скоро всякое их решение могло оказаться напрасным.

— Пропадем мы, напэвна, га? — спросил Грибоед, повернув к Левчуку растерянное лицо с покрасневшими от дыма глазами.

— Пусть они пропадут, — сказал Левчук, не найдя в утешение ничего другого. — А мы еще посмотрим...

Он лихорадочно перебирал в голове все возможные варианты спасения и не находил ничего. Пока полицаи караулили их со всех четырех сторон, выбегать из тока было безрассудством. Но и оставаясь тут, они не могли продержаться долго. Тогда что же делать?

Перегорев в креплениях, рухнула крайняя пара стропил, взбив в конце тока густой рой искр. Грибоед отодвинул в сторону босые ноги, а Левчук, едва увернувшись от огня, отбросил сапогом горящую палку и перебежал к двери.

— Ну во, зараз сгорим, — спокойно сказал Грибоед и закашлялся.

«Да, так, пожалуй, сгорим», — подумал Левчук. Но, прежде чем сгореть, надо было что-то сделать или хотя бы попытаться сделать, а если уже не получится, тогда что ж, тогда оставалось гореть.

— Грибоед! — крикнул он, тоже закашлявшись. — Грибоед, а ну дверь! Толкни дверь!

Грибоед протянул руку и толкнул половинку двери, та немного приотворилась, и сразу же из-за повети бахнули два выстрела. В тонких досках двери появились две новые дырки.

— Да-а... Холера на их!..

Однако другого выхода у них не оставалось, надо было прорываться из этого ада, а прорваться можно было лишь через дверь. Уже пылал весь конец тока. Вверху гудело

и трещало, солома и поплет почти сплошь прогорели, теперь пылали стропила и верхние венцы стен, по которым бегали языки пламени. Пол густо засыпало пеплом, гарью и огненным мусором догоравшей соломы. Грибоед закутался в обгоревшую полосатую дерюжку, Левчук спохватился, что горят сзади штаны, и, поерзав по земле, едва затушил их. Становилось невыносимо жарко, внизу тоже всюду дымилось, от дыма саднило в горле, и слезы не переставая текли из глаз, порой вовсе не давая глядеть. Только возле приоткрытой двери еще можно было ухватить свежего воздуха.

В овине тоже, наверно, стало не лучше, хотя земляная присыпка на чердаке и предохраняла его от огня, который по крыше подбирался уже и к овину. Через несколько минут дверь из него резко распахнулась, и, зайдясь в кашле, на пороге упала Клава.

— Не могу... Не могу больше! Левчук! Я выйду! Спасите ребенка...

— Молчи! — зло крикнул на нее Левчук. — Я тебе выйду! А ну ползи сюда!

Все кашляя, она подползла к двери, и он отодвинулся в сторону, давая ей место рядом. Одна половинка двери была немного приоткрыта, в нее задувал ветер и крутил дым, валивший не поймешь куда — то ли в ток, то ли из тока. Левчук потянулся и автоматом толкнул дверь дальше — она распахнулась шире. Опять грохнул выстрел, другой, одна пуля ударила возле пробоя, расколов раму двери, другая, по-видимому, прошла мимо. Он крикнул Грибоеду: «Держи!», чтобы дверь не закрылась, а сам кивнул Клаве:

— Давай! Слышишь? Живо в малинник!

Она подняла к нему залитое слезами лицо и, прижав младенца к груди, несколько секунд смотрела, боясь или, может, не понимая его намерения. Но времени у них оставалось все меньше, полыхала почти вся крыша, огонь оседал ниже и принимался за стены тока. Было так жарко, что казалось, вот-вот они загорятся сами. Испугавшись, что Клава не успеет, Левчук решительно толкнул ее к двери. Подобравшись, радистка покорно поднялась на четвереньки и, секунду помедлив, боком скользнула за прикрытую половинку в малинник. Он ожидал выстрела, но с выстрелом полицаи промедлили, наверно, ее прикрыл дым из двери, и от повети ее не сразу заметили.

— Грибоед, бей! По тем бей! — крикнул Левчук, а сам, рискуя вспыхнуть или задохнуться в горячем дыму,

бросился по лестнице наверх. Ему надо было прикрыть ее сверху, не дать застрелить возле тока или перехватить во ржи, куда она неминуемо должна была податься. Он не представлял точно, как помочь ей, не знал даже, сколько у него было в диске, но отчаянно взлетел под самый огонь на овин к знакомой дыре в щитке.

Ржаную ниву внизу густо застилал дым, посвежевший ветер клубами гнал его в поле; задыхаясь, Левчук метнул по ржи затуманенным от слез взглядом и нигде не увидел Клавы. Возможно, ее застрелили в малиннике или она уже успела отбежать от тока и скрыться во ржи. Действительно, два темных силуэта с краю ольшаника стреляли куда-то сквозь дым, и он, побольше ухватив ртом воздуха, быстро направил на них автомат. Из огня и дыма он выпустил по ним все, что еще оставалось у него в диске, затем снова вдохнул горячего, обжегшего его грудь воздуха и понял, что задыхается. В глазах у него потемнело, он испугался, что потеряет сознание, и, ухватившись левой рукой за бревно, ринулся через дыру в малинник.

Он сильно ударился бедром о камень, но тут же вскочил, почувствовав, как из-под рук рикошетом брызнула пуля. Кажется, она его не задела, и он, пригнувшись, бросился в рожь. Тут его сразу накрыло горячим дымом, он опять задохнулся и, запутавшись ногами во ржи, упал, вскочил, побежал — прочь от огня, от тока, возле которого зачастили выстрелы и, наверное, появились немцы. Начали стрелять и со стороны ольшаника — над рожью в дыму сверкнуло несколько огненно-зеленоватых трасс, и он бросился в другую сторону, в поле, потому что дорога в ольшаник уже была отрезана. Дым, однако, редел, удушливым туманом расползаясь по ржи, и Левчук, пригибаясь, бежал все дальше. Сзади стреляли, даже кричали что-то, но он не слушал, ему надо было скорее добежать до леса, хотя бы до того самого ольшаничка, так как в поле спасения ему не было. И он начал забирать в сторону, пересек одну, вторую межу, все время пригибаясь, споткнулся, вскочил, помогая себе руками. На боль в правом плече он давно перестал обращать внимание, лишь стискивал челюсти, когда становилось особенно больно, кепку свою он потерял где-то, пот заливал его лоб, щеки и вместе с дымом выедал глаза. Потом стрельба по нему как-то отдалилась, вроде готовая и совсем прекратиться, и он подумал, что спасся. Только надо было в ольшаничек.

По белой от ромашек меже он выбежал из ржаного

поля и тут же попятился назад. Но было уже поздно. На неширoком травянистом пространстве между рожью и лесом наперерез ему устало бежали двое; увидев его, задний что-то крикнул переднему, и тот, сноровисто упав на колено, выстрелил. Левчук, сильно пригнувшись, бросился назад, в рожь, и побежал поперек нивы. Вскоре, однако, рожь кончилась, впереди простиралась заболоченная луговина с некошеной осоковатой травой и за ней опять поле. Но в поле ему бежать было незачем, там его запросто могла настичь пуля. Да и сил у него было в обрез, легким не хватало воздуха. Он остановился, вынул из кобуры парабеллум и звучно клацнул затвором, дослав первый патрон в патронник.

Скоро появились и его преследователи: выглянув над рожью, он увидал их черные пилотки и выстрелил два раза подряд. Пилотки исчезли, он выглянул снова и, когда первая появилась над рожью, выстрелил еще раз. Потом с пистолетом в руке обессиленно побежал краем лужайки наискось от ржи к ольшанику.

На бегу он явственно чувствовал, что не успеет, что вот-вот следом выскочат из ржи полицаи. И он старался изо всех сил, только силы его катастрофически убывали. Он все больше слабел, шаг его с каждой минутой делался у́же, ноги подкашивались, и он боялся, что упадет и тогда — все.

Он оглянулся, когда сзади опять грохнул выстрел и пуля прошла очень близко над его головой. Но и тогда он не ускорил бег, наоборот, почти перешел на шаг. Его преследователь остановился на краю ржи, выстрелил с руки, потом перезарядил карабин и стал на колено, вперев в него локоть. Так, конечно, целиться стало удобнее, можно было ударить наверняка. Но и тогда Левчук не побежал. Кроме того, что не осталось силы, что-то в нем надорвалось в этой бесконечной борьбе за жизнь, он про себя сказал тому: «Бей, собака!» — и, пошатываясь, побрел к ольшанику.

Ему оставалось совсем немного, чтобы скрыться в кустарнике, как полицай выстрелил. Пуля стремительно выбила в дерне из-под его ног косую черную полосу и срикошетила в небо: «Давай, давай!» — бросил он, не оглядываясь, и брел дальше. Он отчетливо чувствовал, как пуля в любое мгновение может пронзить его тело, но ничего уже сделать с собой не мог.

Третий выстрел донесся до его слуха на мгновение после того, как пуля хлестнула по поле пиджака и несколь-

ко патронов из кармана упали в траву. Он испуганно схватился рукой за карман, будто патроны теперь были дороже собственной жизни, и быстро собрал их в траве. Потом, держась рукой за карман, понял, что все-таки отошел от ржи далеко. Шанс получить пулю теперь значительно уменьшился, и он окончательно перестал обращать внимание на все еще грохавшие сзади выстрелы.

Он продрался через густое сплетение ветвей на опушке и взошел на хвойный пригорок. Тут начинался лес. Кажется, за ним не гнались, но он все шел, шел между сосен, пока не набрел на теплую сухую поляну, поросшую мхом беломошником. Споткнувшись о корень, упал на мягкий, усыпанный хвоей мох. У него уже не хватило сил повернуться на бок, и он остался лежать ничком.

Тем временем летний свет в небе начал тускнеть, солнце склонилось к закату, в лесу под соснами растекались прохладные сумерки, надвигалась ночь...

13

Потеряв надежду кого-либо дождаться, Левчук взял чемоданчик и пошел в подъезд позвонить. Думалось, может, он их просмотрел и они давно уже дома. Конечно, в лицо он никого не знал, хотя и чувствовал каким-то своим чутьем, что если где увидит, то обязательно узнает.

На его три звонка опять никто не отозвался, квартира глухо молчала. В этот раз соседка тоже не поинтересовалась им, и Левчук опять сошел вниз во двор. Убивая время, обошел вокруг дворовой территории и вернулся на свою скамейку под кирпичной стеной. Надо было ожидать. Не ехать же без уважительной причины назад, если уж приехал за пятьсот километров, хотя никто его тут не ждал. Но эта встреча больше, чем кому-либо другому, была нужна ему самому. Он не мог забыть то, что тогда пережил, даже если бы и хотел это сделать. Так же как и ту ночь, когда ему повезло меньше. Тогда за его жизнь заплатил собственной жизнью другой, и эта дорогая плата, как невозвращенный долг, тридцать лет лежала на его совести. Трудно было жить с нею, но что сделаешь? Пережитого не переиначишь...

На рождество в сорок третьем они рвали «железку».

Сначала все шло хорошо, трое их под командой бывшего сержанта Колобова за ночь добрались из пущи до Селетнева, небольшой деревушки под лесом, от которой до железной дороги было два километра, передневали у своего человека и, как только стемнело, пошли на «железку». Охрана их проворонила, они быстро подложили мину и спустя минут двадцать грохнули тяжело груженный состав, шедший в сторону фронта. Ошеломленные немцы не сразу пришли в себя и опоздали открыть огонь, подрывники кружным путем возвратились в деревню, выпили, поели и завалились спать. Но у них была еще одна мина-запаска, которую грех было нести назад в пущу, и в следующую ночь, дав порядочный крюк, они подошли к «железке» с другой, лесной, стороны. Думалось, немцы их тут не ожидают и все удастся не хуже, чем удалось вчера. Но на повороте железнодорожной насыпи они заметили патрулей и притаились на краю лесного завала в пятидесяти шагах от линии. Надо было ждать. Часа три пришлось дьявольски мерзнуть на сильном морозе, пока дождались, когда патрули пошли в бункер греться, и поставили мину. На линии, в общем, было спокойно, перед тем прошел состав со стороны фронта, вскоре должен был появиться другой — на фронт. И тогда Колобову пришло в голову, что в спешке они не совсем как надо замаскировали мину, патрули при обходе могут заметить следы их работы и поднять тревогу. Левчуку очень не хотелось снова лезть через заснеженный завал к насыпи, он будто чувствовал, что это добром не кончится. Но отговорить Колобова от чего-либо, что тот вобьет себе в голову, было невозможно. Правда, вместо того чтобы послать кого-нибудь из троих — Левчука, Филиппова или Крюка, командир полез через завал сам.

Лезть через беспорядочно наваленные вдоль линии суковатые березы и ели было нелегко, пока он пробрался через них, прошло, наверно, немало времени, и на железной дороге что-то изменилось. Может, раньше времени начали свой обход патрули, а может, начальство вышло с проверкой на линию. Им из завала не очень было видать, что там случилось, только вдруг послышался крик, трассирующая очередь хлестнула по насыпи и вихрем пронеслась над завалом. Потом ударил пулемет из бункера. Чтобы прикрыть товарища, они несколько раз выстрелили туда из винтовок, но пулемет сыпанул по завалу такой густой очередью, что они сунулись головами

под дерево и лежали так минут пять, не решаясь высунуться. И именно в это время Левчук услышал слабый крик Колобова и понял, что с командиром случилось наихудшее.

Пулемет захлебывался в своей слепой ярости, огненными потоками пуль осыпая завал, строчили патрули из-за насыпи, а Левчук через выворотины и суковины бросился на ту сторону, к линии. Потеряв рукавицы и разодрав рукав телогрейки, он выбрался наконец из завала и сразу наткнулся на Колобова, лежащего в окровавленном маскхалате возле суковатой рогатины-елки, перебраться через которую у него уже не хватило сил. Левчук молча ухватил его под мышки, обполз ель, под шквалом огня перевалил его через другое, косо поваленное дерево. Колобов постанывал, сжав зубы, из одной штанины его маскхалата лилась на снег черная кровь. Взмокнув на морозе от пота, Левчук за четверть часа все же одолел этот проклятый завал, выполз на его лесную сторону и не нашел там ребят. Он подумал, что, может, они отбежали в тут же начинавшийся лес, взвалил на себя Колобова и под непрекращавшимся огнем из бункера шатко побежал между деревьев — подальше от этого огненного ада.

Все время он ждал, что Филиппов с Крюком вот-вот встретят его, но он брел в сосняке с полчаса, а их нигде не было. Вконец умаявшись, он упал на снег и не скоро поднялся. Стрельба сзади будто стихала, хотя пулемет еще и трещал очередями, но тут, в лесу, его огненных трасс уже не было видно, и это вселяло надежду. Колобов все молчал, изредка поскрипывал зубами, и Левчук думал, что, видно, командиру досталось. Едва отдышавшись, он решил посмотреть раненого и расстегнул его брюки, но там все было так залито быстро густевшей на морозе кровью, что он испугался. Он снял с себя тонкий свой брючный ремешок и два раза обмотал им раненое бедро Колобова, пытаясь хотя бы остановить кровь. Затем, все прислушиваясь к звукам этой злосчастной ночи, долго нес командира через притихший, настороженный лес, а ребят так нигде и не встретил. Сначала он злился, подумав, что те убежали, но так далеко убегать, наверное, не было надобности. Значит... Значит, они навсегда остались все в том же завале.

Примерно в середине ночи он выбрался из леса. Ельник кончился, начались какие-то кустарники, мелколесье, стало совсем тихо. В безмесячном небе роями сверкали

звезды, входил в силу мороз. Его рождественскую хватку Левчук давно уже ощущал прежде всего по своим рукам, которыми он держал Колобова, — руки мерзли так, что казалось, отмерзнут совсем. Телу и ногам в валенках было жарко, грудь горела от усталости, горячий пар валил изо рта, а руки зашлись так, что он едва мог терпеть. С Колобовым они не разговаривали, кажется, тот был без сознания или просто не мог вымолвить ни слова.

Неизвестно, как далеко он отошел от железной дороги и который был час, но ему казалось, что где-то должна была появиться деревня. Он все пристальнее вглядывался в сокрытую сумерками местность и не узнавал ее. Он просто не знал, куда шел, потому что в этих краях никогда не был, и брел наугад, надеясь все же прибиться к какой деревне.

Шло время, остановки его делались все продолжительнее, усталость брала свое, руки отмерзали, и он ничего не мог с этим сделать. Он выбивался из сил. До слез в глазах он вглядывался в ночной серый сумрак и все думал, что, может, где покажутся хоть какие-нибудь признаки близкой деревни. Только деревня могла спасти их обоих. Но его надежда на это таяла, как льдинка во рту, — местность вокруг лежала диковатая, малообжитая, в такой не скоро найдешь деревню, тем более ночью. И он в который уже раз, став на колени, взваливал на себя страшно отяжелевшее тело Колобова и куда-то брел в перелесках — в ту сторону, где, казалось ему, была пуща. Хорошо еще, что снег был неглубокий и особенно не затруднял ходьбу.

Он заметил их во время очередной остановки, как только опустил на снег Колобова и рукавом разодранного маскхалата вытер вспотевший лоб. В морозных сумерках показалось сначала, что это человек, но, всмотревшись, он понял: волк! Тот стоял среди мелколесья в полсотне шагов от него и настороженно вглядывался, будто дожидаясь чего-то. Левчук, однако, мало испугался — подумаешь, волк! У него была винтовка да еще автомат Колобова, что ему какой-то зимний оголодавший волк. Приподнявшись, он даже взмахнул на него рукой — мол, пошел прочь, дурак! Но волк только шевельнул ушами и слегка повел мордой в сторону, где появился еще один, а затем и два таких же, как и первый, подтянутых, настороженных, готовых к чему-то хищников. Левчук почувствовал, как похолодело в его разгоряченном созна-

нии: четыре волка в его положении — это уже не шутка. Подумав, что они бросятся на него, Левчук взялся за автомат, висевший на его груди, одубевшими пальцами нащупал рукоятку затвора. Однако волки как будто не проявляли никакого враждебного к нему намерения и продолжали стоять в редком кустарнике — трое впереди и один на два шага сзади. Все чего-то ждали. Чего только?

Его тревога передалась Колобову, и тот, привстав за его спиной, тоже вгляделся в ночной снежный сумрак.

— Сволочи! Еще не хватало...

Не сводя с волков глаз, Левчук встал на ноги, сделал несколько шагов к кустарнику. Волки без заметного страха тоже отошли на несколько шагов. Что было с ними делать?

Вернувшись к Колобову, Левчук взвалил его на спину и пошагал дальше. На ходу, с подвернутой головой, ему трудно было следить за волками, он едва видел снег под ногами, но чувствовал, что они не отстают. Они шли рядом, параллельно его направлению, пристально следя за каждым его движением, и Левчук думал: может, стоит запустить в них автоматной очередью, чтобы отстали? А может, наоборот — не следовало их трогать, ведь они же пока не трогали? Может, они пройдут так немного и свернут по своим делам? Зачем им люди?

Но у хищников, видно, были свои намерения относительно этих двух выбивавшихся из сил людей.

Тем временем кончился и кустарник, впереди забелело огромное пространство поля. Левчук с внезапно вспыхнувшей надеждой подумал, что уж тут наверняка где-то будет деревня и эти твари наконец повернут обратно. Он опустился коленями в снег, затем лег на бок, свалил с себя Колобова и не сразу поднял голову, чтобы посмотреть на волков. Но они были тут же и даже подошли еще ближе. Рослый передний волк с одним заметно длиннее другого ухом приблизился к людям, может, шагов на сорок и стоял с некоторым даже вызовом в своей настороженной выжидательной позе. Двое других ждали немного сзади, а четвертого почему-то тут не было, и Левчук удивился: куда он делся? Он удивился еще больше, когда, оглянувшись, увидел, как, обходя кустарничек, где снег был поглубже, следовал еще один выводок. На чистом, притуманенном сумерками снегу были хоро-

шо видны четыре зверя, быстро обходившие их с другой стороны.

Левчуку стало не по себе. Уже с твердым намерением отогнать их выстрелом, он перекинул через голову ремень автомата и только потянул затвор, как рядом обессиленно завозился Колобов.

— Постой, ты что?

— А что? Смотри, их уже семеро.

— Где мы — ты видишь? — трудно просипел командир, и Левчук растерянно вгляделся в сумрак, стараясь угадать, куда они вышли. В самом деле, лес они весь перешли, впереди в чистом поле что-то темнело, не кустарник и не бурьян, как погодя догадался Левчук, это был наполовину засыпанный снегом камыш, и за ним тускло белела голая ровнядь. В стороне от нее, кажется, поднимался пригорок, но там над темным и звездным небом ничего не было видно.

— Заровское озеро, — сказал после паузы Колобов и упал грудью на снег.

— Заровское?

Левчук удивился — куда же они забрели? Но, по-видимому, Колобов был прав. Та снежная ровнядь за камышом, которую он принял за поле, на деле оказалась озером. Конечно, озеро само по себе не представляло для них опасности, наверное, оно замерзло. Опасность была в другом, и она не дала Левчуку запустить по волкам из автомата. На длинном пригорке, что едва угадывался в темени ночи, знал Левчук, раскинулась большая деревня Заровье, которую они всегда обходили как можно дальше, потому что там располагался немецкий гарнизон с дзотами, траншеями, бункерами, круглосуточной охраной и патрулями. Стрелять тут, под носом у гарнизона, было бы самоубийством. Тем более в их положении.

Но тогда как же быть с этой стаей?

Волки, наверное, тоже почувствовали, что их территория скоро кончится и начнется та, где они не хозяева. Они обошли людей с обеих сторон и встали на снегу, будто ожидая, что̀ те предпримут дальше.

Вперед, однако, можно было пройти.

Чтобы воспользоваться этой пока что единственной для него возможностью, Левчук перебросил через голову ремень автомата, напрягся, взвалил на себя Колобова. На том месте, где лежал раненый, осталось темное пятно крови, и он подумал, что, видимо, кровь манит хищни-

ков, обещая им скорую поживу. Но уж черта! Если это Заровье, то надо скорее перейти через озеро, а там, помнится, была еще деревня, может, в ней не окажется немцев, значит, найдутся добрые люди, помогут.

Он не дошел до камыша каких-нибудь десяти шагов, как одна его нога неожиданно провалилась в глубь снега, он рванулся в сторону и провалился обеими. Сразу же почувствовал, что попал в воду, наверно, тут была криница или не замерзшее с осени болото. Сильно разворотив снеговую целину, кое-как выгребся на более твердое, уже зная, что по колени мокрый, в валенках хлюпала вода. С досады он выругался, вспомнив, как перед выходом на это задание едва уговорил Башлыка поменяться обувью и отдал ему свои исправные сапоги, взяв эти валенки. Теперь не успел он пройти полсотни шагов, как почувствовал, что мороз стальными клещами стягивает его ступни, — как было идти дальше?

С Колобовым на спине он едва дотащился до берега озера, пробрался через тростник, еще раза два провалился, хотя и не так глубоко, как первый, и не до самой воды. Впрочем, теперь ему было уже безразлично, можно было идти и по воде. Ноги мерзли. Особенно скверно стало на льду, с которого ветер местами посдувал снег. Левчук застучал твердыми валенками, поскользнулся, едва не упал. В этот раз он прошел немного и почувствовал, что должен остановиться, иначе упадет вместе с ношей. Он осторожно опустился коленями на присыпанный снегом лед и бережно положил рядом Колобова.

Какое-то время волки еще бежали ленивой рысью следом за вожаком с оттопыренным ухом, но остановился вожак — и остановилась вся стая. Они ждали, и Левчук вдруг потерял выдержку. От всех этих бед, одна за другой сыпавшихся на его голову, трудно было сдержаться, он громко и зло выругался, давая тем выход своему отчаянию. Бежать было невозможно, стрелять тоже — неужто же им придется погибнуть на этом проклятом озере?

Наверное, волки почувствовали беспомощность двух ослабевших людей и совсем осмелели. Пока Левчук с Колобовым неподвижно лежали на льду, они обошли их полукругом и закрыли проход вперед. Из этого их полукруга оставался лишь выход назад, в лес, где в вол-

чьей цепи был разрыв шагов в двадцать. Три другие стороны были уже отрезаны. Широко разойдясь по льду, но не приближаясь к людям, волки издали настороженно следили за ними.

— Сашка, ты видишь? Ты глянь, что делается! — возбужденно сказал Левчук, и Колобов с заметным усилием приподнял голову.

— Ладно, ты иди, — сказал он.

— Как? Они же тебя тут...

— Иди. Оставь автомат и иди.

— А если они... на меня?

— Не бойся. Я останусь... Ты пригони лошадь.

«В самом деле!» — мелькнуло в голове у Левчука. Это был выход. Он попытается вырваться из этой западни, добежит до деревни, пригонит лошадь. И приведет людей. Если только Колобов сумеет продержаться до того времени. И если волки выпустят его, Левчука, из своего кольца. И если он в деревне не налезет на немцев. И если немцы раньше времени не обнаружат Колобова... Слишком уж много насобиралось этих проклятых если, но другого выхода у него не было.

Левчук с трудом поднялся на ноги, которые пока еще слушались его, схватил винтовку и помороженными руками едва управился с туговатым затвором, дослал в патронник патрон. Потом, сглотнув давящий ком в горле, бросился к самой середке волчьей цепи, отчетливо сознавая, что если волки не выпустят его, то наверняка растерзают. Винтовкой он мог действовать только как палкой, выстрелить из нее он не имел возможности: первый же выстрел оказался бы для них гибельным. Хорошо еще, если немцы из Заровья их не заметили, наверное, выручали самодельные маскхалаты, специально надетые ими на это задание.

Едва сдерживая в себе накипевшую ярость, Левчук шел к стае. Он видел перед собой лишь ближайшего волка, который, поджав толстый хвост, невозмутимо сидел на снегу. Заряженную на всякий случай винтовку Левчук занес над собой, готовый ударить волка, если тот не уступит ему дороги. И волк уступил. Ощерился, припал на передние лапы, словно собираясь прыгнуть, но, видимо почувствовав гневную решимость человека, в последний момент отпрянул назад и отошел на несколько шагов в сторону. Левчук, не сбавляя шага и даже не оглянувшись, лишь следя за ним боковым зрением, быстро прошел еще шагов десять и вышел из их кольца.

Волки за ним не погнались, лишь торопливо замкнули за ним кольцо и подались к середине, где остался Колобов. Побежавший было Левчук остановился — отсюда ему уже плохо был виден Колобов в его маскировочном костюме, зато он хорошо различал волков. Они уверенно сжимали кольцо, и с ним сжималось у Левчука сердце. Теряя самообладание, он бросился назад, к Колобову, затем, передумав, изо всех сил побежал в прежнем направлении по озеру.

Минуту он бежал, боясь оглянуться. Поскользнувшись на смерзшихся валенках, упал, больно ударившись обо что-то бедром, вскочил и все-таки глянул назад — несколько тусклых пятен едва серело в притьмевшей дали. Ни крика, ни выстрела, однако, не было слышно, и он побежал быстрее. Он очень боялся не успеть, боялся, что волки управятся с Колобовым раньше, чем он добежит до деревни, которая была черт знает где, а до раненого волки, наверно, уже могли дотянуться лапой.

И все-таки он бежал, обливаясь потом, с горячей одышкой в груди, то и дело оглядываясь и все время слушая. Он ждал самого худшего — выстрелов, может, волчьего воя и напряженно всматривался вперед, со всевозрастающим нетерпением ожидая появления деревни. Ноги на бегу одубели — может, согрелись, а может, совсем отмерзли, он не чувствовал их, но на ноги он перестал обращать внимание — только бы они еще слушались.

Когда ночное безмолвие расколола гулкая очередь сзади, Левчук замер как вкопанный и затаил дыхание. Показалось: это не выдержал Колобов. Но как-то чересчур стремительно ударило еще и еще — далеко над озером прокатилось чуткое ночное эхо. Что-то слишком уж гулко, подумал Левчук, наверно, автомат так гулко не может. Будто подтверждая его сомнение, тотчас забахали винтовки, послышались крики, и он совсем растерялся.

Он чувствовал, что случилось похуже, чем если бы на Колобова бросились волки, наверно, волки тут ни при чем. Это немцы. Но откуда они стреляют? На слух палят по озеру или уже заметили Колобова? Чувствуя, однако, что тот в смертельной опасности, Левчук сорвался с места и что было силы побежал назад.

Пока он обессиленно трухал в своих смерзшихся валенках, на озере еще стреляли, доносились крики, а он даже не знал, что сделает, когда добежит до Колобова.

Но все равно он бежал. У него была винтовка и сотня патронов в сумке, были две гранаты в карманах, только бы застать живым Колобова. Правда, подозрительно долго молчал его автомат. Стрелял пулемет, винтовки, автомат же упрямо молчал, и это его молчание скверным предчувствием терзало Левчука. Тем не менее он бежал, возможно, навстречу собственной гибели, потому что шансы отстоять Колобова были у него ничтожны.

А может, он успеет добежать раньше, чем это сделают немцы?

Эта счастливая мысль дала ему силы бежать быстрее, тем более что вскоре стрельба прекратилась. Раза два он услыхал голоса возле деревни и подумал, что это немцы спускались к озеру. Если бы они еще только спускались, то он, возможно, и успел бы...

Левчук, однако, ошибался — они не спускались, они уже поднимались с озера, где вместо волков учинили свою расправу.

Он понял это, когда увидел невдалеке тот самый тростник, возле которого провалился в воду и где оставил Колобова. Узнал и то место на льду. Оно было теперь истоптано множеством человеческих и волчьих ног, среди которых местами были видны пятна крови. Волков нигде уже не было, Колобова тоже. Ветер сдувал со снега темное клочье шерсти — наверно, перепало и волкам. Но что волки! Широкая борозда-след в снегу, прорезанная телом Колобова, вела в сторону деревни, откуда еще доносились приглушенные расстоянием голоса, смех, знакомая злая ругань.

Едва сдерживаясь, чтоб не заплакать, Левчук потоптался еще на снегу и бегом пустился по озеру...

14

Несколько минут спустя он пришел в себя, сел — явь напомнила о себе гулом далекой стрельбы, возможно, на той самой гати. Опершись руками на мшаник, он посидел, не сразу раскрыв глаза, а когда и раскрыл их, то все равно ничего не увидел — была ночь. Голова его, словно с похмелья, клонилась к земле, хотелось снова упасть на мох и лежать. Прислушиваясь к стрельбе, он определил, что бой шел несколько в стороне от того места, где была гать, похоже — в Круковском урочище. Значит, пришел черед первомайцев, добрались и до них каратели.

Все случившееся днем горячим туманом плыло в его сознании, но, по-видимому, нужно было время, чтобы припомнить все пережитые им подробности и разобраться в них. Лишь одно было для него бесспорно: он спасся — не сгорел в току, уберегся от пули, убежал в лес и теперь мог идти куда хочешь. Только радости от того почему-то было немного, в сознании его жила, заглушая собой все другие чувства, острая боль несчастья, большой непоправимой беды. Как знало-предчувствовало его сердце, когда прошлой ночью он не хотел отправляться на это задание, что удачи ему тут не будет. Но тогда его беспокоило другое, а того, что случилось, он не предвидел. Действительно, он же отправлялся в тихую и безопасную зону Первомайской бригады, а не на прорыв, не в самое пекло блокады. Но, по-видимому, самая большая беда именно там и подстерегает человека, где он меньше всего ее ждет.

Левчук сел ровнее и все продолжал вслушиваться. Поблизости было тихо, как может быть тихо погожею ночью в безлюдном лесу. Правда, его настороженный слух различал множество мелких невнятных звуков и шорохов, но за месяцы партизанской войны он хорошо свыкся с лесом и знал, что человеческий слух ночью чересчур обострен и что большая часть лесных звуков лишь кажется, а действительно подозрительное обнаруживает себя явно и сразу. Здесь робкую тишину леса нарушали приглушенные порывы ветра в вершинах, изредка падала пересохшая ветка, сонно возилась птичья мелкота на деревьях — ничего другого поблизости не было слышно. И он, все настойчивее проникаясь своими заботами и прислушиваясь к далекой стрельбе, решил, что пора вставать и как-то добираться до Первомайской. Судя по всему, только ночью и можно туда добраться, днем его наверняка перехватят каратели.

Пошатнувшись, он встал на ноги, сдвинул с живота на бедро парабеллум. Натруженное плечо тупо болело, наверное, надо было поправить повязку, но он подумал, что сделает это завтра. В лесу стояла непроглядная темень, чтобы не наткнуться на острый сук или дерево, он вытянул руку и пригнул голову. Правда, лес тут был редкий и голый, сосны стояли почти без подлеска. Он вспоминал путь, которым брел сюда несколько часов назад, надо было снова выйти к болоту и по опушке свернуть налево. Дальше он не очень и помнил, какая там была местность, однако надеялся, что, ориентируясь по стрель-

бе и звездам, выдержит направление. Лишь бы не наткнуться на немцев.

Он долго и медленно брел в лесной темноте, будто слепой, вытянув руку и на ощупь обходя деревья, чутко ощупывая ногами траву с бесчисленным множеством пней и всевозможных рогатин, зарослей жесткого, непролазного папоротника. Прежде всего ему надо было выбраться из леса, думалось, что край его где-то тут близко, потом он пойдет быстрее. Все время он вслушивался в неутихавшие звуки стрельбы, но больше был занят дорогой, и из его головы не выходила мысль о токе. Его мучил вопрос, что произошло с Клавой и какова судьба Грибоеда? Впрочем, Грибоед скорее всего там и остался, вряд ли ему удалось выскочить в дверь. Но куда запропастилась Клава? Как выскользнула из тока — будто провалилась сквозь землю, нигде он ее так и не увидел.

Как-то спохватившись, он заметил, что идет не на звуки стрельбы, а своим вчерашним путем, что стрельба давно уже осталась для него слева. Но он не стал поворачивать — только сейчас он понял, что ему необходимо именно туда, к гумну. Он не мог никуда больше податься, не зайдя на гумно.

Отчетливо поняв это, Левчук почувствовал в себе напряженное до боли нетерпение. Он перестал обращать внимание на кусты и рогатины и едва не бегом пустился по ночному лесу туда, где, по его представлению, должен был находиться ток. Он весь трясся от возбуждения, наново остро переживая вчерашнее. То, что еще час назад казалось для него удачей, теперь стало его бедой, он уже был уверен, что не должен был оставлять Грибоеда и Клаву, наверно, надо было поступить иначе. Правда, ни тогда, ни теперь он не знал как; он изо всех сил старался спасти ее, Грибоеда, себя тоже. Запоздалое чувство вины быстро разрасталось в его сознании, определенно он сделал что-то не так, потому что, кроме него, вряд ли кому удалось спастись из той пылающей западни, где он едва не остался сам. Прежде всего ему надо было зайти на гумно. Его гнало туда странное чувство, будто он сможет там что-то переиначить, сделать удачнее, чем сделал вчера. Он понимал, конечно, что теперь уж ничего сделать нельзя, все, что можно было еще сделать, наверное, уже сделали немцы. Тем не менее его неодолимо тянуло туда, как преступника тянет на место совершенного им преступления.

Он вылез из кустарника где-то по соседству с тем местом, где днем вбежал в него. Сразу стих шум ветвей и стало светлее, над притихшей летней землей лежало белесое летнее небо с редкими звездами и туманной полосой Чумацкого Шляха вверху. В луговой траве мирно стрекотали кузнечики, и впереди брезжил край, наверно, того же ржаного поля, где он едва не нашел свой конец. Поблизости должно было находиться и то злополучное гумно.

Левчук ненадолго остановился, задержал дыхание. Но, по-видимому, полицаи уже убрались, как всегда сделав свое страшное дело, вряд ли они остались ждать его тут. И все-таки, чтобы быть готовым ко всякой неожиданности, он потихоньку достал из кобуры парабеллум и, большим пальцем нащупав предохранитель, пошел вдоль опушки.

Он надеялся прежде увидеть огонь (не могло же гумно так скоро сгореть дотла), но впереди был лишь притуманенный полевой сумрак, и, сколько он ни вглядывался в него, ничего различить не мог. Тогда он, удивившись, подумал, что, может, вчера так далеко отбежал по ржи? А может, вышел в другое место и вообще шел не туда? Но он помнил, что там была дорога, которую он не перешел, значит, гумно и деревня все-таки находились где-то здесь рядом.

Рассудив так, он пошел более уверенно, все всматриваясь вперед, неожиданно провалился в какую-то яму и едва не упал, а выбравшись из нее, увидел из-за веток куста робкий проблеск огня. Показалось, что это далеко — ничего не освещая вокруг, огонек лишь слабо краснел над рожью, и Левчук притих, даже присел под кустом. Нет, поблизости вроде никого не было, мирно трещали кузнечики да за лесом ослабленно погромыхивала перестрелка. Однако перестрелка была далеко и не нарушала согласной тишины ночи.

Короткими переходами он начал осторожно приближаться к гумну. Шагов десять-пятнадцать пройдет и затаится, присядет, всмотрится в светлеющий закраек неба: не маячит ли что подозрительное? Но вокруг было пусто и тихо, и он, минуту спустя высунувшись из-за ржи, неожиданно оказался перед тускло догоравшим в ночи пожарищем.

В удивлении остановившись, Левчук с трудом узнал то самое их гумно. Ток стал наполовину ниже вчерашне-

го, верхние его венцы сгорели совсем, остались обгоревшие нижние, на которых в различных местах светились раздуваемые ветром угли; далеко по ветру несло дымом и удушливой гарью пожарища. Выйдя из-за ржи, он увидел в темноте ближний конец с овином, где было больше затухающего огня и дыма и даже кое-где трепетали на ветру мелкие язычки пламени, бросавшие красноватые отблески на опаленную яблоню.

Левчука тянуло к двери, где он оставил Грибоеда и куда перед тем, как бесследно исчезнуть, выскочила Клава. Обходить ток от дороги он не хотел, он побаивался дороги, а тихо вошел в рожь и пошел по ней, чтобы не шуметь, высоко поднимая ноги. Наверно, от ольшаника до тока было значительно дальше, чем ему казалось вчера, когда он наблюдал через щель, и он на полпути остановился, присел, послушал. Потом встал и, стараясь не очень шуметь рожью, издали обошел овин. В глубине души он все еще надеялся где-нибудь найти Клаву, наверно, он бы заметил ее в этой скупо освещенной, истоптанной ржи. Но Клавы тут не было. Впрочем, вряд ли она и могла быть, решил он, убитую или живую ее забрали в деревню. Грибоеда тоже. Но ему хотелось своими глазами убедиться, что никого из них тут не осталось, и потом уж отправляться в Первомайскую.

От яблони стал виден весь их вчерашний двор, где он варил картошку, даже было заметно черное пятно костерка на серой траве. Напротив была дверь в ток. Одна обгоревшая, густо побитая пулями половина ее косо зависла на нижней петле, другая, оборванная, валялась на земле рядом. И он заметил там что-то похожее на человеческое тело и выскочил из-за яблони. Стараясь не стучать подошвами, подбежал к двери, присел — от углей и золы пахнуло вонючим жаром, но сейчас можно было терпеть, не то что вчера. Отворачиваясь от жары, он протянул левую руку, пошарил ею и, напав на что-то мокрое и липкое, отдернул руку назад. Во второй раз, однако, нащупал косматое, облитое кровью лицо Грибоеда, его обгоревшую одежду и встал. Горькая вонь пожарища и чадный смрад головешек забивали дыхание. Немного передохнув, он снова нагнулся, пошарил рукой пошире, стараясь нащупать винтовку ездового, но вместо нее нащупал его овчинную шапку.

С этой шапкой в руке он отошел на десяток шагов от тока, не в состоянии отвести взгляда от темневшего на

земле тела убитого. В отряде Левчук его знал давно, и хотя большой дружбы между ними не было, смерть ездового отозвалась в нем жалостливо-щемящей ноткой. Они все рисковали на равных, но вот Грибоед лежал перед ним мертвый, а Левчук был живой. Может быть, надо было попытаться сперва спасти старика, а потом уж спасаться самому, подумал Левчук. Но тогда оба они старались спасти Клаву, вместо которой по счастливой случайности спасся Левчук, а Грибоед вот погиб.

Шапка его, однако, была цела и даже не обгорела вроде. Кое-как сшитая из куска старой овчины, она бессменно зимой и летом служила ездовому, который больше всего заботился о своей однажды простреленной голове, бережно защищая ее от солнца... Левчуку живо припомнился теперь страшный расстрел Грибоеда и его удивительное воскресение в Чернолесском урочище, где они с санитаром Верховцом холодной апрельской ночью грелись у костерка на болоте. Разговорчивый Верховец рассказал, как днем ребята привезли из Выселок расстрелянного немцами Грибоеда, которого те захватили возле его опустевшей усадьбы. Неизвестно, то ли жандармы специально караулили его там, то ли застали случайно, но в этот раз они дотла разгромили Грибоедову усадьбу, а его самого старший жандарм поставил лицом к березе и выстрелил из пистолета в затылок. Ночью на его бездыханное тело наткнулись хлопцы из разведки и привезли в отряд, чтобы назавтра вместе с еще одним убитым похоронить на пригорке. Сидя возле костерка в ту ночь, они недолго погоревали над слишком жестокой даже для войны судьбой старика и перевели разговор на другое. Занятые этим разговором, они не обратили внимания на то, как за дымом, напротив, ежась и потирая озябшие руки, кто-то начал устраиваться подле костра.

— Погреюся у вас. А то околел, халера...

— Грибоед! — испуганно вскочил Верховец. — Ты что?!

— Ды околел, кажу. Ватовку нехта забрал...

Они вдвоем испуганно уставились на Грибоеда, который как ни в чем не бывало протягивал к огню руки, ни словом не обмолвившись о своем воскресении из мертвых, и они не отважились его о чем-либо спросить. Утром его осмотрел не менее их удивившийся Пайкин, две недели Грибоед полежал в санчасти, да так и остался там при конях. Рана на его голове зажила, особенной боли

он не ощущал, только почти перестал спать и тщательно оберегал от жары простреленную свою голову.

Да вот не уберег, прострелили и во второй раз. На этот уже окончательно.

Молча посокрушавшись возле убитого, Левчук подумал, что надо бы вытащить его обгоревшее тело из тока да похоронить в лесу. Негоже оставлять человека догорать в этом пожарище — мало ему и без того досталось при жизни.

Все прислушиваясь к тишине ночи, он сунул пистолет в кобуру, застегнул ее и снова шагнул к двери. Но только он нагнулся над телом убитого, как где-то поблизости ошалело залаяла собака и чуть в стороне от деревни взвилась в небо ракета; захваченный врасплох, Левчук вздрогнул, сжался в комок, высвеченный ее безжалостной яркостью, но тут же отскочил назад и притаился в тени за яблоней. Ракета, прочертив огненный шнур в небе, едва не долетела до гумна, упала, ударившись о землю, подскочила и быстро догорела в стороне от тока. Как только она погасла, Левчук бросился назад в рожь, с замершим сердцем гадая, заметили его или нет. Однако выстрелов пока не было, а вторая ракета вспорхнула в небо совсем в другой стороне — над дорогой и лесом, — торжественно-ярко засияв над пожарищем и беспощадно осветив все вокруг неестественным мельтешащимся светом. Но Левчук уже был к ней готов и, присев, проворно скрылся во ржи. Тут его не так просто было заметить, ракет он не боялся — боялся немцев и еще больше собак. Тот злобный лай овчарок в сожженной деревне был ему слишком знаком и больше всего заставил его встревожиться.

Когда и эта ракета сгорела, он вскочил и пустился по ржи к ольшанику. Но что-то смутило его, он смешался, присел, оглянулся. Показалось, где-то послышался голос, вроде бы даже обиженный детский плач, и он притих, затаил дыхание, вслушался. Уж не призраки ли завелись в этой ржи, удивленно подумал Левчук и опять, явственнее, чем первый раз, услышал недалекий слабенький детский плач. Но он не мог терять ни минуты, его явно обкладывали в этой ржи, скоро могли появиться собаки, и Левчук, спохватившись, бросился в сторону ольшаника.

Так бы он, наверное, и ушел в лес, если бы в тот самый момент путь ему не преградила густо засверкавшая над рожью трассирующая очередь. Спасаясь от нее, он

снова распластался на усохшей земле ржаной нивы, слушая, как близкие разрывы пуль в ольшанике, будто передразнивая выстрелы, повторили их отдаленный стремительный треск. Теперь он уже знал наверное, что его заметили и что стреляли с дороги, значит, спасаться следовало все тем же, вчерашним, путем — через рожь полукругом к ольшанику. Как только очередь смолкла, он вскочил. Но прежде чем побежать, он свернул по ржи в сторону, описав в ней полукруг, пригнулся, послушал и вдруг увидел поодаль белое пятнышко у самой земли. Со смешанным чувством удивления и надежды он бросился в ту сторону, уже наверное зная, что это, подхватил теплый живой комочек и, притиснув его к груди, обежал круг пошире. Ему показалось, что где-то тут может лежать и Клава. Но Клавы тут не было, был лишь неизвестно как оказавшийся ее малой. Озадаченный Левчук побежал по ниве к ольшанику.

— Ух, гады! Ух, гады, — шептал он про себя, оглядываясь и слыша, как уже совсем близко заливались лаем собаки. Несомненно, они учуяли его и с минуты на минуту могли настигнуть во ржи. Но, к его счастью, ольшаничек темнел уже рядом. Только он с младенцем на руках успел сунуться в его спасительную темень, как сзади взмыла в небо очередная ракета и длинная трескучая очередь разрывных прошлась по ветвям. Ослепительно яркий свет, перемешанный с причудливой путаницей теней, обрушился на него сзади, несколько трасс мелькнули над головой, обдав его треском разрывных пуль и мелким крошевом веток. Он нечаянно упал на бок, испугавшись, что так недалеко уйдет, что бежать с младенцем здесь невозможно. Но и бросить его в тот самый момент, когда сзади мчались собаки, у него не хватило решимости. Он не знал, чем это для него обернется минуту спустя, и слепо рванул в кустарник, левым плечом раздвигая ветви, а полой пиджака прикрывая младенца, который смиренно затих в тепле, слабо перебирая ножками в мокрой пеленке.

15

Первый проблеск рассвета застал его на краю нелюдимого болота в редком кочковатом ольшанике.

Наступал новый день, далеким нездешним светом занялся восточный закраек неба, вокруг стали различимы кусты, черные кривые ольхи, травянистая заболоть под

ногами. Местность была незнакомая. Левчук давно уже перепутал все направления и петлял по каким-то заболоченным перелескам и вырубкам, перешел мокрую травянистую лужайку и снова забился в чащу ольшаника. В молодой плотный ельничек он не полез, обошел его стороной и все оглядывался и слушал, хотя и без того было очевидно — его догоняли. Всю ночь сзади то тише, то громче заливались лаем собаки. В темноте они отстали от него, но след не теряли и с наступлением утра заметно заторопились, наверстывая упущенное.

С непривычной неловкостью он придерживал за пазухой маленькое теплое тельце и думал: хотя бы скорей деревня, хутор, лесная сторожка или просто случайный человек в лесу, чтобы можно было оставить у него младенца. Сам он, как ни старался, уже не мог спасти эту жизнь, не было у него такой возможности. К тому же становилось все очевиднее, что немцы от него не отвяжутся. Вчера их было семеро, ночью стало побольше, у них пулемет, собаки, ракеты, видно, в этом направлении они замышляют что-то серьезное. А он, дурак, надумал тут проскочить в Первомайскую. Нашел место!

Он устало бежал краем поросшего ольшаником болота и не мог решить, что ему делать — обходить болото вокруг или лезть в воду. У него еще было в запасе несколько минут времени, еще можно было поискать убежище. Но без крайней нужды лезть в холодную воду не очень хотелось, думалось: где-то же она кончится, и он обойдет болото. Однако, судя по всему, болото было огромное и тянулось издалека, он бежал по извилистым его берегам около часа, а оно не кончалось. Ночная стрельба слышалась теперь справа, но отдельные выстрелы раздавались также сзади и слева — похоже, во всех направлениях шли бои. Он же забрел в неведомый лесной закуток и бежал в ту сторону, куда его гнали преследователи.

Малой за пазухой все больше начинал беспокоиться — выгибаться, дергаться, но, хорошо завернутый в шелковой пеленке, пока терпеливо молчал, и Левчук с острой тревогой подумал: что будет, если он расплачется? Разве он способен понять, что если им не поможет счастливый случай, то очень скоро оба они распластаются в кустарнике, посеченные автоматными очередями. Еще их могут затравить овчарками. А то схватят, выведут на большак и подвесят на телеграфном крюке за челюсть, чтобы умирали долго и мучительно, как не-

когда Трофим Дыла, связной их отряда в Чернущицах.

И все же Левчук продолжал надеяться, что раньше, чем немцы настигнут его, он наткнется на добрых людей и передаст младенца. Ему одному было бы гораздо сподручнее, сам бы он не очень и хоронился от этих подонков, а, подкараулив в удобном месте, встретил бы их огнем. Правда, для того надо было иметь пулемет или хотя бы автомат, но из пистолета он тоже стрелял неплохо, научился в разведке. С младенцем же на руках он не мог себе ничего позволить, потому что не был уверен в удаче, а напрасно испытывать судьбу не хотел. И он все шел, брел, бежал, продираясь сквозь заросли и стараясь обойти болото.

Болото, похоже, в самом деле было бесконечным. С ночи тянулись кустарники, лужайки, лозняк и ольшаник, а никаких деревень нигде не было. Оставалось надеяться только на самого себя, свою удачу и выносливость. К сожалению, силы его, как и его возможности, убывали с каждой минутой, он понимал это, но ему очень хотелось уберечь малого. С какой-то еще неосмысленной надеждой он ухватился за эту кроху человеческой жизни и ни за что не хотел с ней расстаться. Действительно, все, кто был поручен ему в этой дороге, один за другим погибли, остался лишь этот никому не известный и, наверно, никому не нужный малой. Бросить его было проще простого и ни перед кем не отвечать за него, но именно по этой причине Левчук и не мог его бросить. Этот младенец связывал его со всеми, кто был ему дорог и кого уже не стало, — с Клавой, Грибоедом, Тихоновым и даже Платоновым. Кроме того, он давал Левчуку обоснование его страданиям и оправдание его ошибкам. Если он его не спасет, тогда к чему эта его ошалелая борьба за жизнь? Жизнью он давно отвык дорожить, так как слишком хорошо знал, что выжить на этой войне дело непростое.

— Ничего, ничего, браток! — ободряюще проговорил он, обращаясь к младенцу, и не узнал собственного, охрипшего от долгого молчания голоса. — Еще мы посмотрим...

Может, это и хорошо, что собаки издали выдавали себя злым гончим лаем, теперь значительно усилившимся. Прислушиваясь к их приближению, Левчук пожалел, что в карманах у него не осталось горсти махорки, чтобы присыпать свой след. И он думал, что, наверно,

придется забираться в болото, другого выхода не было.

Тут был твердый высоковатый берег с березнячком, болото немного отступало в сторону, он пробежал в прежнем направлении полсотни шагов и круто повернул назад. Там, где осоковатая заболоть ближе подступала к берегу, он широко отпрянул в сторону и, стараясь не очень следить в траве, полез к густому лозовому кусту, темневшему поодаль в болоте. Сначала было неглубоко, вода доходила не выше колен, но потом глубина увеличилась. Он пожалел, что не взял палку, хотя как бы ему было управляться с палкой? В болоте среди водяных окон местами зеленели кочки с лозой и ольшаником, и Левчук понял, что оно не слишком глубокое и, возможно, не погубит его.

Придерживая малого за пазухой, он торопливо пробирался от кочки к кочке, хватаясь левой рукой за ветки и постепенно погружаясь все глубже. В полсотне шагов от берега ноги его уже выше колен утопали в грязи, скоро мутная с торфом и грязью топь достигла бедер, и он думал: хотя бы она не стала глубже, потому что как тогда ему быть с ребенком? Но болото заметно становилось глубже, кочки редели, между ними заблестели чистые, без зарослей, прогалы черной воды, на поверхности которой плавало разлапистое листье кувшинок. Левчук знал, что кувшинки любят глубину, и не лез к ним, держась ближе к кочкам, где можно было ухватиться за мох и ветки. Он спешил, но старался пробираться как можно тише, чтобы его бултыханье в воде не было слышно далеко. Временами он останавливался и слушал. Однажды ему показалось, что он слышит голос, будто бы окрик, он шире расставил ноги на дне и замер, однако больше ничего не послышалось. Очевидно, голос долетел издали и не мог относиться к нему. Значит, еще оставалось немного времени. Пока он прислушивался, ноги его до колен вошли в вязкий ил, и он с усилием освободил их — сначала одну, затем другую. Пока возился в воде, намочил снизу пиджак и подумал, что так скоро вымокнет весь, чем тогда укроет малого?

Кое-как добравшись до мшистой, обросшей аиром кочки, он прислонился к ней, осторожно стянул с плеч пиджак и обернул им младенца. Тот посучил ножками, но не заплакал и покорно притих в тепле еще не остывшей одежды.

— Ну вот и хорошо! Ну и лежи! Главное: лежи и молчи! Может, еще как-нибудь...

Стоя по бедра в холодной воде, он высматривал, куда направиться дальше. Хорошо, если бы поблизости попалась более-менее сухая моховина, пригорок или островок, где можно было бы укрыться от собак, переждать погоню. Но его надежда на моховину или островок была тщетной, болото становилось все глубже, кочки редели, и он пробирался между ними со всевозрастающим риском уйти с головой в прорву. Сверток с младенцем он поднимал все выше и старательно обшаривал ногами дно, временами оскользаясь в нем на корнях кустарника и водорослей. Иногда он терял равновесие и едва удерживался над водой, поднимая со дна черную, быстро расплывавшуюся в воде муть. Тем временем совсем рассвело, тумана почему-то тут не было, в высоком утреннем небе стояло несколько разрозненных облачков, было очень тихо. И вот в этой тишине его напряженный слух уловил будто прорвавшийся откуда-то обозленный собачий лай.

Он испуганно оглянулся, поняв, что они уже тут, возле болота, и удивился, как он мало отошел от берега. С шумом раздвигая воду, бросился к ближайшей кочке, из которой торчал раздвоенный ольховый прутик с обвисшей над водой веткой. Как на беду, кочечка была маленькая и приютилась возле самого глубокого места, он весь вымок, пока добрался до нее, и даже подмочил пиджак. К тому же он затратил на это чересчур много времени, они были уже где-то поблизости и, возможно, услышали его. Чтобы приготовиться к худшему, он пристроил пиджак с младенцем на мшистом краешке кочки и, придерживая его рукой, другой приготовил пистолет. Вода здесь доходила ему до груди, он спрятал голову за ветку и ждал, сознавая, что, если полезут в болото с собаками, он должен увидеть их первым.

Только бы не заплакал малой.

Услыхал он их действительно первым еще до того, как увидел. В кустарнике невнятно-глухо прозвучал начальственный окрик, и на ольхе у берега качнулось несколько веток. Левчук еще глубже погрузился в воду, вперил взгляд в не заслоненный кустарником узенький край берега. Он перестал дышать, большим пальцем тихонько отвел предохранитель и тогда увидел их в небольшом промежутке между болотом и зарослями.

Первой из кустарника появилась коричневая, с подпалинами по бокам собака, ведя по земле чутким носом и бросая по сторонам быстрые взгляды, она стремитель-

но шла по следу. Сзади, ломая кусты, едва поспевал ее поводырь в пятнистом разведчицком костюме и зимней, с длинным козырьком фуражке. За ним следовал еще один, точно такой же немец с собакой на длинном ремне. Они пробежали мимо и только скрылись в кустарнике, как на берег из зарослей высыпала вся их хищная стая — десяток карателей в одинаковых маскировочных костюмах, вооруженных автоматами, обвешанных сумками, флягами и биноклями. Длинной чередой они растянулись по берегу и, оглядываясь по сторонам, бежали по его следу, готовые в любое мгновение разрядить в него свои автоматы.

— Ох, гады! Ох, гады! — как заклятие, шептал он одеревеневшими губами, отчетливо сознавая, что его дело дрянь. Если только они не проскочат с его следа дальше, то ему долго тут не усидеть.

На какое-то время потом он перестал видеть их, скрытых ольшаником, он только слышал треск ветвей в зарослях и думал, что в ближайшие секунды все для него и решится. Пройдут или вернутся? Но там вскоре растерянно взвизгнула собака, послышался строгий хозяйский окрик, еще какая-то негромкая, произнесенная по-немецки фраза, и он догадался, что собаки потеряли след. Он по плечи опустился в воду, чуть наклонив голову в сторону, чтобы совсем скрыться за кочкой. Потом он оглянулся назад — за большим прогалом черной воды высился густой куст лозняка, где можно было бы укрыться надежнее. Секунду он преодолевал в себе рискованное теперь желание броситься туда, пока была такая возможность, но сдержался — наверно, теперь следовало сидеть на месте. Жаль, он недалеко отошел от берега, не хватило времени, если бы он раньше решился забраться в болото, то, возможно, и спасся бы.

Нет, дальше они не пошли — они возвращались.

Он снова увидел их в том же порядке — один за другим немцы выбегали из кустарника по его следу назад, и он сжался, впился в них взглядом, с замершим сердцем ожидая: а вдруг остановятся? Если остановятся и собаки укажут в болото, тогда все. Тогда считай, что он спекся.

Кажется, они проскочили дальше с его поворота, первая овчарка наверняка проскочила, и с ней пробежал поводырь, другие еще следовали по берегу, и тогда он увидел в прибрежной осоке свой след. Ну так и есть, несколько очень заметных на воде шагов — примятая осо-

ка, поднятая со дна, еще не осевшая муть, и он ужаснулся — бог мой, какая неосторожность! И так близко у берега! Хотя бы они не заметили, хотя бы прошли за собакой! Деревенея от стужи и напряжения, он следил, как возле этого места у березок пробежал один, другой, третий. Оставалось человека три, и вот мимо пробежал последний — нерасторопный толстяк с распаренным, обрюзгшим лицом. Левчук позволил себе вздохнуть глубже — может, еще и обойдется...

Ноги его на дне глубоко погрузились в ил, высвобождая их, он подвинулся грудью на кочку, склонился над малым, который неспокойно ворошился в его пиджаке, будто хотел сбросить его и взглянуть, что делается на свете. Левчук приподнял полу — личико младенца недовольно морщилось, и он испугался при мысли, что младенец сейчас заплачет. Чтобы как-то предупредить его плач, он выдернул из кочки стебелек аира и сунул его малому корешком в рот — соси! Тот и в самом деле зачмокал, притих, и Левчук подумал, что надолго или нет, но, кажется, обманул парня.

Затем он в напряжении замер — немцы, слышно было, возились поодаль, он думал, снова возвращаются, но пока что они не возвращались: наверно, они старались отыскать его потерянный след. Минуту слышна была их перебранка, потом чей-то звучный зовущий голос, на который откликнулись так близко, что показалось, сидели напротив. Левчук опять затаился, он перестал понимать, что они затевали, и затревожился.

Он начал оглядываться в поисках лучшего укрытия, все больше поддаваясь искушению перебраться за куст лозняка, а может, и дальше, пока их не было рядом и пока они не заметили его след. Но только он подумал о том, как увидел напротив немца: перекинув через шею связанные вместе сапоги, тот босиком лез, кажется, по его следу в болото. Другой с автоматом наизготовку стоял на берегу и что-то приговаривал, наверно подбадривая товарища:

— Forwerts, dort nicht tief! *

— Hier ist der Kluft ** — недовольно ворчал босой, нерешительно шаря в воде ногами.

Левчук большим пальцем опять сдвинул предохранитель и опустил ствол пистолета на нижнюю ветку ольхи.

---

* Вперед, там неглубоко! *(нем.)*.

** Тут прорва *(нем.)*.

Он решил подпустить немца не далее водяного окна с раздвинутым в нем покровом ряски и выстрелить. Уж этому немцу отсюда не выбраться, потом тот, с берега, наверно, расстреляет его. А может, Левчук еще успеет вторым выстрелом снять и того...

Ну вот и все!.. А столько было страха и переживаний, в то время как все оканчивалось так обыкновенно и глупо.

Как всегда в минуты безнадежности, от него отлетел страх, тем более испуг, мозг его начал работать трезво и точно, рука становилась сильной и меткой. В такой момент он не промахнется, он выстрелит наверняка. Немец, однако, будто чувствуя скорую смерть, не спешил, пробирался осторожно, высоко переставляя в воде белые худые ноги с подвернутыми выше колен штанинами. Когда он нагибался, сапоги болтались на его животе, там же болтался его автомат, который он придерживал правой рукой. Изредка он бросал вперед короткие взгляды из-под козырька фуражки, но больше глядел себе под ноги, отыскивая, куда ступить дальше.

«Ну что ж, может, так еще и лучше. Иди, иди, гад!»

И он шел, неся ему гибель и себе, видимо, тоже.

Погрязнув выше колен в болоте, немец подошел к кудрявому кусту крушины, ухватился рукой за ветку и, поскользнувшись на дне, ушел боком в воду. Пытаясь подняться, провалился еще глубже, невзначай рукой сбил фуражку, которая медленно поплыла от него, быстро погружаясь в воду. Замутив болото вокруг и уже не разбирая пути, бросился назад, к берегу, рассерженно приговаривая при этом что-то, обращенное к товарищу, который, стоя на берегу, надрывался от хохота.

Мокрый, облепленный тиной немец выбрался из болота и, все недовольно ворча, стянул с себя китель, брюки и все прочее, оставшись голым. Вдвоем они долго возились с его мокрой одеждой, выжимая из нее потоки болотной воды. Глядя на них, Левчук все больше коченел от стужи, его начинала донимать дрожь — он не мог дождаться, когда же они наконец закончат свою возню и уберутся отсюда. Вот немец уже натянул брюки, сетчатую голубую майку, начал обуваться. Напарник его, молодой длинноногий ефрейтор с фонариком на груди, что-то крикнул в кустарник, ему ответил издали другой голос, и Левчук услышал, как где-то на берегу клацнул затвор. Это его опять насторожило — что будет?

Но и в этот раз ждать не пришлось долго, издали гулко протрещала автоматная очередь, над болотом стремительно, с визгом пронеслись пули. Левчук не понял — куда это они? Кажется, кроме него, тут никого не было, но ведь его они вроде бы еще не заметили. Да и стреляли не здесь, а где-то поодаль, куда побежала вся группа с собаками. А может, там обнаружился еще кто-нибудь, может, там партизаны? Эти два немца тоже подались на выстрелы, задний торопливо, на бегу, надевал китель, перехватывая из руки в руку свой автомат.

Левчук решил пробираться дальше в болото и только подхватил на руки малого, как новая очередь оттуда взбила поблизости воду, обдав его множеством мелких брызг. Он затаился, грудью вжался в мох кочки, подобрав под себя младенца. Но вскоре он понял, что это случайные пули, били все-таки не по ним — в сторону. Тогда он опять опустился по самые плечи в болото, не сводя глаз с опустевшего края берега.

Погодя ему стало видно, что там происходит — они опять выстроились на берегу волчьей стаей и, не спеша обходя болото, начали расстреливать его из автоматов.

Немного воспрянувший духом, Левчук опять приуныл — не одно, так другое. Не взяли собаками, уберегся от немца, так расстреляют за кочкой слепой очередью, и он тихо опустился в мутную воду болота. Не самая лучшая участь из всех возможных, уготованных солдату войной. Хорошо еще, если вместе убьют и малого, а вдруг тот останется...

Наверное растревоженный стрельбой, младенец совсем забеспокоился и принялся потихоньку скулить в его пиджаке. Левчук потуже запахнул полы: что будет, если они услышат его? Особенно собаки, которые сразу же, как только началась стрельба, ошалело залаяли на разные голоса, захлебываясь от усердия, — наверно, рвались в болото. Но треск десятка автоматов, разумеется, оглушал в первую очередь собак и самих стрелков, которые пока еще не могли услышать далекого слабенького плача младенца.

Лишившись своих прежних надежд, Левчук уныло следил, как густые трассирующие потоки пуль приближаются к его кочке. Немцы не жалели патронов и расстреливали каждую кочку, каждый клочок мха, каждый кустик и каждое деревце в болоте. Тысячью брызг кипела,

бурлила, перемешивалась с грязью вода, летела в воздух листва, мелкие ветки, осока, взбитая вместе с потоками воды зеленая ряска. Ободранные пулями стволы ольхи то тут, то там светились белыми пятнами на черной коре. Огонь был такой, какого Левчук не слышал давно, разве что в сорок первом на фронте под Кобрином. Уцелеть в нем было почти невозможно.

Он сгорбился, сжался за кочкой, насколько было возможно, опустился в воду. Жаль, что нельзя было в воду опустить и младенца, все время находившегося сверху и лишь слегка прикрытого мхом кочки. Пожалуй, ему достанется первому. Но та очередь, которая прикончит малого, не минет и Левчука, так что одинаково достанется обоим.

— Ах, гады, гады!..

Все на том же открытом краешке берега он снова увидел длинноногого ефрейтора с болтавшимся на груди фонариком; выйдя из кустарника, тот приставил автомат к плечу и запустил по болоту длинную очередь. Десяток пуль вперемежку с трассирующими взбили в воздух траву и мох с ближайшей от берега кочки, потом полетела вверх ольховая листва со следующей. Очередь неуклонно приближалась к Левчуку. Малой под руками, будто предчувствуя свой скорый конец, плакал вовсю, но в треске и грохоте выстрелов Левчук уже сам не очень слышал его. Он следил за мельканием трасс, чтобы успеть отметить для себя последнее свое мгновение, и старался дотерпеть до него. Дальше терпеть не будет уже надобности.

Тем временем на берегу их стало уже трое. Первый неожиданно пробежал дальше, зато двое других одновременно приложились к своим автоматам, и шквал пуль с ветром пронесся возле его ольшинки. Откуда-то сверху плюхнулось в воду маленькое, сбитое пулями гнездышко, в воздухе мелькнул белый пух, несколько перышек осело на его голову и кочку. Левчук прижал младенца рукой, как можно ниже втискивая его в мох, другой направил пистолет на берег. Он твердо намерился выстрелить в крайнего немца, который, сменив магазин, прикладывался к автомату для новой очереди. Правда, для пистолетного выстрела было далековато, от напряжения и озноба ему было трудно сладить с рукой. И все-таки он прицелился. Новая догадка пришла ему в голову, когда он заметил, что бьют они как бы в воздух и все их очереди идут над его головой и дальше. Он тихонько

оглянулся и увидел, как густо летит в воздух листва с лозового куста сзади, куда ему недавно еще так хотелось забраться. И тогда он понял, что они видят там наиболее подозрительное место и потому так старательно обстреливают его.

У Левчука опять возгорелась надежда. Оглушенный автоматным грохотом, бушевавшим из края в край над болотом, он плотнее запахнул младенца, почти не слыша его плача, лишь чувствуя, что тот слабо шевелится под его руками. Хотя бы не задохнулся, подумал Левчук, судорожно сжав челюсти, — было так холодно, что он едва находил силы терпеть в изнуряющей своей неподвижности.

Стрельба, однако, явственно перемещалась в сторону от него, наверно, тут уже все было ими простреляно. Вокруг в осоке валялись свежие ольховые ветки, густо плавала в воде листва, невдалеке, держась на тонком волоконце коры, свисала над водой сбитая пулями верхушка березки.

В этой стороне болота стало несколько тише, кажется, немцы уходили правее, и он решился. Он подхватил сверток с младенцем, прижал его к себе левой рукой и с пистолетом в правой тихонько, чтобы не плескать в воде, пустился за тот, расстрелянный многими пулями куст. Наверно, во второй раз расстреливать его не будут.

Тут, однако, еще можно было укрыться, хотя иссеченный пулями куст заметно поредел, на поверхности воды всюду плавали лозовая листва и белые корни водорослей; водоросли и зеленая тина плетями свисали с изуродованных лозовых ветвей. И он удивленно подумал, что, видать, еще не отвернулась от него удача, если что-то удержало его от того, чтобы раньше перебраться сюда. Тут бы он наверняка и лежал теперь, истекая кровью в холодной воде.

— Тихо, тихо, браток. Помолчали немножко, — сказал он малому. Немного отдохнул, осмотрелся и боком-боком, по пояс в воде, где пригибаясь, а где почти вплавь, подался дальше в болото, думая, что если оно не утопит, то в этот раз, возможно, спасет его...

16

Через час-полтора деревья и кустарник остались позади, с ними окончились и бездонные провалы-окна, на поверхности стало больше травянистых зарослей, мха.

Хотя местами было глубоко и по-прежнему зыбились, уходили из-под ног водянистые кочки, но уже, наверно, можно было не утонуть. Стрельба постепенно отдалялась вправо, где треск очередей и тугой свист пуль продолжали сотрясать болото, разгоняя пугливую болотную птицу. Даже привычные к человеку сороки и те ошалело и молча неслись над самой водой, уходя прочь от пугающего огневого грохота.

Прижимая к груди младенца, Левчук бежал, прыгал, раскачивался на мшистых, обманчиво неустойчивых кочках, где успевая перебежать раньше, чем они погрузятся в воду, а где и нет. И тогда снова, в который уже раз, оказывался по пояс в торфянистой жиже, бросаясь то в одну, то в другую сторону, лихорадочно стараясь выбраться на что-нибудь твердое. Мокрая его одежда противно облипала тело, при каждом шаге ржавой водой плескало в лицо. Но он перестал дрожать, он начал уже согреваться. Он только берег, чтобы невзначай не выронить, свой сверток с маленьким в нем существом, а себя уже оберегать перестал. Самое трудное, кажется, постепенно кончалось, болото он одолел, впереди на пригорке плотной стеной зеленел ельник, значит, там начинался берег. Только что его ждет на зеленом том берегу?

Наконец он выбрался из болота и по мокрому, но уже устойчивому под ногами торфянику взбежал на заросший сивцом и вереском песчаный пригорок. Сапоги его, все цвиркая и чвякая, непривычно затопали по сухому. На вид он, пожалуй, был страшен — мало что мокрый с головы до ног, так еще весь облепленный тиной; на плечи и рукава понацеплялось каких-то волокнистых водорослей, ряска и прочая зеленая мелочь облепили всю его одежду. Но малого он, кажется, намочил не очень, и если тот неспокойно ворошился в пиджаке и плакал, то, видно, больше от голода. Этот его плач и подгонял Левчука. Трещавших за болотом выстрелов он не очень боялся, их угрожающая власть над ним кончилась, и теперь его подгоняла новая забота.

Он бежал. Он боялся за жизнь младенца и не хотел терять время на то, чтобы выжимать одежду, отдыхать. Взобравшись на пригорок, он продрался сквозь густую чащобу ельника и очутился на узенькой, хотя и хорошо наезженной лесной дорожке. «Если есть дорожка, то должна где-то быть и деревня, — с облегчением подумал Левчук, — только бы не наткнуться на немцев».

Он устало бежал по ней минут, может, десять, и от этого его бега малыш помалу затих, а потом и совсем умолк — заснул или просто укачался на его руках. Тогда Левчук перешел на шаг. Он уже согрелся и начал приглядываться к лесу, собираясь где-нибудь присесть и переобуться. По всей видимости, немцев тут не было, а идти ему придется еще неизвестно сколько, так он просто изуродует ноги в мокрых, со сбившимися портянками сапогах.

Только он подумал об этом, увидев высокие, по пояс, заросли папоротника у самой дороги, как услыхал близкие голоса и топот лошадиных ног. Он проворно сбежал с дороги, но было уже поздно, и всадники на лошадях успели заметить его. Сгорбясь за кустом можжевельника, он напряженно выжидал, надеясь, что, может, они проедут. Но они не проехали. Топот на дороге вдруг оборвался, и едва не над его головой повелительно прозвучало:

— Эй, а ну вылазь!

Левчук в сердцах выругался — какого черта еще пригнало? Судя по голосу, это были вроде бы наши, но кто знает, может, немцы или полицаи? Не выпуская из рук младенца, он осторожно вытащил из кобуры парабеллум, тихонько склонился за кустом, чтобы выглянуть на дорогу, и неожиданно увидел их совсем рядом. Они, наверно, тоже увидели его. Это были три всадника, одетые, правда, по-партизански — кто во что, уставившиеся в папоротник и направившие сюда свои автоматы — наши советские ППШ.

— Руки вверх!

Похоже все-таки, это были партизаны, хотя полной уверенности в том у Левчука не было. Он не спеша поднялся из зарослей, оставив на земле свою ношу и пряча за собой руку с парабеллумом. Но эта его медлительность, очевидно, не удовлетворила всадников, один из них, молодой парень в старой, вылинявшей гимнастерке и сдвинутой на затылок кубанке, решительно повернул лошадь в папоротник.

— Бросай пистоль! Ну! И руки вверх!

— Да ладно, — примирительно сказал Левчук. — Свой, чего там...

— Смотря кому свой!

Левчук уже убедился, что встретил партизан, и ему не хотелось бросать пистолет, ибо неизвестно, получит ли он его обратно. И он тянул время, неизвестно на что на-

деясь. А они между тем все посъезжали с дороги и начали незаметно окружать его. Наверно, действительно надо было бросать пистолет и поднимать руки.

— Смотри, да он же из болота! — догадался другой — молодой парнишка с сильно заостренным книзу лицом.

— Из болота, факт. С того берега, — имея в виду что-то свое, сказал первый и соскочил с седла в папоротник.

В это время сбоку к Левчуку подъехал и третий — наверно, постарше двух первых, широкогрудый мужчина в сером расстегнутом ватнике, и его свежепобритое, с черными усиками лицо показалось Левчуку знакомым. Будто вспоминая что-то, всадник тоже вгляделся в этого необычного лесного встречного.

— Постой! Так это же из Геройского? Левчук твоя фамилия, ага?

— Левчук.

— Так это же помнишь, как мы вместе разъезд громили? Вон как дрезина по нас пальнула?

И Левчук все вспомнил. Это было прошлой зимой на разъезде, где они с этим усатым тащили на рельсы шпалу, чтобы не дать проскочить со стрелок дрезине, бившей вдоль путей из пулемета. Этот усатый еще потерял в канаве валенок, который никак не мог нащупать босой стопой в глубоком снегу, и они оба едва не полегли там под пулеметным огнем.

Левчук успокоенно сунул пистолет в кобуру, а ребята, доверяясь товарищу и заметно подобрев, поубирали за спины свои автоматы. Усатый окинул Левчука заинтересованным взглядом.

— Ты что, из болота?

— Ну, — просто ответил Левчук и осторожно поднял из травы младенца.

— А это что?

— Это? Человек. Где тут чтоб женщины какие. Мамку ему надо, малой он, сутки не ел.

Ребята молчали, слегка удивленные, а он развернул пиджак и показал им лицо младенца.

— Ого! Действительно! Смотри ты!.. И где взял?

— Длинная история, хлопцы. К какой-нибудь бабе надо. Есть ему надо, а то пропадет.

— Да в семейный лагерь отдать. Лагерь тут недалеко, — почти по-дружески сказал молодой, в кубанке, и

вскочил в седло. — Кулеш, давай отвези. Потом догонишь.

— Нет, — сказал Левчук. — Я должен сам. Тут такая история, понимаете... Сам я должен. Это далеко?

— Смотря как. Дорогой далековато. А через ручей десять минут.

Они вышли из папоротника на дорожку. Лошади тревожно вертелись под седоками, которые, видно, торопились куда-то, но и этого болотного встречного, оказавшегося знакомым одного из товарищей, тоже неловко было оставлять без помощи.

— Ну ладно! — решил наконец парень в кубанке, бывший, по-видимому, старшим группы. — Кулеш, покажешь дорогу и догоняй. Возле Борти мы подождем.

Усатый Кулеш завернул лошадь, и Левчук торопливо подался за ним по дороге. Он шел быстрым шагом, стараясь понять, в какую он угодил бригаду, хотя наверняка не в Первомайскую. Из Первомайской этот Кулеш не мог быть на разъезде — Первомайская тогда действовала где-то под Минском и только весной появилась в этом районе.

— Это не по тебе там немцы пуляли? В болоте? — спросил Кулеш, поглядывая на него из седла.

— По мне, да. Едва ушел.

— Смотри ты! Там же трясина — о-ёй!

— Ну. Думал, пузыри пущу. А ты теперь в Кировской, что ли? — осторожно поинтересовался Левчук.

— В Кировской, ага, — охотно ответил Кулеш. — Защемили и нас, сволочи! До вчерашнего было тихо, а вчера жеманули. Слышь, гремит? Отбиваемся.

Левчук уже слышал, как погромыхивало где-то в том направлении, куда они шли. Стрельба, правда, была отдаленная, зато густая, с раскатистым лесным эхом.

— Слушай, а это, часом, не твой? — кивнул Кулеш на его сверток.

— Нет, не мой, — сказал Левчук. — Друга моего.

— Вот как! Ну что ж, понятно...

— Не успел родиться — и уже сирота. Ни отца, ни матери.

— Бывает, — вздохнул Кулеш. — Это теперь просто.

Левчук быстро шагал рядом с рыжей Кулешовой лошадкой и постепенно отходил душой от всего недавно им пережитого. Наверно, он окончательно уже спасся и спа-

сет наконец малого, в это теперь он почти что поверил. Хотя он был слишком измотан для того, чтобы по-настоящему порадоваться такому исходу его похождений. Теперь, когда столько страшного осталось по ту сторону болота, все-таки смилостивившегося над ним, он почувствовал в себе только тягучую тупую усталость и, стараясь не отстать от коня, бросал вперед нетерпеливые взгляды — когда же наконец покажется этот лагерь? Уж дальше лагеря он не пойдет. Там он устроит ребенка и выспится, а потом, может, обратится к какому врачу со своей раной. Мокрая, так и не перевязанная как следует, она то тупо болела, то начинала нестерпимо саднить в его плече, как будто нарывала, — не хватало еще заражения, что ему тогда делать? Его все больше начинала беспокоить рана.

— Уже недалеко, — сказал Кулеш. — Перейдем речку — и лагерь.

Левчук устало вздохнул и глянул на малого — тот спокойно себе дремал на его руках. Дорожка шла вниз, с хвойного пригорка к орешнику над ручьем. И тогда они увидели, как на той стороне по лужку, будто наперехват им, без всякого порядка бегут вооруженные люди. Один, завидя их тоже, замахал рукой, и Кулеш в замешательстве потянул повод.

— Что такое?

На дорогу выбежал смуглый, с жестковатым выражением глаз человек в немецком мундире, с немецким автоматом в руке: на его груди болтался огромный немецкий бинокль, и Левчук догадался, что это какой-то командир кировцев.

— Кулеш, стой! — крикнул командир и забросил за плечо автомат. — Кто такой? — кольнул он Левчука придирчивым взглядом.

— Это из Геройского, — ответил за него Кулеш. — Во, малого в семейный лагерь несем.

— Какого малого! — возмущенно вскричал командир. — Все в строй! Немцы прорвались, слышь, что делается.

Из орешника на дорогу высыпало человек двенадцать партизан. Все с виду были усталые, наверно, от долгого бега и нерешительно один за другим останавливались, прислушиваясь к неожиданной стычке их командира со знакомым Кулешом и незнакомым партизаном из Геройского.

— Что, с ребенком в строй? — удивился Кулеш.

— Ладно, ты вези ребенка! — быстро решил командир. — А ты в строй. Где винтовка?

— Нету, — сказал Левчук. — Вот пистолет.

— Становься с пистолетом. За мной марш!

Левчук секунду помедлил, намереваясь сказать, что ранен, но возбужденные лица командира и его бойцов дали ему понять, что лучше послушаться. Такие не очень станут упрашивать или разбираться в твоих оправданиях — такие обычно, если что не так, хватаются за пистолет. Левчук это знал по собственному опыту.

И он отдал ребенка Кулешу, который не очень ловко, с преувеличенной осторожностью поднял его в седло.

— Главное, к тетке какой. Чтоб покормила, — напомнил Левчук.

— Будет сделано. Ты не беспокойся.

Чернявый, с горячими глазами, взбежал на пригорок и оглянулся. Левчук, однако, стоял, почему-то испугавшись, что Кулеш упустит малого, а тот, пришпорив стоптанными каблуками коня, обернулся.

— Эй, а звать его как?

— Звать? — удивился Левчук.

Действительно, может, он расставался с ним навсегда, а имя ему так и не дал никакого. Да разве он думал про имя? Он даже не надеялся, что оно ему когда-либо понадобится.

— Виктор! — крикнул он, припомнив имя Платонова. — Виктор, скажи. А фамилия Платонов. Если что...

— Ясно!

Кулеш поскакал по дорожке и скоро исчез за поворотом в орешнике, а Левчук, зябко содрогнувшись от своей мокряди, побежал вслед за чернявым. Уже было слышно, как в том направлении забахали винтовки и первые пули певуче прорезали утренний воздух...

17

Через некоторое время Левчук начал посматривать на балконы и не сразу догадался, что третий балкон над подъездом — их. Действительно, если квартира на площадке справа, значит, окнами она выходит во двор, где и был этот балкон с узенькой застекленной дверью, какими-то цветочками в вазонах-корытцах, подвешенных к перилам. Там же виднелось плетеное кресло, столик, с крыши тянулся конец толстого провода от антенны.

И неожиданно для себя он увидел там молодую женщину в светлом халатике, которая, неслышно выйдя из комнаты, полила из стеклянной банки цветы, глянула вниз и снова бесшумно исчезла в квартире, оставив раскрытой балконную дверь.

Левчук продолжал сидеть, не в состоянии сразу понять смысл этого ее появления, хотя он и знал, что дождался. Да, он дождался столько лет ожидаемого им свидания. Он там! Четверть часа назад Левчук краем глаза заметил, как какая-то пара прошла в подъезд, но он увидел только спину мужчины, невысокого, остроплечего, с худыми локтями, торчавшими из коротких рукавов тенниски, и не обратил на него внимания. В его воображении Платонов был иного сложения, и он продолжал сидеть, все приглядываясь к каждому из нечастых тут, случайных прохожих. Но, пожалуй, настало время вставать. Жизнь редко балует человека свершением его надежд, она имеет привычку поступать по-своему. Но и человек любит настоять на своем, вот и возникают конфликты, которые иногда скверно кончаются.

Наверно, все, что Левчук намечтал за тридцать лет неизвестности, — детская забава, не больше, наверно, все будет иначе. Но он должен знать — как? Слишком много спрессовалось для него в той его партизанской истории, чтобы без должной причины пренебречь ею. Тем более что потом удача окончательно покинула его, не пришлось заслужить ничего. В конце блокады отняли руку, и он занял место Грибоеда в санчасти — смотрел лошадей. А возле лошадей какие же заслуги? Жил прежними, главной среди которых был этот спасенный им от волчьей стаи малой, затем неизвестно куда девавшийся. Как Кулеш увез его по дороге, так он ни разу больше его и не видел. Спрашивал у всех при каждом подходящем случае, да все напрасно. Кому было интересоваться младенцем, если пропадали сотни сильных, известных, выносливых; наградами Левчука тоже наделили не слишком, в то время, когда он воевал, награждали нечасто, а потом, когда стали чаще, он уже не воевал — стал обозником. Потому наибольшей для него наградой оставался этот младенец, нынешний полноправный гражданин страны Виктор Платонов.

Медленно, превозмогая внезапную тяжесть в ногах, Левчук поднялся с лавки и пошел к подъезду. Волнение охватило его за все вместе: за то страшное, давно им пережитое, за встречу, к которой он стремился без малого

тридцать лет, за свою какую ни есть, но уже идущую к закату жизнь.

Сдерживая в себе какую-то неприятно расслабляющую волну, он медленно, с остановками, поднялся по лестнице на третий этаж. Знакомая дверь по-прежнему была плотно закрыта, но теперь он услышал присутствие за ней людей и нажал кнопку звонка. Он ждал, что кто-то ему откроет, но вместо того услыхал низкий добродушный голос, донесшийся из глубины квартиры:

— Да, да! Заходите, там не закрыто.

И он, забыв снять кепку, повернул ручку двери.

1975 г.



Круглянский мост

ПОВЕСТЬ

1

Проснулся Степан на рассвете.

Разбудили его голоса — близкий говор людей, смех, прокуренный кашель и бряцание пустых котелков. Еще не одолев дремоту, он понял, что это шли завтракать — рядом в ольшанике была тропинка к недалекой кухне, запах дыма от которой давно уже доносился до его ямы. Обостренным обонянием Степка улавливал соблазнительный запах жареного и тогда даже во сне не мог заглушить в себе сосущее чувство голода. Но до еды, пожалуй, было далеко. С пробуждением на него хлынул поток самых неприятных воспоминаний: перепутанные картины вчерашнего ожили все сразу, и он со щемящей болью в душе ощутил этот переход из сонного забытья в слишком беспокойную и нерадостную теперь для него действительность.

Больше уже не заснул.

Им снова овладела тревога, на несколько часов прерванная сном, опять потянулось ожидание, которое, однако, не предвещало ничего хорошего. Он пошевелил головой — шея по-прежнему не сильно, но как-то надоедливо тупо болела, чирьи, кажется, нарывали все больше; один, содранный вчера, наверно, присох к рубашке, и теперь, шевельнувшись, Степка почувствовал короткую острую боль в плече.

В яме было прохладно, от утренней свежести тело пробирала дрожь, зябли руки. Струхлевшая соломенная подстилка на дне отсырела, стала волглой, как скошенная завядшая трава, и не грела. Где-то, невидимое за лесом, всходило солнце; в высоком просторе неба, предвещая погожий день, белело спокойное облачко. Ниже

под ним высилась усыпанная шишками вершина ели, несколько шишек лежало и в яме, на утоптанной соломе, возле его босых и грязных ног.

Яма была не очень глубокая, когда-то второпях выкопанная для картошки, небольшой запас которой хранили тут до весны. С осыпавшихся земляных стен свисали еловые корни; те, что потолще, торчали из земли твердыми узловатыми обрубками. Вылезти отсюда было нетрудно даже и ребенку, но Степка вылезать не собирался, терпел и уповал на справедливость — должна же быть на земле справедливость! Теперь, понемногу успокаиваясь после вчерашнего, он начинал понимать, что погорячился, не стерпел, что не надо было доводить все до беды. Но разумные мысли обычно запаздывают, и того, что случилось, уже не исправить.

Затаив дыхание, Степка начал различать какие-то невнятные звуки, которые не сразу понял, а потом стало ясно, что поблизости стругали палочку или какой-нибудь прутик: слышался тихий шорох ножа, натужное посапывание. Потом он расслышал и негромкое постегивание по упругой, усыпанной хвоей земле. И парню вдруг нестерпимо захотелось туда, на свободу, хоть бы оглядеться вокруг, высунуться из этой сырой, провонявшей струхлевшей соломой ямы.

Но он знал, что, пока не приедет комиссар, никто его отсюда не выпустит.

Между тем на тропинке под елями сначала едва-едва, а потом все отчетливей слышатся чьи-то широкие торопливые шаги, доносится шорох задетых ветвей, мерное позвякивание в такт шагу — оружия или чего-то в карманах. Слышно, как поблизости встает часовой, ударами ладони небрежно отряхивает полу одежды; резко щелкает ножик. Степка с опозданием догадывается: идут сюда. Может, за ним? Он ждет этого и готов уже обрадоваться, но вместо обычных в таком случае слов слышит другие.

— Ну, иди подрубай! — раздается голос довольного собой и, видно, позавтракавшего уже человека.

Неожиданно близко и хрипловато после долгого молчания откликается часовой:

— Что там? Опять ячная?

— Кулеш с салом.

— Ну и то лучше. Эта ячная уже в горло не лезет.

— Полезет. А как твой бандит? — вдруг спрашивает пришедший.

— Тихий, как мышь. Спит все.

— Тихий, говоришь...

Голоса незнакомые, наверно, кто-то из новых. Степка чувствует, что идут к нему, и, усевшись, принимает независимый вид.

Скоро над краем ямы появляются две головы — одна в шапке, другая в немецкой пилотке, — а затем и сапоги, трофейные, подбитые шипами, — это у того, что пришел на смену. Тот, что отстоял свое, держится поодаль, и Степка видит его только до пояса.

— Привет! — с наигранной легкостью бросает новый часовой, с любопытством ощупывая его быстрыми глазами.

Степка медленно опускает голову — ему не до шуточек и нелепых теперь разговоров. Часовой, наверно, понимает это и сгоняет с лица улыбку:

— Ничего. Приедет комиссар, разберется. Ты из какой роты?

— А тебе что? — тихо говорит Степка, поднимая на него холодный, с укором взгляд.

— Да так.

— Что ты его допрашиваешь! — нетерпеливо перебивает другой. — Из какой бы ни был, теперь его дело труба.

— Ну почему труба? А если смягчающие обстоятельства? Пошлют на «железку», искупит вину и будет бегать! — бодро говорит часовой.

Степка прислушивается и хмуро еще вглядывается в этого человека с седоватой щетиной на щеках и морщинами у рта, который кажется ему почти пожилым, во всяком случае постарше многих. По разговору парень определяет: нездешний, наверно, из окруженцев или бывшего районного начальства. Степка уже готов приободриться, но улавливает в его тоне нотки неискренности, наигрыша и опять опускает голову.

— Приедет комиссар, он ему покажет смягчающие, — недобро ворчит сменившийся.

— Ничего. Главное, не дрейфить! Если что — мол, под мухой был. А под мухой оно все возможно.

Они поворачиваются и уходят. Степка с облегчением вытягивает ноги, слушать их бодрую болтовню ему уже становилось невмочь. Что бы там ни ожидало его впереди, лишь бы скорее. Ему уже кажется, что он сидит тут

бесконечно долго, и его встревоженное нетерпение то заглушается воспоминаниями, то нестерпимо обостряется. Наверно, уж лучше одному, когда никто не донимает его ни угрозами, ни бесполезным теперь утешением. Скорчившись от холода, он жмется плечом к волглой земляной стене, одну к другой сводит озябшие ступни — так вроде становится теплее.

Невдалеке, наверно на кухне, рубят дрова: доносятся размеренные удары, короткий стук дерева, временами тонко отзванивает топор. Так и он рубил два дня назад и, пожалуй, рубил бы и теперь, и завтра... И надо же было ему подвернуться в недобрый час, напроситься на это задание! Он и до сих пор не может понять, в самом ли деле подрывник Маслаков разыскивал его, чтобы взять в группу, или, может, случайно повстречал в лесу и позвал.

Впрочем, на Маслакова обиды у него нет — у того были наилучшие намерения, и его ли вина, что обстоятельства повернулись столь неожиданным образом...

2

Срубив несколько ольховых жердей, Степка возвращался на кухню.

Нетолстые те жерди он сперва нес, потом тащил за шершавые, набрякшие весенним соком комли — верхушки и неровно обрубленные сучья драли прелую залежь прошлогодней листвы, цеплялись за кусты и деревья. Комли же просто отрывали руки. А тут еще винтовка, свисавшая с плеча на длинноватой веревке вместо ремня, беспрестанно путалась прикладом меж ног, мешала идти, и он, притомившись, бросил олешины, так и не дотащив до кухни. Затем, помедлив, и сам устало опустился на землю в редковатом ольшанике возле стежки. Было тепло и затишно, он угрелся, под суконным венгерским мундиром вспотела спина. Он расстегнул воротник, бросил наземь старенькую измятую шапку, от мокрой подкладки которой шел пар. Несколько минут он, сопя, отдыхал, думая, что шапка — пустяк: всю зиму носил, и еще, наверно, послужит. Так же, как и коричневый венгерский мундир, и черные, со светлым кантом полицейские штаны, а вот с сапогами ему решительно не повезло — сапоги развалились. Левый уже с неделю был перевязан куском оранжевого немецкого провода, а правый невозможно было и связать: перёд сгнил почти

полностью. В сапогах всегда было мокро, ноги постоянно стыли. Наверно, по этой причине Степку стали донимать чирьи: на боках, под мышками, а теперь вот еще и на шее — не повернуть головы.

Впрочем, насчет сапог он был виноват сам: мог стащить с какого-нибудь фрица (их тогда немало валялось после неудачной засады) обычные солдатские, а не зариться на офицерские. Офицер этот подвернулся ему в канаве, куда Степка предварительно швырнул гранату и тут же, не теряя времени, снял с него ремень с парабеллумом и эти вот сапоги. Парабеллумом, однако, попользовался недолго — уступил новому начальнику штаба, который имел какой-то длинноствольный музейный наган. Ремень отдал взводному Бойченко, потому что ремень у Степки и старый был неплохой. На хромовые же сапоги, чересчур шикарные для лесной жизни, поменяться никто не хотел, пришлось носить самому.

Вообще в этом отряде Степке не везло всю зиму. Началось с того, что его спутали с одним партизанским связным, тоже по фамилии Толкач, который где-то выдал отрядных разведчиков и за которым охотились партизаны. Пока разбирались, Степку с неделю продержали в запертой землянке. Потом его выпустили, но первое же задание за пределами лагеря едва не стало для него последним. Небольшая группа их заночевала тогда в пуньке. Степка с вечера стоял на посту и, сменившись, только задремал в сене, как на деревню налетели полицаи. Ребята огородами драпанули в лес, а его впопыхах разбудить забыли. Пришлось до полдня, не шевельнувшись, простоять у косяка за воротами в десяти шагах от пьяных полицаев, расположившихся на гумне. Когда же назавтра он пришел в отряд, все очень удивились его невероятному спасению. Какое-то время Степку подозревали, вызывали к начальству, слушали его короткое объяснение, верили и не верили. Потом, когда подозрение несколько улеглось, ему не стало отбою от Грушецкого, остряка-балагура из Полоцка, не пропускавшего случая позубоскалить над парнем. Както не стерпев, Степка огрел его прикладом по голове, за что тут же получил прозвище Псих — самое обидное из всех, которые он имел за свою не очень складную восемнадцатилетнюю жизнь.

В прежнем отряде имени Ворошилова жилось ему куда лучше. Там он был едва не самым старым бойцом, с партизанским стажем ненамного меньшим, чем у са-

мого командира отряда лейтенанта Крутикова. Правда, там его тоже дразнили, но прозвища были более сносные: Белый — это за волосы и брови — и еще Здыхля, потому что худой, хотя худых в отряде и без него было немало. Но там он чувствовал себя наравне с другими, полноценным бойцом, не то что у этих чапаевцев. К сожалению, тогдашняя жизнь его неожиданно оборвалась со смертью лейтенанта Крутикова, немногочисленные остатки отряда которого разбрелись по соседним лесам и бригадам.

Самое худшее, конечно, было не в смене отрядов и даже не в отношении к нему партизан. Ребята, понятно, иногда насмехались над ним, молодым и слабосильным, но делали это не по злобе, а скорее ради потехи. А вот начальство, то шуток не знало. С начальством партизан Толкач был в давнем, застаревшем конфликте: Степка считал, что к нему придираются, а начальники держались того мнения, что Толкач — разгильдяй, к которому надо относиться строго. Так говорил взводный Бойченко, когда жаловался на его самоуправство с выселковским старостой, которого Степка подстрелил по дороге с задания. За разгильдяйство ругал его начальник штаба, когда он, переведенный в хозяйственный взвод, упустил с поводка продуктовую корову штаба. Отряд тогда выходил из блокады, хозяйственники с возами пробирались какими-то овражками, на шоссе их перехватили каратели, начался обстрел трассирующими, и черная шустрая рогуля метнулась в кустарник как бешеная, только он ее и видел в сумерках. Искать было бессмысленно. Степка погоревал и, перейдя шоссе, вынужден был с оборванным поводком предстать перед начальником штаба. Думал, это для него плохо кончится. Хорошо, что вокруг было полно карателей, и партизаны таились, как мыши, боясь хрустнуть веткой.

— Толкач!

Степка от неожиданности вздрогнул и оглянулся: отстраняя рукой ветки, в кустарнике пробирался Маслаков — подрывник, кадровый красноармеец, с которым они однажды зимой ходили на «железку». Последнее время Маслаков залечивал в санчасти раненую руку и время от времени наведывался к ним в хозяйственный взвод.

С некоторым удивлением глядя на подрывника, Степка молчал, не понимая, зачем понадобился ему. Рука у Маслакова была уже без перевязи, однако двигал

он ею осторожно, на ладони все еще белел замызганный бинт повязки. Подрывник выбрался из зарослей — тонкие ветки ольшаника упруго прошуршали по его зеленой расстегнутой телогрейке.

— Как жизнь, Толкач?

Степка все молчал, не зная, как отнестись к этому вопросу: кому не известно, какая жизнь в хозвзводе на кухне. Похоже было, что Маслаков шутит, хотя в его тоне и во всем виде не чувствовалось никакой шутки. Как всегда, располагающая улыбка сквозила на его смуглом округло-простодушном лице.

— Да вот, дрова запасаю.

Ногой в исправном еще, намазанном салом кирзовом сапоге Маслаков тронул кривой ольховый комель — верхушка жерди, словно живая, коротко шевельнулась в траве.

— Один таскаешь?

— Ну.

— Каторжник! — сочувственно заключил Маслаков и в упор повернулся к парню. — Слушай, у меня к тебе дело.

Степка нетерпеливо снизу вверх взглянул на Маслакова. Когда тот еще только окликнул его, он почувствовал, что это не так себе, что Маслаков несет новость и что новость эта хорошая. И он во все глаза смотрел теперь на подрывника, который на минуту будто замялся в нерешительности.

— Сходим на одно дело? С музыкой.

Неизвестно почему, но Степка уже чувствовал, что будет именно такое предложение. Это было куда как соблазнительно — сходить с Маслаковым на боевое задание. А то последнее время он если и вырывался куда, так за картошкой на какой-нибудь хутор или за сеном в луга; однажды возил трофейный брезент в соседний отряд. На задания его не посылали.

Но тут же Степка вспомнил свое положение в хозвзводе и нахмурился:

— Клепец разве пустит!

— А куда денется.

— Ты говорил с ним?

— Командир поговорит. Вызовет, прикажет — и весь разговор, — без тени сомнения сказал Маслаков.

Степка уныло махнул рукой.

— Ну, командир не заступится.

Подрывник нетерпеливо переступил на месте, под-

дал на плече новенький, с лакированным прикладом ППШ.

— Ладно, это мое дело. Ты говори: согласен?

— Я-то согласен.

— Так потопали. А то времени мало.

Еще не веря, Степка нерешительно поднялся, подобрал винтовку, глубже за ремень засунул топор. Маслаков одною рукой подхватил две жерди и двинул в кустарник — напрямик к недалекой уже кухне. Степка поспешил следом. Вопреки своим опасениям он постепенно обретал уверенность, хотя в душе его еще не исчезло и сомнение. Степка слишком хорошо представлял себе, как встретит эту новость Клепец, которому вечно не хватает людей на кухне, и те у него всегда лодыри и разгильдяи. Однако Маслаков о том, видно, мало заботился и, оглянувшись, сказал:

— Помнишь, как мы под Фариновом грукнули?

— Ну.

— Вот я и думаю: что́ это Толкача на кухне коптят? Такого подрывника, с опытом.

Он взглянул на парня с такой подкупающей улыбкой, что Степка на минуту почувствовал себя счастливым. Правда, он скоро сообразил, что Маслаков, наверное, преувеличивает, какой там у него опыт!

Опыт, конечно, был небольшой, последнее время на «железку» он не ходил. Но тогда под Фариновом они в самом деле рванули неплохо. Место подобрали удобное: насыпь, поворот и к тому же спуск, впереди подмерзшее болотце. Машинист, наверно, не предвидел опасности, и как грохнуло, почти весь состав слетел с насыпи. Тогда еще с ними ходили Балашевич и Струк. Первого уже нет, а второй раненым остался где-то в Козельской пуще.

С одной жердью было удобнее; вскоре они выбрались из чащи в редколесье, и Степка немного подбежал вперед, чтобы идти рядом.

— А кто еще пойдет?

— Еще? Данила Шпак из взвода Метелкина. Пожилой такой, местный. И Бритвин. Знаешь?

— Тот, что ротным был?

— Вот-вот. Пойдет вину искупать. Как искупит, тогда, говорили, опять командиром поставят.

Что ж, это было недурно: Маслаков, Бритвин — старые, опытные партизаны, Шпак Данила — здешний человек, насквозь знает все ходы-выходы. Степка посте-

пенно уже осваивался со своею радостью, о задании он не спрашивал, знал: придет время — разъяснят что надо.

Они подтащили дрова к кухне, от которой приятно пахло дымком, и остановились неподалеку от пня, на котором секли дрова. Тут уже лежало несколько жердин, принесенных раньше, однако Степка сразу прикинул: чтоб сготовить обед — дров мало. Тем не менее эта забота, недавно еще занимавшая его, теперь показалась такой постылой, что не хотелось о ней и думать. Они побросали жерди, и Маслаков привычно подтолкнул на плече автомат.

— Собирайся! Через часик потопаем.

3

Однако через час не потопали: случилась заминка со взрывчаткой.

Пока Маслаков бегал по начальству, они втроем дожидались под елкой на краю прогалины, в том месте, где начиналась дорога. Бывший командир роты Бритвин, как только пришел сюда, сразу растянулся ничком на усыпанной хвоей земле и лежал так, с молчаливой сосредоточенностью положив на руки свежевыбритый подбородок. Из них троих он один в шинели и суконной пилотке имел хоть сколько-нибудь воинский вид; Степка же в своем сборном обмундировании скорее походил на полицая. Что до третьего, пожилого колхозника Шпака Данилы, то во внешнем облике того вообще не было ничего воинского. Молчаливый, с заросшим черными космами лицом, в рыжем, залубеневшем кожухе и в лаптях, он сидел, прислонясь к смолистому комлю елки, и что-то с аппетитом жевал. Рядом лежал его коротенький обрез с некрашеной самодельной ложей. Степка не сразу понял, что Данила ел бобы, которые таскал из замусоленной противогазной сумки понемножку, по зернышку, всякий раз делая вид, что они у него последние. Тем не менее и через полчаса он все ел, избегая взглядов Степки, когда тот поворачивался к нему. Парень отлично понимал эту простодушную хитрость, но молчал, потому что давно взял за правило ничего не просить у тех, кто не хотел давать.

Он был в приподнятом, почти радостном настроении. Клепца не понадобилось и вызывать к командиру — просто Маслаков передал ему распоряжение начальника.

штаба, и хозяйственник, поворчав, смолк, что значило — согласился. Степка, не дожидаясь обеда, получил свой кусок хлеба, который тут же съел, и теперь пребывал во власти волнующего нетерпения, когда хотелось только одного: поскорее двинуться в путь. Закинув за спину винтовку, он выломал прутик и, постегивая им по траве, поглядывал в сторону шалашей, откуда должен был появиться Маслаков.

— Может, мимо Озерища пойдем? Не знаете?

Ему никто не ответил. Данила был занят бобами, а Бритвин только повел на парня косым равнодушным взглядом.

— Возле Озерища легче пройти. Там вся полиция своя.

— А тебе откуда известно? — холодно спросил Бритвин.

— Мне? Такой секрет! Все знают, — с деланным безразличием сказал Степка, но внутренне насторожился: тон этого вопроса был ему слишком знаком, и он понял, что напрасно сказал так.

Бритвин после паузы с нажимом заметил:

— Ты за всех не ответчик и держи язык за зубами, если что и знаешь.

Степка поверх леса посмотрел в небо, затянутое молочной дымкой, сквозь которую с утра не могло пробиться солнце, затем перевел взгляд вниз, на шалаши за поляной — Маслакова все еще не было. Другому бы он ответил в таком же тоне, но грубить Бритвину пока воздержался. Правда, ходили слухи, что месяц назад Бритвин здорово проштрафился на задании, его сняли с роты, хотели судить, но перевели в их отряд рядовым. И тем не менее тон и весь его вид свидетельствовали, что рядовым он себя не считал. Во всяком случае, в этой маленькой группе держался как старший, с заметным превосходством над ними двумя. Впрочем, это не очень беспокоило Степку, который единственным командиром признавал тут Маслакова.

Степка снял со спины винтовку и тоже присел несколько в стороне от тех двоих. Винтовка у него была старая, с граненым казенником, выпущенная, судя по клейму, еще в двадцатые годы. Вообще-то стреляла она неплохо, затвор также работал нормально, и Степка был бы вполне ею доволен, если бы не мушка. Мушка раскернилась в своем гнезде и часто сползала в сторону от положенного ей места. Прежде чем выстрелить,

надо было сдвинуть ее, чтобы совместились риски, а потом уж прицеливаться.

Степка подобрал на земле сучок, ногтями отщипнул от него щепочку и начал засовывать ее под мушку. Щепка, однако, не лезла, ломалась. На его занятие обратил внимание Данила, а затем и Бритвин, который, вглядевшись, недовольно двинул бровями:

— Ты что делаешь?

— Да вот, мушка.

Бывший ротный повернулся на бок и с требовательной уверенностью протянул руку:

— А ну!

Степка еще раз ковырнул щепкой, но опять неудачно и отдал винтовку Бритвину. Тот сел, расставив колени, привычно поклацал затвором.

— Ну и ломачина! Грязная, конечно, ржавая... У тебя кто командир? Меликьянц, да?

Степка промолчал. Разговаривать с Бритвиным у него уже пропала охота — он знал, что тот скажет дальше.

— Ладно. Давайте винтовку.

— Нет, обожди! — уклонился от его руки Бритвин. Он щелкнул курком, потрогал прицельную планку, потом взглянул на мушку. — А еще говорили, Меликьянц — строгий командир!

Степка все молчал, но под елкой подозрительно завозился Данила.

— Да он не Меликьянца — он с кухни.

— Как с кухни?

Бритвин опустил руку с винтовкой и вперил в него недоумевающий, почти возмущенный взгляд. Степка выхватил у него винтовку, подумав про Данилу: чтоб ты пропал! Тянул его кто за язык, что ли? Но поправить ничего уже было нельзя, и он огрызнулся:

— А что на кухне — не люди?

Потом поднялся и закинул свою «ломачину» за плечо, готовый идти, только идти было некуда — надо было ждать. Данила с легкой усмешкой на широком лице, а Бритвин с настороженностью посматривали на него.

— Тебя кто в группу назначил? — спросил Бритвин, сдвинув к переносью широкие брови.

— А вам что за дело?

Все было слишком знакомо. Степка опять почувствовал себя в положении человека, действия и способности

которого брались под сомнение, и это невольно толкало его на дерзость.

— Назначили! У вас не спросили.

Бритвин тем не менее, сохраняя выдержку, погасил удивление и повернулся к Даниле, который без особого внимания к ним обоим копался в глубине своей сумки.

— Дожили, нечего сказать! — проворчал бывший ротный, снова откидываясь на локте.

Степка, потоптавшись немного, сел поодаль от них возле стежки. Первая радость в нем быстро омрачалась досадой, он уже каялся, что дал Бритвину в руки винтовку, — пусть бы осматривал свою. А то достал где-то десятизарядку, и столько важности! Еще неизвестно, чья лучше возьмет — его СВТ или эта, образца 1891 года. Степка мог бы все это объяснить им, как и то, что при кухне он оказался случайно, что он не меньше других в свое время походил на задания. Но возникшая уже неприязнь к обоим, особенно к Бритвину, брала свое, и он ничего не мог с ней поделать.

Обиженно притихнув, Степка не сразу заметил, как со стороны шалашей появился Маслаков. Под елью, шурша кожухом, начал вставать Данила, поднялся и удобнее сел Бритвин. У Степки же от чирьев ломило в шее, и, чтобы оглянуться, он вынужден был повернуться всем корпусом. Шагая через поляну, командир одной рукой нес немецкую канистру, подойдя, поставил ее на дорогу и сдвинул с потного лба армейскую шапку.

— Что это? — спросил Бритвин.

— Дымок, дымок пускать будем, — заговорил Маслаков. — Думал, сыграем — ничего не вышло. Будем дымить.

Все озадаченно глядели на канистру — Данила и Степка стоя возле нее, а Бритвин молчаливо сидя на своем месте. Разумеется, они понимали, что получилось хуже, чем предполагали: бензин — не тол, жечь всегда хуже, нежели взрывать.

— Так мы что, не на «железку»? — сдержанно спросил Бритвин, уставясь куда-то вниз, на сапоги командира.

Маслаков с неунывающей живостью в глазах окинул своих подчиненных.

— Нет, не на «железку». В другую сторону. На Кругляны.

— На Кругляны... А кто тебе группу комплектовал?

— А что, плохая группа? Сам подбирал.

Бритвин неторопливо встал, подошел ближе. Затем неожиданно повернулся и оказался лицом к лицу со Степкой.

— А этого тоже сам выбрал?

— Толкача? А что, плохой подрывник?

Бритвин исподлобья укоризненно посмотрел на командира.

— Где это он подрывал? На кухне?

— Где надо было, там и подрывал! — не стерпев, огрызнулся Степка. — Подумаешь, начальник нашелся!

— Тихо!

Наверно, Маслаков только сейчас что-то понял. Улыбка исчезла с его лица, без нее черты его сделались резкими, почти жесткими.

— Кого брал — мое дело, — сказал он. — Кто заслуживал.

— Заслуживал! Ты посмотри, какая у него винтовка! — кивнул головой Бритвин, с обиженным видом отходя в сторону.

Маслаков повернулся к Степке:

— А ну, дай сюда!

Степка подал винтовку, Маслаков открыл затвор, резко щелкнул курком. Строго взглянул на парня:

— В чем дело?

— Да мушка немного шатается, — будто о пустяке, нарочитой скороговоркой ответил Степка и прикусил губу.

Пока Маслаков осматривал мушку, парень все больше хмурился, в душе проклиная Бритвина. Разве был он виноват, что Клепец вручил ему эту «ломачину»? С особенным сожалением он вспомнил теперь свой аккуратный трофейный автоматик, который у него отобрали, переводя в хозяйственный взвод.

Маслаков поднял глаза на Степку:

— Закернить не мог? Да?

— Так не было чем.

— Сейчас некогда — на перекуре напомнишь. Сам закреплю. Остальное в порядке?

— В порядке, — поспешно ответил Степка.

Маслаков еще раз взглянул на его тонкую, перехваченную ремешком фигуру, задержал взгляд на перевязанном проводом сапоге, но не сказал ничего.

— Держи!

Степка на лету едва успел ухватить брошенную ему винтовку и с облегчением тихонько вздохнул. Напряжение его спало, главное — обошлось, его не прогнали, остальное уже не имело большого значения.

— Так! Тогда шагом марш! — сказал Маслаков. — Канистру понесем по очереди. Кто первый?

Однако первого не объявлялось, канистра стояла на краю дорожки, над нею, ожидая охотника, стоял Маслаков. Бритвин, верный своей привычке, отошел в сторону и принял такой вид, будто его ничего тут не касалось. Данила глядел в лес, как бы не слышал, что сказал командир. Тогда Степка с угрюмой решимостью ступил на дорогу и взялся за гнутую металлическую ручку канистры.

— Да-а, — неопределенно проговорил Маслаков и вздохнул. — Ладно, начинай, Толкач.

4

Начинать было не так уж и трудно — около часа Степка, меняя руки, тащил канистру. Заброшенная лесная дорожка сначала вилась в мрачном замшелом ельнике, потом потянулась низиной, ольховым кустарником, перелесками. По черному грязному торфянику партизаны перешли хлюпкое, со стоячей водой болото, края которого вовсю зеленели весенней травой.

Еще в начале пути Степка намеренно приотстал, чтобы не идти рядом с Бритвиным. Степка понимал, что бывший ротный недоволен им, сомневается в его боевых качествах, а может, и вовсе считает его неподходящим для порученного им задания. Хотя, пожалуй, надо было попросить у Свиридова автомат или хотя бы закернить эту мушку. Теперь, поразмыслив и несколько поостыв, он не считал себя во всем правым, но и не мог согласиться с тем, чтобы ему читал мораль Бритвин. Степка стерпел бы мораль от Маслакова или еще от кого-нибудь из отрядного начальства, но не от Бритвина, которого он не знал, а теперь уж и не уважал вовсе. Мало что он бывший командир, но товарищ из него никудышный. И это удручало, потому что на задании куда важнее было иметь рядом просто надежного товарища, чем придирчивого командира. В командах пока не было надобности — необходимо было тащить канистру.

И он тащил ее, едва не переламываясь пополам. Бен-

зин сильно вонял, заглушая лесные запахи, и с тихим плеском мерно шевелился в посуде. Со временем канистра все тяжелела. Степка начал останавливаться, отдыхая и меняясь руками, и наконец отстал. На пути их пролег глубокий, заросший орешником овраг. Маслаков с остальными перешел по дорожке на ту сторону, а Степка остановился на краю и поставил канистру. Наверно, надо было окликнуть, чтобы подменили, но он промолчал: он не хотел при Бритвине ни о чем просить — могли догадаться сами. Остужая в воздухе натруженную ладонь, он только глядел им вслед и думал: оглянется кто или нет? Они же друг за другом лезли по склону вверх, и, только выбравшись из оврага, Маслаков окликнул его.

Степка, не ответив, опустился подле канистры. Они за оврагом тоже сели. Тогда, малость отдохнув, он поднялся и сошел в овраг.

Он думал, что они дождутся его и пойдут, однако они не вставали. На краю дороги с прежним озабоченным видом сидел Бритвин, рядом переобувался Маслаков. Данила, хватаясь руками за ветки, полез к ручью напиться. Занятые разговором, они, казалось, не обратили на Степку никакого внимания.

— Реку под Круглянами знаешь?

— Ну.

— Так вот там.

— Длинный тот, деревянный?

— Он самый.

— Вряд ли удастся, — подумав, сказал Бритвин, по своему обыкновению глядя вниз. — Там охрана.

Степка сообразил, что разговор касался задания, и исподлобья внимательно поглядывал то на Бритвина, то на командира. Маслаков, поддев носком, стянул с ноги второй свой сапог и подвернул портянку.

— Охраны нет. Вчера пришел Голенкин из разведки. На мосту пусто, — спокойно объяснил он и, надев сапог, мягко притопнул на дороге.

Степка подумал, что сжечь мост, наверно, будет непросто. Даже если и нет охраны. За низинкой там местечко с полицией, откуда этот мост виден как на ладони. Но теперь своим несогласием с Маслаковым парень не хотел поддерживать Бритвина и молчал.

— Днем, может, и нет. А ночью? — сказал Бритвин.

— А зачем нам ночь? Днем и подпалим.

— Под носом у бобиков?

— А что? Дерево сухое, вспыхнет, как порох. Только бы бензина побольше, — бодро сказал Маслаков и повернулся к Степке. — Толкач, давай драгунку.

Степка подал винтовку, командир вынул из-за голенища финку и ее черенком начал тихонько клепать у основания мушки.

— Все дело в том, как обмозговано. А обмозговал ты неважно. Хитрости мало! — недовольно говорил Бритвин.

— Какой там хитрости!

— Такой, чтоб сказал и сразу было ясно, что удастся.

— Без внезапности никакая хитрость не поможет. Внезапность нужна.

Слушая неторопливый, не очень согласный разговор, Степка забыл уже о первом невольном сомнении относительно замысла Маслакова и поднял на Бритвина обиженно-злой взгляд:

— Не такие взрывали! Только щепки летели. И не трусили!

Он преднамеренно сказал так — грубо и почти вызывающе, — чтобы задеть Бритвина. Правда, это выглядело несколько наивно и самонадеянно, однако он уже ощутил в себе волнующий холодок решимости и знал, что не отступит.

Бритвин нахмурился.

— Кто это — взрывали?

— А мы!

— Гляжу, умные очень! — язвительно сказал бывший ротный.

Он заметно осторожничал, может, хитрил, утрачивая свою привычную командирскую самоуверенность, недавно еще удерживавшую Степку на расстоянии. Почувствовав это, Степка пошел напропалую, лишь бы досадить Бритвину:

— Да уж за свою шкуру дрожать не будем!

Из оврага, шурша в кустарнике кожухом, выбрался Данила и прислушался к разговору.

— Что ж, посмотрим! — вдруг зло сказал Бритвин и отвернулся.

— Смотрите.

— Ладно, будет вам! — прикрикнул Маслаков. — Придем, осмотримся, решим на месте. Держи!

Не вставая, он бросил Степке винтовку, которую тот ловко ухватил за ложу.

— Лишь бы дождя не было, — поглядел в небо Маслаков.

Остальные, кроме Бритвина, тоже подняли головы. Белесая поволока там вроде сгущалась, край неба за оврагом подозрительно синел — похоже, в самом деле собирался дождь.

— Что-то хмурится, — неопределенно сказал Данила.

Маслаков энергично встал на ноги.

— Ну, потопали! Данила, бери канистру!

5

Они выходили из Гриневичского леса. Ельник редел, видно, кончался, шире раздалось небо над головой, уже рядом была опушка. Вдруг Маслаков коротко бросил: «Постойте!» — шагнул с дороги и скрылся в сплошной чащобе молодого подлеска. Остальные остановились на краю дороги. Данила, отсапываясь, поставил канистру и сел, где стоял. Бритвин настороженно глядел в подлесок. Степка, положив на траву винтовку и опустившись на колено, принялся затягивать проводом сапог.

Но не успел он завязать узел, как из ельника донеслось:

— Сюда давай!

Они встали и полезли в молодой еловый подлесок, источавший резкий смолистый запах. Раздвигая неподатливые колючие сучья, Степка через минуту вылез на более просторное место. Тут уже был край леса. Над молодой хвойной порослью, убегавшей по пригорку вниз, возвышались две толщенные, увитые прядями мха ели с разлапистыми сучьями. Возле ближней из этих елей, склонив голову, стоял Маслаков.

— Давайте подправим скоренько.

В земле неглубокой впадиной наметилась несвежая, наверно прошлогодняя, могила. Небрежно накопанная земля осела, края могилы обсыпались. Маслаков начал сапогами сгребать к ней песок. Данила поставил канистру.

— Что, знакомый? — спросил Бритвин.

— Двое наших: Кудряшов и Богуш. Осенью в Староселье на засаду нарвались. Кудряшова на месте в лоб, Богуш по дороге умер.

Степка прислонил к еловому комлю винтовку и без лишних расспросов подался к командиру. Грести песок

сапогами он не решился, опасаясь вовсе остаться разутым, и начал руками разравнивать его по форме могилы. Данила с Бритвиным стояли поодаль.

— Ну что? — вскинул голову командир. — Давай, Данила, дерна поищи. Обложить надо.

Данила молча вытащил из ножен на ремне немецкий штык-тесак и вразвалку неохотно поплелся в заросли. Бритвин опустился под елью.

«Падла! — подумал Степка, шлепая ладонями по волглой земле. — Боится руки запачкать. Начальничек!»

Пока они вдвоем возились с могилой, Данила в поле кожуха принес три куска дерна, вывалил рядом. Маслаков приложил дерн к краю могилы, но его было мало. Тогда под елью нетерпеливо поднялся Бритвин.

— Дай штык! А то провозишься тут...

Данила отдал штык, и он решительным шагом двинул к опушке. Несколько помедлив, Данила пошел следом, Степка подумал, что и ему следовало бы включиться в эту работу, но прежде, чем отправиться туда, он сказал Маслакову:

— Знал бы, не пошел.

— А что?

— Да этот... Бритвин.

— Ничего, — сказал командир, помолчав. — Не обращай внимания. Придирчивый, зато головастый.

Все по разу они принесли десяток дернин, и Маслаков кое-как обложил могилу. Получилось совсем не плохо — почти как на кладбище.

— Вот и порядок! Славные ребята были, — будто оправдываясь, сказал Маслаков.

Бритвин поморщился:

— На всех славных время не хватит.

— Сколько того время? Полчаса.

— Бывает, что и полчаса дорого. Особенно на войне, — сказал Бритвин, полой шинели вытирая ладони.

Степка невзначай глянул на его руки — грубые и натруженные, с корявыми пальцами, на которых бросались в глаза толстые обломанные ногти. Уже без недавней неприязни парень подумал, что, возможно, Бритвин и не такой уж плохой, как показалось вначале. Но чувство неприязни к нему окончательно еще не исчезло.

Бритвин между тем поправил на плече свою СВТ с

общарпанной ложей и, сделав шаг, оглянулся, поджидая Маслакова.

— На диверсиях время — золото. Что-что, а это я знаю. Двенадцать поездов рота фуганула. Вон от Клепиков до Замошья под насыпью — сплошь моя работа.

— Под насыпь старо, — сказал Маслаков. — Что под насыпь пускать — в выемках надо.

Бритвин, будто отстраняя его, двинул рукой.

— Ничего, и так неплохо.

Спорить с ним Маслаков не стал. Поработав, он разогрелся, сняв с телогрейки ремень, подпоясал им гимнастерку. Степка украдкой поглядывал на Бритвина и думал: тоже — его работа! У них в отряде еще зимой было приказано диверсии на дорогах устраивать только в выемках, потому что спущенные под откос поезда останавливали движение на полдня, не больше.

— А насчет могилы, —сказал Маслакову Бритвин, — так можно бы дядькам поручить. Дядьки бы позаботились.

— Очень нужно.

Они остановились возле канистры, за которую теперь не спешил браться Данила, и Бритвин, наверно, понял, что пришла его очередь.

— Неудобно же! Как вы ее несли? — удивился бывший ротный, приподнимая посудину. Оглянувшись вокруг, он подобрал кривоватый еловый сук и продел его в ручки канистры.

— Так будет лучше. А ну, берись, парень!

Это относилось к Степке, который, однако, не тронулся с места: дураков нет, он свое пронес. Если что, пусть берется Данила.

— Ваша очередь. Ну и несите!

— А ты попробуй!

Но Степка не хотел и попробовать, и тогда за конец палки взялся Маслаков. Правда, скоро обнаружилось, что командиру нести неудобно: сползал с плеча автомат, левой же рукой Маслаков двигал осторожно, не разгибая в локте, — наверно, еще болела. Тогда вперед вышел Данила.

— А ну дайте!

— Что, во вторую смену? Пожалуйста, — улыбнулся Маслаков.

Взяв канистру, Данила с Бритвиным пошли по склону пригорка вниз, рядом шагал командир. На опуш-

ке, едва высунувшись из леса, он остановился: впереди была деревня — за не вспаханными еще огородами серели соломенные крыши хат, хлева, на выгоне паслись гуси, и трое ребятишек сидели верхом на изгороди. Минуту вглядевшись сквозь редкий еще кустарник, Маслаков круто повернул в сторону, в ольшаник. В ольшанике они скоро наткнулись на изрытую кротами тропинку, которая вывела их к ручью на лугу. Ручей перешли по двум хлюпким жердям. Потом опять подвернулась малоезженая полевая дорожка, приведшая их к густой стене мрачного ельника. Хотели было сразу скрыться в нем, но дорога с километр тянулась у самой опушки вдоль поля, ярко зеленевшего густыми полосками озими. Война войною, а крестьянская душа без земли не могла: в деревнях и пахали и сеяли. Маслаков непрестанно посматривал по сторонам, оглядывался. Бритвин далеко не отрывался от него, жилистый рукастый Данила неслышно шагал в своих легких на ходу лаптях. Степка, отстав, тянулся за всеми — на ноге сбилась портянка, вроде натирала пятку, в намоченных на болоте сапогах надоедливо чавкало.

Наконец дорога опять повернула в лес, под навись еловых ветвей, и у всех отлегло на душе: лес был союзник.

— Ну, больше деревень не будет, — вздохнул Маслаков. — Загораны спалены, Ковши хуторские лесом обойдем.

— Прохвичи еще, — низким, глуховатым, как из бочки, голосом отозвался Данила.

— Прохвичи останутся в стороне. За речкой.

— За речкой, ага. Племянница там замужем.

Это был намек, который таил в себе немаловажный смысл. Если у кого в деревне случались знакомые или, что еще лучше, родственники, то это обещало многое, и не для одного только лесного родича. Маслаков, конечно, понимал это не хуже других и, наверно, поэтому минуту молчал, что-то прикидывая.

— Потом. Как назад пойдем. Не теперь.

— Теперь нет. Где уж теперь, — согласно подхватил сзади Данила.

Неожиданно для себя Степка почувствовал легкое разочарование: зайти в деревню всегда было кстати, хотя и с риском наткнуться на бобиков или немцев — все равно после опостылевшей лесной жизни властно влекло к людям, немудреному домашнему уюту, кото-

рого Степка не знал много лет. Эта тяга жила в нем с раннего детства, когда он потерял родителей, не исчезла и в детдоме, и в школе ФЗО и особенно усилилась за войну в его бесконечных партизанских блужданиях по лесу.

Наступая на осклизлые, ободранные колесами корни елей, они обошли широкую, с застоявшейся водой лужу на дороге, и Маслаков оглянулся.

— Если управимся, ночью заскочим. Так тому и быть, — сказал он.

Данила прибавил шагу, они с Бритвиным догнали Маслакова, и Данила подхватил разговор, который явно интересовал его:

— Если управимся, то... Пасха же.

— Пасха, да. А вообще лучше не заходить, — сказал Маслаков. — Меньше беды будет.

Бритвин отчужденно молчал, а Данила и тут согласился:

— Оно так.

— Как-то зашли, едва ноги унесли, — вспомнил Маслаков. — Другие предложили, а я, дурак, и послушался.

— Как говорится, других слушай, а своим умом живи.

— Закурить нет?

— Есть малость.

— Давай подымим. Чтоб веселей жилось.

Носильщики остановились, осторожно опустили наземь канистру. Данила откинул полу кожуха и начал перебирать что-то в карманах суконных латаных-перелатаных штанов. У Бритвина тем временем нашлась и бумажка — страничка из школьного учебника по геометрии.

Стоя поодаль, Степка устало глядел, как они отрывали от нее по клочку, и Данила бережно отмерил каждому щепотку самосада. Степка тоже курил, когда было что, теперь же ему не предлагали, и он не просил, зная цену табаку. Особенно для таких курильщиков, как Данила.

— Прикурим от немецкой, — объявил Маслаков, засовывая руку за пазуху. Нащупав, он достал плоскую, будто пачка от иголок, бумажку со спичками, бережно отделил одну и чиркнул о терку, что почти испугало Данилу.

— Зачем?.. У меня ж кресало! — спохватился он.

Но спичка уже вспыхнула, и он первым прикурил из пригоршней Маслакова. — Испортил, ай-яй!

— Ничего! На Круглянский мост хватит, — успокоил его командир.

Они с наслаждением затянулись и будто даже веселей двинули по поросшей молодой травкой дороге. Наверно, возвращаясь к прерванной мысли, Маслаков обернулся к носильщикам:

— Про комбрига Преображенского слышали?

— Того, что осенью немцы расстреляли? — не вынимая изо рта цигарки, спросил Бритвин.

— Какой осенью? Его еще летом расстреляли.

— А говорили, сам в плен сдался, — ненастойчиво возразил Бритвин.

Маслаков остановился.

— В плен! Языки бы тем повырвать, кто так болтает.

— Не знаю. Слышал, кто-то рассказывал. Я же в их отряде не был.

Маслаков бросил беглый, все замечающий взгляд вперед, куда уходила эта извилистая лесная дорога, огляделся по сторонам. В лесу везде было спокойно, лишь в ветвях возились-потенькивали невидимые птички да вверху на посвежевшем ветре привычно шумели верхушки елей. Внизу же, в узком кривом коридоре между деревьями, было тепло и тихо, комары еще не появлялись. Время близилось к вечеру, солнца не было видно, над лесом медленно плыла серая нависъ облаков.

— Был кто в Шнурах?

Степка впервые слышал такое название, да и Бритвин, наверно, тоже. Они молчали, один лишь Данила, что-то припоминая, заморгал глазами.

— Тех, что за Лесовичами?

— Тех самых, — подтвердил командир. — Славная деревушка на горе при лесочке. Люди попались хорошие, золотые люди. Через их доброту и погорели.

6

— Всякая доброта бывает. Другая хуже злобы, — сказал Бритвин, спокойно шагая вплотную за Маслаковым. Тяжести ноши он вроде и не чувствовал, шел ровно и прямо, и Степка подивился его находчивости: на палке канистра, казалось, нисколько и не весила.

Маслаков на реплику не ответил и продолжал после паузы:

— От было, чтоб его черт! Нас-то двое выскочило, а комбрига забрали. Забрали и повели, а мы лежали, как олухи, в картошке и не знали, что и думать. На Палик тогда шли. Знаете Палик? Озеро вон за Лепелем, часть нашего отряда базировалась там. Двое суток лазили по болотам, вымокли, сухой нитки на теле не осталось. Опять же и харчишки вышли. Надо было запастись побольше, да у тех, что оставались, тоже негусто было. Думали, где-нибудь в пути перехватим...

— А много вас было?

— В том-то и дело, что мало. Трое всего.

— Ну, для троих жратва не проблема. В любой хате...

— Ага, в любой хате! Сунулись в одну деревушку — собаки такой хай подняли, что пришлось в лес повернуть. В другой полицаи свадьбу гуляют, какого-то бобика женят, — понаехало, на улицах полно, пьянка, дым коромыслом. Думали, потерпим, оставалось километров тридцать, кабы не заблудились. Заблудились, однако, в болотах, изнервничались, переругались. А тут комары жрут нещадно, вокруг то ольшаник, то трясина, камыши, и силы без жратвы уже к концу подходят. Да, значит, было нас трое: я, комбриг Преображенский и лейтенант один, тоже из кадровых, — от самой границы все возле комбрига ну вроде за адъютанта, хотя сам такой же рядовой, как и комбриг этот. Оно и неудивительно: комбриг в своей танковой бригаде был командир, а пришел с пятью танкистами в отряд — уже чужой, пришлый человек. Отряд из местных, хотя были и красноармейцы, из окружений которые, командиром Барсук. Вон тот самый, что с тишковским отрядом в рейд пошел. До войны был председсельсовета. Не гляди, что в военном деле ни гугу, зато все деревни ему знакомые, а в деревнях тьма своих мужиков. А что комбриг танковых войск без войска? Всей и цены, что пистолет в кармане да граната на поясе. Правда, Преображенский и не стал кичиться, как некоторые. Барсук принял, спросил, какую комбриг должность хочет. А какая там должность в отрядике, где сорок человек? «Хоть рядовым, лишь бы немцев бить». Так и пошел рядовым в наше отделение. А я отделенным. Понижение, конечно, ведь действительную помкомвзводом служил, старший сержант был.

— Велика шишка! Я вот старшим лейтенантом был — и ничего! — Бритвин довольно оглянулся на Данилу, ища внимания. — Полгода рядовым проходил.

— Да, конечно. Но не в том дело. У меня тоже та-

кие вояки собрались, что не стыдно и отделенным побыть: один секретарь райисполкома, милиционер из Полоцка, два лейтенанта и этот комбриг Преображенский. Сначала думал, будет пререкаться, палки в колеса ставить. Опять же, как мне, по возрасту вдвое моложе его, командовать таким? Потом оказалось, еще и академию в Москве окончил. Да ничего, принюхались. Был тихий, молчаливый, как всем, так и ему. Сам в очередь на посту стоял, шалаши строил. Разве что наган ему лейтенант чистил. И все-таки не ровня нам, молодым, в этом мы скоро убедились. Человеку за пятьдесят, как ни тщится-старается, а видно: силы не те. Тот раз ему особенно плохо было. Оказывается (проговорился потом уже, как в баньке лежали), радикулит донял. И правда, тянет все ногу и морщится. Тогда мы, двое помоложе, и то без ног остались, а ему где уж! Начал отставать. Лесок прошли, три раза останавливались, поджидали, а как же: отстанет, потеряется, пропадет. Лейтенант уже взял у него и сумку — больше не дает ничего. «Никакой поблажки, — говорит. — Нечего баловать тело, надо его подчинить воле, как новобранца фельдфебелю...»

— Правильно! Таков закон армии. А как же, — вставил Бритвин.

— Закон законом, а под вечер совсем плох стал наш комбриг. Я и то едва бреду перелесками. А тут еще дождь заладил. В кустарнике мокрядь. Начало смеркаться, вышли на опушку, и тут — деревня. За болотцем на пригорочке хаты, дым стелется над огородами, и так вареной картошечкой пахнет...

— Знакомая картина, — усмехнулся Бритвин.

— Ну. Прислонился я к березе, молчу. Притопали комбриг с лейтенантом. Лейтенант был сильный, спортивный парень, кадровый командир, а и тот приуныл. Комбриг же дотопал и наземь — мол, подождите, ребята. Известно, человек занемог, приустал, да радикулит еще этот. А деревушка — вот она, и так дразнится дымком, теплом, уютом. Корова, помню, замыкала, наверно, хозяйку учуяла — доить шла. Гляжу на лейтенанта, тот на комбрига, а комбриг и говорит: «Пожалуй, рискнем!» Ну, известное дело, сначала разведать — а вдруг немцы? Пошел лейтенант, недолго пробыл, вижу, возвращается бодро так и ведет двух дядьков. Один пожилой, седой, но еще в силе, такой, знаете, дед-лесовик, другой помоложе мужчина, в поддевке. Поздоровались сдержанно так, но по-хорошему, повели всех в село. Говорят, никого, мол,

нет, сплошь свои, перекусите да посушитесь. Чувствуем, не к добру это, но больно уж опротивело на пустое брюхо по мокроте. Авось ничего не случится.

— Вот тут-то вы и прошляпили, — сказал Бритвин и повернулся к Даниле. — Давай поменяемся, а то... Ставь на дорогу.

Они поставили канистру. Бритвин, помахивая рукой, зашел с другой стороны ее. Маслаков терпеливо подождал, пока они взяли ношу.

— В том-то и дело, что тут ничего и не случилось. Люди славные оказались, дед — бывалый солдат, все про ту, германскую, рассказывал. Бабы — старуха и две молодицы — собрали на стол, не хуже, чем в праздник. Понятное дело, деревушка глуховатая, немцы пока не трогали, партизаны еще не наскучили, а главное — один сын их тоже в армии. Сняли мы все верхнее, мокрое, бабы начали сушить на печи да перед огнем. И перекусили. За стол с нами и еще трое мужиков село, дед говорит, не бойтесь, мол, все люди свои. Ну ладно, мы не боимся, осмелели. Слово за слово, разговор, конечно, про войну, про немца. Комбриг им целую лекцию прочитал. Ну, наелись, немного подсохли, комбриг и говорит: «Вздремнуть бы часок». Дед огородами отвел в баньку возле картофляника. Темно, тесно, горчит от прокуренных стен, веничком пахнет. Завалились на полки и спать. Охраны не надо, дядьки сами взялись охранять. В их честности мы не сомневались. Утречком сговорились двинуть. Показалось, только вздремнул, слышу: беда! В распахнутой двери дед: немцы! В баньке еще темно, окошко, однако, светлеет — рассвет. Подхватились мы да в предбанник, потом за угол баньки. Да слышим, дед сзади: «И там немцы!» Окружили, значит. Куда податься? Попадали в картофляник, лежим. Картошечка уже отцвела, ботва рослая, укрывает. Воткнулся в комбриговы сапоги, со сна ни черта не соображаю, жду... Вот черт, потухла. У тебя горит?

У Бритвина горело, они опять остановились под нависью еловых лап. Маслаков прикурил, затянулся и умолк. Остальные тоже молчали.

— Вот так! — продолжал Маслаков. — Утречком тишина, все звуки наверху, выглянуть нельзя, а так далеко слышно. На дворе крики, угрозы, плач. Мы соображаем: так просто наскочили или нас ищут? Неужто кто предал? Оно ведь так: какие бы хорошие люди ни были, а сволочь завсегда найдется. Донесла. Как потом вы-

яснилось, баба одна. Зло за что-то имела на дедовых молодаек, ну и слетала по ночи в местечко, привела полицаев, фельджандармов — канты на погонах крученые такие. А тут, как на беду, комбриг оборачивается и шепчет: «Гимнастерка осталась». Я чуть не обмер, но точно: комбриг в накинутой палатке, а гимнастерка в хате. Еще когда ужинали, тетка на печи расстелила: пусть, мол, к утру высохнет. Высушила на свою голову. Да, гимнастерку скоро нашли, и хотя в ней ничего не было — комбриг документы, конечно, переложил, — сообразили гады, что напали на большого начальника. Откуда узнали, черт их поймет. Может, знаки от ромбов остались. Ромбы-то комбриг давно снял, но если вглядеться, то места под ними будто примяты немного. Ну и взялись. Перевернули всю хату, сараюшки, чердаки: полчаса мы слушали, как они там грохочут, кричат, швыряют. Двое совсем близко прошли к баньке, а там дверь настежь, пусто. Попробуй догадайся, что мы в двадцати шагах в картошке лежим. Думают, наверно, в тайнике каком скрылись. Ищут тайник. Часа за два все перевернули — ни шиша. Дед отпирался, отнекивался, а как гимнастерку нашли, смолк. Кричат: «Говори, куда бандитов упрятал, иначе всех прикончим и хату огнем пустим!» А дед покорно так отвечает: «Воля ваша. Вы — сила».

Возле дороги в лесу проглянула поляна — продолговатая зазеленевшая лужайка с почерневшей копенкой сена поодаль. Маслаков, приостановясь, умолк, бегло огляделся, они быстрым шагом перешли лужайку. Все уже докурили, только командир сжимал в пальцах окурок, который давно не горел.

— Опять потухла. Что такое?

— Говорят, жена изменяет, — сказал Бритвин.

— До жены дожить надо.

На ходу командир сунул окурок за отворот шапки. Они теперь шли все вместе. Маслаков выглядел заметно моложе Бритвина, хотя ростом был его выше, да и шире в плечах, движения его отличались легкостью и сдержанной неторопливостью крепкого, уверенного в себе человека.

— Да, значит, лежим. Я как-то словчился, одним глазом выглянул из ботвы — выстроили их всех под стенкой в рядок: деда, старуху, обеих молодух и двух ребятишек. Бабы голосят: они-то не знают, куда мы из баньки шастнули, один дед знает. А дед молчит. Тогда те сволочи к бабам: «Где бандиты?» Бабы в голос: «Паночки доро-

женькие, да разве ж мы знаем? Были и ушли, мы не глядели куда». — «Ах, не глядели! А тайник где?» — «Нет у нас никакого тайника, хоть убейте — нет!» — «Убить просите? — говорит один. Полицай, наверно: слышно, поздешнему разговаривает. А может, переводчик. — Нет, мы сначала ваших щенков перебьем». И тут — бах! У меня все оборвалось внутри — что надумали, гады! Слышу, и комбриг замер, напрягся. А на дворе крик, плач. Так и есть: самую малую, самую крайнюю в шеренге. А сквозь крик опять тот же голос: «Скажешь или нет?» Потом рассказывали, подскакивает к мальчишке и пистолет ко лбу. А что ему — застрелил бы и его и всех, лишь бы выслужиться. Тем более такая добыча — комбриг. И что думаете? Вдруг комбриг подхватился и к баньке. А лежал он немного за банькой, как вставал, со двора, наверно, не видно было. «Стой, гады!» — говорит. Мы затаились в картошке, ну, думаю, все пропало. А он этак решительно на стежку и к ним. Фрицы, рассказывали потом, во все стороны с испугу: кто за дрова, кто в хлев, а крикун тот с пистолетом раз на колено и пистолет на руку. Изготовился, значит. А комбриг: «За что ребенка, ироды? Я комбриг, берите!» Ну и взяли. Взяли и опять кинулись к баньке — человек пять. И туда и сюда — нигде никого. Комбриг им толкует: «Зря стараетесь, остальные в лесу». Поверили. Как не поверить, если человек на такое пошел. И что думаете? Всех разогнали прикладами, деда, правда, тоже увели, но через неделю выпустили. Девочку схоронили. А комбрига, рассказывали потом, в Лепельском СД расстреляли во дворе. Даже и отправлять никуда не стали.

— Да-а, — сказал Бритвин. — Сердобольный комбриг. А если бы они и его схватили, и семью прикончили? Тогда как?

— Знаешь, — подумав, сказал Маслаков, — тут дело совести. Одному хоть весь мир в тартарары, лишь бы самому выкрутиться. А другому надо, чтоб по совести было. Наверно, свою вину чувствовал перед людьми. Фактически же его гимнастерку нашли.

— При чем тут гимнастерка? — проговорил Бритвин, имея в мыслях что-то свое.

7

Остаток пути, заметно притомившись, шли краем ольшаника. Сквозь негустой кустарник то и дело прогляды-

вала широкая луговая пойма, дружно и ярко зеленевшая первой весенней травой. Где-то там, петляя между болотистых берегов, текла речка Круглянка. Ее, однако, не было видно отсюда, зато Кругляны показались еще издали — длинный ряд разномастных крыш на пригорке с дорогой. Чтобы попасть на мост, надо было зайти с другой стороны, и Маслаков, переговорив с Данилой, круто взял по перелеску вверх, в обход. Теперь они вдвоем шли впереди, канистру же снова несли по одному (в кустарнике с палкой было не развернуться), пронес немного Бритвин, и последнему она снова досталась Степке.

Данила, знавший здесь все тропинки, как-то странно менял направление: сперва шли ольшаником, потом, описав дугу, залезли в овраг, выбрались по его крутой стороне и скрылись в молодом густоватом березнячке, будто обрызганном нежной зеленью ранней листвы. Затем, торопливо перебежав пыльный лоскут пашни, сунулись в сухой, полный смолистых запахов сосняк. Степка с канистрой опять отстал и из последних сил упрямо продирался в зарослях, опасаясь упустить из виду товарищей.

Они взбирались на песчаный сухой пригорок. Рослый и густоватый на опушке молодой сосняк выше измельчал и редковато рассыпался по склону вперемежку с березками и можжевельником. В этом соснячке Степка и догнал их. Поскидав шапки, развалясь, все трое расселись на склоне.

— Ну, дотащил? — улыбчиво жмурясь, спросил Маслаков. — А боялся.

— Чего мне бояться? Пусть фрицы боятся, — сказал Степка, плашмя кладя на землю канистру.

У него от усталости подкашивались ноги, но он заставил себя сдержаться, снял из-за спины и бережно положил наземь винтовку, расстегнул пропотевший мундир — восемь пуговиц от воротника до пояса — и затем уже, выбрав помягче местечко, присел.

— Ну, давай дави ухо. А я понаблюдаю, как там мост. Только тихо чтоб!

Маслаков встал, взял свой автомат с завидно новенькой лакированной ложей и развалисто пошел вверх.

Оставшись без командира, трое его подчиненных почувствовали себя будто свободней. Данила, став на колени, распоясался, стащил с плеч кожух и блаженно развалился на нем, предусмотрительно вздев на руку ремень куцего обреза. Степка также откинулся на здоровый, без

чирьев бок, задрав голову, поглядел в небо. Там по-прежнему громоздилась туманная мешанина облаков, временами повевал свежеватый, с сыростью ветер — похоже было, погода всерьез портилась. Где-то в стороне, наверно на недалекой дороге, едва слышно простучала колесами и умолкла повозка. Было тихо. Правда, в кустарнике неподалеку, хлопая крыльями, долго и неуклюже усаживалась на сосенке ворона. Кажется, там были и еще: в зарослях слышалась тихая, но настойчивая птичья возня. Данила как будто спал, прикрыв шапкой волосатое лицо, глубоко и спокойно посапывая. Бритвин, недолго посидев рядом, поднялся и с унылой озабоченностью на сухом лице пошел вверх, к Маслакову.

Степка полежал немного и сел. Все настойчивей начала напоминать о себе гнетущая пустота в желудке: хотелось есть. Замусоленная сумка Данилы лежала в трех шагах от него, наверняка там было что-то съестное, и парень отвел глаза в сторону, чтобы не смотреть на нее. Он только подумал, что было бы здорово пустить дымом тот мост и завалиться куда-либо в деревню — столько вокруг знакомых жителей, было где поесть куличей, яиц, да и выпить. Как бы там ни было, а все-таки пасха, деревни празднуют, как праздновали пять и пятьдесят лет назад; только вот им, лесным бродягам, не до того: задание, дорога, проклятая эта канистра, резко и противно вонявшая рядом. Впрочем, на кого пенять? Пошел сам, никто не просил; с первой военной весны убежал в лес, прихватив чужой карабин, повстречал окруженцев, и началась его беспокойная лесная жизнь. Жалел только, что перед уходом не прихлопнул негодяя Володьку. Сколько Степка наслушался от него угроз, натерпелся унижений и издевательств, сколько перетаскал ему самогона! Сам полицай был трусоват, далеко из местечка выходить боялся, а его, безбатьковича, приблудного чужака, аккурат и присмотрел для такого дела.

Вспоминая то время, Степка всякий раз приходил в волнение от давней, застаревшей обиды, как бы снова переживая зиму своего бесправного существования — без документов, на подозрении, среди чужих людей. Но и в Витебске жить было невозможно — завод закрылся, общежитие молодых строителей реквизировали под немецкое учреждение, и, чтобы не пропасть с голоду, он отправился в деревню под Лепель, где, помнил, была какая-то родственница, полузабытая тетка Степанида. Идти пришлось все время пешком, в конце поздней ненастной

осени; его парусиновые туфли скоро разлезлись, он простыл и однажды, заночевав в крайней от оврага хатенке с обмазанными глиной углами, так и не поднялся утром. Участливая к чужой беде бабка Устинка выходила его, отогрела под кожушком на печи, отпоила липовым наваром, и он дальше уже не пошел, волей-неволей застрял в этом местечке над голым нечистым оврагом, куда сливали помои и сбрасывали перестрелянных полицаями собак. Поправившись, чтобы не быть постылым нахлебником, надевал бабкины развалюхи-сапоги, кожушок, брал у соседей санки и ездил через поле в лесок за хворостом, а то за кусок хлеба носил местечковцам воду, добывал из буртов картошку, которой тогда немало зазимовало в поле. Так кормился сам и кормил бабку Устинку. А по соседству, через три двора, отъедался в примаках бывший лейтенант Володька, который, просидев зиму у сельмаговской продавщицы, по весне записался в полицию и начал шутя и всерьез придираться к Степке. Он все донимал парня его незаконным жительством, тем, что у того не было документов, то и дело напоминая, что таких, как он, приказано собирать по деревням и отправлять в район. И если он, Володька, не арестовывает его, так лишь по своей доброте, которая, однако, не бесконечна. Полицай вымогал у Степки множество разных услуг: то сходить к инвалиду-соседу что-нибудь выведать, то утречком покараулить дорогу на выезде из местечка, напилить дров и почти каждый день добывать самогон. Степка опасался Володьки и до поры до времени подчинялся, хотя так возненавидел его, что этой его ненависти не осилила и острая жалость к Устинке. Однажды, пока полицай после ночного дежурства умывался на дворе у порога, Степка взял со скважейки его заряженный карабин и вылез через дыру в сенях, чтобы никогда больше сюда не возвращаться.

...Маслаков с Бритвиным задерживались, не шли и не звали, Данила вроде уже и похрапывал под шапкой. Степка ногой раза два тихонько толкнул его лапоть — Данила подхватился, в сонном недоумении глянул туда-сюда и, успокоясь, снова лег на спину.

Степка подкрутил на сапоге провод, поковырял щепкой землю, потом занялся винтовкой. Сначала приоткрыл затвор — рукоятка упруго и беззвучно повернулась на скосе, — из щели магазинной коробки с готовностью выглянули острые носки пуль. Не досылая их в патронник, Степка осторожно задвинул затвор. Потом достал

сточенный довоенный сельповский ножик с плоским металлическим черенком и от нечего делать поскреб ложу. Из-под грязи, остатков счерневшего лака и смазки полосами засветилось крепкое сухое дерево, и Степка почти с увлечением взялся скоблить-обновлять грязный почерневший приклад.

Бритвина все не было, а Данила, оказывается, больше не спал — тихо полежал несколько минут и сказал глухо:

— Чего они там?

— Кто?

— Да воронье. Сходить: может, люди...

Действительно, все в том же месте, в чащобе, слышалась птичья возня, по временам долетало короткое хлопанье тяжелых вороньих крыльев, где-то там стрекотала сорока — верный признак лесной тревоги. Степка поднялся и с винтовкой наготове осторожно полез в чащу.

Еще издали в кустарнике чувствовалось присутствие, кроме воронья, и еще кого-то, хотя вряд ли тут мог быть кто-либо живой. А вороны все копошились, одни взлетали на вершины сосенок, другие оттуда решительно опадали вниз; издали послышалась характерная трупная вонь. Степка сухой палкой швырнул в птичий грай:

— Кыш вы!

Вороны нехотя поднялись с земли, захлопав в ветвях крыльями, но далеко не полетели: одни начали кружить над опушкой, другие, недовольно прокаркав, шумно рассаживались на сосенках поблизости. Сорока застрекотала сильнее и беспокойнее, но это уже на него. Степка раздвинул сосновые лапки и остановился, охваченный не страхом, а какой-то брезгливой нерешительностью.

Между сосенок на усыпанной хвоей земле, из которой кое-где пробивались желтые искорки курослепа, лежал человек: почерневшие босые стопы, согнутые в локтях иссохшие руки, пыльные серые лохмотья одежды — все какое-то приплющенное, слежавшееся, давно неживое. На том месте, где предполагалось лицо, восседал огромный плечистый ворон.

— Кыш!

Ворон оглянулся, нехотя переступил и, легко оттолкнувшись жилистыми ногами, взмахнул крыльями.

— Кар-р-р-р, кар-р-р-р...

Затаив дыхание, Степка подошел ближе: труп был

давний, возможно, зимний или даже осенний, неестественно плоский, будто втоптанный в землю. Одежда на нем как будто истлела. «Свой или чужой?» — подумал Степка, как вдруг увидел под ногами в траве серо-зеленый лоскут. Это была красноармейская пилотка, сухая и даже пыльная с одной и сыроватая с другой, от земли, стороны. Вся она стала уже никудышной, кроме разве красной эмалевой звездочки, под которой расплылось небольшое пятно ржавчины. Превозмогая брезгливость, Степка отвернул клапан и нашел там воткнутую в подкладку проржавевшую иголку, обмотанную ниткой; рядом можно было различить выведенные чернильным карандашом инициалы владельца. Вырвав звездочку, пилотку он швырнул в кусты.

Возвращаясь к Даниле, он думал, что звездочку надо хорошенько почистить и тогда неплохо будет приколоть ее к шапке, а то за год партизанства он так и не добыл для себя никаких военных отличий. Впрочем, их немного было и у других; разве что у командиров, бывших армейцев, изредка попадались такие вот или чаще зеленые, а также самодельные жестяные звездочки.

Данила сидел на своем кожухе и, наверно, ждал, вглядываясь в его сторону. Степка, подойдя, небрежно махнул рукой (мол, убитый) и показал находку. Данила протянул широкую с узловатыми пальцами руку:

— А ну...

— Целенькая. Командирская, наверно.

Бережно взяв звездочку, Данила с любопытством повертел ее в руках.

— Да, это самое... Хороша.

И, ничего не сказав больше, на глазах у парня сунул ее в карман своих латаных суконных штанов.

— Это ж моя! — почти растерянно выкрикнул Степка.

Данила осклабил длинные прокуренные зубы:

— Гы! Была твоя, стала моя.

— Ты что? Отдавай!

Данила, однако, неподвижно сидел на кожухе и только нагловато ухмылялся.

— Давай!

— А не кричи! Вон командир идет.

Невдалеке закачались растопыренные ветви сосенок, и между ними появилась голова Маслакова.

— Толкач, ко мне!

— Давай! — с последней решимостью вполголоса

потребовал Степка, но, тут же поняв, что напрасно, подался к Маслакову. — Ну, погоди!

Маслаков повернулся, чтобы идти, как сзади, сгребая длинными ручищами кожух, сумки и обрез, подхватился Данила:

— Товарищ командир!..

Не понимая, в чем дело, командир остановился, потом сошел к партизану ниже. Когда Степка, немного подождав, тоже вернулся к нему, Маслаков уже прикалывал к шапке его звездочку.

— Ну, спасибо. Где взял?

— Вон Толкач подарил, — щуря глазки, с притворной невинностью сказал Данила.

«Вот падла!» — отходя, думал Степка. Для Маслакова звездочки было не жаль — Маслакову он отдал бы и шапку. И тем не менее ему стало почему-то неловко, будто даже обидно.

8

В сосняке заметно темнело, небо сплошь застилали облака, несколько капель холодом обожгли шею и руки — вот-вот начинался дождь. Первый весенний дождь, не холодный и не ветреный, ему, помнил Степка, когда-то радовались люди, потому что после все наперегонки зеленело, кустилось, пускаясь в рост.

Теперь же дождь не только не радовал, но даже встревожил их командира группы. Все в том же сосняке они взобрались на самую вершину пригорка и следом за Маслаковым опустились под крайней от поляны сосенкой. Тут же сидел Бритвин, неподвижно смотревший между сосновых ветвей вдаль.

Там были дорога и мост.

— Ну что? — озабоченно спросил Маслаков. — Не видать?

— Ни черта не разберешь. Если бы бинокль.

Все настороженно затаились, вглядываясь в ту сторону, где песчаная лента дороги, выскочив из леска чуть в стороне от этого пригорка, направлялась по насыпи к мосту — длинному неуклюжему сооружению из бревен, напоминавшему отсюда огромную длинноногую гусеницу, сползшую в реку.

— Надо идти, — сказал Маслаков.

— Теперь? — насторожился Бритвин, не отрывая взгляда от притуманенной непогодой вечерней дали.

— Ну а когда же? Пока дождь не разошелся. А то намочит — не разожгешь.

— Ну уж нет! — сухо сказал Бритвин. — Сейчас я не пойду.

— Можешь не идти! — начиная нервничать, бросил Маслаков и поднялся. — Шпак!

Данила привстал на коленях.

— Так у меня обрез!

— Ну и что?

— Так на двадцать шагов, не больше. И опять же мушки нет, — заговорил он каким-то не своим, будто виноватым, сразу заглохшим голосом.

Маслаков тихо, про себя, выругался и ухватил канистру.

— Толкач, айда!

Степка с готовностью встал, не скрывая неприязни, взглянул на сразу утратившего недавнюю нагловатость Данилу. Он отлично представлял ту опасность, которая подстерегала их еще засветло на голой дороге, но больше всего не хотел, чтобы его опасение увидели другие.

На ходу он забрал у командира канистру, они сошли ниже, продрались сквозь густые заросли опушки и оказались на краю луга.

Дождик все сыпал, мелкий, но спорый, пространство за рекой застлало туманом, в нем почти неприметно растворились мост, луговая пойма и весь берег с Круглянами. Это было неплохо: издали на мосту их не увидят, только бы загорелось дерево.

Оставив Бритвина и Данилу на опушке возле дороги, они скорым шагом пустились по обочине. На ходу Маслаков несколько раз оглянулся, и во взглядах его Степка уловил тревогу. Получалось не так, как задумано, риск увеличился, шансы на успех уменьшились. Впрочем, явной опасности пока не чувствовалось, ненастье неплохо укрывало их. Откладывать же вряд ли было разумно: если разойдется дождь, сколько понадобится ждать, пока мост высохнет. Опять-таки должна пособить и пасха: полицаи ведь тоже не прочь попраздновать.

Степка едва поспевал за Маслаковым, оба они почти уже бежали, командир то и дело оглядывался, но на дороге вроде никого не было.

— Аккурат время такое, понимаешь? Днем охраны нет, а на ночь еще не выставили. Кабы не дождь, еще было бы светло...

Они все срывались на бег, но Маслаков намеренно сдерживался, видно, чтобы не отрываться от Степки или не вызвать подозрения, если кто появится навстречу. Автомат свой он держал наготове прикладом под мышкой. Степка винтовку нес на плече, веревка ее где-то на лопатке стягивала кожу, причиняя боль, но он не мог приостановиться, чтобы взять в другую руку канистру.

— Ты поверху, а я вниз. Польешь, а я подожгу. Только аккуратно, чтоб на землю не лилось. По бревнам старайся.

— Знаю.

— Крайнюю от воды опору. Загорится! Должна загореться. И поглядывай за мост. Чтоб из Круглян кто не нарвался.

— Ну.

В разорванный сапог Степки набилось песку, ногу опять стало тереть, он прихрамывал. Соснячок уже остался далеко сзади. Они были одни на пустой дороге, дождик упруго стучал по дорожной пыли, которая затхло воняла, занимаясь сверху мокрой осповатой коркой. Мост был уже близко. По сторонам уже видны стали его перила, одно, обломанное с конца, свешивалось над водой. Насыпь стала повыше, дорога на ней потвердела, и Степка на ходу потряс сапогом, высыпая песок. Наверно, из предосторожности Маслаков перебежал на другую сторону. Ему уже пора было спускаться с насыпи, но командир медлил, сквозь дождик во все глаза приглядываясь к мосту.

И вдруг в дождливом тумане на совершенно безлюдном за секунду до того мосту невесть откуда появилась фигура.

Маслаков будто споткнулся, тотчас замедлив шаг. Степка также пошел медленней, ноги его наливались непонятной тяжестью и слегка подрагивали в коленях. Тусклый силуэт человека — не понять было издали — то ли стоял, то ли, едва шевелясь, двигался вдоль перил. Неужто кто-нибудь из поздних прохожих или, не дай бог, — охрана? Если охрана, то дело их дрянь. Они шли, катастрофически быстро приближаясь к мосту, потому что укрыться тут было негде, а бежать поздно: их уже увидели.

Тот, на мосту, вроде остановился возле сломанных перил и — это отчетливо передалось обоим — сквозь сумрак внимательно поглядел на дорогу. Они также пристально следили за ним, готовые схватиться за оружие.

как тот вдруг вскрикнул и упал. Они остановились — показалось, он спрыгнул под мост или странным образом провалился под настил. Но тут же в сумерках остро сверкнуло — эхо винтовочного выстрела гулко всколыхнуло простор.

Это была наихудшая из неожиданностей, и они разом метнулись с дороги — Степка по одну, а Маслаков по другую сторону насыпи. Степка впопыхах сильно ушибся бедром о канистру и на боку сполз до половины скоса. Тут же он схватился за винтовку и только передернул затвором, как в двух шагах от него, брызнув песком, в насыпь ударилась пуля. Со стороны моста стреляли — торопливо и опасливо, но того, кто стрелял, не было видно. Над дорогой лишь пронзительно дигало — наверно, пули прошивали воздух по ту сторону насыпи, где скрылся Маслаков. Но Маслаков там молчал, и Степка тоже замер, не решаясь до поры обнаруживать себя, и напряженно глядел в сторону моста. Он ждал момента, когда побегут, чтобы ударить в упор, наверняка.

Однако оттуда никто не показывался. После десятка выстрелов стрельба прекратилась, эхо заглохло за лесом, и все вокруг смолкло. Степка полежал еще, прижимаясь грудью к откосу, и вдруг подумал, что, наверно, он тут один, и это испугало его. Вряд ли Маслаков так долго оставался на той стороне — пожалуй, отбежал к лесу. Но тогда и ему надо подаваться назад. Мост, судя по всему, придется отложить — к мосту теперь не подступишься.

Вскочив на колени, Степка одной рукой ухватил канистру, другой винтовку и, скользя на мокрой траве, побежал за насыпь. Он ждал выстрелов, и они действительно раздались, опять часто и оглушительно: бах — диу-у-у-у, бах — диу-у-у... Но он скоро определил, что стреляли не по нему, и он упал, загнанно дыша, оглянулся. Насыпь тут стала вроде бы ниже, чем у моста, он увидел поодаль на дороге пригнувшийся силуэт — кто-то, будто крадучись, бежал, падал и тут же посылал в его сторону выстрел за выстрелом. Но полет пуль он перестал слышать, и это прорвалось в нем новым беспокойством: он уже понял, что полицай стрелял в Маслакова. Значит, Маслаков там.

Но почему он не отвечает на выстрелы?

Степка бросил канистру и, почти не целясь, грохнул торопливым выстрелом навстречу фигуре. Было темно, совсем почти смеркалось, и фигура снова исчезла: упа-

ла или, может, скрылась за насыпью. После трех выстрелов Степка дослал в патронник четвертый патрон, но стрелять не стал, а вскочил и, пригнув голову, в три прыжка перемахнул дорогу.

В канаве он снова упал и затаился. Сзади, взбитое сапогами, поплыло облако вонючей пыли, в грудь и бока больно впились какие-то колючки, по шапке и спине легонько лопотал дождь. Но Маслакова и здесь не было видно ни сзади, ни спереди. Разве что командир успел уже уйти из-под обстрела? И все же какое-то подсознательное чувство подсказывало, что он у моста. Немного отдышавшись, Степка также подался туда.

Внимание его теперь раздвоилось: он ждал выстрелов, чтобы сразу упасть под насыпь, и, напрягая зрение, силился различить в темноте Маслакова. Он начинал понимать, что с командиром плохо, что ему наверняка попало. Но в таком случае он просто не знал, чем можно помочь ему и как его спасать тут, под носом у охраны. Боясь самого худшего, Степка, однако, надеялся еще, что, может, Маслаков притаился и он его скоро увидит.

И правда, он скоро заметил его — в сгустившихся дождливых сумерках командир неподвижно распростерся под насыпью. Еще издали Степка понял, что его подстрелили. Похоже было, Маслаков свалился еще на скосе и сполз до низа. Он так и лежал теперь, закинув вверх руки, неестественно вывернув в коленях ноги. Телогрейка на нем завернулась, рубаха тоже. С разбегу Степка растянулся подле и замер. Он не стал ни тормошить его, ни ощупывать — для этого не было времени, на дороге вот-вот могли появиться полицаи. Он только выдернул из-под лежащего ремень автомата и опять притих в ожидании. Внутри у него все мелко дрожало от усталости и напряжения.

Вокруг было безлюдно и тихо, дождик ровненько сыпал по траве, дороге. Полицаи что-то медлили — не бежали сюда и не стреляли. Степка оглянулся и, приподнявшись, перевалил Маслакова на бок. Затем, не сводя взгляда с дороги, вздел на руку ремень автомата, взял винтовку и, напрягая все свои силы, взвалил на себя страшно тяжелое теперь тело. Придавленный на земле его тяжестью, он испугался, что не поднимется, от натуги в глазах блеснули и поплыли разноцветные пятна, но он все же встал на ноги и, согнувшись и раскачиваясь,

будто пьяный, побрел под насыпью к недалекому лесу...

Он упал, немного не дойдя до опушки. В светловатом небе маячили вершины сосенок, но у него уже не хватило сил заползти в лес, ноги подломились, и он мягко лег со своей ношей на бок. Он ждал, что из лесу выбегут те двое, втроем они уже смогли бы унести командира и отбиться. Минут пять он задыхался от усталости, прижатое к земле, гулко стучало его сердце, все на нем было мокрым от дождя и пота. Неизвестно, сколько времени будто в беспамятстве он пролежал на молодой траве, но никто к нему не бежал ни навстречу, ни сзади. Хотя он ничего не видел вокруг — он только слушал, — но ни шагов, ни выстрелов не было слышно.

Самое худшее состояло в том, что он не обнаруживал в Маслакове ни малейших признаков жизни: похоже, тот был уже мертв. Но как бы то ни было, даже мертвого он бы его не оставил, хотя все в нем отчаянно протестовало против этой беды, виновником которой, наверно, был сам Маслаков. Теперь вдобавок ко всему положение Степки усугублялось новой неожиданностью. Чем ровнее становилось его дыхание, тем сильней его донимала обида на тех двоих, которые черт знает где запропастились, когда так дорога была каждая секунда. А может, и совсем удрали? Это уже возмущало до слез, он готов был и заплакать, хотя на это у него просто не хватало силы, а главное, не было времени — снова надо было вставать и нести.

И он встал, как-то взвалил на себя бесчувственное тело Маслакова. Лишь когда поднимался с колен, не удержал равновесия и опять повалился на бок. Не давая себе передышки, начал подниматься снова и, сильно согнувшись, опираясь о землю рукой, все-таки встал. Разумнее было бы скрыться в лесу, но на опушке в темноте он напоролся на какое-то жесткое колючее сучье и оцарапал лицо. Наверно, тут была непролазная чаща, и он, не решившись лезть в нее, опять пошел краем луга. От слабости его водило, как пьяного, изо всех сил он старался не упасть. Налитый тугой тяжестью Маслаков все время полз книзу, парень едва удерживал его за руки и сильно клонился вперед — так легче было держать его на спине.

Все время мешало оружие, цеплялось за землю и путалось в ногах, но он не мог бросить даже винтовку. Ему она была не нужна, но он помнил на этот счет строгий

приказ по бригаде и знал, как там ценилось все, из чего можно было стрелять.

Через какую-нибудь полсотню шагов он зацепился за что-то ногой и упал, больно ударившись плечом, повернулся на бок, застонал от боли, но тут же подавил в себе этот стон: сзади послышались шаги. Степка схватился за автомат, однако скоро понял, что автомат не понадобится, — на фоне светловатого неба появилась знакомая в кожухе фигура Данилы. Остановившись, тот глуховато бросил, наверно Бритвину:

— Вот он.

Степка поднялся и сел рядом с распростертым на земле командиром. Данила подбежал первым, за ним в редком моросящем дождике показался Бритвин. Завидев на земле Маслакова, он негромко воскликнул:

— Ранили, да?

Степка не ответил, лишь потрогал мокрую, без шапки голову раненого. Затем его руки наткнулись на липкую мокроту, пропитавшую телогрейку; он сообразил, что это кровь, и только сейчас почувствовал ее запах — пугающий запах людской беды. Но тут уже за раненого ухватился Данила, и Бритвин, громко дыша, закомандовал:

— Так! Потом... Понесли!..

Вдвоем они взяли из его рук Маслакова. Данила молча присел, напрягся, принял раненого на спину и круто свернул в мокрую чащу.

На дороге тем временем послышалось движение, приглушенные расстоянием голоса; на мосту что-то звякнуло, и по настилу глухо застучали копыта. Степка встал, подобрал с земли автомат, винтовку и едва сдержался, чтобы не заплакать от горя и острого чувства непоправимой беды.

9

Они бесконечно долго продирались в темноте сквозь мокрый густой кустарник, набрели на тропинку, но скоро потеряли ее в лесу, перешли полосу мрачного, тягуче шумевшего на ветру ельника и очутились в каком-то широком лесном овраге. Данила, все время тащивший на себе Маслакова, поскользнулся на мокрой траве, упал и свалил его наземь.

— Фу, уморился!..

— Ладно, — остановился впереди Бритвин. — Отдохнем.

Он подошел ближе и тоже опустился наземь на неширокой, обросшей кустарником поляне. Где-то поблизости ровно журчал ручей, небо вверху недобро мрачнело, но дождь перестал. В лесной глухомани царила ночная тишь, нарушаемая лишь падением холодных капель в кустах. Усталым от долгой ходьбы людям, однако, было тепло, даже душно.

Пока Данила отсапывался, Степка ощупал все еще не приходящего в сознание Маслакова. Тот был жив, сердце его, было слышно, билось слабыми неровными толчками. В груди, если прислушаться, что-то клокотало-хлюпало, и это особенно пугало Степку — казалось, Маслаков кончается. Сделанная из сорочки перевязка, наспех наложенная ими в пути, перекрутилась, сползла на живот. Вдвоем с Данилой они начали поправлять ее. Поодаль, ссутулясь, уныло сидел Бритвин.

— А канистра где? — вдруг спросил он.

— На дороге, — буркнул Степка.

— Подожгли, называется!..

Двое других молчали, возясь с раненым, и Бритвин неожиданно зло выругался.

— Вроде бы опытный подрывник, а такую тюху-матюху упорол!

Данила развязал концы окровавленного куска сорочки, Степка придержал их и, глотая слезы от жалости к Маслакову, не мог возразить ротному. Как он ни был настроен против Бритвина, но теперь не мог не признать, что тот прав.

Было совершенно очевидно, что Маслаков просчитался и сам же поплатился за это. Недавняя неприязнь Степки к Бритвину сама по себе сходила на нет, впрочем, как и к Даниле, — все его прошлые обиды на них теперь становились ничтожно малыми перед огромностью свалившегося на них несчастья.

— Что тут у него делается! — ворчал Данила, ковыряясь под завернутой мокрой гимнастеркой.

Рана кровоточила, надо было поправить повязку. Ночь выдалась темная, без луны, а в этом овраге и под самым носом ни черта нельзя было разобрать.

— Спички где-то у него были, — вспомнил Степка. — Посмотри-ка в карманах.

— Держи.

Степка зажал концы повязки, а Данила принялся шарить по мокрым карманам раненого, которые, как и у всех, были набиты различной обиходной мелочью. Вы-

таскивая оттуда что попало под руки, Данила глухо приговаривал:

— Нож. Тряпка какая-то. Книжка или бумаги... Не разберу...

— Дай сюда, — протянул руку Бритвин.

— Патроны. Моток проволоки... Карандаш... Хотя запал будто? Нате, посмотрите там.

Бритвин без особого любопытства взял у него что-то и, ощупав, скоро определил:

— Бикфордов шнур, а не проволока. И взрыватель вроде. Ну да, взрыватель. Только взрывать нечего.

— Вот спички.

— А зачем спички? — начал раздражаться Бритвин. — Что ты ему, операцию будешь делать? Подводу надо искать!

Данила на минуту смешался от этого почти начальственного окрика, молча уставясь на тусклую во мраке фигуру Бритвина. Как-то так получалось, что тот теперь брал над ними двумя старшинство, хотя прямого разговора о том еще не было.

— Подвода, говорю, нужна. Не торчать же тут, пока полицаи защучат. Деревня далеко?

Данила оглядел в темноте мрачные лесистые склоны, будто там можно было что-либо увидеть.

— Волотовка тут должна быть. И хутора. Хутора, может, ближе.

— Где, в какую сторону?

Не очень уверенно Данила показал рукой вдаль:

— Будто туда, как по оврагу. Может, левее немного.

— Так! — прикинул Бритвин. — Ты, как фамилия?

Степка не сразу понял, что тот обращался к нему, и промолчал, зато Данила подсказал с охотой:

— Толкач.

— Толкач, а ну за подводой! А то поздно будет. Понял?

Степка с готовностью встал, чувствуя, что это правда. То, что его посылали невесть куда в ночь, теперь не обидело парня, хотя он подумал: почему не Данилу, который тут знал все ходы-выходы? Но Данила сколько тащил раненого на себе по лесу. Подобрав автомат, Степка встал и, не мешкая, полез в мокрый кустарник.

Ветки обдавали его дождем, как он ни остерегался задевать их, хотя и без того давно уже промок, особенно

рукава и ноги. На склоне в мокрой траве к тому же было скользко. Степка несколько раз упал, поднялся и наконец сошел пониже, к ручью. Но и здесь было не легче, он долго пробирался сквозь густой мокрый ольшаник, обошел поляну, непролазно заваленную сухим хворостом. В промокших его сапогах привычно чавкало, сползшая портянка все терла ногу, жесткие стебли прошлогоднего папоротника стегали по его голым, высунувшимся из сапога пальцам. Не останавливаясь, то и дело натыкаясь на сучья, он торопливо продирался в зарослях, заботясь лишь о том, как бы найти подводу и не опоздать к раненому. Но сначала надо было найти деревню. Не первый раз он ходил вот так, ночью, и, в общем, умел ориентироваться: откладывал в памяти весь путь вниз, вверх и все повороты тоже.

Спустя некоторое время лесной кустарник вокруг осел ниже, вверху шире разлегалось тусклое небо, на котором в двух-трех местах слабо блеснули редкие звезды, — овраг оставался сзади. С ним окончились и заросли ольшаника. Степка очутился в голой ложбине, взяв правее, взобрался по склону на горку. Идти стало легче, мокрые его сапоги ровно стегали в густой рослой озими; впереди высились какие-то беловатые кучки, казалось — люди. Но людей тут не могло быть, это зацвели на обмежках груши-дички. Степка невольно забирал в сторону — инстинктивная осмотрительность вынуждала его к осторожности в ночном поле. Временами он ловил себя на том, что сворачивает то вправо, то влево — самое наихудшее в пути без дороги.

Но вот шорох озими под ногами стих, Степка оказался на чем-то голом и твердом, не сразу поняв, что это дорога. Он взглянул в один ее конец, в другой — в какую сторону лучше было свернуть, он не знал. Он прошел по дороге десяток шагов влево, подумал и повернул назад, все время напряженно вглядываясь в сумеречное пространство ночи, таившей что-то неопределенное, загадочно-пугающее.

Дорогой он шел долго, полагая, что должна же она наконец привести к деревне. Сразу очутиться на деревенской улице не входило в его намерения — лучше будет из огорода пробраться в какой-нибудь двор и потихоньку разузнать обо всем. Но впереди его опять ждал лес — черная зубчатая стена совершенно закрыла собой и без того застланный темнотой горизонт. Степка замедлил шаг, автомат на плече передвинул под мышку, гото-

вый каждую секунду дернуть за коротенькую рукоятку затвора. Но он еще не дошел до этой стены деревьев, как услышал невдалеке вроде бы знакомый, хотя и не сразу понятый им звук, напоминавший глухой стук о землю. Степка остановился, отчетливее расслышав несколько ударов, догадался, что это вбивали кол. Да, именно кол, особенно если камнем — несколько тяжеловесных глухих ударов отдалось в земле.

Он свернул с дороги и тихонько, крадучись пошел на этот стук, который почему-то вдруг прекратился. Тогда он присел, снизу вверх осмотрел светловатый край неба — поблизости как будто ничего подозрительного не было. Мягко, почти неслышно ступая, он прошел еще шагов двести и снова, пригнувшись, огляделся. Опять ничего вокруг не было видно, лишь поодаль чернели кусты лозняка, между которых кое-где высились редкие олешины. Под ногами становилось все мягче, сапоги зачавкали в траве — начиналось болото. Он уже хотел было повернуть в обход, как рядом и так близко, что он содрогнулся, неожиданно увидел коня. Заслышав человека, конь встревоженно взмахнул головой и замер. Степка остановился, присел и, никого не обнаружив поблизости, осторожно, чтобы не испугать животное, начал приближаться к нему.

Конь по-прежнему тихо стоял, настороженно повернув голову в его сторону, и, словно недоумевая, ждал его приближения.

— Кось-кось, — ласковым шепотом позвал Степка, протягивая руку, как будто держа в ней угощение. Затем этой же рукой он нащупал под ногами веревку и конец колка, вбитого в землю, который тут же, поднатужась, вырвал. Оставалось, не вспугнув коня, взобраться на него.

Степка закинул за спину автомат и, перебирая в руках веревку, помалу потянул ею за уздечку. Конь повел мордой, но не пошел. Тогда он сам двинулся к нему, держа веревку, но еще не дошел, как конь, вдруг пугливо всхрапнув, заржал.

Степка во второй раз вздрогнул и выругался, в сердцах сильно дернув за уздечку. Он уже был рядом и ухватился рукой за жесткую гриву, но конь, не даваясь, решительно метнулся от него задом.

— Ах ты падла! — вырвалось у Степки. Не выпуская веревки, он сделал и вторую попытку ухватиться за его

мокрый загривок, но конь опять испуганно шарахнулся в сторону.

И в тот момент сзади послышались чьи-то глуховатые шаги.

— Кто это? — раздалось в ночи испуганно и угрожающе одновременно. — Что ты делаешь?

Степка отпрянул от коня и, не выпуская веревки, правой рукой рванул из-за спины автомат. Тут же, однако, понял, что испугался напрасно, — к нему бежал кто-то один, низенький, в распахнутой одежде и босой, как это он сразу определил по его тонким, в засученных штанах ногам. Замерев, Степка ждал, пока тот, замедляя шаг, нерешительно подходил ближе.

— Куда вы? Это мой конь!

Негромкий голос его окончательно убедил Степку, что это подросток, и парень снова почувствовал себя спокойно и уверенно. Он уже знал, что вблизи вид его и особенно оружие дадут этому мальчишке понять все без расспросов.

— А ты кто? А ну, поди ближе!

Парнишка не очень решительно подошел и остановился в пяти шагах. Конь с высоко вскинутой головой внимательно глядел на хозяина, будто стараясь понять, что здесь происходит.

— Это мой конь! Не берите, дядька, моего коня!

Степка потянул за веревку, конь нехотя переступил, и он подошел ближе к мальчишке.

— Где повозка?

— Повозка? Дома.

— А дом где?

— Дом? Вон за оселицей.

— А кто дома есть?

— Дома мама и бабка.

— А полицаи у вас есть?

— Ну есть.

Наверно, он что-то уже понял и тихо стоял в намокшем, с чужого плеча пиджачке, покорно ожидая новых вопросов. Степка подумал, что от телеги, пожалуй, надо отказаться. Присмотревшись, куда показывал подросток, Степка догадался, что черная гряда вдалеке, которую он принял за лес, была деревней: хаты, сараи, сады; на краю близко отсюда угадывалось светловатое пятно — наверно, новая крыша какой-то постройки.

— Коня отдадим, — сказал он. — Через пару дней только.

Парень, видно, тоже осмелел и, ступив на шаг ближе, сказал:

— Нельзя мне без коня. Я молоко вожу.

— Ну, знаешь! Ты молоко возишь, а нам человека спасать надо! — повысил голос Степка. — А ну, подержи своего огольца.

— Не берите, дядька! Ей-богу, не вру: нельзя мне без коня, — залепетал подросток, однако взял коня за уздечку и придержал.

Степка грудью вскочил на лошадиный загривок, перекинул сапог и с приятностью обхватил ногами теплые конские бока.

— Дядька, партизаны не делают так!

Степка тузанул было за веревчатый повод, конь послушно повернул в сторону, да вдруг прорвавшийся в последней фразе парня упрек что-то тронул в душе у Степки.

— Вот что! — сказал он. — Айда с нами. Отвезем куда надо и отдадим твою клячу. Завтра дома будешь.

10

По лесу они пробирались пешком, ведя на поводу коня. Здешние места подростку были знакомы, он сразу нашел тропинку на краю оврага и, раздвигая руками мокрые ветви, уверенно вел Степку.

По-видимому, было за полночь. Ночь стала еще глуше, лес замер, насторожился, даже перестал слышаться стук капель в листве, лишь ровно топали сзади лошадиные копыта да в чаще, захлопав крыльями, кидалась прочь какая-нибудь вспугнутая ими птица. Вокруг попрежнему было мокро, неуютно и тревожно; знобящая сырость невидимым промозглым туманом ползла между кустов.

Степка настойчиво тянул за повод, конь, однако, не очень охотно шел за чужим. Конечно, коня лучше бы передать подростку, но кто знал, что у того на уме. К тому же Степка учуял в кустарнике запах дыма, и это обеспокоило его. Хорошо, если жгли Бритвин с Данилой, а если кто-либо чужой? Он тревожно вглядывался в сумрак оврага, чтобы не прозевать огонь, и скоро увидел его — сквозь заросли коротенько блеснуло красноватым отсветом. На секунду остановившись, Степка подумал, что, кажется, это свои.

Вскоре они подошли ближе и увидели, что на краю поляны возле ручья поблескивал небольшой костерок, у которого пошевеливалась сутуловатая фигура в накинутом на плечи ватнике. Заслышав их наверху, человек круто обернулся и на минуту замер, вглядываясь в темень. Но они уже лезли по склону в овраг. Степка негромко понукал коня, который боязливо полз на согнутых задних ногах, бороздя копытами землю. Оба они с подростком придерживали его под узду, пока тот не сбежал вниз, едва не угодив в костер.

Бритвин поправил на плечах телогрейку и отступил в сторону, поводя по кустам шаткою черной тенью.

— Вот конь, — сказал Степка. — Повозки нет.

Он ждал, что Бритвин или выскажет удовлетворение оттого, что удалось найти коня, или будет ругать, почему без повозки. Однако бывший ротный бегло взглянул на подростка, скромно стоявшего возле коня, и с полным безразличием ко всему опустился у огня. Рядом, распятая на палках, сушилась его шинель.

— Напрасно старался.

Степка, не поняв, вопросительно поглядел на Бритвина, который, протянув руки к огню, не проронил больше ни слова. Костер медленно разгорался, дым серыми клубами валил вверх и ел глаза. И тогда Степка, почувствовав недоброе, услышал непонятную возню в другой стороне поляны. Туда же косил настороженным взглядом конь. В неясном мелькании теней под кустами можно было различить согнутую спину Данилы, который, стоя на коленях, с усилием ковырял в земле. Степка подался к нему, но тут же остановился, наткнувшись на что-то прикрытое на земле кожухом. Из-под овчинной полы высовывались две босые, неестественно белые во мраке стопы...

Все было ясно.

Степка опустился возле этих босых, близко сведенных ступней, по которым гуляли слабые отблески костра, и понял, что самое страшное, чего он боялся, случилось. И не с ним, слабаком и неудачником, не с недотепой Данилой и даже не с Бритвиным, а с самым лучшим, самым для него дорогим человеком в отряде — Маслаковым.

Вконец обессилев, Степка оцепенело застыл возле этих мертвенно-белых ступней, и перед его глазами постепенно выплывал из тумана тот увиденный им в сосняке серый, поклеванный вороньем труп. Но там был неизвест-

ный, совершенно безразличный ему человек, а это же ведь Маслаков. И все же какой-то общий итог уже соединил обоих, он пугал, отталкивал и своей нелепой несправедливостью совершенно сокрушал Степку.

Он сидел так долго, раздавленный обидой за командира, а может, и за себя тоже — на жизнь, на войну, а больше на коварство слепого случая, который чаще, чем что другое, властвовал над их судьбами.

— Не подвода — лопата нужна. Лопаты нет? — спросил Бритвин.

Степка не отозвался, и подросток, наверно, дал знать, что лопаты у них нет, потому что Бритвин больше не спрашивал. Конь постоял, вглядываясь в Данилу, и, успокоясь, принялся щипать траву. Степка же все сидел, ни о чем не думая, безразличный ко всему и прежде всего к самому себе. Он здорово озяб от ночной свежести, тело его все чаще вздрагивало под волглым сукном мундира. Бритвин, заметив это, сказал:

— Хватит мандражить. Ступай подмени Бороду.

Степке было безразлично, что делать, главное для него уже миновало, а все остальное не имело смысла. Он покорно встал и побрел через поляну.

— Что тут подменять! Было бы чем, — проворчал Данила, но вылез из неглубокой, по колено, ямки и протянул парню отполированный землей тесак.

Степка уныло стоял на темной накопанной земле. Не поднимая взгляда, взял у Данилы тесак и, когда тот уже шагнул от него, услышал или, может, почувствовал, что шаг его вроде изменился. И тогда он заметил, что Данила уже в сапогах. На Бритвине справная телогрейка, у этого сапоги — все уже поделено. Ну что ж! Это было слишком обычно в их жизни: вещи, как всегда на войне, переживали людей, потому как, наверно, обретали большую, чем люди, ценность.

Он спрыгнул в могилу и начал драть и рубить тесаком тугие и крепкие, как ремни, лесные корни, которыми тут была густо переплетена насквозь вся земля. Нарубив, руками выгребал мягкую сырую труху и брался за тесак снова. Однако все это он делал словно во сне. Мысли его беспорядочно сновали в голове, иногда задерживаясь на чем-то далеком, второстепенном и необязательном для такого момента, то и дело обрываясь и перескакивая на другое. Иногда они исчезали вовсе, и тогда становился слышным близкий разговор там, у костра. С нарочитой

строгостью в голосе, как малому, Бритвин говорил подростку:

— От так! Побудешь, пока захороним. А потом шагом марш на все четыре стороны. Ясно?

— Ясно, — тихо отвечает парень.

— Ежели ясно, то и весь разговор, — заключил Бритвин, но, помолчав, вдруг мягче спросил: — Тебе сколько лет?

— Пятнадцать.

— Батька есть?

— Есть, но...

— На войне, наверно?

— Не, — сказал парень, вздохнув. Голос его стал какой-то неуверенный, едва слышный.

— Что, в полиции? — догадался Бритвин.

— В полиции, — тихо подтвердил подросток.

Степка несколько даже удивился, заинтересованный и неприятно задетый одновременно. Называется, нашел помощника. Пожалуй, про батьку надо было спросить раньше, а то еще надумал вести с собой в Гриневичский лес — вот был бы скандал. С неприятным чувством виноватости Степка подумал, что Бритвин, наверно, сейчас задаст ему перцу, чего он теперь, по-видимому, заслуживал.

— Ну а ты что же, значит, батьке помогаешь? — спрашивал бывший ротный.

— Я не помогаю, — сказал парень. — Я в партизаны пойду.

— Ого!

Слышно было, Бритвин с хрустом разломал хворостину и сунул ее в огонь — мигающие отблески на кустах ненадолго сгасли, потом, понемногу оживая, запрыгали снова. Подросток, отчужденно насупясь, молчал.

— Ничего не выйдет! — сказал Бритвин. — Таких в партизаны не берут. Чтоб в партизаны пойти, заслужить надо.

— А я заслужу.

— Это как же?

Паренек не ответил, по-видимому, тая в мыслях что-то слишком серьезное, чтобы так запросто доверить его этому лесному незнакомцу. Степке это понравилось. Он выглянул из ямы — маленькая тщедушная фигурка в обвислом поношенном пиджаке стояла у костра. Рядом на коленях возился Данила, подкладывавший в огонь валежник.

— От так! — сказал Бритвин. — Мы пойдем, а ты по-

сидишь. Как рассветет, поедешь. Понял? Не раньше. А что не спал, так завтра выспишься.

— Мне утром молоко на сепаратор везти.

— Успеется твое молоко. — Бритвин ткнул палкой в огонь: в дымной круговерти взметнулся рой искр.

Пламя весело разгоралось, на поляне стало светлее, дым в тишине столбом валил вверх и багровым облаком исчезал в ночном небе. Бритвин отодвинулся от жары подальше. Вдруг, будто вспомнив что-то, он спохватился:

— Да, а куда ты молоко возишь?

— В местечко, куда же, — с явным недовольством сказал парень, и Степка подумал, что полицаев сынок, кажется, попался с характером.

— В Кругляны?

— Ну.

Бритвин с каким-то новым смыслом поглядел на парня, потом на Данилу. Тот, откинувшись на бок, неподвижно смотрел в огонь.

— Через мост ездишь?

— Через мост, а где же.

— Ага! И вчера ездил?

— Ездил. Только приехал поздно. Партизаны постового убили, так не пускали долго.

— Так-так, — удовлетворенно сказал Бритвин, усаживаясь поудобнее и рукой придерживая на плечах телогрейку. — Значит, у них охрана?

— Днем не было, а на ночь ставить начали. Два полицая из Круглян.

— Гляди-ка, все знаешь! Молодец! А ну, поди ближе. Садись вот, грейся.

Парень степенно обошел костер и опустился на корточки. Данила, видно, заинтересовавшись новым обстоятельством, приподнялся и сел прямо, заслонив огонь; на поляне пролегла его длинная тень. В могиле сделалось темно, и Степка стал на колени, чтобы удобнее было копать. Больше он туда уже не глядел, только слушал.

— Вот так. Сушись. Тоже ведь мокрый. Как тебя звать?

— Митька.

— Дмитрий, значит. Хорошее имя. У меня был друг Дмитрий, геройский парень, — оживленно говорил Бритвин. — Так, говоришь, партизаны полицая ухлопали?

— Ну. Вечером подкрались и застрелили. Ровба его фамилия. До войны в маслопроме работал.

Выдирая из земли спутанные корни, Степка тихо порадовался: это уж его работа. Удивительно только, как удалось попасть не целясь. Становилось понятно, почему их не догоняли — наверно, вытаскивали убитого и упустили его с Маслаковым.

— Так-так, — что-то живо прикинул про себя Бритвин. — Вижу, ты парень хороший. Пожалуй, мы тебя примем. Только... — Не договорив, он повернулся в сторону: — Данила, а ну по секрету.

Оба поднялись от костра и отошли на несколько шагов в сторону. Степка выпрямился, переводя дыхание и вслушиваясь. Бритвин тронул за рукав Данилу:

— Ты говорил про тол. Где это?

Данила тягуче вздохнул, неопределенно поглядел в кустарник:

— Был. А теперь есть или нет, кто знает.

— Это где? В Фроловщине?

— Ну.

— Слушай, надо подскочить.

Не отвечая, Данила громко высморкался в траву, пятерней отер нос и бороду.

— Так темно. А там болото, лихо на него... И неизвестно, швагер дома или нет, — начал он невеселым, совершенно глухим голосом, который всегда выдавал его неохоту.

— Ничего. Садись на коня и скачи.

Они повернулись к костру, в котором теперь задумчиво ковырялся Митя. Данила на ходу громче сказал:

— Так что́, если у меня обрез этот...

— Бери винтарь!

— Что винтарь! Если б автомат.

Бритвин остановился.

— Бери автомат. Толкач, дай автомат!

— Ну да! Пусть с винтовкой едет, — недовольно отозвался Степка. Бритвин строго прикрикнул:

— Говорю, дай автомат!

Степка с силой вогнал в землю тесак и тихо, про себя, выругался. Больше всего на свете он не хотел теперь отдавать автомат. Но приказ Бритвина прозвучал так категорично, что спорить было бесполезно, и он поднял с земли свой ППШ. Бритвин нетерпеливо обернулся к Даниле:

— И давай скачи! Два часа тебе сроку. Фроловщина недалеко, знаю.

Данила еще недолго помешкал, явно не спеша исполнять задание, к которому у него не лежала душа.

— Кожух мокрый. Если б вы ватовку дали.

— На! На и ватовку! — решительно рванул с плеч телогрейку Бритвин. — И не тяни резину!

С молчаливой неторопливостью Данила оделся, подпоясался, взял на краю поляны коня и полез из оврага.

11

Бритвин больше не садился к костру — там теперь хозяйничал Митя, — постоял на полянке и, как только топот коня затих наверху, подошел к Степке:

— Ну, ты долго тут ковыряться будешь?

Степка выпрямился — могила была еще мелковата, ему до пояса, он хотел об этом сказать, но Бритвин, прикинув, решил:

— Хватит! Давай закапывать.

Он так и сказал — не «хоронить», а именно «закапывать», и от этого слова Степке опять стало не по себе. Пересилив себя, он подумал, что могилку надо углубить — земля пошла сухая и мягкая. Но Бритвин уже направился к покойнику.

— Давай сюда! Дмитрий, а ну пособи!

Митя с готовностью вскочил на ноги, но, поняв, что от него требуется, оробело остановился поодаль. Не спеша выбрался из могилы Степка.

— Подождите! Так и закапывать...

Он вытер о траву тесак и, оглядевшись в мигающих сумерках, подошел к молодой елочке, ветви которой высовывались из темноты на полянку.

Нарубив лапнику, он снова спрыгнул в могилу и коекак выложил им дно, из нескольких веток устроил возвышение под голову — будто стелил Маслакову постель.

— Ну, готово там? — поторопил Бритвин. — Давайте сюда!

Отбросив мокрый кожух, они вдвоем со Степкой взяли под мышки покойника.

— Дмитрий, бери за ноги, — распоряжался Бритвин.

Митя с боязливой нерешительностью взялся за босые стопы ног.

— Взяли!

За время, минувшее после кончины, Маслаков, казалось, стал еще тяжелее: втроем они с усилием подняли его прогнутое в пояснице, еще не застывшее тело и тяжело понесли к яме. Там, разворотив сапогами свежую землю, повернулись вдоль узкой могилы и начали опускать. Это было неудобно, тело всей своей тяжестью стремилось в яму. Степка придерживал его за холодную, плохо разгибающуюся руку. Опуская, перебрал пальцами до кисти, по-прежнему перевязанной грязным бинтом, и, ухватившись за нее, испугался: показалось, причинил боль. Тут же понял нелепость своего испуга, но за перевязанную кисть больше не взялся — став на колени, опускал тело все ниже, пока не почувствовал, как оно мягко легло на пружинящий слой хвои.

— Ну вот! — Бритвин разогнулся. — Давай скорей зарывать.

— Подождите!

Нагнувшись, Степка одной рукой запихал в могилу остатки еловых ветвей, стараясь прикрыть лицо покойника, и потом они с непонятным облегчением начали дружно грести землю. Степка работал руками, Бритвин сапогом. Митя, стоя на коленях, обеими руками выгребал из травы остатки накопанной земли. Костер их уже догорал, мелкие язычки огня на угольях едва мерцали на краю поляны.

— Ну так! Доканчивай, а мы в огонь подкинем, — вытирая о траву ладони, сказал Бритвин. — Дмитрий, нука поищи дровишек!

Митя подался на склон оврага. Степка тем временем завершил могилу.

На поляне стало тихо и пусто, она будто попросторнела теперь — без коня, покойника, с небольшим костерком на краю обрыва. Сделав все, что требовалось, Степка почувствовал себя таким одиноким, таким несчастно-ненужным на этом свете, каким, пожалуй, не чувствовал никогда. Единственное, что тут еще привлекало его, был костер, и парень подошел к Бритвину:

— Что, до утра тут будем?

— Побудем, да.

— А потом?

— А потом попробуем грохнуть, — невозмутимо сказал Бритвин, стоя на корточках и сгребая на земле обгорелые концы хвороста, которые он бросал в огонь. Скоро

между углей весело забегали огоньки, осветив вблизи сухое, будто просмоленное лицо ротного.

— Как это грохнуть?

— Посмотришь как. План один есть.

Степка выждал минуту, не расспрашивая, думал, что скажет сам. Но тот не сказал, и Степка смолчал, не зная еще, можно ли принимать всерьез слова Бритвина.

— Такой план имею, что ахнешь. Если, конечно, выгорит...

Митя что-то долго возился с хворостом, какое-то время было слышно его шастание над оврагом, а потом и оно стихло. Степка вслушался и немного обеспокоенно сказал:

— Не сбежал бы...

— Куда он сбежит! Теперь он как привязанный.

Степка недоверчиво подумал: так уж и привязан! Впрочем, без коня он вряд ли от них уйдет. И действительно, скоро наверху затрещало, задвигалось, и из темноты показался сам Митя, тащивший огромную, связанную веревкой охапку хвороста. Бритвин с не свойственным ему оживлением вскочил у костра:

— Целый воз! Вот здорово!

Митя был явно польщен похвалой — низенький и с виду слабосильный для своих пятнадцати лет, он в то же время оказался удивительно проворным в работе. Любо было смотреть, как он по-хозяйски упорядковал возле костра кучу хвороста и аккуратно смотал веревку.

— На коня я воз вот такой кладу. — Он поднял повыше себя руку.

— Хорошо! Хорошо! А коня как звать?

— Коня? Рослик. Двухлеток он, молодой еще, а так ладный коник. А умный какой!..

— Ну?

— Ей-богу. Отъедешь куда, спрячешься, крикнешь: Рослик! И уже мчится. А то как заржет!

— Гляди-ка! Дрессированный.

— Да ну, кто его дрессировал? Это я все ухаживаю за ним: и кормлю, и на выпас. В ночное тем летом водил. Тогда его у меня немцы отобрали. Утречком еду из Круглянского леса — навстречу трое. Ну и отобрали. Думал, все: пропал мой Рослик. Нет, примчался. Слышу, ночью хрустит кто-то, выхожу: ходит по двору, траву скубет. И повод порван.

— Да, замечательный конь, — согласился Бритвин.

— Только стрельбы очень боится. Мчит тогда как бешеный.

— Да? Ну хватит возиться — иди погрейся.

Бритвин снял с палок подсохшую уже шинель и разостлал ее на земле.

— Садись вот рядом.

Митя охотно опустился на полу шинели, протянув к огню мокрые руки. Костер хорошо горел, брызгая искрами, вблизи стало жарко, мокрые рукава Мити скоро задымились паром. Усталый, приунывший Степка тихо сидел рядом, слушая подростка. С виду тот казался едва повзрослевшим ребенком с маленьким неулыбчивым лицом, на котором по-детски торчал вздернутый носик. На тонкой худой шее его из-под пиджачка высовывался холстинный воротник нижней сорочки.

— Слушай, а ты давно молоко возишь? — заинтересованно спросил Бритвин.

— С весны. Как лед сошел. Сначала дед Кузьма возил, пока в полицию не забрали.

— За что забрали?

— Кто его знает. В чем-то провинился.

— А те, что на мосту, тебя знают?

— Полицаи? Знают, а как же. Все пристают: «Водки привези». Особенно тот Ровба, которого убили. Проходу не давал.

— Водки, значит? — задумчиво переспросил Бритвин. — На водку они охотники. А молоком не интересуются?

— Молоком? Не-е, — сказал Митя и сделал робкую попытку улыбнуться. — Я в то молоко курячье дерьмо сыплю.

— Да ну? Для жирности, наверно? Молодец!

Бритвин сел, сдвинул на затылок пилотку. И вдруг сказал:

— Слушай, Митя! Хочешь мост взорвать?

Степка от удивления раскрыл рот, но тут же подумал: а в самом деле! Ведь парень мог бы чем-то помочь. Митя, внешне нисколько не удивившись вопросу, ответил просто:

— Хочу. Если б было чем.

— Ну, это не твоя забота. Это мы придумаем. Удастся — тебе первым делом автомат. Тот, с которым Борода поехал. Потом правительственную награду. Ну и в отряд, разумеется. С ходу. Я сам рекомендую.

Внимательно и вполне серьезно выслушав Бритвина, Митя озабоченно сказал:

— Мне главное, чтоб в партизаны. Потому что дома уже нельзя.

— Это почему?

— Да батька у меня... Ну, хлопцы в деревне и цепляются. Уже невмочь стало.

— Понятно. Ну, за отряд я ручаюсь. Теперь слушай мой план. Просто и ясно, — сказал Бритвин, но вдруг осекся и задумчиво поглядел в огонь. — Хотя ладно. Пусть Данила приедет.

«Ну что ж, пусть приедет. Когда только он приедет?» — разочарованно подумал Степка, собравшийся было услышать план Бритвина. Но разговор на этом прервался, стало тихо. От неподвижности Степку начала одолевать дремота, костер припекал грудь и лицо, а спина стыла в тени. Наверно, натертые мокрым мундиром на шее, разболелись чирьи. Он подумал, что надо бы перевязать шею, да нечем было. Сапоги и колени его были перепачканы грязью, руки тоже. Чтобы не заснуть тут, у костра, он поднялся.

— Ты куда? — сквозь дым настороженно взглянул на него Бритвин.

— Руки помыть.

Внизу, в глухом мраке ольшаника, говорливо бежал ручей. Выглядывая подходящее для спуска место, Степка пошел краем поляны, пока не наткнулся на свежую, сиротливо приютившуюся под кустами могилу. От неожиданности он остановился, все еще не понимая чего-то, не в силах принять эту нелепую смерть. Происшедшее сегодня казалось ему дурным сном. Хотелось думать, что минет ночь и все станет по-прежнему — он встретит веселого живого Маслакова, который с незлобивой шуткой опять позовет его на какое-нибудь задание.

Хватаясь за ветки, Степка спустился к ручью. Тут было сыро и прохладно. Неширокий поток воды шумно бурлил меж скользких камней. Вытянув ногу, парень нащупал один из них и склонился.

Нет, Бритвин не такой. Он жесткий, недобрый, но, похоже, дело свое знает неплохо. «Этот не оплошает», — думал Степка, погружая в холодную воду руку. Ему очень хотелось теперь удачи, после пережитого он готов был на любой риск и любые испытания, лишь бы расквитаться за Маслакова.

12

Данила приехал утром, когда над оврагом прояснилось небо и в кустарнике вовсю началась птичья возня — цвирканье, цоканье, пересвист. На краю поляны в серой куче углей едва теплился огонь, стало холодновато, все они сидя подремали немного. Однако лошадиный всхрап над оврагом сразу прогнал дремоту, наверху зашуршало, донеслось глухое:

— Стой ты, х-холера!

Разрывая ногами землю, из серых утренних сумерек на поляну сунулся рыжий запаренный Рослик.

Митя первым вскочил навстречу коню, начал ласкать его, оглаживая потную шею. Рослик удовлетворенно застриг ушами и скосил блестящим глазом на Степку. Степка, однако, глядел на овражный склон, как, впрочем, и Бритвин: в утреннем сумраке там тяжело спускался Данила. Сперва они не поняли, почему он отстал, но вскоре увидели какую-то ношу в его руках.

Спустившись по склону вниз, Данила бросил на землю почти под завязку набитый чем-то мешок.

— Вот! Насилу довез, холера. Вроде мокрый он, что ли?

— Как мокрый?

Бритвин был уже рядом, оба они склонились над мешком. Данила опустился на колени и начал распутывать тонкую веревочку завязки. Степка и Митя, от которого не отходил Рослик, стояли напротив.

Тем временем уже без костра стала видна вся поляна — серая, как и все вокруг в этот рассветный час, с расплывчато-тусклыми тенями людей, коня; ночной мрак медленно отползал в чащу, к ручью; небо вверху все больше светлело чистой, без туч синевой — утро обещало быть солнечным. Данила развязал мешок.

— Что такое? — с недоумением вырвалось у Бритвина. Запустив руку внутрь, он вытащил из мешка горсть желтоватых комков, вгляделся, даже понюхал. Выражение его лица было на грани растерянности. — Что ты привез?

— Так это самое... Тол. Или как его?

— Какой, в хрена, тол? Аммонит? — раздраженно спросил Бритвин, шире раздвигая края мешка.

— Ну. Аммонит будто. Кажись, так называли.

— Дерьмо! Я думал, тол. А этим что — рыбу глушить?

Данила виновато почесал за воротом, потом под телогрейкой за пазухой.

— Говорили, бахает. Корчи им на делянках рвали. Верно, какую-никакую силу имеет.

С явным недоверием Бритвин молча исследовал взрывчатку: отломал кусочек от комка, растер в пальцах, опять понюхал и сморщился.

— Подмоченный? Ну да. Слежался, как глина. Эх ты, голова колматая! Купал ты его, что ли? — Бритвин оглянулся и что-то поискал взглядом. — А ну, дай шинель!

Митя послушно метнулся к костру за шинелью, и Бритвин широким движением расстелил ее на поляне.

— Высыпай!

Данила вывалил все из мешка — на шинели оказалась куча желтоватой комковатой муки, которая курилась вонючей сернистой пылью. Все четверо обступили шинель, Степка также пощупал несколько сыроватых комков, легко раскрошившихся в пальцах.

— Ладно, сушить надо, — спокойнее решил Бритвин. — Давай, Дмитрий, садись на коня и дуй за молоком. Дорога где?

— Какая дорога? — не понял Митя.

— Дорога, по которой возишь. Где она, далеко отсюда?

— Не очень. Можно проехать по кустикам.

— Давай! — поторопил Бритвин. — Мы ждем. Что и как — потом договоримся.

— Хорошо.

— Только смотри, чтоб никто ни-ни! Понял?

— Ну.

— Чтоб ни одна душа и во сне не видела. А то...

— Знаю. Что я, не понимаю! — с обидой сказал Митя.

Пошевеливая поводком, низенький и подвижный, он повел за собой из оврага Рослика, который, трудно хакая, в который уже раз одолел высокий крутой склон. Вскоре кустарник скрыл их, где-то там послышалось негромкое «тпру», потом затихающий топот копыт по стежке. Бритвин обернулся к Степке:

— Давай за хворостом! Побольше хворосту! Сушить будем.

— Как сушить? — заморгал глазами Данила. — У огня?

— На огне! — отрезал Бритвин.

Данила на минуту остолбенел, с пугливым недоумением уставясь на бывшего ротного.

— А это самое... Не взорвется?

— Не бойсь! А взорвется — не большая беда. Или очень жить хочется?

Вместо ответа Данила смущенно переступил с ноги на ногу и сдвинул вперед свою противогазную сумку. В ней что-то тугими комками выпирало из боков, натянутый ремешок был застегнут на последнюю дырку. Отстегнув его, Данила вытащил ладную горбушку хлеба.

— О, это молодец! Догадливый!

— И еще, — удовлетворенно буркнул Данила, двинув сумкой, из которой тут же выглянуло горлышко бутылки с самодельной бумажной затычкой.

— Отлично! Только потом. Сейчас давай больше хворосту! Все за хворостом! — бодро распоряжался Бритвин.

Степка сглотнул слюну, на всю глубину ощутив унылую пустоту в животе, и с неохотой оторвал взгляд от Даниловой сумки, которую тот снял и бережно положил в сторонке. Автомат он вроде не собирался отдавать, даже не снимал его из-за спины.

— Ты, давай автомат!

Данила обернулся, взглянул на парня, затем, будто ища поддержки, на Бритвина.

— Ну что смотришь? Снимай, говорю!

— Ладно, отдай, — примирительно сказал Бритвин, и Данила с неохотой стащил через голову автомат, скинув на траву шапку.

Оба они полезли из оврага. Так как поблизости все было подобрано за ночь, сушняк надо было искать дальше. Данила в аккуратной, хотя и подпачканной кровью телогрейке и сапогах выглядел совсем не похожим на себя прежнего — в крестьянской одежде и лаптях. Обретя какой-то несвойственный ему, почти воинский вид, он будто помолодел даже, хотя косматое лицо его по-прежнему не теряло пугающе-диковатого выражения.

Они вылезли из оврага, Степка обиженно молчал, Данила, наверно, почувствовав это и отдышавшись, спросил:

— Мину тот хлопец повезет?

— А я откуда знаю.

— Бритвин не говорил?

— Мне не говорил, — буркнул Степка, не испытывая желания разговаривать с этим человеком.

Данила добродушно поддакнул:

— Ага, этот не скажет. Но я вижу...

«Видишь, ну и ладно», — подумал Степка, забирая в сторону.

Они разошлись по кустарнику. Лес стал суше и приветливей, хотя холодные капли с веток нет-нет да и обжигали за воротом кожу. Местами тут росли ели, но главным образом вперемежку с березами рос омытый дождем ольшаник; кое-где зеленели колючие кусты можжевельника. Хворосту-сушняку хватало. Степка скоро насобирал охапку, подцепил за сук срубленную сухую елочку, потащил с собой.

Тем временем в овраге на середине поляны вовсю полыхал новый костер, в который Бритвин подкладывал принесенный Данилой хворост. Данила еловыми лапками, как помелом, разметал затухшие угли их ночного костра.

— Давай сюда! — остановил парня Бритвин. — Бери и подкладывай, чтоб земля грелась. Будем аммонит жарить.

Хлопоча у огня, Степка с любопытством поглядывал, как они там, на выгоревшей черной плеши, расстелили распоротый вдоль мешок и ссыпали на него раскрошенные комья аммонита. Пригревшись, аммонит закурился коричневым дымом, на поляне потянуло резкой, удушливой вонью. Данила зажмурился, а потом, бросив все, двумя руками начал панически тереть глаза. Бритвин издали грубовато подбадривал:

— Ничего, ничего! Жив будешь. Разве что вши подохнут.

— А чтоб его... Все равно как хрен.

— Вот-вот.

По оврагу широко поползла сернистая вонь, хорошо еще, утренний ветерок гнал ее, как и дым, по ручью низом; на противоположном краю поляны можно было терпеть. Пока взрывчатка сохла на горячем поду, Бритвин с Данилой отошли в сторону, и Данила взялся за свою туго набитую сумку.

— Ты, иди сюда! — позвал Бритвин.

Степка сделал вид, что занят костром, и еще подложил в огонь, хотя опять мучительно сглотнул слюну. Тогда Бритвин с деланным недовольством окликнул громче:

— Ну что, просить надо?

Нарочно не торопясь, будто с неохотой Степка подошел к ним и получил из Даниловых рук твердый кусок с горбушкой.

— И давай жги! Этот остынет — на тот переложим. А то скоро малый примчит.

Вернувшись к костру, Степка за минуту проглотил все — хлеб показался таким вкусным, что можно было съесть и краюху. Аммонит на мешке как будто понемногу сох, или, может, они притерпелись, но вроде и вонял уже меньше. Данила то и дело помешивал его палкой. Бритвин стоял поблизости и, двигая челюстями, говорил:

— Мы им устроим салют! Парень — находка. А ну давай, поворачивай середку!

— Ай-яй, чтоб он сгорел! — застонал Данила, отворачиваясь и смешно морща толстый картофелеподобный нос. От желтых комков аммонита опять заструился вонючий коричневый дым.

— Ничего, не смертельно. Зато грохнет, как бомба.

— Хотя бы уж грохнуло!

Данила отбросил палку и принялся тереть глаза.

— Грохнет, не сомневайся. Это вам не банка бензина! Смешно, канистрой бензина надумали мост сжечь! А еще говорили, что Маслаков опытный подрывник. Побежал, как дурак, засветло! На что рассчитывал? Без поддержки, без опоры на местных! Без местных, брат, не много сделаешь. Это точно.

— А может, он не хотел никем рисковать! — отозвался издалека Степка.

— Рисковать? Знаешь ты, умник, что такое война? Сплошь риск, вот что. Риск людьми. Кто больше рискует, тот и побеждает. А кто в разные там принципы играет, тот вон где! — Бритвин указал на поляну. Покрасневшее его лицо стало жестким, и Степка пожалел, что не смолчал. — Ты зеленый еще, так я тебе скажу: слушать старших надо! — помолчав, сказал Бритвин.

13

Бритвин отошел на три шага от костра и сел, скрестив перед собой ноги.

— Терпеть не могу этих умников. Просто зло берет, когда услышу, как который вылупляется. Надо дело делать, а он рассуждает: так или не так, правильно — не-

правильно. Не дай бог невиновному пострадать! При чем невиновный — война! Много немцы виноватых ищут? Они знай бьют. Страхом берут. А мы рассуждаем: хорошо, нехорошо. Был один такой. У Копылова. Может, кто помнит, все в очках ходил?

— В немецкой шинели? Худой такой, ага? — обернулся от костра Данила.

— Да, худой. Дохловатый такой человек, не очень молодой, учитель, кажется. Нет, не учитель — инспектор районо. Вот забыл фамилию: не то Ляхович, не то Левкович. Еще осенью котелок ему трофейный давал — своего же не имел, конечно. Помню, очки у него на проволочках вместо дужек, одно стекло треснувшее. И то слепой. Прежде чем что увидеть, долго вглядывается. Глаза выкатит и смотрит, смотрит. Как-то послали его в Гумилево какого-то местного прислужника ликвидировать. Почему его? Да знакомые там у него были, связи. Вообще в тех местах связи у него были богатые, тут ничего не скажешь! В каждой деревне свои. И к нему неплохо относились: никто не выдал нигде, пока сам не вскочил. Но это потом уже, зимой. А тот раз пошел с напарником — напарником был Суров, окруженец. Решительный парень, но немного того, за галстук любил закинуть. Потом он вернулся и отказался с этим ходить. «Дурной, — говорит, — или контуженый». Тогда этот Ляхович так удачно всех обошел (женщина там одна помогла), что к этому предателю прямо на дом явился. В кармане парабелл, две гранаты, охраны во дворе никакой. Напротив на скамейке Суров сидит, семечки лузгает — страхует, чтоб не помешали. И что думаете: минут через пятнадцать вываливается и шепчет: не вышло, мол. В лесу уже рассказал, что и как. Оказывается, ребенок помешал. Вы понимаете: полицию провели, СД, гестапо, бабу его (тоже сука, в управе работала), а ребенок помешал. И ребенку тому два года. Оправдывается: продажник тот, мол, с ребенком на кровати сидел, кормил, что ли, и этот дурак не решился в него пулю всадить. Ну это же надо! Вы слышали такое?

Нет, наверно, они такого еще не слышали и, уж конечно, не видели. Тем не менее то, что возмущало Бритвина, не вызвало в Степке никакого особенного чувства к этому Ляховичу. Чем-то он даже показался ему симпатичным.

— И во второй раз тоже конфуз вышел, — вспоминал Бритвин. — Ходили на «железку», да неудачно. На-

скочили на фрицев, едва из засады выбрались. Дали доброго кругаля, вышли на дорогу, все злые, как черти, ну понятно — неудача. И тут миновали одну деревушку, уже в партизанской зоне, слышим: гергечут в кустах. Присмотрелись: немцы машину из грязи толкают. Огромная такая машина, крытая, буксует, а штук пять фрицев вперлись в борта, пихают, по сторонам не глядят. Ну, ребята, конечно, тут как тут, говорят: ударим! Ляхович этот — он старшим был — осмотрелся, подумал. «Нет, — говорит, — нельзя. Деревня близко». Мол, машину уничтожим — деревню сожгут. Так и не дал команды. Немцы выволокли машину, сели — и здоровеньки булы. Ну не охламон?

Слушатели молчали. Отстранясь от вонючего дыма, Данила все морщил раскрасневшееся лицо, одним глазом посматривая на взрывчатку. Степка же старательно нажигал землю, ровной окружностью раскинув на поляне костер. Однако костер догорал: кончался хворост.

Встав со своего места, к нему подошел Бритвин. Без ремня, в сапогах и ладных, хотя и потертых темно-синих комсоставских бриджах он выглядел теперь как настоящий кадровый командир, разве что без знаков различия. На замусоленном воротнике гимнастерки темнели два пятна от споротых петлиц.

— Ну, пожалуй, нагрелся. Давай отгребай. Борода, неси остатки. Подбери по краям, что посырее.

Степка ветками тщательно отмел в сторону угли, затоптал их, и они насыпали на горячую выгарину нетолстый слой аммонита.

— Так, пусть греется. И помешивай, помешивай, нечего глядеть.

Настала Степкина очередь задыхаться и плакать от вонючей гари; раза два, не стерпев, он даже отбегал подальше, чтобы глотнуть чистого воздуха. Бритвин, отойдя в надветренную сторону, опять уселся на своей помятой шинели.

— Это что! — сказал он, опять возвращаясь к воспоминаниям. — Это что! Вот он в круглянской полиции выкинул фокус. Это уж действительно дурь. Самая безголовая.

— Говорили, это самое... Повесили будто? — спросил Данила.

— Да, повесили. Пропал ни за что. А Шустик, который с ним вместе влопался, тот и теперь у Егорова бе-

гает. Отпустили. Сначала думали: врет. Думали, завербован. Проверили через своих людей — нет, правда. Шустика отпустили, а Ляховича повесили. И думаешь, за что? За принцип!

— Да ну? — не поверил Степка.

— Вот те и ну... Слапали их в Прокоповичах на ночлеге. Как это случилось, не знаю. Факт: утром привезли в местечко в санях и сдали в полицию. А начальником полиции там был приблуда один, из белогвардейцев, что ли. Снюхался где-то, ну и служил, хотя и с партизанами заигрывал — конечно, свои расчеты имел. И еще пил здорово. Рассказывают, хоть шнапсу, хоть чемергесу — кружку опрокинет и никакой закуски. А пистолет вынет и за двадцать шагов курицу — тюк! Голова прочь, и резать не надо. Так это полицай, наверно, сразу смикитил, кто такие, но виду не подал, повел к шефу. А шеф был старый уже немец, седой и, похоже, с придурью — все баб кошачьим криком пугал. Бабы наутек, а он хохочет. Считали его блажным, но когда дело доходило до расправы, не плоховал. Зверствовал наравне с другими. Ну и вот, этот Ляхович с Шустиком, как их брали, оружие свое где-то припрятали, назвались окруженцами: по деревням, мол, ходили, на хлеб зарабатывали. Неизвестно, что этот беляк шефу доложил, но тот отнесся не строго. Шустика только огрел палкой по горбу. Полицай и говорит: «Кланяйтесь и просите пана шефа, может, простит». Шустик, рассказывают, не дожидался уговоров, сразу немцу в ноги, лбом так врезал об пол, что шишка вскочила. Полицаи — их несколько человек было — улыбаются, немец хохочет. «Признаешь власть великого фюрера?» — «Признаю, паночку, как не признать, если весь мир признает». Это понравилось, немец указывает на Ляховича: а ты, мол, тоже признаешь? Полицай переводит, а Ляхович молчит. Молчал, молчал, а потом и говорит: «К сожалению, я не могу этого признать. Это не так». Немец не понимает, поглядывает на русского: что он говорит? Полицай не переводит, обозлился, шипит: «Не признаешь — умрешь сегодня!» — «Возможно, — отвечает. — Но умру человеком. А ты будешь жить скотом». Хлестко, конечно, красиво, как в кино, но немец без перевода смекнул, о чем разговор, и как крикнет: одного вэк *, мол, а другого на вяз. На вязу том вешали. Повесили и Ляховича. Ну, скажете, не дурак?

---

* Weg — прочь, вон *(нем.)*.

14

Резкость Бритвина в осуждении Ляховича чем-то понравилась Степке, который тоже не терпел всяких там условностей по отношению к немцам. Он подумал, что Бритвин, кажется, не добряк Маслаков, этот войну понимает правильно. Видно, пойдет сам и погонит их всех на мост, Митю тоже. Но что ж, надо — так надо. Вполне возможно, что им еще предстоит хлебнуть лиха, но пусть! Только бы удалось.

Стоя на корточках, Степка тщательно перемешивал аммонит, который хотя и вонял до тошноты, но как будто сох. Взяв комочек из тех, что были сырее, парень, остуживая, перекинул с ладони на ладонь, попробовал растереть — где там, затвердел, как камень.

— Высох уже.

— Ладно, пусть полежит, — сказал Бритвин. — Все равно мальца нет.

Над оврагом поднялось солнце; склон, край поляны и кустарник над ней ярко засияли в солнечном свете, постепенно стало теплеть. Бритвин в сонной истоме растянулся на шинели, посмотрел в высокое, с редкими облаками небо.

— Значит, так, — вдруг сказал он и сел. — Эй, Борода, еще храпеть начнешь!

Он толкнул ногой заплатанное колено Данилы, тот расплющил сонные глаза и, лениво задвигавшись, тоже поднялся на траве.

— Значит, так. Кому-то надо подобраться к мосту. Кустики там возле речки, я видел вчера, подход хороший. Задача: в случае чего поддержать огнем. Кто пойдет?

Данила молча вперил в землю выжидательный взгляд. Степка тоже молчал: зачем напрашиваться самому? Дело это, по-видимому, не очень веселое, кого пошлют, тот и пойдет.

— Так, — сказал Бритвин. — Ну тогда ты, Толкач. Подкрадешься и замри. Понял?

Степка не ответил. Он был готов, если это выпало на его долю, хотя то, что Бритвин обратился именно к нему, слегка задело его. Но, не подав виду, он подавил в себе неприятное чувство, будто и не имел ничего против. И все же Бритвин вроде что-то заметил.

— Потому как у тебя автомат. Или, может, автомат Бороде отдашь? Тогда он пойдет.

— Нет, не отдам.

Они еще посидели минут пятнадцать. Аммонит, наверно, начал уже остывать, когда Бритвин вскинул голову — на овражном склоне появился Митя. Хватаясь за ветви, парень быстро скатился вниз. Бритвин вскочил с тревогой на лице, но Митя, оживленный и вспотевший, все в том же черном пиджачке, успокоил:

— Ну, все готово.

— Молодец, — сказал Бритвин. — Где подвода?

— Тут, в кустиках. Припозднился малость, но ничего.

— Так! — Бритвин оглянулся. — Толкач, марш к возу, из одного бидона молоко вэк, бидон сюда. Сколько у тебя бидонов?

— Три.

— Двух хватит. Один под мину пойдет.

Все было ясно, оставалось принести бидон, но Митя с неловкостью переступил босыми ногами.

— Тут вот... Поесть вам.

Обеими руками он вытащил из тугого кармана какой-то тряпичный сверток, передал Бритвину.

— Молодец! Просто герой! Ну, добро. На, Борода, в твою сумку.

Данила принялся запихивать в сумку завтрак, а Степка с Митей торопливо полезли на склон.

Митя взбирался первым. Его босые потрескавшиеся пятки быстро мелькали в росистой траве, небольшая голова в черной засаленной кепчонке, будто у вороненка, туда-сюда вертелась на худой шее — сквозь редковатый кустарник было видно далеко. Степка, однако, привык уже за ночь к этому оврагу и склону и, как это бывает на знакомой местности, почти перестал ощущать опасность.

Он думал над тем, что сказал Бритвин, — старался понять его план, но понял немного. Бывший ротный что-то хитрил, намекал только, а по существу, скрывал от них свой замысел — ради секретности, что ли? Если Степку они посылают на прикрытие, так получается, сами поедут на мост. Но хватит ли их двоих, чтобы сладить с охраной, которая после вчерашнего случая станет еще бдительней? Наверно, полицаи увидят повозку издали, и хотя знают Митю, других могут заподозрить и не подпустить близко. Что тогда делать?

Этот план Бритвина с молоковозом в самом начале вызвал ряд сомнений и казался все менее убедительным.

Рослик стоял неподалеку, забившись в орешник вместе с повозкой, в которой, увязанные веревкой, блестели бока трех бидонов. Видно, где-то поблизости была дорога, потому Митя тихонько поласкал привязанного за куст коня и молча вскочил в повозку. Вдвоем они с трудом сняли крайний бидон на землю. Под руками тяжело плескалось, сильно запахло парным молоком, стадом и хлевом. Откинув крышку, Степа смешался: столько молока надо было вылить на землю!

— Пей! Хочешь? — предложил Митя.

Пить Степке совсем не хотелось — хотелось есть, но, став на колено, он все же наглотался, сколько вместил его пустой живот. Особенного наслаждения, однако, не почувствовал — другое дело, если бы был хлеб.

— Ну что? Выливаем?

— Давай!

Наклонив посудину и обливая белыми брызгами ноги, они пустили по траве душистый молочный ручей. Подняв на себе сухую листву, ветки, разный лесной мусор, молоко широко растеклось в кустарнике, образовав большую грязную лужу.

Пустой бидон показался довольно легким. Оберегая больную шею, Степка вскинул его на плечо и двинул к оврагу. Митя бежал рядом.

— А сколько в нем патронов?

— Где? — не понял Степка.

— Ну, в автомате этом.

— Семьдесят в одном магазине.

— Ого! Это семьдесят человек можно уложить?

Боком пробираясь в орешнике, Степка разъяснял:

— Семьдесят, это если одиночными стрелять. И то если попадать всеми. А если очередями, то дай бог десяток.

— А остальные что, мимо?

— Ну. А ты думал! Немцы тоже не дураки: мух ловить не будут.

— Надо лучше целиться, — смекнул Митя. — А в винтовке пять только?

— Да.

Идя впереди, он оглянулся и услужливо отстранил с пути ветку, пропуская Степку.

— А у этого, командира вашего, самозарядка, да?

— У Бритвина? Самозарядка.

— Хорошая винтовка?

— Когда исправная. А как заест, кидай и бери палку.

— А автомат не заедает?

— Когда как, — неопределенно сказал Степка, поправляя на плече ношу. Дотошные расспросы этого парня начали надоедать.

Разговор на том прекратился, они спустились в овраг, и Степка с глухим бряком бросил бидон перед Бритвиным.

— Порядок! Борода, взрывчатку!

Снаряжать мину Бритвин принялся сам. Рядом на шинели уже лежал найденный ночью у Маслакова полуметровый обрезок бикфордова шнура и желтый цилиндрик взрывателя.

Впрочем, начинить мину было несложно. Спустя десять минут Бритвин засыпал полбидона аммонитом, бережно укрепил в его середине взрыватель, конец шнура выпустил через край.

— Гореть будет ровно пятьдесят секунд. Значит, надо поджечь, метров тридцать не доезжая моста.

Наверно, для лучшей детонации, что ли, он вытащил из кармана гранату — желтое немецкое «яичко» с пояском — и тоже укрепил ее в середине. Потом по самую крышку набил бидон аммонитом.

— Вот и готово! На середине моста с воза — вэк! И кнутом по коню. Пока полицаи опомнятся, рванет за милую душу.

— А кто повезет? — спросил Степка, стоя возле полного таинственного внимания Мити.

— Как кто? — с деланным непониманием переспросил Бритвин. И вдруг почти закричал: — Ты еще не пошел? А ну бегом! Куда я сказал. Понял?

— Я-то понял.

— Ну и давай! Мы тоже сейчас едем. А то вишь солнце где?

Степка поддал на плече автомат и выбрался из оврага.

Прежде чем скрыться в лесу, он обернулся. Внизу сквозь кустарник проглянул зеленый квадрат их полянки с двумя серыми пятнами от костров и раскопанной землей под ольшаником. Три небольшие с высоты фигуры стояли над белым бидоном, также готовые вскоре покинуть полянку, чтобы никогда больше сюда не вернуться.

15

Дождавшись за ольховым кустом, когда часовой повернет в другой конец моста, Степка пулей метнулся дальше и упал под едва не последней жидковатой олешиной — в какой-нибудь сотне шагов от насыпи.

Несколько минут он трудно дышал, распластавшись на черной и голой, еще не поросшей травой земле, и во все глаза смотрел на дорогу.

Самое худшее, кажется, миновало. Степка подобрался к мосту, как будто его не заметили. Правда, за версту отсюда на пойме он ненароком наткнулся на какого-то дядьку по ту сторону речки — наверно, там была стежка, — тот появился неожиданно, в серой суконной поддевке, с кнутом в руке. Разделенные неширокой речушкой, они встретились взглядом, оба вздрогнули от неожиданности, но Степка молча проскочил мимо в редковатый прибрежный кустарник, который скоро и заслонил его. Человек также ни о чем не спросил, видно, подавил в себе удивление, а может, и испуг и быстро зашагал берегом. Наверно, надо было проследить за ним, но не было времени — Степка и без того боялся опоздать с выходом к мосту и стремился вперед, хотя и чувствовал, что в такой спешке очень просто нарваться на немцев. Однако все обошлось, сзади никого не было видно.

Мост отсюда, казалось, был так близко, что становилось страшно. Степка уже мог кромсануть по нему из автомата, хотя, конечно, теперь лучше бы иметь винтовку: из нее гораздо удобнее было бы снять часового, который между тем лениво слонялся туда-сюда вдоль перил. На середине он ненадолго остановился, посмотрел вниз, сплюнул и с ребячьим любопытством проследил, как плевок плюхнулся в воду. На плече полицая висел немецкий карабин, который он то и дело поправлял свободной рукой. Когда он отворачивался, Степка видел его спину в черной тесноватой куртке и стриженый светлый затылок под черной с кантом пилоткой. Был он тонковат, молод, наверно, ненамного старше Степки.

Этого часового Степка увидел еще издали, из кустарника, и подумал сначала, что он тут один. Но спустя какое-то время послышался тихий разговор на дороге, долетел звяк лопаты о камень — похоже, в том конце моста за насыпью копали. Ему отсюда не видно было, сколько их там, он слышал только обрывки разговора, иногда невысоко над дорогой взлетали комья земли. Спу-

стя четверть часа из-за насыпи на дорогу вылез обнаженный до пояса полицай в зеленых штанах и черной пилотке, недалеко прошелся обочиной, нагнулся, что-то подобрал с земли и опять пошел туда, где копали.

От долгого бега Степка согрелся, вспотел, но теперь, поглощенный мостом, не догадался даже расстегнуть мундир да снять шапку.

Полежав с полчаса, он понял, что, наверно, придется проваляться тут долго: на дороге в сосняке еще никого не было видно. Зато со стороны местечка скоро показалась повозка, которая быстро катила к мосту. Спустя какое-то время можно было различить, что это бричка; запряженный в нее справный буланый коник размашисто кидал копытами, картинно сгибая красивую, с коротко подстриженной гривой шею. Степка догадался, что это кто-то из начальства. Бричка ненадолго остановилась возле тех, что копали, там же оказался и часовой; не слезая с сиденья, человек в сером пальто, размахивая руками, что-то заговорил, другой сидел подле молча. Вскоре он шевельнул вожжами, и бричка с негромким стуком покатилась по дощатому настилу.

Степка плотнее припал к земле, затаил дыхание. Они проехали совсем близко от него, но даже не взглянули в его сторону, и парень облегченно вздохнул.

Опять потянулось время. Солнце над лесом медленно поднималось в небе, было уже, наверно, часов около десяти. Теперь Степка чаще, нежели на мост, стал оглядываться назад, на дорогу, все с большим нетерпением ожидая увидеть там повозку с Росликом. Но там долго никого не было, и парня исподволь начала одолевать тревога: не случилось ли что с миной?

Часовой раза три прошелся туда-сюда по мосту и опять повернулся в этот его конец. Правой рукой он высоко, возле плеча, перехватил ремень, а левой, заложив ее за спину, держался за ложу карабина, который, наверно, уже натрудил за смену его худое плечо. Потом, неторопливо проковыляв по мосту, остановился возле сломанных перил, и Степка подумал, что сейчас повернет назад. Но он почему-то не поворачивал. Он даже вынул левую руку из-за спины и тоже перенес ее на ремень карабина, как бы для того, чтобы снять его с плеча. Уловив в поведении полицая что-то новое, Степка оглянулся: с горки в сосняке быстро и даже весело катил вниз Рослик с повозкой.

Степка подвинул поближе к себе автомат, удобнее

уперся локтями в черную мягкость земли; он заволновался, предчувствуя, что вот-вот произойдет самое важное. Правда, скоро его напряжение сменилось удивлением, когда он увидел в повозке одного только Митю: ни Данилы, ни Бритвина там не было. Не видно их было и сзади и нигде поблизости. Неужели они отправили Митю одного? А может, там что случилось? Но строить догадки не было времени, повозка скоро приближалась, а полицай стоял у въезда на мост, и у Степки медленно холодело внутри от мысли: а вдруг остановит? Если полицаи задержат повозку, тогда все пропало.

Припав к земле и неудобно поджав свернутые набок ноги, Степка сквозь ветви поглядывал то на дорогу с повозкой, то на мост, где в угрожающей неподвижности застыл часовой. И тогда в голове его мелькнула совсем уже паническая мысль: а вдруг прошлой ночью караул сменили, поставили новый, и полицейский впервые видит этого молоковоза? Тогда он его, безусловно, задержит. Но ведь Митя где-то поблизости от моста должен поджечь шнур — что же тогда будет?

Между тем повозка приближалась. Митя высоко сидел на одном из бидонов, внешне он выглядел спокойным. Правда, эта его высокая посадка казалась несколько необычной, разве что так ловчее было столкнуть бидон-мину. И опять ни на повозке, ни поблизости от нее не было никого больше. «Неужто Бритвин с Данилой остались в лесу или с ними стряслось что плохое?» — недоумевал Степка. Конечно, он прикроет Митю, коль на то послан, но для чего же тогда они?

И тут Степка заметил над повозкой дым. Парень удивился, даже испугался, но вскоре понял, что это дымил папиреской Митя. Делал он это, однако, неумело, слишком усердно и часто — непонятно было, то ли собираясь поджечь шнур, то ли для того, чтобы уже замаскировать его горение. В то же время Рослик побежал быстрее, и повозка, минуя кустарник, на несколько секунд скрылась за нависшей листвой.

У Степки от волнения противно задрожало сердце, вспотели ладони, он подвинулся немного в сторону, направляя ствол автомата на часового. Как на беду, свежеватый утренний ветер замельтешил перед лицом молодыми ветвями, которые то открывали, то совершенно закрывали собой полицая. Но вот тот шагнул навстречу повозке и, что-то негромко крикнув, снял карабин. Митя соскочил на дорогу.

Повозка остановилась в каких-нибудь десяти шагах от моста. Рослик, слегка выставив вперед ногу, принялся теребить ее зубами. Степка в ольшанике весь сжался от напряжения, плохо соображая, что происходит. Он чувствовал только, что план Бритвина рушится, что дело оборачивается самым неожиданным образом и что теперь, судя по всему, настала его очередь.

Что ж, будь что будет.

Он не знал, поджег ли Митя шнур (должен был поджечь), но если шнур уже загорелся, то полицай, как только подойдет к повозке, поймет все с первого взгляда. Тогда независимо от того, будет взрыв или нет, парень погибнет. Чтобы спасти хотя бы Митю, Степка вскинул над насыпью автомат и надавил на спуск.

Тр-р-р-р-р-р-рт!

Что произошло дальше, он понял не сразу. Он увидел только, как рванул с места Рослик; кажется, сбив полицая, конь с возом поскакал по мосту вперед, попав на выбоину, повозка подскочила, качнулась, загрохотали перевязанные веревкой бидоны. Полицай где-то исчез, на дороге остался лишь Митя, он бросился было за повозкой, но в какой-то непонятной растерянности вдруг остановился, раскинув в стороны руки.

Степка вскочил, чтобы бежать, но взгляд его в последнее мгновение наткнулся на эту растерянную фигурку Мити, и он снова присел за кустом. Только он хотел крикнуть, чтобы тот спасался, как Митя дернулся, будто в испуге, от того невидимого, что в этот момент случилось на мосту. Степка быстро и тревожно выглянул сквозь листву — Рослик, упав в оглоблях на передние ноги, бился коленями о настил, пытаясь подняться, высоко и немощно махал головой. В то же мгновение откуда-то сбоку, как будто издали, с опозданием донеслось негромкое «бах-х!». Степке показалось, что это выстрелил полицай из-за насыпи, и он снова рванул к плечу автомат.

Но выстрелить он не успел.

Митя сорвался с места и, размахивая полами своего пиджачка, бросился за повозкой. «Что ты делаешь?» — взвопил протестующий голос в Степке. С того конца моста к повозке уже мчались три полицая. Рослик скреб копытами настил, тщетно пытаясь встать, повозка перекосилась, упершись задним колесом в перила...

Степка на коленях подался из-за ветвей в сторону, ловя на мушку тех, что бежали. Ему не хватило какой-то секунды, чтобы совместить ее с прорезью, как мощная

сила взрыва бросила парня наземь. На всю глубь содрогнулась пойма, от теплой вонючей волны пригнулись вершины деревьев. Оглушенный Степка какой-то частичкой чувств уловил, как что-то тяжелое ударилось поблизости о землю. Он тут же вскочил, сглотнув горькую слюну, нащупал подле себя автомат. Клубы едкого желтого дыма быстро катились от моста на кустарник; глаза его заплыли слезами, в следующее мгновение, споткнувшись о что-то твердое, он опять полетел наземь — под ногами косо торчал из земли обломанный брус от перил.

Степка побежал краем ольшаника — подальше от моста и дороги, потом по луговой пойме свернул к знакомому сосняку. По нему не стреляли, сотрясенное взрывом, все вокруг замерло. Исподволь он совладал со своею растерянностью и впервые оглянулся: аккурат на середине моста зиял огромный пролом, из которого беспорядочно торчали в стороны обломки брусьев, бревен и досок. Там же что-то горело — сизый, негустой еще дым стлался над речкой и лугом.

На мосту и возле него не было ни одной живой души.

16

Загребая сапогами в мелкой траве, Степка отяжелело бежал к недалекой уже сосновой опушке. Провод на сапоге порвался или, может, сполз, подошва наполовину отвалилась и на каждом шагу надоедливо хлопала. На бегу он то и дело оглядывался: дорога из местечка уже закурила пылью — несколько верховых мчались в сторону моста.

Но вряд ли они успеют догнать его: уже совсем близко лес, кустарник, а позади речка с топкими, в тростниках берегами — пусть попробуют перебраться через нее с лошадьми. Правда, они могли настичь его тут огнем, но все равно он перешел на шаг: не хватало уже силы бежать, лихорадочное дыхание распирало грудь, горячий соленый пот заливал глаза.

— Скорей! Скорей ты! Бегом!!

Степка поднял разгоряченное лицо — на опушке среди сосновых веток шевельнулась знакомая голова в пилотке. Бритвин махал рукой и с приглушенной злостью требовал теперь от него:

— Бегом!!

Степка обессиленно затрусил, несколько свернув с прежнего своего направления туда, где был Бритвин, и

спустя минуту, раздвигая грудью колючие ветки, втиснулся в сосняк. Сзади так и не выстрелили ни разу, и он не оглядывался больше — где была в то время погоня, он не видел. Он стремился теперь скорее присоединиться к своим, о которых уже перестал и думать, и теперь, завидев их живыми, почувствовал безотчетную минутную радость. Правда, те не очень ждали его — поодаль в сосняке мелькнула зеленая, в телогрейке спина Данилы, — не теряя времени, они через пригорок бежали дальше. Тяжело топая по мягкой, усыпанной хвоей земле, обдирая в чаще лицо и руки, Степка вылез на вершину пригорка и с облегчением побежал вниз. Тут он опять увидел их: Бритвин был уже на опушке, коротко оглянулся, взмахнул рукой («скорей!») и выскочил на вспаханную полосу нивы.

Кажется, они оторвались от погони, во всяком случае, скрылись с ее глаз и стали недосягаемыми для ее огня. Можно было бы вздохнуть с облегчением, нервное напряжение спало. Как ни удивительно, Степка только здесь, в сосняке, понял, что́ они сделали. Мост взорван, было чему радоваться. Но радость не приходила: не было Маслакова, который все это начал, вел их, первым пошел на самое опасное, и теперь вот они победили, но без него. К тому же еще и Митя. Разумеется, Митя — эпизод, парнишка на один день, сколько таких появлялось на его партизанском пути и исчезало — какое ему до них дело? Но этот подросток что-то затронул в нем, что-то непроясненное, только почувствованное унес с собой из жизни, оставив Степке лишь недоуменный вопрос: как же так?

Когда Степка выскочил на опушку, те двое, пыля сапогами, уже бежали по ниве — впереди Бритвин, а позади в десяти шагах от него Данила. Они снова не подождали парня, а он все больше отставал: склон тут кончался, начиналось ровное место, бежать по которому у него просто не было сил.

И все-таки он бежал, горячечно дыша раскрытым ртом. Автомат придерживал рукой под мышкой, не давая тому бить диском о бок. Степка совсем выдыхался, и чем меньше у него оставалось сил, тем все большее раздражение поднималось внутри — будто его нарочно хотел кто обидеть. Однако он знал, что не нарочно, что в самом деле надо было как можно скорее смываться, но не мог сладить со своею досадой и, вдруг остановившись, крикнул:

— Да стойте вы!

Они оглянулись, замедлили шаг и, достигнув кустарника, нерешительно остановились. Бритвин, видно тоже не сдержав злости, раздраженно прикрикнул:

— Давай скорей! Ну что ты гребешься, как баба?!

Усталым шагом Степка наконец догнал их. Неприязненно избегая их взглядов, увидел вспотевшее лицо Бритвина, оживленное риском и азартом.

— Не смотрел, не догоняли? — спросил Бритвин, когда он подошел ближе.

Степка нарочно не ответил — он просто не мог разговаривать с ними и даже избегал взглянуть им в глаза, его мучил вопрос: где они были? Он чувствовал себя совершенно одураченным: ведь он почти уже поверил в Бритвина, в его волевую решимость и боевой опыт и уже склонялся в душе к тому, чтобы отдать ему предпочтение перед Маслаковым.

Наконец все вместе они сунулись в негустой мелкий орешник. Под ногами шастала прелая листва да похрустывали опавшие ветки. Через минуту Бритвин снова обернулся к Степке:

— Контузило, что ли?

— Ничего не контузило!

Не останавливаясь, Бритвин на секунду задержал на нем придирчивый взгляд и скрылся за кустом. Выскочив по другую его сторону, заговорил с напускной лихостью:

— Здорово, а? Грохнуло, что, наверно, в Круглянах стекла выскочили.

Данила на бегу повернул к ним свое косматое, с простовато-радостной ухмылкой лицо.

— Ну.

— Порядок в танковых войсках!

Они радовались — что ж, было чему. Среди бела дня, под носом у немцев рванули мост — разве не причина для радости? Особенно для Бритвина, да и Данилы тоже.

Вскоре Бритвин перешел на шаг, тем более что впереди начиналось полное воды болото, которое надо было обойти. Данила теперь не выбирал пути, держа напрямик, лишь бы подальше от Круглян, глубже в лесную глушь. Так было всегда: главное — как можно дальше отойти от того места, куда должны были кинуться полицаи.

Степка давно уже хотел остановиться, перевести ды-

хание да что-то сделать со своим сапогом, потому что на каждом шагу цепляться подошвой стало мукой. На правой ноге к тому же сильно болела пятка, наверно, стер до кости. Опустившись наземь, он с усилием стащил с ноги развалившийся сапог и, не зная, как сладить с подошвой, со злостью швырнул его в ольшаник. Затем то же сделал и с правым, который отбросил в другую сторону. Дырявые, сопревшие портянки, когда-то отодранные на хуторе от полосатого рядна, поднявшись, раскидал ногами.

Впереди с винтовкой на плече недоуменно оглянулся Данила.

— Гы? Ты что надумал?

Степка закинул за плечо автомат. Босым ногам стало куда как легко и неожиданно холодно на сыром непрогретом мху, трава щекотно заколола подошвы, но не беда. «Давно бы так», — подумал он с невеселым облегчением.

Данила с Бритвиным, однако, молча стояли, уставясь на него. Бородатый партизан был явно озадачен его поступком.

— Сдурел, что ли? Зачем ты кинул?

— Иди, подбери!

И Данила действительно полез в кустарник, нашел его левый, более справный, сапог и по-хозяйски, с интересом ощупал подошву.

— Хороший сапог! Если союзки новые... Бросает, ха!

— Ты зачем это? — нахмурился Бритвин.

— Рваные же. Не видели?

Данила, однако, слазал в болото и за другим сапогом. Подошва в нем совершенно отвалилась и висела, ощерив ряд проржавевших, густо набитых гвоздей.

— Починить если, так носить да носить.

Аккуратно сложив сапоги голенищами, он начал запихивать их за широкий немецкий ремень. Степка исподлобья бросал неприязненные взгляды на его ладные маслаковские кирзачи и телогрейку, почти новенькую, правда, с подсохшим пятном на груди.

— А ну сейчас же надень сапоги! Ты что? — со строгостью напустился на него Бритвин, наверно, уже совсем чувствуя себя командиром. — Через час слезами заплачешь. Тогда что, понесем тебя?

— Не бойтесь, не понесете. Его заставите.

Наверное, что-то почувствовав в голосе Степки, Бритвин смерил парня подозрительным взглядом, что-то прикинул в уме, будто вслушиваясь в тихий шум ветра.

Степка подумал, что поскольку дело уже сделано, то тут и начнутся командирская мораль, ругань и угрозы. Но Бритвин в последний момент будто переменил свое намерение, лишь уколол его злым взглядом и пошагал через кустарник.

17

Далеко уже отойдя от Круглян, в густом ельнике они набрели на тропинку. Кажется, неподалеку должен был начинаться Гриневичский лес — знакомые безопасные места, их партизанская вотчина. Стало спокойнее, о погоне уже не думали. В лесу стоял крепкий, почти спиртовой настой волглой весенней прели и смолы; на влажной мшистой земле лежали пестрые от солнечных бликов тени; разлапистые ветви елок, сонно покачиваясь, шумели вверху.

Едва заметная в моховище тропинка вывела их на старую заброшенную делянку с когда-то наготовленным да так и не вывезенным кругляком — с краю широкой поляны расположилось несколько длинных приземистых штабелей обросшей мохом рудстойки. Сопревшая кора на чурбаках разлезлась, в потемневших от времени торцах желтели выдолбленные дятлами ямки.

На делянке пригревало солнце, они все вспотели, и Бритвин, несший перекинутую через плечо шинель, решительно бросил ее под ноги.

— Привал!

— Фу, тепло! — согласно отозвался Данила и как был, толстоватый и неуклюжий по такому теплу в телогрейке, задом сунулся в тень под штабелем. Бритвин снял ремень, расстегнул пуговицы на гимнастерке, затем плюхнулся на шинель и, сопя, стянул сапоги.

Степка, помедлив, тоже присел под штабель.

— Далеко еще топать? — спросил Бритвин.

— Не так, чтоб далеко. Немного пройдем до Ляховина, потом еще лесничество миновать, — начал прикидывать разомлевший Данила.

— Так сколько километров? Пять, десять?

— Это... Если Ляховино по правую руку оставить, чтоб крюка не дать. Но как оставить: мост там...

— Так сколько все-таки километров?

— Километров? Чтоб не солгать... Не так много осталось.

Бритвин осуждающе повертел головой.

— Ну и арифметика у тебя! Много, немного... Давай сумку да перекусим.

Данила с подчеркнутой готовностью перекинул через голову скрученную лямку сумки и сразу же вынул оттуда бутылку с бумажной затычкой. Осторожно укрепил ее на неровной мшистой земле между собой и Бритвиным. Степка старался не смотреть туда — делал вид, что занят пальцем на ноге, до крови сбитым о корень. Есть ему расхотелось, на жаре донимала жажда, и он думал, что, передохнув, первым делом надо поискать ручей.

— Ну что ж, тогда дернем! — сказал Бритвин.

— Заработали, — ухмыльнулся в бороду Данила.

Бритвин потянул сумку.

— А там же и закусь была. А ну доставай, что наготовил полицаев сынок.

Степка легонько вздрогнул — так просто и буднично было сказано это. Он недоуменно вскинул голову, ожидая что-то увидеть на лице Бритвина. Однако на упругом, тронутом свежей щетиной лице того было лишь сдержанное выражение удовольствия от предстоящей закуски с выпивкой.

Данила вынул самодельный, с деревянным черенком ножик, развернул белую холстинную тряпицу. Толстый ломоть домашнего хлеба, кусок мяса и четыре крашеных пасхальных яйца заставили их украдкой сглотнуть слюну. Они уже не могли оторвать взглядов от больших рук Данилы, который принялся делить закуску: разрезал на три части хлеб, мясо, разложил яйца, два из которых оказались сильно помятыми, наверно, в дороге. Бритвин одной рукой сразу же взял бутылку, другой сгреб свою порцию закуски.

— Ну а Толкач что? Не проголодался?

Степка слетка нахмурился: слова Бритвина прозвучали таким тоном, что стало понятно: если он откажется, они упрашивать не будут. Именно по этой причине он решительно встал и, вразвалку подойдя ближе, забрал оставшуюся на сумке пайку — вторая была уже в руках у Данилы.

Бритвин тем временем сделал несколько поспешных глотков из бутылки, поморщился.

— Отрава! И как ее полицаи пьют?

— А пьют. И полицаи и партизаны. И ничего. Говорят, пользительно, — заулыбался Данила, перенимая бутылку.

Последнее время он стал разговорчив, не то что вчера,

и Степка подумал: с чего бы это? Данила тоже выпил. Может, и не столько, как Бритвин, но также немало — едва не всю. Подняв бутылку, посмотрел, сколько осталось.

— Ну а тебе не надо. Мал еще, — сказал он Степке как будто шутя, но и в самом деле отставил бутылку в сторону.

Степка перестал жевать.

— Кто малый, а кто старый. Дай-ка сюда!

— Сопьешься еще. Пьяницей станешь.

— Не твое дело. Дай бутылку!

— Это пусть командиру, — вдруг осклабился Данила. — Командир, он голова. Смотри, как все устроил!

— Ладно, дай и ему! — с полным ртом великодушно позволил Бритвин.

Данила еще раз прикинул, сколько в бутылке — там было не больше чем с полстакана, — и отдал. Степка хотя и не испытывал к водке большой охоты, теперь, наверно со зла, вытянул все до капли.

— Гляди ты! — удивился Данила. — А-я-я, вот молодежь пошла.

Энергично работая челюстями, Бритвин с каким-то затаенным смыслом косил на него глазами, а Степка, полуотвернувшись, сосредоточенно ел. Мяса ему досталось немного, он скоро проглотил его, оставался кусок хлеба и маленькое, словно голубиное, слегка надтреснутое на боку пасхальное яичко, которое он приберегал на потом. Ему было наплевать, что о нем думали эти двое, он не уважал их и не чувствовал никакой благодарности за выпивку. Он едва сдерживал растущее в себе негодование, все определеннее сознавая, что в этой довольно удачной истории с мостом они все-таки сподличали. То, что всю дорогу и теперь Бритвин упрямо обходил в разговоре Маслакова и Митю, только укрепляло его подозрение, и это не могло не отозваться в нем прежней неприязнью к ротному.

— Ни уважения тебе, ни уступки! Вот молодежь! — ворчал между тем Данила. — Раньше было не так.

— Что бы вы делали без этой молодежи? — резко сказал Степка, почувствовав, как с катастрофической неизбежностью в нем нарастает гнев. — Блох по хатам плодили?

Обычно сдержанный, флегматичный Данила в этот раз из-под нависших бровей недобро нацелил в него узенькие щелочки глаз.

— А ты нам не указ! Не командир, значит, чтоб указывать!

— Очень ты командиров любишь! Все чтоб командовали! Небось без команды и в лес не пошел! Ждал, пока с печи стащат!

— Мое дело! Не тебе упрекать старших. Сопляк еще!

— Будет, не заедайтесь! — прикрикнул Бритвин. — Толкач хоть и злой, но смелый. Молодец!

Степка внимательно посмотрел на Бритвина, но тот невозмутимо выдержал его взгляд. Степка улыбнулся одними губами — нет, на такую дешевую приманку его не возьмут.

— Хва́лите? Как и его хвалили?

— Это кого?

— Митю, кого!

Бритвин неопределенно хмыкнул.

— Ну, знаешь! Надо было, так и хвалил.

— А теперь не надо? Теперь меня надо? — отрывисто спрашивал Степка и перестал жевать. Кусок хлеба во рту жестко выпирал за его щекой.

Бритвин нахмурился.

— А ты что, недоволен?

— Доволен!

— Слава богу! А то я подумал: в обиде. Оттого, что, как вчера Маслаков, на мост не погнал.

«Ах вот что!» — мелькнуло в голове у Степки. Может, Бритвин еще начнет упрекать его за неблагодарность? Действительно, на мост не погнал, дело сделали, и все наилучшим образом. Даже взрывчатку сэкономили — на стороне достали. И все-таки до Маслакова ему далеко.

— Маслаков не гнал! — срываясь, выкрикнул Степка. — Маслаков вел. Это ты гнал!

— Кого это я гнал?

— А Митю! Вспомни!

Распоясанный босой Бритвин вдруг вскочил на ноги, придерживая руками сползавшие темно-синие бриджи.

— Ах ты сопляк! Оговорить хочешь! У меня вон свидетель! А ну, пусть скажет: гнал я или он сам?

— Сам, сам! — охотно подтвердил Данила. — Просил Христом-богом. Чтоб, значит, за батьку оправдаться.

— Понял? Полицая сынок к тому же! Учти!

Степка молчал, несколько растерявшись от столь неожиданного поворота ссоры. Да, тут они правы. Просился, это верно. И что сын полицейского — тоже правда. Но что же тогда получается?

— Выходит тогда, что сын полицая мост взорвал? А не мы? Так?

— Нет, не так! — твердо сказал, как обрубил, Бритвин. — Мы взорвали. Мы организовали и руководили. Я руководил. Или ты не согласен с этим?

Он не знал почему, но с этим он действительно был не согласен, хотя и ругаться больше не стал. Что-то в его захмелевшей голове перепуталось — не разобраться. Только какой-то самой упрямой и самой ясной частицей души он чувствовал, что все-таки Бритвин не прав, и он никак не мог примириться с ним.

Данила желтыми редкими зубами драл кусок мяса и с полным ртом говорил:

— Это самое... Если бы не они, — кивком бороды он показал на Бритвина, — если бы не они, все пропало.

Степка поднял голову и, почувствовав что-то загадочно-важное в этих словах, поглядел на Данилу.

— Ага. Когда конь подбрыкнул на мост, они бабахнули — и готово. Аккурат посреди моста.

— Кого? Коня?

— Ну. Того Рослика. Вот снайпер, ай-яй! — низким голосом невозмутимо гудел Данила.

В шумной и шаткой голове Степки блеснула запоздалая догадка. Ослепленный ею, он минуту не мог произнести ни слова и только переводил ошеломленный взгляд с Бритвина на Данилу и обратно. Но мало-помалу все становилось на свои места, и он совершенно определенно понял, почему не побежал с моста Митя, — подросток бросился спасать Рослика. А ему, дураку, показалось тогда, что в коня стрелял полицай.

— Сволочь! — уже не сдерживаясь, выкрикнул Степка. — Ты — сволочь! Понял?

Почти не владея собой, Степка вскочил на ноги, его сжатые в кулаки руки дрожали, он задыхался от возмущения. Бритвин минуту сидел, обхватив колени, будто сбитый с толку его словами.

— Ах вот как! — наконец произнес он и тотчас вскочил на шинели. — Сдать автомат!

На этот раз опешил Степка.

— Автомат? А ты мне его давал?

Бритвин угрожающе шагнул к Степке, но тот, опередив его, с неторопливой уверенностью нагнулся и, подняв свой новенький ППШ, закинул его за плечо.

— Сдать автомат! — гневно потребовал Бритвин.

— А хрена вот!

— Ты что, сопляк! Выпил, так бунтовать?! Против командиров идти?!

— Ты не командир! Ты жулик!

— Ах так!

Из-под штабеля с испугом на лице торопливо и неловко поднимался Данила. Бритвин, выждав секунду, молча повернулся и решительно схватил прислоненную к бревну свою трехлинейку. С ней он уверенно шагнул к Степке.

— Не подходи! — крикнул Степка и вдоль штабеля отступил на один шаг.

Но Бритвин и еще шагнул, перехватив винтовку прикладом вперед, — озлобленный, ловкий и решительный.

— Не подходи, говорю! — с дрожью в голосе предупредил Степка и рванул с плеча автомат. От бешенства и волнения он трудно, устало дышал, заходясь в обиде оттого, что их двое против него одного.

Бритвин остановился, сомкнул насупленные брови, с недобрым блеском в суженных глазах, но вдруг прыгнул вперед и оказался напротив. Степка дернул рукоятку — затвор легко щелкнул в тишине, став на боевой взвод. Обдирая о бревна спину, Степка тесно прижался к штабелю.

В озверевших глазах Бритвина скользнула нерешительность, но тут же они вспыхнули новым гневом, он сделал резкий выпад вперед и взмахнул винтовкой. Степка пригнулся, но неудачно — боль электрическим ударом пронизала его от шеи до пят. Парень едва не уронил автомат и сжал зубы. Нестерпимая обида захлестнула его, не своим голосом он крикнул: «Сволочь!» — и, задохнувшись, ткнул от себя автоматом. Коротенькая, в три пули очередь упруго треснула в лесной тишине.

Выронив винтовку, Бритвин согнулся, обеими руками схватился за живот и, шатко переступая, начал клониться к земле.

В гневе и горячке парень едва понял, что случилось, как на штабеле сзади что-то хакнуло, и широкие чужие руки сомкнулись на его груди. Степка рванулся, стараясь освободиться от насевшей на него тяжести, но силы были неравны. Он понял это и, дергаясь и слабея, все ниже оседал на коленях, пока не воткнулся лицом в мшистую мякоть земли.

— Сопляк! Стрелять? Ах ты!..

— Вяжи его! Руки вяжи! — надрывался где-то плаксивый голос.

Данила уже без надобности крутанул его на земле, выше заломил руки, коленом мстительно пнул в ребра ниже лопатки — в глазах у Степки блеснул и расплылся желто-огненный круг. Но он смолчал, не запросился, изо всех сил сдерживая боль и задыхаясь от удушливо-кислой, разрывавшей его грудь вони...

Наткнувшиеся на них хлопцы из разведки к вечеру принесли Бритвина в отряд.

Степку со связанными руками пригнал под автоматом Данила.

18

А теперь вот сиди.

Солнце из-за еловых вершин ярко высвечивает одну сторону ямы — становится теплее. Лес вокруг вовсю уже полнится звуками: слышно, переговариваясь, строится невдалеке группа партизан, наверно, на очередное задание; кто-то из посыльных, громко окликая по пути знакомых, разыскивает начальника хозяйства Клепца; в другой стороне отпрягают коня — грохают брошенные на землю оглобли, слышится тихий перезвон удил и скрип сбруи. Новый часовой нет-нет да и подойдет к яме, заглянет в нее — на земляные комья тогда ложится его резкая изломанная тень и тут же исчезает. Хотя он и утешал Степку, но, по-видимому, разговаривать с арестованным у него нет больше желания, и парень чувствует это. Какая-то пугающая отчужденность уже обособила его от других, вчерашних его товарищей по отряду и поставила в особое положение — обидное и угрожающее. Но что ж, наверно, он виноват.

Наверху, судя по звукам, ничего особенного не происходит, там с полным безразличием к нему идет повседневная отрядная жизнь. И потому неожиданно донесшийся знакомый голос заставляет его съежиться.

— Вот где они! А я искал, искал...

— Чего искать? Вон кухня.

Степка сразу догадывается, что это за ним. Но почему Данила?

— Ну, где он? Сидит?

В земле гулко отдаются шаги, оба с часовым они идут к яме, и вскоре Степка видит над собой знакомые взъерошенные космы Данилы. Ну, что ему еще надобно?

— Во посадили! Как волка, а? На, поесть принес.

В яму свешивается на проволочной дужке переделанный из какой-то жестянки котелок, на краю его свежий, едва подсохший потек кулеша. Запах съестного сразу забивает все другие, затхлые запахи ямы. Степка, ощутив минутную радость, перенимает котелок, зажимает его между колен.

— Ложка, наверно, есть?

Ложка у него есть, он тут же достает ее из кармана — свою давнюю алюминиевую кормилицу с коротко обрезанным черенком, — отирает пальцами сор и начинает есть. Данила садится на краю ямы. Рядом стоит часовой.

— Знаю я этого Бритвина, — говорит часовой. — Занудливый, не дай бог. Вон зимой Маланчука в Подосиновиках застрелил. Будто за нарушение дисциплины. Подлый он.

— Подлый, да, — легко соглашается Данила, и Степка поперхнулся от удивления: смотри, как быстро переменил мнение! Он коротко поглядывает снизу вверх: Данила не спеша крутит папироску, его черное заросшее лицо сегодня непроницаемо.

— Говорят, подрались? — спрашивает часовой.

— Было, — неопределенно отвечает Данила. Судя по его настроению, рассказывать, как и что произошло вчера, он не намерен.

— На этой проклятой войне все бывает. Ты, может, на закурку богат?

— Где там! Мусор собрал.

— Так бычка оставишь. А то два дня не курил — уши опухли. С такими, как этот Бритвин, лучше не задираться. Ну их! Что нам, больше всех надо? Делают как знают, черт с ними.

— Ну, — коротко подтверждает Данила, напустив в яму дыма.

Разговор не клеится, часовой ждет бычка, и Данила с жадной поспешностью дотягивает папироску.

— На, кури.

Кончиками пальцев часовой берет у Данилы окурок и отходит. Данила молча и тяжело смотрит, как Степка выскребает котелок.

— Ну, поел?

Степка молчит: что ему разговаривать с человеком, от которого неизвестно чего ожидать.

— Бритвину операцию делать будут. Сказал, чтоб тебя привел.

Еще чего не хватало! Что ему делать у Бритвина — ругаться разве? Но ругань уже окончена. Теперь дело за начальством, оно все и решит. В его руках судьба Степки

— Доктор говорит: плохо целил, — продолжает между тем Данила. — Еще бы на сантиметр — и конец!

Черт с ним! Это сообщение Степку ни радует, ни печалит. Совсем он не целил. Если бы целил, то доктор, наверно, не понадобился.

— И это самое... — Данила почему-то оглядывается, хотя рядом никого нет, и немного тише гудит над ямой: — Говорил, на тебя не обижается. Ну, выпили, понятное дело... Если по-хорошему, так можно договориться.

Степка поднимает голову.

— Это как?

—А так, значит. Сказать, что ненароком. Случайно, мол, автомат выстрелил. А про Митю, того, молчок. Взорвали, и все.

— Ну уж нет! Пошел он в одно место!

— Это самое... Нехорошо ты, — настойчиво ворчит Данила. — О себе подумай. А то приедет комиссар...

— Пусть едет!

Данила сверху внимательно, будто даже в недоумении, смотрит в яму. Степка встает и ставит порожний котелок возле его сапог.

— Пусть едет! Я не боюсь.

Данила крутит головой, вздыхает. Весь его озабоченный вид свидетельствует, что он не одобряет парня.

Молча посидев, он поднимается, обрушивая в яму землю, потом подбирает котелок, поправляет на плече оружие. И Степка только сейчас видит у него свой ППШ. Значит, уже и вооружился! Степка садится на прежнее место. Что-то твердое и спокойно-уверенное уже овладело им и не исчезает.

— Нехорошо ты удумал. Жалеть будешь, — ворчит Данила.

— За меня не бойсь.

— Да мне что!.. Вот отпуск обещали. А теперь...

Он не договаривает, озабоченно смотрит в сторону, наверно на часового поблизости, и Степка догадывается, что́ он имеет в виду. Теперь, когда они не сговорились, отпуск у Данилы наверняка сорвется.

И правильно, что сорвется.

«Отпуск — за что? Кто действительно заслужил его, тех уже нет. А этому за какие заслуги?» — думает Степка. Нет, ничего у них с Бритвиным не выйдет. Степка виноват, его безусловно накажут, но прежде он расскажет, как все это случилось, и назовет Митю.

Комиссар разберется.

Пусть едет комиссар!

1968 г.



ПОВЕСТЬ

1

Шел снег.

Густо мельтеша в воздухе, снежные крупинки косо неслись по ветру, с тихим невнятным шорохом быстро засыпая иссушенную морозом траву, жухлые заросли осоки на болоте, белыми пятнами ровно устилая замерзшие водяные прогалы, которые, чтобы не оставлять следов, тщательно обходила Зоська. Но этих прогалов в траве было много, и она поняла, что никуда от них не деться на этом мшистом болоте, и пошла напрямик, не разбирая дороги. Местами она неглубоко проваливалась в мох, но до воды не доставала, все-таки болото за последние дни хорошо промерзло. То ли от снегопада, то ли от близости вечера болотно-лесное пространство вокруг все больше мрачнело, хмурилось, наполняя смутной тревогой и без того неспокойную душу. Только что выбравшись из лесных зарослей, Зоська уже раза три оглянулась, хотя сзади никого вроде не было. Чтобы отрешиться от недобрых мыслей, она остановилась, огляделась и варежками обмахнула с плеч снег, отряхнула юбку. Но не прошло и минуты, как снег снова густо залепил ворсистую ткань ее плюшевой куртки, и она подумала, что напрасно отряхиваться, лучше поберечь варежки, которые и без того промокли насквозь и не грели. Руки все больше зябли, особенно когда она переходила голые, без кустарников, участки болота, где сильней становился ветер и, кажется, густел снег.

Снегопад был ей ни к чему, он даже становился помехой; те, что посылали ее в эту дорогу, рассчитывали на черную, без следов, тропу. Но еще часа два назад ничто, казалось, не предвещало непогоды, разве что облач-

ное небо вверху, которое нынешней осенью всегда было облачным.

И вот теперь этот снег...

Оглянувшись, Зоська увидела на забелевшей кочковатой земле заметные издали следы своих ног, обутых в уже отсыревшие и латаные-перелатаные сапожки. Правда, снег засыпáл следы, и, если снегопад не прекратится к ночи, следов можно будет не опасаться.

Хуже, что она заблудилась.

Она шла около часа, но ожидаемой лесничевки все не было видно, вокруг тянулось замерзшее незнакомое болото, местами поросшее чахлыми извилистыми березками, кустами лозняка и ольшаника. Теперь ей самой не понять, как она сбилась с тропы, возможно, проглядев в кустарнике ее очередной поворот, или, может, та просто исчезла под снегом. Зоська шла наугад, лишь чутьем определяя нужное направление. Спросить тут было не у кого, она знала, что ближайшая деревня километрах в восьми за речкой, до деревни надо еще идти да идти. Оружия у нее не было никакого, хотя оружие перед выходом можно было попросить у ребят, но когда она намекнула на то Дозорцеву, тот запретил категорически — в ее деле лучше обойтись без оружия. Компаса ей тоже не дали. Компас, наверно, помог бы в пути, но в случае задержания наверняка бы навел на подозрения, а малейшего подозрения ей надо было избегать. Правда, у нее был паспорт, немецкий аусвайс, но она не очень надеялась на эту тоненькую, с синими печатями книжечку, выписанную на некую Аделаиду Августевич. Аусвайс был старый, потрепанный; видно, не она первая отправлялась с ним из партизанской зоны в немецкую, хотя имя его прежней владелицы Зоське очень понравилось. Ей бы такое имя.

А то — Зося Нарейко.

Хотя, что ж, каждому — свое.

Зоське бы вот только перейти это болото, где-то перелезть через речку и выбраться на Скидельский шлях — там начиналась знакомая местность, там были люди, там бы она вздохнула. Правда, она понимала, что там ее ждало немало других опасностей, но теперь ей казалось, что здесь страшнее. Она почти уже не глядела себе под ноги, где привычно шумела-шастала жесткая на морозе трава, — она пристально всматривалась вперед, в густевшие над болотом сумерки, пестрéвшие окрест множеством пятен, тусклых полос вдали, каких-то неясных те-

ней. Казалось, в разных местах, замерев, ее поджидали лесные чудовища, может быть, волки, а может, и недобрые люди. Но всякий раз, подойдя к ним ближе, она обнаруживала, что это темнели высокие кочки жесткого папоротника или кусты можжевельника, а то низкорослые, пересыпанные снегом елочки. Пожалуй, ничего больше и не могло быть в эту пору на мерзлом болоте, однако, по мере того как темнело, привязчивый страх все больше охватывал девушку.

Она упрямо гнала его прочь, мысленно ругая себя за пугливость и то и дело уговаривая: ну, чего ты боишься, дурочка, чего же здесь страшного? Бояться придется там, где люди, дороги, посты у въездов в деревни, проверка документов, полиция. Здесь же безлюдное болото, ненастный осенний вечер, снег, — все, хотя, может, и мало расположенное к путнику, зато вполне безопасное. Чего здесь бояться?

И тем не менее здесь ей казалось страшнее, чем там, впереди, вблизи от деревень с постами, полицией и проверками всех подозрительных прохожих.

Она взошла на едва приметный в болоте пригорок, покрытый неболотной, низкорослой, безо льда травой, с редкими деревцами ольшаника, беспорядочно серевшими на белой земле. Снегопад будто бы поредел, и хотя небо вверху стало темнее, чем прежде, кустарник просматривался далеко, за ним вроде мерещилась стена дальнего леса, и Зоська подумала: не там ли кончается это проклятое болото?

Она спустилась с пригорка, прибавила шагу, как вдруг шагах в пяти от нее метнулось что-то живое и, как показалось, громадное. Зоська в ужасе замерла и только мгновение спустя увидела невдалеке зайца. Большущий русак широкими прыжками размашисто уходил прочь, все дальше в болото, пока не исчез в сумрачной мешанине заснеженной травы и кустарника.

Медленно отходя от испуга, Зоська перевела дыхание нерешительно, сама не зная почему, оглянулась и застыла в немом удивлении, заметив силуэт человека, как бы осторожно наблюдавшего за ней сзади. Зоська на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза, силуэт уже исчез в густеющих сумерках, слившись с неясными пятнами земли и кустарника. С замершим сердцем Зоська еще полминуты вглядывалась, но тщетно: сзади решительно не было ничего такого, что хоть бы отдаленно напоминало собой человека. Она подумала, что ошиблась,

что это ей показалось, и, обругав себя за напрасный испуг, быстро направилась дальше.

Несколько минут она шла мелколесьем, то и дело уклоняясь от холодных ветвей ольшаника и едва сдерживая напряженное желание оглянуться хотя бы затем, чтобы убедиться, что сзади никого нет.

Она заставила себя смотреть только вперед, где уже угадывался в сумерках широкий прогал, кустарники кончались, до тускло серевшей в ночи стены хвойного леса было рукой подать. Зоська подумала, что, по всей вероятности, где-то здесь должна быть река. Не бог весть какая эта речушка, в которой летом надо было поискать место поглубже, чтобы искупаться, осенью разлилась и теперь с самого начала пути тревожила Зоську — как через нее перебраться? Легко было Дозорцеву там, в лесу, советовать поискать брод, который должен быть где-то возле лесничевки. Но как ей найти теперь этот брод, если она потеряла саму лесничевку и даже не знает, в какой стороне та осталась.

Так оно и оказалось, река была здесь. Еще издали Зоська узнала ее по ряду кряжистых ольх, привольно разросшихся вдоль берегов по краю голой, заболоченной поймы. Между рекой и кустарником лежал открытый, обильно засыпанный снегом участок. Прежде чем выйти на него, Зоська остановилась, взглянула в одну сторону, затем в другую и, не удержавшись, торопливо оглянулась назад. Но в тускло мерцающих снежных сумерках всюду было безлюдно и тихо-покойно, лишь беспорядочные порывы ветра, порошившие на болото снежной крупой, нарушали сонную тишину ночи.

Зоська вышла на пойму, решительно направляясь к ближайшей группе кривых старых ольх, раскинувших на берегу замысловатую вязь своих голых сучьев. Еще издали между их комлей она увидела противоположный в кустарнике берег и припаянный к нему тусклый закраек льда, местами темневший разводами подмокшего снега. Такой же, с плавно выгнутой, будто подтаявшей, кромкой, закраек тянулся и вдоль этого берега, а между ними чернела неровная полоса чистой воды. Была она неширокой, эта злосчастная полоска, местами ледяные закраины почти смыкались, но вода упрямо разъединяла их всюду, и Зоська в нерешительности остановилась. Нет, здесь перейти не было возможности, следовало поискать что-нибудь более подходящее.

Обойдя с наболотной стороны несколько ольх, она

снова приблизилась к невысокой, но обрывистой кромке берега. Река здесь круто изгибалась, уходя в сторону леса, и широкая ледяная закраина с противоположного берега почти впритык подходила к обрыву у самых ног. Возможно, Зоське и удалось бы до нее добраться. Если бы на что-то опереться. Или еще лучше положить с берега длинную палку и по ней осторожно перейти на ту сторону.

Надо было поискать подходящую жердину.

Пригибаясь, чтобы уклониться от низко нависавших сучьев, Зоська обошла ольховые кусты, пробуя рукой прочность их шершавых комлей, невзначай бросила взгляд назад, на притуманенную даль поймы и снова в растерянности содрогнулась, застыв в неудобной с повернутой головой, позе: теперь уже не могло быть сомнения — через пойму из кустарника по ее следам шел человек.

Полминуты она стояла, почти омертвев, не сводя взгляда с поймы. Отсюда было трудно рассмотреть идущего, сумерки туманной пеленой смазывали его очертания, но, вглядевшись, она поняла, что это мужчина и что он идет через пойму к реке уверенным шагом человека, имеющего определенную цель и, наверно, знающего путь. Руки его размеренно двигались в такт шагу, они не были заняты оружием, но было ли у него что за плечами, она не смогла рассмотреть. Тем не менее она остро почувствовала, что он уже видит ее, что ей надо скорее уходить от него и что уйти в ее положении можно только за реку.

Она испуганно метнулась по берегу, пытаясь соскочить под обрыв, но увидела внизу темную полоску мокрого снега и побежала дальше. Из-под снега у самой воды торчал какой-то корявый сук с налипшей грязной листвой. Она на бегу выдернула его и перебросила через черный поток на край льдины. Однако сук оказался коротким, к тому же здорово выгнутым на середине, он сразу перевернулся и почти весь ушел в воду. Боясь не успеть и лихорадочно работая руками, Зоська выбралась из-под берега и обеими руками вцепилась в нетолстый наклонный отросток в ближайшем кусте. Повиснув на нем, она кинула взгляд на пойму: почему-то замедлив шаг, человек приближался к речке. Их разделяла какая-нибудь сотня шагов, Зоська изо всей силы потянула деревцо, и то неровно выломилось у самого корня. Не пытаясь даже очистить его от ветвей, она соскользнула с

обрыва и перебросила над водой эту шаткую, малонадежную опору.

Все-таки она успела, хотя и намочила у берега ноги, в левом сапоге сразу захлюпало, но теперь, наверное, можно было рискнуть. Недолго раздумывая и почти физически ощущая пугающее приближение незнакомца, она ступила на корявый конец дерева и взмахнула руками.

Ей удалось сделать лишь три робких, торопливых шага, как верхушка деревца, подогнувшись, соскользнула с закрайка и Зоська очутилась в воде.

Она рванулась к недалекой и такой недосягаемой кромке закрайка. Но ноги в воде вдруг потеряли опору, дно ушло в сторону, она погрузилась в воду почти до пояса, с ужасом ощутив, как течение туго ударило ее в бедра, грозя свалить с ног. И тогда сквозь шум развороченной ее телом воды где-то вверху раздалось:

— Зоська, постой! Ты что, сдурела?!

«Антон?!»

В страхе и замешательстве она замерла, узнав голос того, кого меньше всего ждала тут увидеть. Но ошибки быть не могло — сноровисто соскочив с обрыва, Антон подхватил из воды ее деревцо и размашисто бросил его мокрой верхушкой ей в руки.

— Держись! Держись, я тяну...

Она уже и сама справилась с довольно сильным на глубине течением и, медленно преодолевая испуг, ухватилась за ветки.

— Давай сюда! Во, на сухое... Эх ты, дурочка! Разве так можно соваться?..

— Ой, и напугалась же, божечка... И откуда ты взялся?

— Взялся... Разве так можно? Тут глубина — во! — отмерил он себе ладонью по грудь, и она, превозмогая холод, пристально посмотрела ему в лицо. Нет, ей не мерещилось, это в самом деле был он, Голубин, партизан из третьего взвода, которого она несколько дней назад стала называть Антоном.

— А я гляжу, догоняет кто-то! Так напугалась, что... Сердце едва не выскочило.

— Промокла здорово? Ну конечно! А ну быстро за мной! — скомандовал он. — Бегом! Тут деревня где-то была.

Она не противилась, сразу подчинилась его властной строгости, тем более что строгость эта была ей во спасение, она и сама чувствовала, что этак недолго и око-

леть на ветру. Взобравшись на обрыв, он побежал вдоль реки куда-то по пойме влево, и она, едва превозмогая обжигающий ноги и низ живота холод, побежала следом.

— Руками, руками вот так! — показал он, взмахивая на бегу руками. — Вверх, вниз! Вверх, вниз! Грейся!

Река отвернула в сторону, туда, где был лес, темная стена которого отдалилась и пропала в сутеми, там же где-то исчезли корявые кусты ольшаника. Они бежали открытой поймой к темневшим впереди низкорослым зарослям, и она чувствовала, как все больше деревенеют ноги в мокрых отяжелевших сапогах; юбка сначала мокро хлюпала сзади, потом стала жестко лубенеть на морозе, варежки остались в реке, и голых рук она почти уже не чувствовала.

— Откуда ты взялся? Тебя что — послали за мной?

— Послали, да. Успокойся. Ты же такая разведчица, что...

— А что?

— Да ничего. Хорошо вот — подоспел. А то бы...

Она все еще не могла преодолеть недоумения, понять, почему он оказался тут, за десяток километров от лагеря. Когда ее посылали в эту дорогу, не было и речи о Голубине, готовили к заданию ее одну. Но вот он здесь, и первое ее удивление быстро сменялось радостью. Это была приятная для нее неожиданность, если бы только не тот ее нелепый испуг, сдуру загнавший ее в реку. Но кто знал, что это Голубин, а не какой-нибудь полицай или немец. Принимая упрек, Зоська виновато молчала. Холод все больше сковывал ее движения, ноги выше колен недобро горели словно обожженные; внутри, правда, от долгого бега становилось теплее, и она чувствовала, что прекращать бег нельзя. В беге было спасение, и она покорно бежала рядом с неожиданным спутником и спасителем, с которым лишь утром рассталась возле отрядной кухни, сказав, что увидятся теперь не скоро, может, через неделю или две. Она не могла сказать, куда и зачем отправляется, Голубин, однако, что-то понял, насторожился, даже попытался ее задержать, ухватив за рукав, но она вырвалась и с тропки игриво помахала ему варежкой. В последнее время, когда отряд перебазировался в южную половину Сухого бора и она по утрам стала помогать тетке Степаниде на кухне, этот Голубин частенько задерживался возле нее после ужина, раза два они даже недалеко прогулялись вдвоем, и она подумала, что, может, надо бы ему намекнуть, куда она идет. Но тогда возле

кухни она ничего не сказала, а потом ей стало не до Голубина, часа три она просидела в штабе, выслушивая инструктаж начальника разведки Дозорцева да заучивая пароли для связи со своими людьми в деревнях, пароль-пропуск через зону соседней партизанской бригады. Путь был не близок, все надо было зазубрить на память — там спросить будет не у кого, и с Голубиным она больше не увиделась.

Чтобы она не отставала, Антон заметно придерживал бег и широким шагом размашисто, с хрустом, мял сапогами подмерзшую траву поймы, уверенно увлекая Зоську в сумерки снежной ночи. Она хотела сказать, что ей надо за речку, но сдержала себя — действительно, сперва надо было обсушиться, и она почти с радостью ухватилась за эту его участливую помощь, которая оказалась кстати. А она, дура, боялась.

— Тут где-то деревня. Забыл, как называется. Кондыбовщина, кажется. Не слышала такой?

Она молча повертела головой.

— Что, здорово искупалась? А ну? — Он скинул рукавицы и на бегу пошлепал ее по спине и ниже. — Жакетка вроде сухая. Юбка только. И ноги. А ну живее! Шире шаг, малышка! — бодро закомандовал он.

— Там так глубоко! Никогда не думала, — сказала она, постукивая зубами.

— Глубоко, конечно. Не летом. Надо было у лесничевки переправляться, а ты вон куда шибанула.

— Я и хотела у лесничевки. Да вот... заблудилась.

— Я так и подумал. Еще не вышла из зоны, а уже заблудилась. Как же ты там будешь, разведчица?

Что она могла на это сказать? Начало, безусловно, не удалось, могло быть и хуже, если бы не подоспел он. А может, без него она была бы осмотрительнее и не влезла сгоряча в реку. Но уж заблудилась, точно, по своей оплошности, тут уж винить было некого.

2

Минуту они молча бежали рядом. Зоська с нетерпением вглядывалась вперед, стараясь в редевшем мелькании снежинок заметить первые признаки деревни, но деревни все не было, даже не начиналось поле, под ногами по-прежнему стлалась некошеная трава поймы. Антон начал поглядывать в сторону и даже оборачиваться назад, где затемнелось в ночи что-то высокое, похожее на приго-

рочек с хвойной рощицей. Наверно, этот пригорочек был тут единственной видимой приметой на их болотном пути, и Антон, вдруг остановившись, громко, с досадой выругался.

— Ах ты, черт! Вон куда мы зашли. Это же Круглый грудок. Деревня в стороне осталась.

Зоська разочарованно выдохнула, она едва уже держалась на ногах, в груди все горело от усталости; а руки и особенно ноги выше колен совершенно задеревенели от стужи. Юбка быстро смерзлась и жестко терла ее тощие бедра.

— Что ж теперь делать? — растерянно проговорила она, остановившись и чувствуя, что выхода нет, видно, придется ей замерзать на этом болоте.

— Да, дела! — сокрушался Антон. — Надо же... Думал, этот грудок слева, а он... Наделала ты беды с этой речкой.

Ее разозлили упреки Антона, хотелось крикнуть, что это все из-за него, что, не появись он у нее за спиной, она бы не сунулась сломя голову в эту проклятую речку, постаралась бы найти переход понадежнее. А то ведь сам ее напугал, загнал в ледяную воду и еще упрекает. Но что-то удержало ее от этого объяснения, все-таки она чувствовала, наверно, и свою здесь вину и потому, пересилив обиду, коротко бросила:

— Ладно! Я уж сама как-нибудь...

Однако в голосе ее уже слышались слезы, видно, он почувствовал это и смолк, снова вглядевшись в сумерки. Что-то там вроде серело в отдалении, но она не могла различить что, — одубевшими пальцами она вытирала глаза.

— Постой! — сказал он. — Гляди, стожок вроде? Действительно! А ну бегом!

Она тоже различила в сером ветреном сумраке сизые копны стожков на болоте возле кустарника. Передний стожок был совсем близко, в какой-то полусотне шагов — покосившийся, с заснеженным боком и черной палкой вверху, он явился для нее очень вовремя; ничего лучшего теперь, наверно, нельзя было и придумать. Антон, опередив ее, первым подбежал к стожку и, ощупав его бока, начал энергично выдергивать сено, чтобы забраться внутрь. Подбежав туда же, Зоська сунула в жесткое шуршащее сено свои онемевшие руки. Но пересыпанное снегом, настылое сено только студило, к тому же оно было туго спрессовано в этом стожке, и Антон, как ни ста-

рался, за десять минут сделал лишь небольшое углубление в его боку.

— Черт! Слежалось — не выдерешь. А ну дергай, тут вроде податливей, — указал он ей место в стожке, а сам побежал к следующему.

Зоська, кажется, совсем замерзла, хотя на этой стороне стожка было затишнее от ветра, но мокрые ноги и бедра стыли жестоко. Руки, однако, стали согреваться в сене, из травяных недр которого вместе с душистыми ароматами трав как бы исходило накопленное за лето тепло. Она уже готова была втиснуться телом в небольшое, образовавшееся под ее руками углубление, как издали снова донесся голос Антона:

— Эй, сюда иди! Слышь, топай сюда!

Голос был бодрый, призывный, она сразу почуяла в нем надежду и, бросив на снег горсть сена, побежала к соседним стожкам. Возле одного из них стоял Антон и, махнув ей рукой, тотчас куда-то исчез, вроде бы зашел за стожок.

— Сюда! Лезь сюда, — услышала она, подбежав ближе и едва различив в темноте черную дыру в округлом боку стожка, откуда доносился приглушенный голос Антона:

— Зачем дергать, когда готовое ловжо есть. А ну, лезь. Хотя погоди — я вылезу.

Он задом выбрался из сенной норы, и она, недолго раздумывая, нырнула в ее душистую теплоту, обещавшую какое ни есть укрытие от леденящего ночного ветра.

— Вот будем сушиться. Что — еще холодно? — подобревшим голосом говорил он, забравшись следом и шурша сеном у входа. — Ничего! Надышим, знаешь, как тепло станет! Только ты раздевайся. Раздевайся, раздевайся, скидывай с себя все мокрое. Да, вот еще... На́ мой кожух — укройся. А я лаз заделаю. Тепло будет, увидишь.

Стуча зубами, она поспешно устраивалась в этом гулко шуршащем, полном травяных запахов укрытии, стараясь не думать о возможных последствиях этой ее ночевки. Кое-как сняла с ног мокрые сапоги, развернула портянки и сунула ноги в ласковое тепло кожушка. Антон тщательно заделывал сеном лаз, и она, недолго размышляя, стащила с себя все мокрое, что только можно было стащить, туже завернулась в кожушок и, все еще дрожа и крупно вздрагивая, никак не могла найти положения, чтобы скорее согреться.

— Вот это ночлег! — удовлетворенно сказал Антон, с шумом устраиваясь рядом. — А что? Не хуже, чем в землянке, правда?

— Правда, — тихонько сказала она и, подумав, спросила: — А ты... по своему заданию или как?

— Я? — неопределенно переспросил он, подвигаясь поближе, вплотную к ее поджатым ногам. — Да почти что по твоему.

— Это как — вместе, значит, пойдем?

— Безусловно. Не возражаешь?

— Нет, что ты!

Зоська горестно вздохнула. Если бы не те ее нелепые страхи, все могло оказаться удачнее, они бы заночевали в деревне, при людях, а не в этой норе, где хотя и теплее, чем в поле, но... Она, не шевелясь и почти не дыша, скорчилась, забившись в самый конец этой прорытой кем-то норы. Все-таки было не по себе от этого непривычно близкого соседства с мужчиной. Хотя бы он не начал приставать, она просто не знала, как повести себя с ним. С одной стороны, она была обязана ему, вытащившему ее из воды, устроившему в это убежище, согревшему своим полушубком. А с другой — кто знает, что у него на уме. Надо бы от него держаться подальше и вести себя по возможности строже.

— Ну как, греешься? — заботливо спросил он, придвигаясь поближе. Голос его прозвучал совсем не так, как на пойме, — это был совсем другой голос, с нотками доброты и сочувствия, каким его Зоська привыкла последнее время слышать в лагере.

— Греюсь, — сказала она.

— Скоро согреешься, — пообещал он. — Это я знаю. Как-то заночевал осенью. Дождь шел, промок, сухой нитки не было. А в стогу все обсохло. Лучше, чем на печке в избе. Помнишь Заглядки? — вдруг спросил он без всякой связи с их сегодняшним происшествием, и она улыбнулась.

— А, Заглядки? Как же... Такие вечеринки устраивали там!..

— Вечеринки на славу. Кузнецов это любил. Умел повоевать и погулять любил.

— Так молодой был.

— Молодой, да. Двадцать четыре года.

— Кажется, когда все было. А уж нет ни Кузнецова, ни многих, — горестно вздохнула Зоська.

— Кто знает, может, и нас скоро не будет.

— Нет! — зябко встрепенулась Зоська. — Не хочется об этом думать. Нельзя об этом. О другом надо.

— Это верно, что о другом, — согласился Антон. — Но о чем ты ни говори, как ни отвлекайся, а это в тебе сидит, как присохло. Как хвороба какая.

— Шумит все, — тихо сказала Зоська.

— Ветер. Шуметь долго будет. Зато нас не слышно. заглушает.

— Все равно страшно. Тише надо.

— А ничего. Тут нигде никого.

Оба, замолчав, прислушались, но действительно вокруг было тихо, лишь снаружи глухо шумел в сене ветер. Завернутые в кожушок Зоськины ноги стали понемногу согреваться, влажная ткань исподнего помалу теплела, нора набиралась человеческого духа, и усталость сладкой волной расходилась по утомленному телу девушки.

— А знаешь, — сказал вдруг Антон, и она разомкнула смежившиеся было веки, хотя в абсолютной темноте все равно ничего не было видно. — Я помню, как ты была одета. Там, в Заглядках. На тебе было голубое платье в цветочках. Правильно?

— Правильно, — просто ответила Зоська. И платье в цветочках, и тот, единственный с ним танец под балалайку, когда Антон лихо выхватил ее из группы девчат и минут десять молча кружил по избе, она хорошо помнила и теперь радостно удивилась, что это самое вспомнил и он.

— А танцевала ты ладно. В удовольствие.

— Так и ты... Ладный танцор.

— Любил девчат покружить.

— А теперь не любишь?

— Теперь не до того. Теперь самого война закружила.

— А ты это... Забыла, откуда ты родом?

— Да я из Восточной. Борисов, город такой, слыхала?

— Это за Минском, кажется?

— За Минском. А ты местная?

— Из Скиделя. Двадцать восемь километров от Гродно.

— Знаю. Ходил в сентябре. Почти до самого Гродно добрались. Бобики там нас пугнули. В Лососне. А ты с мамой жила?

— С мамой и старшей сестрой. Замужней. А свояка немцы весной расстреляли.

— Хорошо еще, что вас не тронули. Мать и теперь там?

— Там, где же ей быть. С весны не видела, прямо душа чернеет. Как она там?..

— Надо повидаться. Туда же идешь? — спросил он и примолк. Зоська вся подобралась в темноте.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю.

Трудно задышав, Зоська не ответила, и он сказал, как о само собой разумеющемся:

— Что же ты — почти дома будешь и мать не навестишь? Так не годится.

— Знаешь, не совсем дома. Да и другие дела есть.

— Ну, знаю, надавали тебе заданий, надо выполнять. Но и о себе подумать не грех, — сказал он и зевнул. — У меня тоже в Скиделе есть знакомый. Бывший дружок даже.

— Живет там?

— Живет.

— Где, на какой улице? Может, я знаю?

— Нет, ты не знаешь. Он человек новый.

— Ну новых я, конечно, не знаю. Которые приехали в тридцать девятом, те не очень знакомы. Я же перед войной в Новогрудке училась.

— Я и говорю: не знаешь, — сказал Антон.

Зашуршав сеном, он переменил положение и вдруг положил руку на ее плечо. Она испуганно-зябко вздрогнула, сделав слабую попытку отстраниться, но отстраниться было некуда.

— Не надо...

— Теплее будет. А то ты в моем кожушке, а мне...

— А тебе холодно?

— Ну так, знаешь... Не очень, но все-таки.

Она промолчала, и он удобнее обнял ее рукой за плечи. Его большое и сильное тело источало приятное для нее тепло, и она, притихнув, почти обмерла под его рукой.

— Экая ты малышка! — переходя на шепот, сказал он с заметными нотками нежности. Ей вдруг стало смешно — никто не называл ее малышкой, — была она хотя и невысокого роста, но крепко сбитой, ловкой девчонкой.

— Я не малышка, — сказала она. — Я, знаешь, сильная.

— Да ну?

— В самом деле. Могу повалить. Даже такого, как ты.

— Как я?

— Ну.

Кажется, это было уже слишком, она шутливо преувеличивала, потому что чувствовала исходившую от него угрозу и неумело пыталась противостоять ей.

— Что, Дозорцев научил? — заинтересованно спросил он. — Самбо?

— Да, самбо.

— Гляди ты! Ну и разведчица!

— А что? Разве плохо?

— Нет, почему же? Еще бы оружие. Но оружия небось не дали?

— Разведчику не обязательно оружие. Лучше хорошие документы.

— Это конечно.

— А у тебя есть документы? У меня какой-то аусвайс потрепанный. Как бы не влипнуть с ним.

— Потрепанный — это хорошо. Надежнее потрепанный.

— По аусвайсу я Аделаида, понял? — сообщила Зоська. — А тебя как по документу?

— А все так же: Антон Голубин.

— А разве не заменили? Полагается же заменить имя и фамилию.

— Зачем менять? У меня документ незаменимый. — Он тихонько двинул бедром. — Револьвер системы «Наган».

— Ой! — удивилась Зоська. — Как же это? А вдруг проверка?

— На случай проверки это понадежнее твоего аусвайса.

Унимая дрожь, Зоська настороженно примолкла — то, что у Антона оказалось оружие, ей не понравилось. Зачем оружие?

Так бы они спокойно пробирались проселками, выдавая себя за селян из какой-нибудь дальней деревни, в случае задержки и обыска — в карманах ничего подозрительного, как и учил Дозорцев. А тут — наган! Как бы через этот наган не провалить задание и самим не погибнуть.

— А в штабе там знают, что ты с наганом?

— Я сам лучше знаю, с чем мне идти.

— Ой, я боюсь...

— А ты не бойся. Ты на меня положись. Уж мы как-нибудь, — проговорил он игриво и, сжав ее плечи, вдруг поцеловал возле губ.

— Ой! Ты что?

— Ничего, ничего... Знаешь, после той встречи утром я не мог себе места найти.

— Это почему? — в сладком предчувствии спросила Зоська.

— Потому. За тебя испугался.

— О, дурачок! Ну чего ты? — ласково сказала она, невольно прижимаясь к его широкой груди. — Я уже не маленькая. Уже ходила в Михневичи. Помнишь, как там Стукачева повесили?

— Михневичи что? Михневичи тогда рядом были. А тут километров тридцать. По прямой если.

— Так ты за меня испугался? — переспросила она, блаженно улыбаясь в темноте. Это его признание показалось ей таким странным и таким сладостным, что она захотела снова услышать его.

— Ну. А ты это... Уже согрелась, — объявил он, все теснее обхватывая ее за плечи. Она чувствовала на своем лице его разгоряченное дыхание, сердце ее учащенно забилось, отходящими от стужи пальцами она молча вцепилась в его руки. Но он с настойчивой силой все больше наваливался на нее, руки его скользнули под кожушком к ее бедрам, и она, испугавшись, вскрикнула:

— Ты что! А ну брось! И прочь руки, а то...

— Что?

— Кричать буду!

— Да?

— А ты думал?

— Ну что ж, — сказал он, подумав, и вдруг разнял у нее за спиной свои длинные руки. — Кричать не стоит. Спать будем.

Зоська промолчала, отходя от минутного возбуждения, удобнее закуталась в полу кожушка.

— Ты это не думай. Я не такая.

— Ладно, — сказал он устало. — Считай, я пошутил. Пошутить же можно?

— Пошутить можно. Но надо знать как.

— А ты, гляжу, злюка.

— Пусть злюка...

— Вот уж не думал.

— Может, пойдешь один? Пожалуйста! Плакать не стану.

— Пока погожу, — не сразу ответил он и умолк. Она тоже умолкла, почувствовав, что такой разговор — почти ссора, а ссориться с ним ей совсем не хотелось.

3

Закопавшись по плечи в сено и вдыхая его крепкий травяной аромат, Антон сделал вид, что засыпает. От Зоськи он даже слегка отстранился, оставляя ее в належенном им углублении. Конечно, вместе под кожушком было бы теплее обоим, но Антон не хотел лезть к ней. Еще подумает, что ему только это и надо, что за этим он и бежал следом, догоняя ее в ночи. Но для него вовсе не это было главное, и не затем он догонял ее, едва не потеряв на болоте. Хотя, разумеется, его, мужчину, влекла ее юная женственность.

Теперь он не помнил даже, когда все началось. Возможно, с той вечеринки в Заглядках, когда он танцевал с нею «Страдание», или скорее с того заполошного дня, когда отряд Кузнецова, оставив обжитый лагерь в Селицком лесу, поспешно перебазировался за болото. На новом месте их встретила промозглая глушь старого ельника. Уходя от преследования, они были голодны и устали как черти. После короткого отдыха командир взвода выделил троих партизан оборудовать отрядную кухню. Двое отправились на поиски чистой воды, а Антон принялся за устройство очага-топки, — под их закопченный таган надо было выкопать яму. Он сразу лихо взялся за дело, угрелся, вспотел и, подумав, что надо снять полушубок, увидел Зоську. Неслышно подойдя к нему сзади, та стояла и улыбалась.

— Что, помогать пришла? — спросил он, тоже улыбнувшись.

— Ну, такому помогать! Один справишься. Вон ручищи какие широкие, как лопаты, — засмеялась она, и он почему-то с неловкостью посмотрел на свои испачканные землей ладони.

— На пустой желудок любые руки ослабнут.

— Проголодался, бедненький. На́ вот тебе...

Зоська шагнула поближе и, протянув маленький белый кулачок, отсыпала ему полгорсти крупного сухого гороха.

— Подкрепляйся, завтрак не скоро.

И снова, как-то загадочно улыбнувшись, неторопливо пошла в ельник, где слышались голоса хлопцев, строивших буданы для жилья. Он посмотрел вслед ее маленькой ладной фигурке в сапожках, юбке и какой-то широкой, не по росту, куртке и подумал с завистью: «Славная девчонка!..»

Зоська ушла, похоже, тут же забыв о нем, сразу осажденная другими партизанами — молодыми и постарше, — всеми, кому хотелось обратить на себя минутное ее внимание, потрепаться, тем более что других женщин, кроме ворчливой пожилой Степаниды, в отряде уже не было. Антон не лез впереди других, хотя несколько раз ловил себя на том, что думает о ней.

Однако видел он ее по-прежнему редко. В октябре два взвода из отряда проводили операцию по поджогу Лукьяновского льнозавода и больше недели отсутствовали в лагере, а в ноябре, до праздников, он дважды с группой Момыкина ходил на шоссейку добывать боеприпасы и оружие. Возвращаясь со второго задания, группа попала в засаду, их обстреляли на деревенской околице, одного парня убили, а тяжело раненного Момыкина Антон нес на себе километров двенадцать до лагеря, где тот на следующее утро скончался. Хоронили погибших, настроение было паршивое, стало не до этой девчонки, обитавшей при кухне, а потом при штабе, где из нее стали готовить разведчицу. Однажды, правда, встретил на стежке, обменялись двумя-тремя фразами, и все.

Антон по натуре был не из слабонервных, выдержки у него хватало. Засады, бои и постоянные опасности закалили его, и он не припоминал случая, чтобы растерялся или хотя бы сильно испугался в минуту опасности. Даже на злосчастном том хуторе. Хотя кое-кто в отряде и не прочь был обвинить его в гибели командира отряда, но там он ни в чем не был виноват. Напротив, своей находчивостью он спас четверых, первым выпрыгнув из чердака и крикнув остальным: «Прыгайте!» Хата уже вовсю полыхала, занявшись с другого конца. Они, задыхаясь в дыму, кое-как отстреливались от наседавших с трех сторон полицаев, с четвертой ничего не было видно — туда валил дым. Кузнецов с ординарцем редко постреливали из подпола в избе, куда полицаи швыряли гранаты. Наверно, командир был ранен и не смог выскочить, а они, вчетвером, что́ могли сделать против трех десятков обнаглевших бобиков? Хорошо, дул сильный ветер, который низко стлал дым по огороду.

Это их и спасло.

Кузнецова Голубину было жалко до слез, это был смелый и толковый командир. Антон любил его, как только можно любить командира в армии. Отправляясь по делу, в разведку, на боевую операцию или гулянку, тот всегда брал с собой шестерых партизан, в числе которых с лета

стал ездить Голубин. Теперь уже от этой шестерки, кажется, никого не осталось...

Очень нелегко было вначале, отряд собирался из разных людей — частью из районного актива, партийцев и НКВД, частью из отступавших красноармейцев, а также примаков и даже нескольких смельчаков, бежавших из немецких лагерей для военнопленных. Многие были без оружия, другие — больные или с незажившими ранами, некоторые роптали на партизанские порядки и начальство, неизвестно кем и когда поставленное. Был один, выдававший себя за майора и требовавший командирской должности. Кузнецов в этих случаях придерживался неизменного для всех правила: отличился в бою — получай командование. И это было верное правило, по крайней мере, так думал Голубин. Сам он до войны несколько лет работал налоговым инспектором в райфо, в армии никогда не служил, но пришлось пойти на войну — стал командиром взвода, затем командиром подрывников и только со смертью Кузнецова снова понизился до рядового. Но он не обижался, стало не до командирской амбиции, важнее было сберечь шкуру, как любил говорить Кузнецов.

К осени, однако, люди в отряде более-менее подобрались, притерлись друг к дружке, можно было воевать с толком. Если бы не эта нелепая смерть командира.

Видно, действительно на войне, как и в жизни, последовательно чередуются разные полосы: светлую сменяет черная и наоборот. С сентября отряд вошел в свою темную полосу, и беды так и посыпались на него, одна хуже другой.

Началось с гибели Кузнецова и трех человек его группы. Затем ушла и не вернулась диверсионная группа Кубелкина. Не успели как следует погоревать по ее хорошим, может, самым лучшим в отряде, ребятам, как отряд выступил громить гарнизон на станции и, попав под организованный огонь немцев, понес самые большие потери. Одних убитых в этом бою оказалось столько, сколько их не было за всю весну и лето во всех операциях, вместе взятых. Хлопцы прямо-таки приуныли, хотя и без того настроение в отряде было аховое. У них не было приемника и никакой связи с Москвой, но из разных источников — слухов, случайных немецких газет и сводок Совинформбюро, которые им передавали из отряда Ворошилова, — они с растущей тревогой следили за тем, что происходило.

Как-то поздним осенним утром, сменившись с ночного дежурства, Голубин прилег в шалаше и проснулся от тихого разговора двоих. Он узнал голос Ковша, бывшего милиционера из Вилейки, и того самого майора, который требовал себе командирской должности. Видно, раньше других придя с кухни, они укладывали в сумки свои котелки и разговаривали о Сталинграде.

— Все прет и прет! Ну когда же этому конец будет? — горестно говорил Ковш, стоя на коленях у своей постели из лапника. — Когда же он остановится?

— Теперь чего ж ему останавливаться? — отвечал из дальнего угла майор, пожилой, с отвисшим брюшком мужчина, как оказалось, начфин какой-то разбитой пехотной части. — Теперь ему надо Сталинград взять, чтоб перерезать Волгу. Чтоб бакинскую нефть перекрыть.

— Так разве Баку на Волге? — удивился Ковш.

— Не на Волге — на Каспии. Но путь оттуда один — по Волге. А ну, погляди сюда...

Они умолкли, зашелестев бумагой, и, наверно, что-то рассматривали в ней. По части географии Голубин был не силен и слабо представлял себе расположение нынешнего района боевых действий на юге. Поняв, что у майора оказалась карта, он поднял голову и сбросил с себя кожушок.

— Вот видишь? — водил пальцем по карте майор. Это была маленькая, видно, вырванная из школьного учебника карта европейской части Союза, и они начали разбираться в ней, определяя линию фронта.

Увидев расположение городов, Голубин поразился. В самом деле, он даже не мог представить себе, что Сталинград — в самой глубинке России, что Волга — так далеко за Москвой, что Кавказ — на границе с Турцией, а Баку и того дальше — у самой границы с Ираном. С ума сойти можно — как далеко зашли немцы!..

Несколько дней после этого он ходил, что-то делал, разговаривал или молчал, а из его сознания не исчезал болезненный до спазмы в мозгу вопрос: как Сталинград? Впрочем, он уже знал, что судьба этого города решена, что рано или поздно его возьмут немцы, как они взяли Минск, Киев, Харьков и множество других малых и больших городов, и война на том кончится.

Это было страшно, невообразимо, но, по-видимому, избежать этого было невозможно.

Тогда зачем они тут, в этом лесу? Что им тут делать? И что их ждет в скором будущем?

Но, как он ни думал, душевно изнемогая в поисках

выхода, никакого выхода не было. Правда, и Сталинград вроде еще держался. Но сколько он сможет держаться? Все это тревожило, угнетало ежедневно и ежечасно, душа ныла в тревожной тоске на заданиях, в шалаше, все холодные дни и ночи поздней ненастной осени.

А тут еще целиком и бесследно пропала группа Кубелкина. Он не спрашивал Зоську, но догадывался, что девушка шла теперь именно на поиски следов этой группы.

Неладны были дела на фронте, стало не ладиться в их отряде при новом командире, недавнем колхозном председателе Шевчуке. Скверные предчувствия охватывали Голубина. А Зоська во время редких с ней встреч была все та же: улыбающаяся и соблазнительная, что-то сулившая и отказывавшая одновременно. Такой она была и в день ухода за Щару, где уже нашел себе гибель не один партизан их отряда. А Зоська... Догадывалась ли она, что ее ждет по ту сторону речки?..

4

Среди ночи Зоська проснулась, кое-как пригревшись в сене за теплой мужской спиной, сразу напомнившей ей обо всем, что с ними случилось. Чтобы не нарушать мерное дыхание Антона, она кончиками пальцев деликатно коснулась его крутого плеча и усмехнулась себе самой в темноте. Это же надо такому случиться! Выправлялась одна, переживала, страдала от ночных страхов в болоте и не думала, не мечтала встретить тут того самого, кто, кажется, уже заронил в ее сердце маленькую искорку интереса к себе. Все-таки это приятно, когда за тебя кто-то тревожится, переживает и даже готов бескорыстно помочь. Тут, наверно, уже не простое товарищество и даже не дружба, а, наверное, что-то побольше. Может, даже любовь... Все-таки он хороший, этот Антон Голубин, а она уже перестала и думать о нем, хлопоты с этим заданием вытеснили из ее головы все другие заботы, она уже готова была к тому, что никогда больше не увидит его. И вот он явился в трудную для нее минуту и принес с собой радость.

Припомнив теперь его несмелую попытку близости и ее грубоватый отпор, Зоська ощутила неловкость. Все-таки, наверное, не надо было так резко, ведь он с добром, с лаской, а она? Но что она могла сделать! В отряде приходилось быть непреклонной, жесткой и даже грубой —

только это помогало ей защитить себя от мужских притязаний.

Что и говорить, очень нелегко девушке среди стольких мужчин, где каждый стремится приблизиться, кто действительно затем, чтобы помочь, посочувствовать, переложить на себя часть ее ноши, а кто и с явной или тайной корыстью, имея в виду свое, кратковременное и оскорбительное. Раньше, когда в отряде была Авдонина, ей было легче, две женщины среди стольких мужчин старались держаться вместе. Но вот уже месяц, как Авдонину сманил командир соседнего отряда, начальство сговорилось, да и сама Авдонина была не против переехать в Стебровский лес к бравому командиру десантников. А Зоська осталась. Сперва, когда были раненые, помогала в санчасти, а после того как отряд перебазировался в Сухой бор и стало меньше стычек, работала со старухой Степанидой на кухне, пока вот не понадобились ее услуги Дозорцеву.

Конечно, разведка не кухня, приходилось рисковать головой, но тут было интереснее и, конечно, почетнее, чем на отрядной кухне. Она сразу заметила, что с того дня, как над ней взял шефство Дозорцев, мужчины в отряде стали относиться к ней с уважением — все-таки отряд с октября сидел в лагере, изредка высылая группы подрывников в разные места на «железку», а она уже второй раз шла туда, откуда не всегда возвращались. Даже и тот лоботряс Вырвик, который прежде не упускал случая, чтобы поддеть в разговоре или тайком ущипнуть ее, теперь заметно притих и вежливо здоровался при встрече. И только в глазах этого нагловатого парня она замечала никогда не затухающий огонек озорства, готового прорваться в самый неподходящий момент. (Когда-то она дала ему хороший отпор, и он несолоно хлебавши, с поцарапанной физиономией явился в строй перед командиром отряда, который тут же поинтересовался при всех, чьих это кур ловил ночью Вырвик.)

Стараясь не разбудить Антона, Зоська по возможности тише разгребла сено и вылезла босиком из стожка.

Была покойная ночь, снег перестал сыпать, вроде бы тише стал ветер, чуть-чуть примораживало. Вокруг было белым-бело, казалось, празднично прибрано, как это бывает только в первую ночь зазимка. В снежной сутеми терялись заросли мелколесья, на краю луговой поймы тускло дремали осыпанные снегом стожки; только они и были видны на свежем снегу, да еще пестрела вблизи присыпанная снегом трава. Весь остальной мир ушел в

зимнюю ночь и притих до утра. Вверху расстилалось облачное, без звезд и луны, небо, которое матово-ровно светилось, наверное, отраженным от снега светом.

Зоська забежала по нужде за стожок и снова воротилась к лазу. В еще не просохшей одежде ее сразу прохватил холод, и она на четвереньках поспешно заползла в нору. Здесь было тепло, дыханием они хорошо нагрели это свое убежище, жаль будет уходить из него. Но уходить надо. Утром они найдут брод через речку, наверно, Антон уж сумеет переправиться так, чтоб обойтись без купания, все-таки он половчее, а главное — посильнее ее. Интересно, однако, сколько ему может быть лет, подумала Зоська. Хотя и так видно, что он гораздо старше ее, наверно, уже лет под тридцать, почти что старик против нее.

Она опять забралась под теплую полу кожушка, Антон, сонно вздохнув, вплотную привалился к ней, и она блаженно притихла, мелко, едва заметно подрагивая и согреваясь. Она уснула, будто сразу шагнув в другой, тягостно-томительный мир снов. Почему-то стало мучительно-тревожно, она неизвестно отчего страдала, хотя долго ничего с ней не происходило, а в сонном сознании все ширилась-росла тревога, причина которой оставалась для нее неясной. Какое-то время, будто помня о яви, она недоумевала: почему так? Ведь все хорошо, плохого пока не случилось, она не одна, с ней тот, о ком она недавно еще мечтала, правда, не Антон, кто-то другой, еще неизвестный, но, несомненно, хороший для нее человек. Но почему-то он был странно неуловим по своей сущности, будто ангел и дьявол одновременно в одном лице, и самым мучительным для Зоськи была эта его неуловимость. Потом неясные душевные переживания сами собой притупились, началась осязаемо-зрительная часть сна. Зоська увидела себя на краю каменистого обрыва в горах, в которых она никогда в жизни не была и даже не знала в точности, как они выглядят. Но теперь она отчетливо видела перед собой голые шершавые камни с острыми краями выступов, за которые она изо всей силы цеплялась пальцами, едва удерживаясь на крутом обрыве, вот-вот готовая свалиться в бездну. Она не оглядывалась, но спиной явственно чувствовала за собой пропасть, куда все больше сползала. Ей надо было хоть на что-нибудь наступить, опереться ногами, она шарила ими по камням, но опоры не было и ее падение казалось неотвратимым. Она пыталась кричать, но крик не получался, из ее груди

вырывалось невнятное глухое мычание, и никто не спешил ей помочь, хотя, знала она, друг ее был где-то рядом. И вот наконец он появился над пропастью, но она не узнала его, это был кто-то другой, чужой и противный, к ней протянулась его рука-лапа с черными медвежьими когтями. Зоська испугалась этой лапы больше, чем пропасти, сдавленно крикнула и сорвалась с обрыва. Несколько секунд перед тем, как разбиться в бездне, она отчетливо сознавала, что погибает, но за мгновение до гибели в страхе проснулась.

Сквозь развороченное сено в нору пробивался робкий утренний свет и задувал ветер. Зоська вспомнила, где она, отбросила полу кожушка и попыталась вскочить, но лишь села, пригнув осыпанную сеном голову. Антона в стожке уже не было. Еще переживая свой сон, Зоська прислушалась, где-то поблизости раздавались шаги, и она тихонько позвала:

— Антон! Антоша...

— Что, проснулась? А ну вставай! Давай на зарядку!

Медленно отходя от сонного испуга, она стала торопливо собирать свои вмятые в сено пожитки, которые почти высохли, лишь юбка и сапоги были еще сыроваты. Лежа, кое-как натянула на себя юбку и с сапогами в руках выбралась из стожка.

Занималось позднее зимнее утро, над поймой светало, четче обозначились тусклые, неопределенные ночью пятна, какими оказались кустарники, вдали темнела полоса хвойного леса. На покрытой свежим снегом граве стояли четыре стожка, и в одном из них Зоська узнала тот, где они вчера тщетно пытались устроиться на ночь. Возле него, подвернув рукава исподней сорочки, натирал снегом шею Антон. Как только она вылезла из норы, он смял снежок и несильно запустил в нее. Зоська невольно уклонилась, снежок мягко шлепнулся о стожок и распался.

— Быстро умываться, соня! — издали грубовато пошутил Антон. — А то разоспалась, не добудишься. Словно война окончилась.

— Вчера хорошо выкупалась, — сказала Зоська, торопливо натягивая на шерстяные чулки волглые еще сапоги.

— Вчерашнее не в счет. Кто первым снегом умоется, всю зиму простужаться не будет! А ну!

Он поддел горсть снега и, подойдя к Зоське, жестко натер ей лоб и переносицу холодным, сразу растаявшим снегом.

— Ой-ой! Не надо!

— Ничего, привыкай! Пригодится!

Зоська повязала теплый серый платок, украдкой поглядывая на Антона. Ей было немного неловко перед ним за их не совсем обычный ночлег и за свою резкость вчера, но Антон держался деловито, просто, словно они только что встретились, и это успокоило Зоську. Оба будто условились не вспоминать о ночном инциденте, делая вид, что ничего особенного между ними не произошло. Зоське, правда, это удавалось похуже, у него же получалось само собой. Словно он и не ночевал с ней в этом стожке.

Антон подпоясал военным ремнем свой рыжий крестьянский кожушок, взыскательным взглядом сверху вниз окинул фигурку Зоськи, и в его серых глазах появилась серьезность.

— Ну как? Малость подсохла?

— Подсохла. Только вот юбка влажная.

— Высохнет. На морозе все быстро сохнет. Слушай, а пожевать у тебя не найдется?

— Чего нет, того нет, — виновато сказала Зоська. — Я же в Озерках дневать собиралась. Там бы и покормили.

— Го! Озерки еще вон где. До Озерков полдня топать надо.

— Теперь уже что! Все равно опоздала.

— А тебе от Озерков куда? — спросил он, осторожно скосив серые глаза.

— Дальше. В сторону Немана. Слушай, в Лунно, говорят, гарнизон? — с тревогой спросила она.

— Гарнизон, конечно. В Лунно ходить нельзя.

— Мне сказали, нельзя. А я думала...

— Нечего думать. Через Неман надо в другом месте переправляться. Тебе же сказали, в каком?

— Сказали, — рассеянно ответила Зоська.

— Вот там и переправимся. Пароль же имеется?

— Имеется, — сказала Зоська и с тревогой в голосе вспомнила: — Слушай, давай спрячем наган. Вон — в стогу. А потом заберешь, а?

— Ну, придумала! Зачем прятать? Еще пригодится.

— А вдруг обыск? Ведь если найдут, все пропало. А как это Дозорцев тебе разрешил наган брать?

— Буду я спрашивать Дозорцева! Пока на плечах свою голову имею.

— Ой, боюсь я, — тихо сказала Зоська.

— Не бойся. За меня нечего бояться. Если я сам не боюсь.

— К тому же — плохой сон видела.

— Ну и чудачка! — развеселился Антон. — Все равно как бабка какая. А еще студентка, в техникуме училась.

— При чем тут техникум. Просто сон плохой. Неприятный.

— Я вот никаких снов не признаю. Если бы я снам верил, давно бы копыта откинул.

— И тебе ничего не снится?

— Снится, почему. Всякое. Но я ноль внимания. Куда ночь, туда и сон.

Зоська засунула руки в маленькие карманчики куртки-сачка, невесело поглядывая вдаль, куда пролегал их путь. Все-таки было холодно, и на ветру в непросохшей одежде ее скоро стала пробирать стужа; невольно подрагивая, Зоська едва преодолевала озноб. Конечно, сны — предрассудки, но все дело в том, что в их положении эти нелепые предрассудки очень просто могли обратиться в злую действительность. Месяц назад в Селицком лесу дождливой ночью Зоське приснилось, будто ее настигает овчарка; закричав во сне, она разбудила Авдонину, с которой спала в шалаше, и та, посмеявшись над ее детскими страхами, сказала, что немцы в такую погоду в лес вряд ли посмеют сунуться. А они рано утром и сунулись, едва не захватив врасплох сонный отряд, хорошо, что мальчуган-часовой выстрелил на опушке и Кузнецов успел увести людей за болото.

— Что сны! — со вздохом сказал Антон. — В жизни хуже бывает. Вон вчера возле уборной встречаю Куманца, писаря, говорит: «Готовься, Голубин, к бою, на гарнизон пойдем». — «На какой гарнизон?» — «На Деречин, — говорит, — полицаев выкуривать, пособлять первомайцам». Ты слышала: опять, значит, на дядю батрачить. Да еще с таким командиром!

Антон говорил расстроенно, почти сердито, и от этих его слов Зоське стало неловко за в общем неплохого, хотя, может, не видного и не всегда распорядительного нового командира отряда, который ласково называл ее дочушкой.

— Так ему же приказывают. Межрайцентр приказывает. Что он — сам все выдумывает? — попыталась она защитить Шевчука.

— Приказывают, конечно. И Кузнецову приказывали. Однако Кузнецов был такой, что где на него сядешь, там с него и слезешь. Умел отговориться, людей поберечь.

А этот тюха-матюха: приказали — есть, будем исполнять. А как — у него и в понятии нет.

— Вот ты бы подсказал, — не утерпела Зоська. — Ты же опытный партизан, с самой весны в отряде.

— С весны, да. Навоевался уже — во! — отмерил он себе ладонью до шеи. — Но я что? Рядовой. Мое дело телячье.

— Конечно, какой из него командир! Все-таки он гражданский человек. Хоть и председатель.

— С немцами воевать — не куропаток стрелять. Надо уметь. Их вон сколько наперло. Сила!

Зоська смолчала. Сила — это конечно; она знала, видела и чувствовала эту силу. И как сладить с ней, с этой силой, захватившей половину России, как вернуть все обратно — этого она не могла себе представить. Зато она отчетливо чувствовала, что в этой войне, кроме как выстоять и победить, другого выхода нет. Иначе не стоит и жить, лучше сразу головой в прорву, чтобы не обманывать себя и не мучиться.

Она была маленьким человеком на этой земле, до войны еще только училась в Новогрудском педтехникуме, несколько месяцев работала пионервожатой в глухой сельской школе, жила трудновато, едва зарабатывая себе на кое-какую одежку, перебиваясь с картошки на хлеб. Но она верила в лучшее будущее, а главное — в усвоенный ею из книг идеал добра и справедливости, который по-хамски и враз растоптали фашисты. Она их ненавидела, как только можно ненавидеть личных врагов: за то, что они убили ее свояка-учителя, уничтожили всех ее подруг евреек в местечке, пожгли окрестные хутора и принесли столько горя народу. И она сказала себе, что жить на одном свете с этим зверьем невозможно, что она будет вредить им, как только сумеет, если только они не порешат ее раньше. Чтобы не опоздать, весной, как только растаял снег, она ушла в партизанский лес, и вот уже восемь месяцев для нее нет другой жизни, кроме лесной жизни отряда с ее постоянными опасностями, голодом, холодом, множеством различных невзгод, словом — кроме войны.

5

— Вот и река. Как переходить будем? — спросил Антон, останавливаясь на невысоком, подмытом водой берегу. — Вплавь? Или по воздуху?

Он, конечно, шутил, сдвинув на затылок облезлую, из овчины шапку с оборванными завязками, и она смотрела на темную в белых берегах неровную полоску воды, и та сегодня не казалась ей страшной. Уж вдвоем они как-нибудь переберутся через эту плюгавую речку, едва не утопившую ее вчера вечером.

Тем не менее, как перебраться, еще надо было подумать, и они небыстро пошли вдоль кочковатого, обросшего голым кустарником берега. Ледяные закраины местами были пошире, за ночь их плотно укрыло снегом, на котором кое-где проступали мокрые пятна. В одном месте, где река была у́же, крылья льда почти смыкались на середине, но темневшая там промоина указывала на предательскую непрочность этой ледяной перемычки. Надо было искать что-нибудь понадежнее.

— Может, палку какую положим? — неуверенно предложила Зоська.

— И далеко ты достанешь той своей палкой? — сказал Антон, и в голосе его Зоське послышалась легкая насмешка над ее предложением.

— А что! Я вчера перебросила и чуть не перешла.

— Чуть! Чуть не считается...

Зоська подумала, что, наверное, он лучше знает, что следует делать, и больше ничего не предлагала, целиком полагаясь на спутника.

— Чертова речка! — ворчал Антон, пробираясь в прибрежном кустарнике. — И не замерзла как следует, и ме́ли залила. Самое хреновое время...

Время для дальних походов, конечно, было не самое лучшее. Неделю назад ударили холода с ветром, вчера пошел снег, который не переставал и сегодня — снежные крупинки редко, будто нехотя, неслись откуда-то из мутной выси, было неуютно и холодно. Зоська после стожка не переставала страдать от стужи, все время хотелось прибавить шагу, пробежать, чтобы согреться.

Вдруг Антон замер на краю кустарника, тревожно повернув голову, и Зоська услышала впереди тихий, но явственный всплеск воды. Отведя лозину и пригнувшись, Антон вглядывался сквозь заросли лозняка, и снова где-то под берегом всплеснуло раз и второй. Кто-то там был, и они на минуту замерли, затаившись в кустарнике. Но вот по крупному, с вытянутым носом лицу Антона скользнула добродушная усмешка.

— Бобер! Смотри, вылезает...

Встав на засыпанную снегом кочку, Зоська потяну-

лась выше и увидела в отдалении на речном повороте, как что-то живое и мокрое с широкой лопаткой хвоста неуклюже выбралось из воды на полено у берега и, повернувшись, замерло на задних лапах. Антон тихо присвистнул, и зверек, встрепенувшись, поспешно скрылся в дыре, черневшей на оснеженной груде беспорядочно наваленных палок.

— Гляди-ка, устроились! — сказал Антон с восхищением и направился через кустарник к бобровой хатке.

— Пусть! Не надо пугать, не надо! — замахала на него рукой Зоська.

— Ничего. Смотри, запруда какая. Вот тут мы и попробуем переправиться.

Действительно, бобры натаскали на береговой мысок изрядную кучку валежника, рогатин, обглоданных, без коры, деревцев, образовавших внушительную, наполовину вмерзшую в береговой лед запруду. Обсыпанная снегом запруда возвышалась над речкой почти на уровне берегового обрыва, и Антон, хватаясь за холодные ветки осинника, осторожно взошел на нее.

— А что? Держит! Ну давай помалу... И не бойся, не бойся, я поддержу! — обернулся он к Зоське. Та тоже ступила одной ногой на голый, присыпанный снегом сук, который угрожающе подался под ее сапогом.

— Ой, скользко!

— Ничего... Давай за мной! Куда я стал, туда и ты ступай.

С трудом и опаской, оскальзываясь и то и дело хватаясь за нависшие с берега сучья, они пробрались по завалу почти до середины реки и остановились. Дальше было метра три темной воды, стремительно мчавшейся мимо крайних, уходящих в глубину палок, и за ней виднелось упавшее с противоположного берега суковатое гнилое бревно, осклизлый конец которого тихо покачивался на течении. Антон примерился, прикинул расстояние до конца бревна, ловчее устроил ногу в упоре.

— Будем прыгать.

— Ой! А вдруг сорвемся?

— Срываться не надо... Первым прыгаю я. И поддержу тебя. Ну!..

Вся куча палок и бревен качнулась, уйдя одним краем в воду, что-то под ногами хрустнуло, Антон вскинул руки и, легко коснувшись притопленного конца бревна, очутился на том берегу.

— Ну?

Расставив удобнее ноги, он ждал, готовый подхватить ее, но Зоська вдруг потеряла решимость, почувствовав, что для такого прыжка у нее просто не хватит силы.

— Не допрыгну...

— Да ну? Допрыгнешь, давай, не трусь! — ободрял он с того берега. Она в который раз примерилась к пугающей водяной ширине, бросая виноватые взгляды на его оживленное, исполненное нетерпения лицо, и не могла решиться.

— Не могу. Не допрыгну...

— Ну что ж, мне обратно возвращаться? — начал сердиться Антон. — Я же допрыгнул, ты видела?

— Так то — ты!

— А ты? Главное — смело! Ну толчок — и я подхватываю.

Зоська слушала его и сама отлично все понимала, надо было осмелиться и оттолкнуться... Но прежде следовало соразмерить толчок с расстоянием, и всякий раз, сделав это, она обнаруживала, что до бревна не допрыгнет, значит, опять очутится в ледяной воде. А новое купание никак не входило в ее расчеты — хватит с нее вчерашнего, от которого еще не совсем просохла одежка.

— Ах ты, такую твою маманю! — выругался на том берегу Антон и, ломая сапогами лед, решительно шагнул в воду. Она еще не поняла, зачем он так сделал, и испугалась, увидев его по колени в воде, откуда он требовательно протянул к ней руки.

— Прыгай, ну!

Зоська прыгнула — не на бревно, а в эти его протянутые руки, он пошатнулся, но удержал ее, переступил, едва не свалившись в воду, и сильно толкнул ногами вперед, к самой ледяной кромке берега. Она упала на одно колено, но быстро вскочила и, перепачкав руки, взобралась на невысокий, проросший спутанными корнями берег.

— Спасибо, — смущенно сказала она, глядя, как выбирался из воды Антон. Видно, спешить ему уже не было надобности, обе его ноги до самых колен были мокрые, с левой полы кожушка лилась на сапог вода.

— Начерпал, да? В оба? Ну вот... Ты прости, пожалуйста.

— Что делать! Зеленая еще ты разведчица.

Наверно, зеленая, подумала она, отчетливо сознавая свою вину и с неприятностью ощущая едва скрываемое им недовольство. Молча она смотрела, как он, присев на бе-

регу, с силой стащил с левой ноги сапог и выжал на снег грязную, в дырах, портянку.

— Вот так! Теперь оба купаные, — впервые поднял он на нее еще строгий, но уже подобревший взгляд, и она поняла, что прощена.

— Так широко, что я не могла, — сказала она. — А в другом сапоге как? Сухо?

— В другом сухо, — сказал он. — Левый дырявый, давно воду пускает.

Тем не менее Антон стащил с ноги и правый сапог. Сухую портянку с правой ноги намотал на покрасневшую от стужи левую стопу.

— Чтоб обидно не было. Мокрый сапог, зато сухая портянка.

Он уже не злился, и у Зоськи отлегло на душе — все-таки он молодчина, этот Антон Голубин.

— Наверно, замерз? Давай пробежим! — предложила она, но Антон не поддержал ее и неторопливо поднялся с берега, тщательно вытер снегом испачканные в грязи руки.

— Согреюсь. Мороз небольшой.

— Куда теперь — не пойму даже. Пуща там вроде, так?

— Там, — подтвердил он. — Где-то тут должна быть дорога. А тебе куда — на Островок?

— Ага, на Островок. Дозорцев сказал. Там ребята на заставе переправят через Неман.

С этой стороны речки заболоченный берег густо порос кочковатым кустарником, среди которого едва ли не до колен топорщилась пожухлая, засыпанная снегом трава, и они шли, прокладывая между кустов и кочек две пары глубоких следов. Наверно, эти следы следовало как-то замаскировать, но Зоська не знала, как тут их можно было замаскировать, и не удивилась, когда Антон ей сказал:

— Ты иди за мной. Чтоб в один след.

— Правильно!

Болото всюду хорошо промерзло и надежно держало человека, в траве было сухо, мелкие лужицы вымерзли до дна, и под ногами иногда жестко хрупало — нетолстый ледок легко ломался в траве.

— Зося! — каким-то особенным голосом сказал вдруг Антон и обернулся. Она едва не наткнулась на него сзади и тоже остановилась, уставясь в его озабоченное и даже омраченное чем-то лицо. — Зося, я должен тебе сказать...

— Что?

— Знаешь... Я — в самоволке, — сказал он и внимательно посмотрел на нее. Она ничего не поняла.

— В какой самоволке? В разведке...

— В том-то и дело, что не в разведке. Я солгал тебе. Меня никто не посылал, я сам...

— Как — сам?

— Сам. Как узнал, что ты идешь на такое дело... Не выдержал. И вот...

Зоська, сдвинув брови, непонимающе глядела в его омраченное переживанием лицо, и смысл его слов не сразу доходил до ее сознания. В самоволке? Почему в самоволке? Почему — она ушла и он не выдержал? Но вот она стала понимать что-то, и смешанное чувство участия и почти испуга охватило ее.

— Что же ты наделал?

— Вот наделал, — развел он руками. — Теперь поздно переделывать.

— Нет, ты должен вернуться! — спохватилась она. — Что ты! Тебя же за такое дело...

— А тебя? — с какой-то непонятной убежденностью прервал он. — Ты же в первой деревне влипнешь. Пропадешь ни за понюшку.

— Почему? — еще больше удивилась она.

— Почему? Тебе объяснить почему? Что ты умеешь? Перелезть через речку ты умеешь? Обмануть полицая сможешь? На документ свой надеешься? Так первый же бобик все сразу поймет. А ну дай твой аусвайс!

Не в состоянии побороть все растущее замешательство, она сунула руку за пазуху и из специально пришитого для того кармашка в сачке достала измятую книжицу аусвайса.

— Ну вот, — разочарованно сказал он. — Кто так документ носит? Разве деревенские девки этак аусвайсы прячут? Надо было обернуть в бумажку да завязать в чистую тряпицу. Да спрятать под седьмую одежку. А у тебя — все наготове. Теперь фотография, — сказал он и умолк, разглядывая фото на документе. — Ну, конечно, сразу видать: паспорт одного возраста, а фото другого. Старое фото с чужого документа. Да и печать... Ну кто так печати ставит! — возмутился он. — Руки бы тому обломать и за порог выбросить. Смотри, даже буквы не сходятся.

Она заглянула в развернутую в его руках книжицу: действительно, поддельные буквы на ее фотографии заметно отличались от действительных на странице аусвай-

са и шли как-то криво, словно расползаясь от влаги. Хотя вчера аусвайс она не замочила нисколько.

— Ну, видишь? Как за тебя не бояться?

Похоже, он был в чем-то прав, ее подготовили не слишком тщательно, и она очень легко может влипнуть. Но как и чем отправдается он? Ведь целая ночь отсутствия в лагере не останется незамеченной. Как тогда он объяснит эту свою отлучку? Тревогой за Зосю Нарейко? Не будет ли это смешно и нелепо? И кто в это поверит?

Ошеломленная свалившимся на нее открытием, Зоська прислонилась спиной к ольхе и стояла, не в состоянии придумать что-нибудь путное. Она только смотрела на свой злосчастный аусвайс с такой малоудачной фотографией, оторванной от ее довоенного студенческого билета.

— Так что же нам делать?

Антон слегка примял сапогами черный полегший папоротник и пожал плечами.

— Пойдем вместе. Авось я обузой для тебя не стану.

— Ты обузой не станешь, наоборот! — заверила Зоська. — Но...

— Вроде муж и жена, идем в Скидель к матери. Там действительно у тебя мать, могут проверить.

— Ну что ты, какая жена?..

— Не хочешь женой — сестрой будешь. А что? Вдвоем, знаешь, надежнее.

— Это да. Но...

— Хочешь сказать, как в отряде потом?

— Ну.

— Видно будет. Авось оправдаемся. Ты же меня защитишь?

Зоська все не могла взять в толк, как ей следовало поступить, на чем теперь настоять и даже что сказать Антону. Конечно, смысл его сумасбродного поступка не оставлял сомнения, что он сделал плохо и что по возвращении не избежать скандала. Антон поступил неправильно и даже преступно, самовольно оставив отряд. В какой-то мере его оправдывало лишь то обстоятельство, что отправился он не на пьянку на какой-нибудь хутор, не на гулянку, а пошел с ней на опасное дело, откуда неизвестно еще, как воротиться. К тому же этот его почти безрассудный риск из-за опасения за ее жизнь ошеломил Зоську. Еще никто в ее жизни не пытался сделать ничего подобного, и это сильнее всего связывало ее решимость, делая невольной соучастницей Голубина.

— Ну что задумалась? — нарочито бодрым голосом

сказал Антон. — Нечего думать. Теперь уж я тебя не оставлю. Пойдем вместе. Или ты против?

— Я не против, Антон. Наоборот. С тобой мне, сам понимаешь... Но...

— Всяких «но» хватает. Теперь не будем о «но»... Холера, все-таки нога мерзнет, — сказал он, притопывая левой, мокрой ногой. — На Островке скажешь, что послали вдвоем. Ты — старшая, я в подмогу. Пропуск дали?

— Пропуск-то дали...

— Вот и добро. Переправимся, а там посмотрим. По обстоятельствам.

Он опять становился уверенным и даже оживленным, будто впереди не было смертельной опасности, а в отряде не ждали его неприятности по возвращении из самовольной разведки. Но что делать, — действительно, она не могла его прогнать от себя, да и не имела никакого желания делать это. Она вспомнила свое одинокое блуждание вчера по болоту, и ей стало тоскливо. А каково одной, по ту сторону Немана, в незнакомых, набитых полицаями деревнях.

— Нечего раздумывать, — подбодрил он и положил большущую руку на ее плечо. — Пошли!

Чтобы окончательно вывести ее из состояния подавленной озабоченности, он шутливо толкнул ближнюю березку, и целое облачко снежинок сыпануло на обоих. Зоська слегка вздрогнула, но даже не улыбнулась, и он, надев рукавицу, небыстро пошел между зарослей, прорывая сапогами глубокий след в засыпанной снегом траве.

6

Антон знал: тут где-то была дорожка, месяц назад он возвращался по ней из Заречья, но теперь дороги нигде не было видно, прямо-таки становилось удивительно, куда она могла деться. По скользкому от снега травянистому склону они поднялись к опушке хвойного леса, слегка углубившись в который и не найдя никаких признаков дороги, Антон круто взял в сторону и так редким сосняком прошел с полкилометра, пока не уперся в овраг. Стоя над его крутоватым обрывом, поросшим кустами орешника, он подождал отставшую Зоську.

— Где-то была дорога. И нет...

— Спросить... — устало произнесла Зоська и осеклась: у кого тут можно было спросить?

Конечно, дорога—не иголка в сене, где-то она найдется, но Антону жаль было времени, немало которого ушло на это дурацкое блуждание, когда впереди еще столько дел и забот. Правда, он мог бы идти и быстрее (он вообще ходил быстро), но Зоська стала отставать, все-таки ее шажок не сравнить с его метровым шагом. Девушка, видно, наконец согрелась, светлые прядки ее волос выбились из-под серого теплого платка и прилипли к вспотевшему лбу, все лицо зарделось и маково горело с усталости.

Антон постоял, подумал, но в овраг не полез — пошел по его краю, сбивая сапогами снег с низких деревцев можжевельника. В лесу стало теплее, ветер стих, лишь голые верхушки орешника легонько покачивались на той стороне оврага. Высокие сосны с посеребренными снегом ветвями чуть шумели вверху. Конечно, он знал направление и мог идти на Островок лесом, напрямик, без дороги, но все-таки до Островка было километров восемь, и он не хотел мучить Зоську. Наверно, где-то поблизости, может даже в том месте, где кончался овраг, и была дорога, не сквозь землю же она провалилась.

Они, однако, еще не дошли до конца постепенно мелевшего оврага, как Антону показалось, что где-то слышны голоса. Он остановился, послушал, оглянулся на Зоську, — та тоже настороженно вслушивалась. Вскоре их слух различил в лесном шуме несколько невнятных звуков — несомненно, где-то поблизости негромко разговаривали люди.

— Ты постой тут, — сказал Антон Зоське, а сам помалу пошел от оврага в глубь леса.

Сосны росли негусто, меж их голых снизу стволов было бы видно далеко, если бы не частые заросли можжевельника и хвойного подроста, привольно раскинувшиеся на нижнем ярусе леса. В этом сухом зимнем бору подрост был неплохим укрытием на случай преследования, засад и слежки. Антон маскировался в нем, переходя от куста к кусту, ненадолго останавливаясь и слушая. Голоса временами пропадали совсем, но вот снова раздались чуть в стороне от избранного им направления, и Антон затаился за корявым комлем сосны. Непохоже, чтоб здесь были немцы или полицаи, подумал он, скорее всего, крестьяне или соседи из отряда имени Ворошилова. Но теперь он не хотел встречаться ни с кем. Да и Зоське такие встречи совсем ни к чему, им надо было идти скрытно, встречая как можно меньше людей.

В бору под кронами сосен снега было немного, местами он едва припорошил серый, усыпанный хвоей мох, который делал неслышными шаги человека. И все-таки следовало быть настороже. Остановившись за очередной сосной, Антон вынул из брючного кармана наган и, расстегнув на две верхние пуговицы кожушок, сунул наган за пазуху.

Людей он увидел неожиданно близко, как только обошел край молодого густоватого березнячка, через который не стал продираться, и свернул в сторону. Сначала бросилась в глаза рыжая лошадь, понуро стоявшая в упряжи в двух десятках шагов от него, за ней на санях с подсанками сидела, отвернувшись, женщина в коричневом, с черным воротником полушубке, и возле, нагнув голову, стоял мужик в серой суконной поддевке, сосредоточенно наблюдавший за тем, чем занималась женщина. Рядом на снегу лежала свежеспиленная сосна, уже раскряжеванная, с обрубленными сучьями, и Антон догадался, что, по всей видимости, это — деревенские, приехали запастись дровами.

Сохраняя, однако, осторожность, он вышел из-за березняка на открытое место и спокойно направился к людям. Сидящая спиной к нему женщина не могла видеть его, но мужчина, наверно заслышав шаги, вскинул голову.

— Добрый день вам, — спокойно сказал Антон, подходя ближе, и мужчина поспешно снял ногу с саней, уставясь в него слегка удивленным, даже испуганным взглядом. Это был молодой крепкий парень с легкой порослью на подбородке, в черной шапке-треухе. Из-под поддевки на нем были видны поношенные армейские бриджи с характерными нашивками на коленях, и Антон с неприязнью подумал: примачок, наверно?

Похоже, так и было в действительности, парень держал в руке ломоть хлеба с салом, которым его угощала женщина — шустрая черноглазая молодка, недобро и без страха поглядевшая на Антона. Тут же была и дорога с единственным на снегу следом от этих самых саней.

— Добрый день, — настороженно ответил примак, все держа в руках увесистый ломоть хлеба с положенным на него куском сала. Теперь уже оба они встревоженно смотрели на Антона, который сказал как можно спокойнее:

— Дровишки заготавливаете?

— Приходится, — сказал примак и положил на коле-

ни молодки хлеб, который та сразу прибрала в белую холщовую сумку. Антон подошел ближе и ногой в сапоге тронул толстый сосновый комель, едва шевельнувшийся на снегу.

— Ну и толщина! Как вы осилили такую?

— Во, два мужика, да каб не осилили! — неожиданно словоохотливо отозвалась молодка. Из хвойного подроста, подпоясывая веревкой ватник, выходил еще один мужик, значительно старше первого, с коротенькой, густо посеребренной ранней сединой бородкой.

— На строительство, наверно? — догадался Антон.

— Подруб под хату. Сгнила, знаете, товар был не тот. Известно, при царе еще строились, — доброжелательно, без тени настороженности заговорил подошедший и после недолгой паузы осведомился: — Издалека будете, пан-товарищ?

— Издалека, — сказал Антон, сразу отметив про себя эту неуверенность бородача относительно «пана-товарища». Однако вносить какую-то ясность Антон не собирался. — А вы откуда?

— Да вон из Стеблевки.

— Ну, из Стеблевки мы, — подтвердила молодка. Примак молчал, продолжая исподлобья изучать непрошеного лесного гостя.

— А он тоже из Стеблевки? — спросил Антон, кивнув в его сторону.

— Тоже, ага. Муженек мой, — заулыбалась молодка, соблазнительно поигрывая ямочками на щеках.

— И давно муженек?

— Не-а. Вона на спаса поженились.

— Понятно, — сказал Антон и, взглянув на прикрытую полой полушубка холщовую сумку со снедью, подумал: угостят или нет? Хотя, наверно, пока не определят, пан он или товарищ, не удосужатся.

Но он не торопился определяться, он смотрел на молодку с симпатичными ямочками на щеках и на ее муженька, совсем еще молодого парня, который, если бы не война и некоторые сопутствующие ей обстоятельства, наверно, еще бы повременил с женитьбой. Молодка же с такой влюбленной ласковостью поглядывала на него, что Антону стало завидно. Черт возьми — идет война, гибнут, страдают люди, а эти вот женятся и еще надумали менять подруб. Не промах, однако, этот малый в поддевке.

— Ну ешь, ешь, Петя. На вот тебе с любовинкой, —

домашним голосом ворковала молодка. Антон отвернулся.

— А Стеблевка эта ваша где? В какой стороне? — спросил он бородатого.

— А вон, аккурат на взлесси. Вон тут недалечко.

— А туда что будет? — кивнул он в противоположную сторону, куда уходила не тронутая санным следом дорога.

— А туды Замошье, Гузы... Потом эта, как ее... — замялся бородатый.

— Ну, Суглинки еще, — подсказала молодка.

— Да не Суглинки, Суглинки вон куда, в сторону. А туда Загладина, вот!

— И Загладина, и Суглинки, и Островок — все в той стороне, — настаивала на своем молодка, не слезая с саней. Ее примачок принялся молча жевать, все еще бросая сторожкие взгляды на Антона. Антон смекнул уже, в каком направлении следовало держать путь, и, чтобы не выдать своего намерения, о деревнях больше не спрашивал. Спросил о другом:

— Чужие в деревне есть?

Бородатый с примаком переглянулись: молодка стрельнула в него недоуменным взглядом.

— Так ето, знаете, пан-товарищ, — замялся бородатый, — это как посчитать. Если... Если немцы, так нет вроде, а полицейские бывають. И партизаны бывають.

— Понятно, — сказал Антон. — Угостили бы хлебушком, что ли.

— Ай, так у самих мало, — неопределенно завозилась с сумкой молодка, но достала горбушку и, отрезав от нее нетолстый ломоть, протянула ему.

— А сальца там не найдется?

— Ну какого еще сальца? Самим вот по ковалочку...

— Маня, дай человеку, — с нажимом сказал бородатый, и Маня, не вынимая руки из сумки, отрезала там небольшой, длинноватый ломоть белого, наверно свежей заготовки, сала.

— Вот теперь спасибо, — сказал Антон.

— Извиняйте, мы это самое... Думали... — начал и замялся бородатый.

Ни черта вы не думали, подумал Антон, пожалели просто. Не потребуешь, не дадут, это уже он понял давно. Он снял рукавицу и затолкал хлеб с салом в карман кожушка. Бородатый, однако, оказался неробким мужичком; снизу вверх он открыто и безбоязненно ел взглядом

Антона, видно по всему, не прочь поразговаривать со свежим человеком. Он только не мог взять в толк, кто этот человек и как следует вести разговор. Наконец он не выдержал.

— Вы, ето, извините, однако интересно: партизан вы или, может, из полиции будете?

— А почему ты так спрашиваешь? — удивился Антон его несколько прямолинейному в такой обстановке вопросу.

— Ну, вижу, оружие у вас. Оружие оно, конечно, в моде теперь, но...

Антон машинально сунул руку за пазуху, подальше задвигая рукоятку нагана. Все трое с недожеванными кусками во рту ждали его ответа.

— А я — человек. Человек просто. Это что — плохо?

— Оно не плохо. Но, знаете... Теперь не бывает так.

— Вот он же, наверно, тоже не партизан? — указал Антон на примолкшего примака. — И вроде не полицай еще. И живет ведь? И, вижу, жить собирается, раз надумал строиться.

— Эт! — пренебрежительно махнул рукой бородатый и поддернул штаны. — Какая это жисть! Разве это жисть? Днем бойся, ночью бойся...

— А чего ж он не возьмет оружие? Да не пойдет в лес? Чтобы не он, а его боялись?

— Во! Во! Во! — вдруг недобро закудахтала молодка и соскочила с саней. Отставив упитанный зад, сварливо выгнулась перед Антоном, замахала руками. — Во! Во! Я так и знала, агитаторщик! Он его соблазнять буде. И слушать не слушай его! Ого! В лес! А можеть, у него характер не той? А можеть, он убивать не хочать? Он тихий, он курицы не обиде, а то у лес!

— Да ладно ты! — лениво протянул молодой увалень, и щеки его покраснели, наверно, от этого непрошеного ее заступничества.

— А вот и не ладно! Тоже мне — партизанщик нашелся! — все больше распалялась молодка. — Сам, как недобитый волк, по лесу шастае и других сманивае. И еще хлеба ему давай... Иди откуда пришел!

— Ма-аня, да стихни! — снова проворчал примак. — А то вот возьму и надумаю...

Маня на секунду оторопела.

— Ах ты, недоносок! Попробуй мне! Я тебе надумаю! Я тебе покажу! Давно тебя от Параски отвадила, так теперь в лес...

Начиналась семейная ссора, слушать которую Антону было ни к чему. Воспользовавшись тем, что молодка переключилась на своего муженька, он повернулся и пошел прежним следом назад. Опи там ругались, но он не оглядывался, он думал: странная это штука — война. Он давно уже не слышал такого вот сварливого бабьего крика и отвык от каких бы то ни было семейных отношений, почти уже забыл, как огорчали его частые ссоры матери с женой старшего брата, как они ремонтировали свою хату в местечке, меняли этот самый подруб и перекрывали одну сторону крыши дранкой. Последние предвоенные годы он метался по деревням, взыскивал с крестьян налоги, зарабатывал не так много, но на хлеб и на водку хватало. У него была масса знакомых в районе, не было отбоя от девчат, каждая из них, наверно, с радостью пошла бы за него замуж. Но жениться он не спешил, ему хватало их без женитьбы, считал, еще успеется. Дома с небольшим хозяйством, коровой и огородом управлялась беспокойная, работящая мать, переночевать и поесть он мог в любой знакомой деревне, работу свою в общем любил, хотя она и доставляла ему немало беспокойства, но он чувствовал, что подходил к ней характером, не робел, как другие, когда надо было проявить твердость и взыскать с разгильдяев в пользу государства столько, сколько принадлежало тому по закону. Спуску он никому не давал, и его за это уважало начальство в районе, колхозники тоже уважали или, может, побаивались, но для него это было одно и то же. Хуже было с теми знакомыми, которые от него не зависели и над ним не стояли, такие почему-то недолюбливали и сторонились его, но ему на них было наплевать, он с ними не знался. К тому же он имел собственную голову на плечах и не хуже других понимал, что хорошо, а что плохо. Потому старался жить по своему разумению, насколько это, конечно, было возможно, и не терпел, когда его вынуждали поступать вопреки его воле. Правда, с началом этой проклятой войны все пошло вверх тормашками, все не так, как он думал. Началось с того, что кто-то на исходе прошлой зимы в окно хаты Голубиных тихонько постучал ночью. Антон открыл дверь, и в кухню вошло человек шесть с оружием. В переднем он не сразу узнал районного начальника НКВД, с которым до войны был в некоторой дружбе, и думал, что тот теперь где-нибудь далеко на востоке. Но он оказался здесь и в тот свой приход предложил Антону вступить в партизанский от-

ряд. Антону это мало понравилось, он уже примеривался к новой работе — механиком на лесопилке, но, прослышав, что в отряде много знакомых, решился, собрал сидор и несколько дней спустя был в условленном месте на краю пущи. Первое время он занимался ремонтом трофейного оружия, а потом и сам взял в руки винтовку. Потом понеслось-завертелось: стал командиром взвода, телохранителем у командира отряда и вот докатился до рядового, а теперь, словно оголодалый волк, как та молодка сказала, шастает по темным лесам.

Он размеренно шагал между сосен к оврагу, и в нем все росла подступившая к самому сердцу тоска по самой обычной, серенькой, как у всех или у большинства, мирной, обывательской жизни под крышей, своей семьей, с такой вот шустрой молодкой рядом, чтоб без страха, войны, крови — в добре и мире.

Но он только вздохнул на ходу — так это было далеко и несбыточно. Хорошо мечтать о такой жизни тому, у кого есть хоть какая-нибудь гарантия относительно жизни вообще — у него же не было даже такой гарантии. Не сегодня, так завтра горячая пуля распластает его на снежной траве, и дело с концом.

Хорошо, если похоронят по-людски. А то никто и не найдет, и он будет лежать под снегом до самой весны. Если оголодалые за зиму волки и лисицы не растаскают его длинные кости по своим лесным норам...

Зоську он увидел еще издали, та терпеливо дожидалась его на краю оврага, где он оставил ее, и Антон, остановившись, махнул два раза рукой — давай, мол, сюда.

7

Они взяли чуть в сторону от оврага и скоро вышли к неширокой лесной дорожке, присыпанной свежим нетронутым снегом. Антон глянул в один конец дороги, в другой, саней отсюда не было видно, и он уверенно свернул направо, оставляя позади широкие следы на снегу, в которых желтел дорожный песок.

— Вот, разжился, — сказал Антон, вытаскивая из кармана обкрошенный кусок хлеба. — Молодка не хотела давать, вредная баба. Едва выцыганил.

Зоська невольно сглотнула слюну, получив в руки половину ломтя свежего крестьянского хлеба с узким кусочком сала.

— Вкусно как пахнет! — понюхала она хлеб. — Вот любила такой — на кленовых листочках. Мама пекла.

— Ешь! — просто сказал Антон, с аппетитом задвигав челюстями.

Зоська наконец согрелась, идти по ровной дороге было несравненно легче, чем продираться в кустарнике, она расстегнула верхнюю пуговицу плюшевого сачка и ослабила узел платка на шее. Хвойный оснеженный бор едва слышно шумел на ветру, в воздухе кружились редкие снежинки. Было тихо. Где-то раздавалась прерывистая дробь дятла, но Зоська не обращала на нее внимания, она то и дело поглядывала вперед, куда, извиваясь, уходила дорожка. Туда же устремлял свой взгляд и шагавший впереди Антон, так просто и естественно взявший на себя часть ее дорожных забот и связанных с ними опасностей. Все это в другой раз могло бы порадовать Зоську, но теперь мало радовало, скорее наоборот — она все еще не могла освободиться от терзавшего ее беспокойства. Правда, за себя она меньше боялась — теперь она беспокоилась за Антона.

— Слушай, возвращайся назад. Тут я уже сама выйду, — сказала она, идя сзади, и Антон на ходу обернулся.

— Зачем? Я проведу.

— До Немана, да?

— Там будет видно, — уклончиво ответил Антон, и она не стала настаивать — почувствовала, что он ее не послушается. Она понимала, какими неприятностями угрожало обоим это его упрямство, но противиться ему не могла. А может, и не хотела даже.

— Там приехали за сосной. На подруб, — кивнул Антон, слегка придерживая шаг. — Примачок такой и молодайка. Война войной, а они строятся.

— Да разве мало таких! Думают, отсидятся, переждут. Пусть за них другие воюют, — неодобрительно сказала Зоська, и Антон внимательно посмотрел на нее.

— Оно конечно, — согласился он. — Да всем жить хочется.

Жить хочется всем, подумала она, но, пожалуй, не в этом дело. Разве не хотят жить те, кто гибнет с оружием в руках, кого арестовывают и расстреливают за связь с партизанами, наконец, те несчастные, которых уничтожают только за их происхождение? Разве не хотел жить ее свояк Леонид Михайлович, преподаватель математики в местечковой школе, человек совершенно безропотный и

безотказный, до предела затурканный своей властной женой, родной сестрой Зоськи? Казалось Зоське, тихо презиравшей свояка за эту его бесхребетность, что он с легкостью проживет при любой власти, вытерпит все, никому не пожаловавшись и даже ни на кого не обидясь. Но вот не удалось прожить Леониду Михайловичу даже первую военную зиму — в марте его уже арестовало гестапо.

Зоська до сих пор не может себе представить, какую провинность перед немцами совершил Леонид Михайлович и за что они расстреляли его. Но, по-видимому, что-то было, иначе бы он так не прощался с женой, детьми и с Зоськой при аресте — прощался, уходя навсегда, со спокойным сознанием правомерности ареста и неотвратимости своей злой судьбы.

Узкая лесная дорожка вывела их на широкий прогал с большаком и линией связи, под острым углом пересекавшим их путь. Там уже издали были заметны какие-то следы от полозьев или колес, по обочине кто-то недавно прошел, оставляя неглубокие ямки в снегу. Антон только вышел из-за придорожных деревьев и сразу же повернул обратно.

— Давай стороной. Ну ее, эту дорогу... На ней всегда опасайся...

Они сошли в лес, пробрались через колючую чащобу молодого сосняка и пошли лесом поодаль от большака, однако не теряя его из виду. На большаке было пусто, продираться же через хвойные заросли стоило невероятных усилий, кочковатая лесная земля, с пнями, порослью жесткой травы и валежником, весьма затрудняла ходьбу, и Зоська подумала: может, стоило все же рискнуть и пойти большаком. В самом деле, она уже здорово притомилась в этом бездорожье и едва поспевала за Антоном, широкая спина которого, то склоняясь, то выпрямляясь, мелькала впереди в зарослях. Зоська намерилась было окликнуть его, но воздержалась, подумав, что хорошо ей с документом и пропуском, а каково будет ему в случае встречи с полицией или немцами? Один его наган может погубить обоих. И она молчала, терпеливо пробираясь по его следу в немыслимо колючей хвойной чащобе, из которой они наизволок спустились во мшистую, заросшую мрачными елями низинку. Тут было тихо, темно и диковато, как в погребе. Вдруг Антон замер впереди меж двух обомшелых елей, и Зоська затаила дыхание: со стороны дороги слышался приглушенный гул

моторов, он приближался, с ним вместе донеслись голоса, мужской смех. Антон предостерегающе вскинул руку.

— Слышь, немцы...

Зоська прислушалась — гул недолго подержался на одной ноте за ельником и постепенно стал слабеть в отдалении. Похоже, действительно, это проехали немцы, и она подумала: хорошо, что Антон вовремя свернул с дороги. Так безопаснее, хотя и труднее. По-видимому, дороги теперь не для них.

Потом они, кажется, все-таки потеряли большак из виду, потому что за час с лишним лесного пути до них не донеслось ни одного звука, да и все прочие признаки дороги исчезли. Зоська уже потеряла всякое представление о местности, никак не ориентируясь в этом диком лесу и полагаясь только на Антона. Они перешли вырубку с рядами штабелей заготовленных сосновых коротышек, перелезли широкий крутой овраг, с ужасно скользкого склона которого Зоська съехала на заду, а потом едва взобралась на противоположную кручу. Рукава сачка, коленки и юбка снова насквозь промокли, вываленные в снегу. За оврагом большой лес кончился, началось мелколесье, стал задувать ветер, в котором по-прежнему носились редкие предзимние снежинки. Небо недобро нахмурилось, стало холоднее, но по каким-то неуловимым признакам чувствовалось приближение реки, рельеф заметно пошел под уклон. И вот впереди между привольно разбежавшихся по склону сосен засерело пустое, притуманенное снегопадом пространство. Воды еще не было видно, но лес кончался, и Зоська поняла: они выходили к реке.

«Молодец, правильно. Не заблудился!» — с удовлетворением подумала она про Антона, бегом догоняя его.

— Ну вот, пожалуйста. Вышли! — указал он рукой на открывавшуюся панораму реки.

Они не спеша обошли крайние молодые сосенки и остановились на обрыве. Внизу у их ног мощно гнал студеные воды Неман.

Несколько раз в детстве Зоська видела эту реку в летнее время, и та не произвела на нее впечатления — изрядно обмелевшая, с песчаными залысинами берегов, она казалась тогда неширокой, спокойной и, в общем, какой-то районной, средней величины речушкой. Теперь же вид ее преобразился до неузнаваемости, словно это была другая река; раздавшаяся от обилия осенней воды, со стремительным и мощным течением, она таила в себе

какую-то злую, прямо-таки угрожающую силу. Во всю ее обозримую ширь и длину сверху шло сало — густое крошево льдин с обтертыми, словно в застывшем жиру, краями, которые непрестанно плыли и плыли по водной поверхности, сталкиваясь, расходясь и кружа, и тихий, но властный шорох стоял над рекой. Обрывистые лесные берега почтительно и широко расступались перед напористой мощью стихии, безразличной к их спокойной растительной жизни и занятой только собой, своим вечным движением к морю.

— Островок, кажется, выше будет. Мы ниже вышли, — сказал стоявший рядом Антон.

Очарованная мощным видом реки, Зоська минуту не могла оторвать от нее взгляда, думая про себя, как же им переправиться через этот ледяной поток? Где находится Островок, она не задумывалась, — она уже привыкла, что в таких вещах Антон разбирается лучше, тем более что осенью он исходил тут все стежки-дорожки. Не спускаясь к воде, они пошли верхом по прибрежному обрыву в поисках этого самого Островка.

— Значит, так, — обернулся в ее сторону Антон. — На заставе там Петряков. Или, может, сержант из десантников. Тот, которого летом под Зельвой подобрали. Так вот, ты сообщишь пароль и скажешь, что идем вдвоем. Поняла?

— Значит, ты не вернешься?

— Ты слушай меня. Говори так. А потом сообразим-посмотрим.

Зоська не возражала, кажется, она уже потеряла способность возражать этому человеку, все у которого получалось лучше и споровистее, чем у нее. Он явно забирал у нее инициативу в этом ее выходе, но она не тревожилась — пусть! Видно, во всем, что касалось войны, он был поопытнее ее.

Однако по берегу они прошли километра два, прежде чем увидели на речном изгибе притопленный половодьем Островок, поросший голым теперь лозняком. Неман тут расходился на два рукава, главное его русло обегало Островок с той стороны, а протока у этого берега была густо забита льдом, заторенным в узкой водяной горловине. Чуть ближе в лесном берегу зияла огромная промоина-овраг, из которого вырывались по ветру едва заметные на притуманенном фоне леса серые клочья дыма.

— Дымят, — сказал Антон. — Наверно, печку раскочегарили.

Не успели они подойти к устью оврага, как откуда-то из-за кустов навстречу выбежала суетливая, черная как уголек собачонка и с ужасающе злым лаем набросилась на Антона. Антон остановился, притопнул ногой, но собачонка и не думала униматься, и только когда он подхватил из-под ног камень, бросилась назад к оврагу. Однако оттуда по стежке уже спускался небритый, в стеганых брюках и в какой-то самодельной безрукавке пожилой человек с обвязанной шеей. Он негромко прокашлялся, успокоил собаку. Антон уважительно поздоровался:

— Здравствуй, Петряков.

— Здорово, здорово, — глухим голосом ответил мужчина, стоя на обрыве. За его спиной виднелась дощатая дверь в землянку, ржавая труба над которой коптила сизым дымком.

Антон пропустил вперед Зоську.

— Говори пароль.

Она и сама знала, что прежде надо сообщить пароль, но то ли это надлежит сделать сейчас или потом, она позабыла. Как всегда, выручил Антон.

— Привет вам от Мироныча, — сказала она, выжидательно глядя на худое, серое, в недельной щетине лицо Петрякова. Тот, тихо крякнув, проговорил отзыв:

— Давненько с кумом не виделись.

Кажется, все было правильно, пароль и отзыв сошлись. Зоська облегченно вздохнула и тут же решила спросить, как насчет переправы, да Петряков обернулся к землянке.

— Это... Сюда идите. Цыц ты, шкварка! — прикрикнул он на собачонку, которая снова попыталась наброситься на Антона. Зоську она игнорировала, Антона же явно возненавидела с первого взгляда.

— Вот, пройдите пока... Вот сюда, — отворил Петряков подвешенную на ремешках дощатую дверь землянки, из которой пахнуло теплом и дымом.

Зоська и следом за ней Антон, пригнувшись, влезли в крохотную, выдолбленную в овражном склоне земляночку с обломком стекла в двери вместо окошка, топчаном и хорошо накаленной железной печкой, дым из которой почему-то упрямо не хотел идти в трубу и то и дело валил внутрь. Петряков протер пятерней слезящиеся глаза и взял с пола сапог с потянувшейся следом дратвой.

— Вот зашить надо... А вы, это, садитесь, — указал он на топчан, пристраиваясь сам на чурбаке возле печки. — Пока Бормотухин лодку пригонит.

Они сели, Зоська поближе к печке, Антон — у двери. Антон беглым взглядом окинул жилище.

— А где же начальник твой?

— А нет начальника, — сказал Петряков, с усилием прокручивая шилом дыру в заднике.

— Как? Был же сержант этот. Кажется, из десантников.

Петряков невозмутимо прокашлялся, сплюнул в угол за печку.

— Был. Попался сержант. Теперь я вот.

— Ах вон как...

— Так вот. А вы туда? — поднял он на Зоську измученный взгляд покрасневших от дыма глаз.

— Туда, — скупо подтвердила Зоська. Петряков, сжимая в коленях головку сапога, тихо вздохнул:

— Да-а-а...

— А что? — не поняла Зоська.

— Да ничего, что ж... Вчера вон возвращались хлопцы из Чапаевского. Двое. Третьего привезли в дерюжке. Вот сапоги с него.

Зоська затаила дыхание.

— Что, убили?

— Убили. Две пули. Одна в грудь, другая в живот.

— Да, скверное дело, — поморщился Антон.

Зоська молча сидела, неприятно пораженная этой вестью, хотя, если подумать, чему тут поражаться? Мало ли где кого убили — шла война и убивали каждый день сотнями. И все-таки она чувствовала, что это мимоходом сообщенное известие имело отношение и к ней, — наверно, убитый переправлялся на ту сторону у этого Островка, да и убили его где-то в тех самых местах, где предстояло действовать ей. К тому же упоминание о пуле в животе всегда вызывало у Зоськи противный озноб внутри. Больше всего она боялась именно пули в живот, хотя отлично понимала, что получить пулю в голову или в грудь нисколько не лучше.

Петряков с помощью самодельного шила и дратвы старательно чинил сапог, все время хрипло покашливая, и Зоська, глядя на его толсто обвязанную какой-то суконкой шею, спросила:

— У вас горло больное, да?

— Да уж больное, — сказал он, не отрываясь от своего занятия. — Застудил и вот... Видно, докашляю в эту зиму.

— Ну, почему вы так? — удивилась Зонька, заслышав

в его голосе нотки обреченности. Петряков лишь отмахнулся рукой.

— А, все одно! Чем жизнь такая...

Антон в нетерпении резко встал с топчана и, согнув голову под низким потолком землянки, выглянул в неплотно притворенную дверь, из которой несло ветром и холодом.

— Ну где же твой Бормотухин? Или ты перевезешь?

— Бормотухин перевезет. Он теперь перевозчик.

Антону явно не сиделось, да и Зоська едва терпела в этой прогорклой от дыма земляночке. Теперь ее, правда, растрогал обреченный вид Петрякова, ей стало жаль больного человека.

— Так, может, лекарство надо какое? Может, мед вам помог бы? — сказала она, настывшими руками поглаживая пригретое от печки колено.

— Какое лекарство! Мне уже ничто не поможет, придется того... Чахотка у меня, — просто сообщил Петряков и замолк, глубоко засунутой рукой нащупывая в сапоге конец дратвы.

Зоська смешалась, она не знала, что в таких случаях можно сказать человеку и чем утешить его. Да и следует ли утешать?

Исчезнувшая было собачонка, радостно заскулив, опять появилась под дверью, Антон выглянул наружу и отступил на шаг в сторону. Дверь широко растворилась, и в ее низеньком проеме появился вконец озябший парнишка, с виду подросток, с худенькой шеей, в небрежно запахнутых на груди одежках. На его нестриженой голове, глубоко надвинутая на уши, сидела серая поношенная кепка с пуговкой на макушке.

— Сигнал давали, дядька Микалай?

— Давал, как же. Вот, перевезти, — взглядом Петряков указал на гостей, и Зоська догадалась, что наконец пришел Бормотухин. А ей думалось, что это будет сумрачный мужик с бородой. Мальчонка, однако, вошел в ставшую совершенно тесной землянку и прикрыл за собой дверь, за которой тоненько заскулила собачонка.

— Заколел. Такой ветер усчався...

— Сало все идет? — спросил Петряков.

— Еще болей стало. Такие льдины — ого!

— Станет Неман, — решил Петряков. — Худо дело будет.

— А нам хуже не буде, — сказал Бормотухин.

Он присел перед печкой, протянул к огню скрючен-

пые стужей кисти, и Зоська подумала: как же он их перевезет в такой ледоход? А вдруг в лодку ударит льдина и они окажутся в воде. Но Неман — не болотная речка, отсюда не так просто выбраться на берег. Она с беспокойством поглядывала на Петрякова и мальчонку, но те вроде и не думали об этом. Бормотухин, все держа у огня настылые руки, повернул к ней остренькое с посиневшим носом лицо и вроде бы подмигнул даже.

— На связь? В разведку?

— Бормотухин! — с хриплой строгостью прикрикнул Петряков. — Не твое дело. За чем надо, за тем и идут.

— А! — разочарованно бросил парень. — Буда не ведама, пашто за Неман ходють. Абы варочалися.

— Как-нибудь постараемся, — сказала Зоська.

— Во-о! Так все гаворать. Тольки не все варочаются. В няделю перевозил шастярых, два раза лодку ганяв. А учора вяртаюцца трое. И то один нежывы. Убитый.

— Бормотухин! — снова оборвал его Петряков. — Помолчи лучше.

— Ды я кали ласка, — с готовностью согласился подросток и встал. — Ну дык пошли, что ли?

Плотнее запахнув на груди свои надетые один на другой пиджачки, он туже затянулся тесемчатым, от военных брюк, ремешком и ногой толкнул легкую дверь. Они по очереди вышли на узенькую площадку у порога. Зоська, обернувшись, сказала Петрякову:

— Как-нибудь выздоравливайте, дядька.

— Да спасибо, — без видимого желания ответил Петряков.

После дымного тепла землянки на дворе их сразу охватил холод, ветер с реки дунул промозглой стужей, Зоська зябко поежилась. Но Бормотухин уже сбегал по тропинке к берегу, и они поспешили за ним. Зоська вся внутренне сжалась, глядя на ледяную карусель на реке, через которую им, не откладывая, предстояло переправляться.

Бормотухин тем временем, с хрустом обломав тонкий ледяной закраек у берега, столкнул свою плоскодонку на воду и придержал ее за дощатый нос.

— Залазьте!

Антон легко и уверенно перешагнул через борт, протянул руку Зоське, и та со страхом, неловко забралась в лодку, на дне которой плескалась вода и плавали прозрачные кусочки льда.

— Проходьте далей. Один на корму, другой на сере-

дину. И седайте, седайте. Стоять не можно, — привычно распоряжался Бормотухин. Подрагивая от стужи и страха, Зоська опустилась на мокрую поперечину. Антон присел на корме. Бормотухин, поднатужась, столкнул лодку в воду, в последний момент ловко вскочив в нее.

Зоська, полуживая, сидела на поперечине, изо всей силы держась руками за мокрые борта лодки, которая угрожающе зашаталась, ударилась о близко проплывавшую льдину, но на дно не пошла и даже не зачерпнула воды. Бормотухин, стоя, уже уверенно орудовал единственным веслом, во все стороны крутя своей кургузой, в кепчонке, головой. Медленно лодка отходила от берега на стремнину, где ее сразу подхватило течением и, к ужасу Зоськи, резво понесло между льдин. Но Бормотухин, отчаянно размахивая веслом, то греб, то проталкивался между тяжелыми льдинами, отпихивая их от бортов, все-таки помалу приближаясь к берегу. Раза два льдины здорово стукнули в борт, вода заплескалась в лодке, Зоська сильнее вцепилась в доски бортов, у нее с непривычки кружилась голова, а лодка казалась такой ненадежной, что просто было удивительно, как она держится на поверхности в этой круговерти льда и воды. Но она держалась, и Бормотухину даже удавалось как-то править ею наискосок к противоположному берегу с лозняком. Поборов первый страх, Зоська робко оглянулась — низкий песчаный Островок и лесной берег с оврагом заметно отдалялись, уже едва заметна стала тропинка на обрыве, и совсем исчезла за овражным выступом землянка; вокруг простиралась вода, и бесконечные вереницы льдин стремительно проносились мимо. Но вот и стрежень остался позади, лодка вошла в более тихое прибрежное течение. Тут льдин стало меньше, они едва двигались, больше раскручиваясь на одном месте, и у Зоськи отлегло на душе. Расталкивая лед веслом, Бормотухин привел лодку в лозняк, где она успокоенно ткнулась наконец в подмытый край берега.

— Фу! — с облегчением выдохнула Зоська. — Ну и натерпелась страха!

— Який тут страх? — удивился Бормотухин. — Хиба тут страшно?

Антон первым выпрыгнул на берег, помог выйти Зоське.

— Ну, перевозчик, спасибо, — сказал он и взмахнул рукой.

— Нема за што, — невозмутимо отвечал Бормоту-

хин. — Вы, гэта самае, направа не ходите: там вёска. И па беразе не идите: небяспечна па беразе.

— Да? Так что же нам — по воздуху, что ли? — удивился Антон.

— Не, не па воздуху, — отвечал Бормотухин, стоя в лодке и усиленно дыша на свои замерзшие руки. — Вунь на дрэва трымайте. Там хутка лес буде.

— Ну что ж, пойдем на дрэва, — согласился Антон.

— А будете вяртаться, вот тут, в лозняку, лодку знойдете.

— Ясно.

Они начали взбираться от реки на некрутой, но скользкий от снега берег, а Бормотухин, слегка отплывая в тихой воде, все дул на свои озябшие пальцы.

— А как зовут тебя? — обернулась с обрыва Зоська.

— Бормотухин.

— А имя, имя как?

— Ды Володька имя.

«Дай бог тебе вырасти, — подумала Зоська. — И еще перевезти нас обратно».

8

Неман остался сзади, они оглядывались на него, идя полем, хотя реки уже не было видно. Почти не видать стало и леса на том берегу: пропал, утонув меж берегов, Островок; помаячила вдали и скрылась какая-то деревенька пониже острова. Пошел снег. Серое полевое пространство вокруг все больше тускнело, затканное белесой пеленой снегопада. Скоро почти ничего не стало видать, надо было напрячь зрение, чтобы за мелькающей сетью снежинок различить какой-нибудь затемневшийся в поле куст или одинокое деревце на обмежке. Усилился ветер. Порой его суматошные порывы так сильно шибали в грудь, что забивали дыхание, и Антон на минуту отворачивался, подставляя ветру широкую спину.

— От черт, разбушевался!..

Зоська поднимала навстречу покрасневшее от ветра лицо. Снег залепил складки ее платка, прядку волос на лбу, ворсистую ткань плюшевого сачка. Она пыталась улыбнуться, шатко загребая сапогами в снегу и не попадая в широкие следы Антона.

— Вот же холера! Шли по лесу, тихо было. А в голом поле вон как задуло! — прокричал сквозь ветер Антон. — Замерзла, малышка?

— Не-а! — сказала Зоська и улыбнулась настылыми губами.

— Тебе когда надо быть в Скиделе? Завтра?

— Сегодня ночью.

— Сегодня не выйдет. Отсюда до Скиделя километров шестнадцать.

— Так далеко? — удивилась она, тоже оборачиваясь спиной к ветру. В самом деле, все время идти полем было изнурительно, а дорог они избегали, все-таки здесь — не то, что на той стороне Немана. Тут вовсю хозяйничали немцы и полицаи. В одном повезло — снегопад помогал пройти незамеченными и начисто заметал следы. Если бы не этот ветер...

— Ничего, доберемся, — бодро сказал Антон, оборачиваясь лицом к ветру.

Плохо, конечно, что они не рассчитали свой путь, затянули время на переправе и сегодня не могли попасть в Скидель, куда с самого утра так стремилась Зоська. Впрочем, Зоську можно было понять: у нее задание, сроки и где-нибудь в обжитом натопленном домике — тоскующая по дочке мать. Но не меньше, чем Зоська, торопился в Скидель и Антон, хотя у него не было там ни мамы, ни какого-нибудь задания. Правда, с некоторых пор там объявился его старый, еще борисовский, друг — Жорка Копыцкий, предстоящая встреча с которым теперь всерьез волновала Антона. Конечно, они были друзьями, и Антон по этой причине питал кое-какие надежды, но, кто знает, каким стал Копыцкий за те пять или шесть месяцев, которые они не виделись. Наверно, имея немалый вес в Скиделе, он при желании мог бы помочь Антону. Но поможет ли? — вот в чем вопрос. Тем более что тот явится к нему не один, а с этой вот симпатичной малышкой, на которую у него были свои виды. Антон понимал, что в смутное время войны люди способны, как никогда, круто меняться, и вчерашний друг запросто может обернуться врагом. Но все-таки. Ведь Антон, дорожа старой дружбой, когда-то помог Копыцкому устроиться в секретную спецгруппу, формируемую для заброски в дальний тыл к немцам, и они вместе прибыли на Белосточину. Правда, потом их пути разошлись, но тут уж Антон ни при чем, тут скорее виноват Копыцкий.

В том, что его нынешний путь так удачно совпал с заданием Зоськи, Антон склонен был видеть счастливый знак своей военной судьбы. Сегодняшняя их переправа через Неман, больше всего пугавшая Антона, прошла

удачно, на заставе не довелось ничего объяснять, Зоська смолчала. Наверно, для Зоськи он что-то уже значил, если она отнеслась к нему так терпимо, особенно после их малоприятного разговора у бобровой запруды. Зоська не Копыцкий, думал Антон, будучи почти уверенным, что ему удастся сладить с этой разведчицей. Еще ни одна девка, на которую он кидал глаз, не увертывалась от него, Антон знал силу своего обаяния и умел пользоваться им, если это ему было нужно. Теперь Зоська стала ему необходимой до крайности, и Антон надеялся, что, если постараться, все задуманное им исполнится. Только бы не подвел Копыцкий.

Стараясь держать направление в поле, он упрямо шагал против ветра и думал, что коль до Скиделя сегодня им не дойти, то надо позаботиться о ночлеге. Тем более что короткий день был на исходе, небо на востоке померкло, вроде стало темнеть. Они спустились в ложбинку с кустарником, Антон взял в сторону, чтобы не лезть в его колючие дебри, теперь в голом поле было сподручнее. Державшийся все дни небольшой морозец заметно отпустил, при ходьбе стало тепло, под кожушком даже жарко. Но Антон с раздражением отметил, что ветер все больше поворачивал с запада, откуда он всегда приносил непогоду и слякоть. Сухие крупчатые снежинки в воздухе постепенно превратились в разбухшие, таявшие на лице хлопья, рукава и полы кожушка потемнели от влаги. Антон поддел на ходу горсть снега, покомкал в ладонях — снег стал лепиться, и он подумал, что ночью, пожалуй, ударит ростепель, которая вконец испортит их полевой путь. Как бы не пришлось выходить на дорогу.

Он обернулся на косогоре — Зоська все отставала, и, когда догнала его, Антон тихо, про себя рассмеялся — так ее преобразил налипший на грудь, плечи и голову снег. Антон принялся молча сметать его с девушки, и та, слегка поворачиваясь, покорно подставляла себя под несильные удары его мокрой ладони.

— Устала?

— Немножко...

Весь день Антон намеревался заговорить с ней, подбирал удобный момент и присматривался к обстановке, чтобы сказать ей о том самом главном, ради чего он оказался с ней вместе. Но, как назло, обстановка мало благоприятствовала такого рода объяснениям: мешала то

близкая опасность, то присутствие рядом людей. Приходилось обрывать себя на полуслове и ждать более подходящего момента. И Антон ждал, с затаенной тревогой поглядывая на спутницу, то озабоченную, то испуганную, а теперь вот еще и измотанную этой бесконечной снежной дорогой.

Они прошли от Немана, наверно, километров десять, нигде не встретив жилья, и Антон потерял представление, где тут могла быть какая-нибудь деревня. Этот лесной район в излучине Немана он вроде бы знал неплохо, летом изъездив его вдоль и поперек, но теперь не узнавал ничего — так изменила его непроглядная снежная круговерть. Правда, сам он не очень устал и мог бы идти еще долго, однако ему жаль было Зоську. Хотя та и не жаловалась на усталость, но Антон видел, каково ей приходится на этом ветру в легкой одежке и мокрых с ночи сапогах.

Тем временем как-то вдруг стало темно, день незаметно кончился. Правда, ночь обещала быть светлой от массы свежего снега, но снегопад не стихал, и видимости почти не было. Отчасти это хорошо, думал Антон, никто их не обнаружит в метельном поле. Но и они не много могли обнаружить, идя все время вслепую и ежечасно рискуя наткнуться на неприятность.

Напряженно вглядываясь вперед, Антон сквозь мельтешащую сеть снегопада увидел несколько телеграфных столбов поблизости — верный знак проходившей где-то дороги. К счастью, на этот раз дорога была пустая, они второпях перебежали ее скользкий под снегом булыжник, стараясь поскорее отойти подальше. Но за дорогой под ногами оказалась засыпанная снегом пахота или вскопанное картофельное поле, идти по которому было сущим мучением, и Антон взял наискосок, значительно отклоняясь от прежнего своего направления. Когда впереди засерело что-то широкое, он подумал, что наткнулся на опушку леса, но, подойдя ближе, увидел ряд корявых, наклоненных в разные стороны верб, стоявших на одной стороне гати. Присматриваясь к ним, Антон невольно потянул носом и вместе с привычным запахом влажного снега уловил вкусный запах съестного.

— О, сало жарят! — сказал он, остановившись в некотором даже удивлении. — С цибулей...

Зоська тоже остановилась, они помолчали, и Антон понял, что не ошибся. Действительно, ветер скоро донес и запах дыма, значит, где-то в той стороне была деревня

или хутор, наверно, сулившие им пристанище. Антон круто повернул в сторону верб.

Только они взошли на невысокую насыпь гати под вербами, неясно различая справа белую поверхность пруда, как вдруг совсем близко от себя впереди увидели группу построек: под низко осевшей крышей темную стену сарая, заснеженные кроны деревьев вверху. Чуть дальше ютилась, наверное, хата, из ближнего к углу окошка пробивалось слабое пятно света: долетел странный в ночи, какой-то скрипучий звук. Когда звук повторился на более высокой ноте, Антон понял, что это играла гармошка. Предупреждающе двинув рукой, он остановился за дуплистым комлем залепленной снегом вербы. Запах дыма стал явственнее, но гармошка, кажется, умолкла, долетел и оборвался вдали приглушенный смех.

— А ну, постой. Я счас, — тихо бросил Антон замершей рядом Зоське, а сам осторожно направился к хате, забирая чуть в сторону, чтобы подойти к ней с огорода.

Летящие в лицо хлопья снега не давали как следует присмотреться к жилью, но он догадывался, что в хате идет гулянка, значит, немцев в деревне нет. Но удастся ли незамеченными устроиться здесь на ночлег, он не был уверен. По-видимому, надо было найти кого-либо из местных да расспросить про обстановку. Или хотя бы узнать, как называется деревня и какова обстановка в других деревнях по соседству.

На дворе, однако, никого не было, на минуту он затаился за углом сарая, вслушиваясь в беспорядочный приглушенный гомон в хате. Одновременно слышалось несколько мужских голосов, изредка между ними раздавался, по-видимому, женский смех, но что-либо понять было невозможно. Выждав минуту, Антон осторожно пробежал вдоль тына и прижался спиной к бревенчатой стене хаты со стороны огорода. Из окна на снег падало расплывчатое пятно света, в котором белыми мотылями неслись из темноты и оседали снежинки. Голоса за стеной стали явственнее, он уже поймал несколько обрывков фраз, к кому-то обращались, называя его «пан Юзик», и снова заиграла гармошка. Почти в тот же момент свет в окне исчез, на снегу под окном осталась только неясная косая полоска, которая то чуть расширялась, то совсем исчезала. Антон шагнул от стены и, потянувшись к синему наличнику, осторожно заглянул в окно.

За рамой на подоконнике тускло блеснула округлость, наверно, пустой бутылки, стояли миски со снедью, за ни-

ми чернела чья-то широкая мужская спина. Эта спина вдруг качнулась, подвинулась, и в окне, прикрыв свет, появился легший на подоконник локоть. Антон невольно отстранился от этого близкого, за самым стеклом, движения. Снова заглянув из-за наличника, он тихо, про себя, выругался — на темном рукаве поддевки голубела знакомая повязка полицейского.

Антон отшатнулся спиной к шершавым бревнам стены, оглянулся на угол. Заходить в этот двор было нельзя, судя по всему, там устроили гулянку полицаи или кто-то другой с участием полицаев, что нисколько не лучше. Надо было искать что-нибудь в другом месте.

По своим едва заметным на снегу следам он быстро перешел за сарай и под удаляющиеся звуки гармони пошел к недалеким силуэтам верб у пруда. И вдруг он вспомнил, что когда-то уже видел эти вербы и пруд, кажется, в сентябре они тут проезжали верхом с Кузнецовым. Антон хотел тогда напоить в пруду лошадь, но Кузнецов торопился и не разрешил останавливаться. Правда, он не знал названия деревни, но теперь и без того сориентировался, вспомнив, что недалеко был лес, а наискосок от него за ручьем, кажется, был хутор, на который вела из деревни обсаженная березами слабо наезженная полевая дорожка.

Зоська стояла возле крайней вербы, и Антон не сразу увидел ее, но вот она нетерпеливо шагнула навстречу, и он молча махнул рукой, направляясь от гати в метельную мглу поля. В этот раз он шел быстро, не приноравливаясь к шагу Зоськи, так как знал, куда надо идти, и ему не терпелось очутиться наконец под крышей. К тому же хотелось есть. Наверно, запах съестного и вид полицейской гулянки в хате разбудили в нем дремавший весь день голод.

Он и в самом деле скоро набрел в поле на ряд молодых березок, ровно выстроившихся вдоль совершенно заметенной снегом дороги, и уверенно повернул влево, навстречу ветру. Теперь уже не имело значения, где идти — полем или дорогой, и он пошел вдоль едва приметной в снегу посадки. Зоська старалась не отставать и, нагнув голову, где шагом, а где и бегом кое-как поспевала за ним.

Как он того и ждал, из темноты сперва появились две огромные липы у ограды, затем поодаль затемнели постройки — хата, гумно, несколько сараев, среди голой равнины поля образовавших эту хуторскую усадьбу. Хуторок, как с осени помнил Антон, не бросался в глаза

благополучием, да и хатенка выглядела довольно убого — вросшая в землю пятистенка с низенькими квадратами окошек. Когда-то тут жил старик с несколькими немолодыми женщинами, мужчин в тот раз, когда они останавливались у него, не было видно, и бойцы ни о чем не расспрашивали горестно вздыхавшего, со спутанной бородой старика, так как вовсе не рассчитывали когда-либо появиться тут снова.

Однако вот появились.

Покосившиеся ворота в ограде были заперты и чем-то завязаны изнутри. Антон, не пытаясь растворить их, перескочил через верхнюю жердь ограды, помог перелезть Зоське. Здесь он мало кого опасался: на этом богом забытом хуторе вряд ли мог находиться кто посторонний. Хорошо еще, если тут вообще кто-нибудь будет. Впрочем, это теперь не имело значения, им надо было прежде всего укрыться от ветра, обрести крышу над головой и немного перевести дух от изматывающей снежной карусели.

Приземистая хата под огромной шапкой крыши, с поленницей дров у сарая встретила их глухой тишиной и безлюдьем, из окон нигде не пробивалось ни пятнышка света, можно было подумать, что хутор давно заброшен и никого здесь нет. Но каким-то неясным внутренним чутьем Антон все-таки угадывал теплившуюся там жизнь, кто-то там был, хотя ничем и не обнаруживал своего присутствия. Так тихо и незаметно живут, вернее доживают, на свете старые люди — сами в себе, тихо, малозаметно для постороннего глаза.

Зоська след в след шла сзади. Антон молча взошел на каменные ступеньки крыльца и толкнул дверь в сени. Дверь, как он и ожидал, была не заперта. Вытянув руки, он прошел темное пространство сеней и, широко зашарив по бревнам стены, нащупал вход в хату. Легко растворив дверь, шагнул через высокий порог да так и остался у порога в принесенном с собой белом облаке стужи.

Из едва освещенного единственной свечой полумрака к нему повернулось несколько лиц женщин в темных одеждах, их сложенные на груди руки замерли, произнесенная тихим голосом молитвенная фраза оборвалась на полуслове. Антон скользнул взглядом ниже, к трепетному огоньку свечи, робко светившей в изголовье установленного на двух табуретках гроба. С трудом преодолевая замешательство, он нерешительно, со страхом или отвращением взглянул на желтое, сморщенное личико в гробу, за-

быв закрыть дверь и уже ясно понимая, что явился сюда некстати.

— Да-а... Ладно, — пробормотал он, пятясь к открытой двери, где уже появилась Зоська.

Едва освещенные снизу мигающим огоньком свечи скорбные лица женщин снова обратились к покойнице, с тихой напевностью зазвучали незнакомые слова католической молитвы, и он почувствовал, что следует задержаться хотя бы на одну минуту. Мокрой рукой он стащил с головы мокрую от растаявшего снега шапку и молчал. Зоська большими глазами ошеломленно глядела на покойницу. Наверно, надо было сказать что-то, приличествующее такому случаю, но он решительно не мог придумать, что можно сказать, и все глядел то на свечу, то на мертвое лицо в гробу. По-видимому, это его замешательство женщины поняли по-своему, и одна из них, неслышно нырнув в темноту, тотчас вернулась с чем-то, прикрытым краем передника.

— Вот, не обессудьте на горюшко... Не обессудьте на горюшко.

Она обращалась к Зоське, и та послушно и без слов приняла у нее что-то и, слабо толкнув локтем Антона, первая повернулась к двери. Надев шапку, Антон с облегчением выбрался из темных сеней на белый от летящего снега двор хутора.

— О, черт! — произнес он в сердцах, охваченный прежней заботой. С ночлегом у них упорно не клеилось.

Он не знал, куда идти дальше, не расспросил о том в хате, а снова возвращаться туда у него не хватило духа. Подавленная увиденным, Зоська горестно стояла рядом, прижимая голые руки к груди.

— Что это? — спросил Антон. — А, хлеб! А ну, дай сюда.

Он взял из ее рук краюшку черствого, как камень, хлеба и четыре сваренные в мундирах картофелины, рассовал их по карманам, а краюшку затолкал за пазуху.

— Ну? Пойдем, авось еще что подвернется.

9

Долго и почти вслепую они шли по голой равнине поля. Снег, не переставая, валил в темноте мокрыми хлопьями. Колени, рукава и ноги у Зоськи давно были мокрые, и она думала: хотя бы не промок сачок, где ей тогда обсушиться? Антон молча, с удвоенной энергией шагал и ша-

гал куда-то, может, зная, а может, в ночь, наугад. Зоська хотела попросить его сбавить этот совсем уже непосильный для нее темп, но не посмела. Он и тут знал местность лучше ее, а главное, лучше ориентировался в этом снежном ночном пространстве, и она изо всех сил старалась не отстать. Она уже притерпелась к ветру, к снегопаду и только сгибала пониже голову, когда лицу становилось невтерпеж от стужи. Перед ее глазами продолжала стоять печальная картина ночного хутора. Не раз за войну видела она, как хоронили человека, но такие мирные, «женские» похороны ей довелось видеть впервые. И, кажется, никто там не голосил, не плакал, все сосредоточенно, с глубокой верой молились, словно вершили какое-то важное, хотя и маловеселое, дело. И ни одного мужчины — только женщины. Нет, Зоська просто страшилась таких похорон, они поражали ее своей непривычной обыкновенностью. И, может, впервые она подумала: а какие похороны уготованы ей, Зоське?..

Но нет, ей рано думать об этом, у нее трудное, на несколько дней расписанное задание. Надо побывать в Скиделе, на двух хуторах, съездить в Гродно, может быть, удастся повидать мамусю. Ей еще надо многое успеть в жизни, зачем думать про похороны?

Однако она приотстала. Тусклая тень Антона едва просматривалась в ветреных сумерках, слева тянулась стена хвойного леса, и Зоська подумала: неужели придется сворачивать в лес? В лес она не хотела, ей лучше было в этом метельном поле, чем в мрачном, гудящем, невесть что таящем лесу. Чавкая вконец раскисшими сапогами, она побежала за Антоном, который на этот раз остановился и дал ей подбежать вплотную.

— Видишь? Видишь, куда мы зашли?

Низко надвинув на глаза шапку, он показывал в сторону леса, опушка которого отворачивала куда-то влево, а впереди перед ними тянулась неровная полоса кустарника и невысоких деревьев, — возможно, посадка у дороги. Стараясь что-то понять, Зоська молча вгляделась в слепящие снегом сумерки.

— Лес?

— Не лес. Котра, гляди.

— Котра?

— Ну. Вон куда вышли! Надо было правее. Теперь такого крюка давать...

Зоська молчала. Все в ней опало внутри от этого нежданного известия — действительно, если это речушка

Котра, то они слишком отклонились в сторону и давно оставили позади Скидель.

— Теперь в Скидель притопаем утром, не раньше, — сказал Антон.

— Мне надо ночью.

— Конечно, лучше бы ночью. Но теперь не успеем.

Нет, в Скидель она не могла соваться в светлое время, когда ее легко могли опознать на улицах, ей надо было в темноте зайти со стороны Озерской дороги, найти крытый гонтом домик под липой и постучать во второе от улицы окошко.

Минуту постояв на ветру, она ощутила легкий озноб в теле, все-таки сачок ее, наверно, стал промокать, тем более что снег начал постепенно переходить в дождь, все уже на ней было мокрым с ног до платка. Антонов кожушок тоже потемнел от влаги, хотя Антон, кажется, не обращал никакого внимания на непогоду. Ладонью он небрежно отер влажные капли с лица и звучно высморкался на снег.

— Ладно. Давай жми за мной, — сказал он, круто забирая вправо, в мокрую темень поля, из которой несло и несло по ветру не понять уже чем — дождем или снегом.

Подавляя в себе легкую досаду на Антона, который, как оказалось, все-таки приплутал в этом поле, Зоська пошла следом. Ходьба по мокрому снегу отнимала последние силы, снег прилипал к сапогам; местами его навалило много, и она черпала голенищами; настылые ноги даже при ходьбе уже не могли согреться. Поразмыслив, однако, Зоська решила, что досадовать на Антона не следует: при такой погоде заблудиться никому не заказано. Во всяком случае, она могла вообще забрести неизвестно куда, ориентировалась она всегда скверно и в детстве частенько плутала по лесу, когда собирала с бабами ягоды. Правда, там можно было покричать, позвать мамусю или знакомых скидельских теток, здесь же не крикнешь, и никто тебе не откликнется. Тут вся надежда на Антона, и хорошо еще, что он обнаружил ошибку и знал, как ее исправить.

Кажется, он действительно знал, куда идти дальше, потому что не прошли они и четверти часа, как он снова остановился возле каких-то кустарников, поджидая Зоську.

— Вроде нам повезло, — сказал он тихо. — Постой тут, я схожу...

Зоська вгляделась в жиденькие деревца зарослей с облепленными снегом ветвями, поодаль за ними что-то темнело, то ли какая постройка, то ли скирда соломы, похоже, однако, усадьба. Отвернувшись от моросящего дождем ветра, она подождала минуту, другую, все вглядываясь в темень и ожидая увидеть идущего к ней Антона. Вскоре услышала его приглушенный голос:

— Иди сюда...

«Наверно, что-то нашел», — радостно подумала Зоська, быстро выходя из кустарника. Действительно, подле зарослей мелколесья на снегу темнела стена какой-то длинной постройки с обрушенной с одного конца крышей, разломанной и полузанесенной снегом оградой, каким-то инвентарем, разбросанным вокруг и тоже заваленным снегом. Антон деловито обошел постройку, заглянул внутрь, в черный провал настежь раскрытых ворот.

— Вот была усадьба. Сожгли. Одна обора осталась.

Похоже, в самом деле это была старинная хуторская обора — длинное, сложенное из валунов и булыжника помещение для скота с маленькими окошками в стене и зияющими пустотой воротами. Поблизости ничего больше не было видно, только за оборой высилось несколько старых деревьев да серел голый, засыпанный снегом кустарник.

— Иди сюда. Не бойсь, — позвал ее Антон из темного проема дверей, откуда несло горькой вонью пожарища и навоза.

Несмело ступая в снегу, Зоська вошла за ним в пугающе пустынную темень оборы и остановилась, не зная, куда ступить дальше.

— Сюда, сюда, — позвал он откуда-то из темноты, и, только когда в его руках вспыхнула спичка, Зоська увидела полурастворенную низкую дверь и в ней темную тень Антона.

— Иди, не бойся!

Все борясь с нерешительностью, Зоська переступила высокий порог, не успев еще что-либо рассмотреть, как спичка потухла.

— Так, хорошо, — удовлетворенно проговорил Антон в совершенно глухой темноте и зажег другую спичку, на несколько секунд осветившую закопченный потолок, мрачные каменные углы и, к вящей радости Зоськи, — широкую топку печки напротив.

— Вот, поняла? — радостно сказал Антон. — Печка

есть, тепло будет. Садись сюда, на солому или что тут... Садись! Сейчас мы разожжем печку. Не может быть...

Содрогаясь от все больше овладевавшего ею озноба, Зоська опустилась в темноте на что-то холодное и мягкое, не сдержавшись, раза два звучно клацнув зубами. Мокрые руки сунула за пазуху, сгорбилась, сжалась в единоборстве с обуявшим ее холодом и прикрыла глаза. Озноб колотил ее люто, но здесь не было ветра, а главное — было тихо и больше не надо было идти. Перед глазами ее все вдруг закачалось, поплыло в сладкой дремотной истоме, и она действительно уснула вдруг и так крепко, что сразу перестала ощущать, где она и что с ней происходит.

Спала она недолго, может, несколько минут, не больше. Она поняла это, вдруг пробудившись от яркой вспышки огня — Антон возился у печки, разжигая какие-то обломки досок, и она опять содрогнулась от стужи и испуга.

— Не бойсь! Это я — пороха из патрона. Не горит, холера...

Присев возле топки, он яростно дул в нее, обломки досок нехотя тлели квелым огнем, густо коптя сизым дымом, который не хотел идти в печь и кручеными струями валил наружу. Но вот Антон дунул сильнее — между досок возникло несколько язычков пламени, и Зоська успокоенно смежила веки...

Снова проснулась она от легкого прикосновения чьей-то руки, но она уже знала, что это рука Антона, и не испугалась, вслушиваясь в его спокойный, как бы подобревший голос.

— Слышь?.. Давай раздевайся. Будем сушиться.

Она раскрыла глаза, с приятностью чувствуя широко идущее к ней тепло, — в печке вовсю полыхали доски, черные концы которых длинно торчали из топки; по низко нависшему потолку, каменным с морозными блестками стенам каморки гуляли причудливые огненные сполохи. Антон стоял перед ней на коленях в деревенской вязки шерстяном свитере, а возле топки, распятый на палках, сушился его кожушок.

— Слышь? Раздевайся, тепло уже.

Действительно, тесная каморка была полна дымного тепла, парности и тишины, нарушаемой лишь гулом пламени в печке. Зоська стряхнула с себя остатки дремоты и улыбнулась.

— Ну, согрелась?

— Согрелась.

— А ты говорила... Со мной не пропадешь, малыш-

ка, — бодро сказал Антон и ударом ладони задвинул подгоревшие концы досок в топку, из которой в темный потолок шуганул косяк искр.

— Ой, как бы пожара не было! — испугалась Зоська.

— Не будет: камень. А сгорит, не беда. Снимай сапоги, наверное же, мокрые?

— Мокрые.

— Снимай куртку, все, сушить будем. Тут теперь никого. Ближайшая деревня далеко — на том берегу, за Котрой.

Она развязала мокрый, измятый платок, который Антон принялся пристраивать возле кожушка, сняла сачок, минуту подержала его перед топкой, наблюдая, как от сачка густо повалил в печку пар. Сапоги и подол ее юбки были мокрые, наверно, еще со вчерашнего, она скинула сапоги, а затем, помедлив, стащила и свои шерстяные чулки, Антон умело пристроил все это на палках поближе к печке.

— На вот, садись на кожух — уже высох. О, как нагрелся! Огонь!

Она с наслаждением опустилась на теплую шерсть знакомого ей Антонова кожушка, подставляя мокрые, раскрасневшиеся колени под живительное тепло из топки.

— Та-ак, — удовлетворенно сказал Антон, устраиваясь подле. — А теперь перекусим. Вот по куску хлеба и по две картошки. За помин души той бабуси, — пошутил он, разламывая сухую горбушку.

Помедлив, они принялись есть хлеб с картошкой и скоро все съели, ничего не оставив на завтра. Конечно, они не наелись, но раздобыть еду тут все равно было негде, приходилось терпеть до завтра.

— Ну вот и поночуем. А что? Лучше, чем в какой-нибудь хате, — сказал Антон и придвинулся к Зоське, слегка задев ее локтем. — Вдвоем, и никто не мешает. Правда?

Она не ответила и не отстранилась; лишь с усмешкой взглянула в его странно заблестевшие в полумраке глаза. Оно, может, и лучше, подумала Зоська, а может, и нет. В этом их уединении было что-то хорошее, но что-то и пугало, хотя она старалась не думать о том. Теперь ей было хорошо, тепло и даже какую-то минуту благостно на душе. В самом деле, над головой была крыша, горел в печурке огонь, а рядом сидел тот, кто уже столько раз выручал ее в этом трудном пути. Хотелось думать, что он поможет и впредь, и все обойдется как надо.

— Вот сидишь, а маме, наверно, и не снится, что ее дочка возле Котры ночует?

— Мама меня, наверно, давно уже похоронила. С самой весны не виделись.

— Ну, это еще ничего не значит, — утешил Антон. — Люди все равно скажут. Видели же, наверно, тебя знакомые в деревнях, могли передать.

— Наверно, видели, — согласилась Зоська, не зная еще, как расценить это, — хорошо или плохо, что видели ее среди партизан. Хорошо, если передали маме, но могли передать и кому не следовало. Тогда ее партизанство могло худо обернуться для мамы.

— Мое вот другое дело, — сказал вдруг Антон. — Некого бояться. Никто тут меня не знает, никто не беспокоится.

— А уже узнали, наверно. С Кузнецовым же ты все деревни объездил?

— А в деревнях кто меня заприметит? Приехал и уехал. Партизан, как все.

— Не скажи. Девчата заприметят. Приметный.

Антон с легкой улыбкой посмотрел ей в глаза.

— В этом смысле согласен. Приметный. Но что мне девчата! Я сам заприметил одну.

— Где? — встрепенулась Зоська.

Антон легонько похлопал ее тяжелой рукой по плечу.

— А в отряде. Разведчицу одну. Славненькую такую малышку.

— Ай, неправда, — намеренно с недоверием сказала Зоська, почувствовав, как сладко защемило у нее под ложечкой.

— Нет, правда. Сама же понимаешь, на что пошел. И ради кого. Зосятка ты моя...

Он глядел на нее уже без тени иронии. Крепкое его лицо с тронутым щетиной подбородком стало серьезным и придвинулось вплотную к ее лицу. Зоське стало неловко, и она сконфуженно взяла его левую руку, легшую ей на колени, деликатно пожала ее.

— За это спасибо. Только...

— Не надо теперь про только. Дело, видишь ли, в том... — сказал он и, притихнув, осторожно, будто в раздумье, обнял ее. Она вздрогнула, напряглась и молчала. — Дело в том, что...

Она напряженно ждала, замерев в его странно томящих объятиях, а он вдруг запрокинул ее голову и с каким-то отчаянием, резко поцеловал в губы.

— Антон!

— Что я могу поделать, — прерывисто вздохнул он, не расслабляя на ней своих цепких рук. — Полюбил я тебя.

— Правда? — изумленно прошептала она, огорошенная этим его признанием. Никто еще не объяснялся с ней так серьезно и такими словами, она вся обмерла в ужасе, в совершенном, ни с чем не сравнимом восторге.

— Да, знаешь, теперь я готов на все, — еще решительнее сказал он, и голос его странно дрогнул. Она, не шевелясь, сидела в его теплых, уютных и таких сладостных теперь объятиях, с удивлением слушая, как сильно стучит ее сердце.

— Вот я сказал тебе все, знай. А ты что мне скажешь?

Зоська помедлила, с трудом собираясь со своими смятенными мыслями. Ей было очень непросто так вот, в глаза, сказать обо всем, что она чувствовала к этому человеку, и даже самой до конца понять свое к нему чувство. Ей было и приятно, и радостно, и одновременно страшно чего-то, и она не знала, какому из этих чувств отдать предпочтение. Но, кажется, в эту минуту он понимал ее лучше, чем она могла разобраться в себе сама.

— Ведь ты меня тоже... знаю я, любишь?

— Знаешь, я тоже, — тихо сказала она. — Хороший ты...

— Ну вот, спасибо, — жарко выдохнул он у самого ее уха и снова поцеловал ее в щеку, в переносье, а потом длинным продолжительным поцелуем — в губы.

— Ой, так не надо! — задохнулась Зоська.

— Нет, надо. Надо...

Печка с огнем качнулась, уходя в сторону, Зоська ощутила близкое тепло кожушка и странно сковавшую ее мужскую силу Антона, поспешные движения его властных рук, от которых у нее нечем было защититься.

— Антон!.. Антоша...

— Все хорошо, все хорошо, малышечка, — шептал он.

— Не надо, Антон... Не надо...

Он, однако, уже не ответил, и она с отчетливой безнадежностью поняла всю неотвратимость его властной силы. Ее же сила и воля пропали, уйдя в теплое блаженство его объятий. Она лишь чувствовала, что так не надо, что они поступают плохо, затуманенным сознанием она почти отчетливо понимала, что погибает, но в этой погибели была

какая-то радость, а главное, было сознание, что погибала она вместе с ним. В этом было единственное ее оправдание и ее утешение, а может, и единственное ее счастье.

Она не помнила, что было потом. Возможно, наступил сон или страшное всеобъемлющее небытие, когда совершенно исчезают память и чувства, несколько долгих часов она перестала ощущать себя в этом мире, словно отсутствовала в нем, лишившись сознания.

...Проснулась она так же, как и уснула, — вдруг от какого-то тревожного толчка изнутри и, боясь шевельнуться, раскрыла глаза. В тесной каменной каморке было темно, но несколько щелей в заткнутом соломой окошке уже рассветно светились, концы соломин там беззвучно трепетали от задувавшего снаружи ветра. Было прохладно, в черном прямоугольнике топки не светилось ни одного уголька, тускло серел обшарпанный закоптелый бок печи и зловеще чернели закопченные углы каморки. Не шевелясь, Зоська обвела их пугливым взглядом, догадываясь, что когда-то тут была кубовая или котельная, где запаривали корма и грели для скота воду. Потом она перевела взгляд ниже, почувствовав на себе знакомое прикосновение кожушка и рядом — источавшую живое тепло широкую спину Антона, его спокойное дыхание. Антон спал, и Зоська боялась пошевелиться, чтобы не разбудить его. Ей надо было чуток времени, чтобы собраться со своими невеселыми мыслями, понять, что с ней случилось. Случилось, конечно, скверное, она была виновата и корила себя, как могла. Но она понимала, что теперь поздно угрызаться, случившегося не исправить. И, поразмыслив, она утешилась единственной возможной в ее положении мыслью, что с каждой девушкой это должно когда-либо случиться. Может, правда, не так, — иначе и красивее, но теперь все в жизни не так, как заведено испокон веков, хуже, потому что теперь — война. К тому же с Октябрьских праздников ей пошел девятнадцатый год, она уже не девочка, так, чего доброго, недолго и состариться в девках или, что еще хуже, погибнуть, никогда не узнав ни любви, ни мужчины. Во всяком случае, полежав немного и обдумав свое положение, Зоська успокоенно-робко вздохнула с ощущением того, что ее, казалось, непоправимая беда вроде бы оборачивалась, хотя и неожиданным, но, может, еще не наихудшим образом. Одно было бесспорно: на ее нелегком, полном многих страхов военном пути появился этот решительный симпатичный парень. Пусть не навсегда, ненадолго. Но что теперь навсегда и надолго?

Свернувшись калачиком в ласковом тепле Антонового кожушка, она тихонько вздохнула: что ж, чему быть, того не миновать. Конечно, было удивительно и необычно все, что произошло с ней за эти две ночи. Она встретила на болоте своего суженого, испугалась, обрадовалась, разделила с ним на двоих этот ее полный опасностей путь, приведший их наконец к одинокой ночной оборе. Но что ей, мокрой, замерзшей, еще оставалось? Он славный, видный из себя мужчина, смелый и не охальник, а в том, что произошло между ними, наверно, большая доля вины падает и на нее тоже. Видно, такова воля случая. Зоська уже слышала от умных людей, что с того дня, как разразилась война, в мире воцарились сплошные случайности, одна из которых, видно, выпала и на ее долю. Поэтому стоит ли очень расстраиваться, не лучше ли спокойно, без угрызений пережить все случившееся и продолжать свое дело — выполнять задание, которое, чувствовала она, еще принесет ей немало других бед, и среди них эта, может, не самая худшая.

И все же ей было крайне неловко перед Антоном, особенно когда она представила себе, как он проснется и они выберутся из этой темной оборы. И еще она чувствовала свою вину перед Сашкой, с которым дружила перед войной и даже собиралась за него замуж. Уходя по мобилизации, Сашка наказывал ждать, и вот дождалась... Правда, ей теперь стало ясно, что Сашку-то она и не любила по-настоящему, скорее это он к ней присох и однажды предложил пойти в сельсовет расписаться. Сашка тоже был, в общем, неплохим парнем, они вместе росли на одной улице, но что-то ее удерживало тогда от замужества, и она все откладывала. Но вот, странное дело, подумала Зоська, предложи ей такое Антон, не стала бы тянуть и недели — согласилась бы тотчас, хоть в первой попавшейся на их дороге деревне. Что значит любовь с первого взгляда или что-то еще, чему и названия, наверно, не придумали люди. С Антоном она готова была хоть на край света, особенно теперь, после этой дороги и этого ночлега в оборе.

Стараясь не потревожить сонного Антона, Зоська осторожно повернулась на бок. Ее глаза уже привыкли к едва поредевшим в каморке сумеркам, и она снова увидела его запрокинутое на соломе лицо и его четкий, словно вырубленный из твердого камня, профиль с прямым, ровным носом и мускулистым подбородком, который, словно осколком, был помечен на конце маленькой ям-

кой, — такие подбородки у мужчин всегда нравились Зоське. Ощутив прилив ласковости к нему, она тихонько высвободила из-под кожушка свою теплую руку и кончиками пальцев дотронулась до его плеча. Он не почувствовал ее прикосновения и продолжал мерно дышать во сне. Она подумала: пусть спит, время, наверно, еще раннее, и только попыталась убрать под кожушок руку, как в глухой тишине оборы услышала какой-то долетевший снаружи звук. Она еще не поняла, что это был за звук, и обмерла, вся уйдя в слух. Но вот звук повторился, он был похож на несильный отдаленный удар по мягкому, и тотчас до нее отчетливо донеслось восклицание: «Но-о, пошел, падла!»

— Антон! Антон, слышь?

Резко сбросив с себя кожушок, она подхватилась и села, опять замерев, Антон тоже вскочил на соломе и с расширенными от сонного испуга глазами затих, соображая и вслушиваясь. Потом, не сказав ни слова, сунул в сапоги ноги и в одном свитере широко шагнул за порог. Дверь за ним медленно широко растворилась, и порыв ветра, дунувшего в каморку, сразу вынес из нее все накопленное за ночь тепло. Вздрогнув, Зоська стала поспешно натягивать ссохшиеся, покореженные у огня сапоги, ежесекундно ожидая, что Антон крикнет и надо будет бежать.

Но продолжительное время Антон не подавал голоса, и она кое-как успела обуться, повязала платок и надела просохший, задубевший на плечах сачок. Снаружи ничего больше не было слышно, и это немного успокаивало. Но Зоська все вслушивалась, стоя возле настежь раскрытой двери за притолокой. Свернутый Антонов кожушок она держала в руках, не зная, выходить из каморки или дожидаться Антона здесь.

Выходить ей не пришлось. Минуту спустя Антон воротился с наганом в руке, прикрыл за собой дверь и молча засунул наган в карман брюк.

— Ну? Кто там? — тревожно спросила Зоська.

— Садись. Куда собралась? — вместо ответа бросил Антон и сел на солому.

Мало что понимая, Зоська во все глаза смотрела сзади на его сильные плечи под свитером, круглую голову со всклокоченными без шапки волосами. Лицо у Антона выглядело крайне озабоченным или злым, и она повременила с расспросами. Антон рассеянно заглянул в потухшую печку.

— Полицаи, кто же, — запоздало ответил он с раздражением, уронив с колен длинные руки. Зоська шагнула от двери и накинула ему на плечи еще теплый его кожушок.

— Что же теперь делать? — озабоченно спросила она.

— Что сделаешь? Сидеть надо.

Он с потерянным видом глядел перед собой в потухшую топку, и Зоська не могла взять в толк, что с ним случилось. Неужели тут так опасно сидеть и так его напугали полицаи? Или он недоволен ею? Может, он жалеет и раскаивается, что пошел за ней из отряда? Что с ним случилось за это утро, почему он так вдруг переменился, обвял и стал так мало похож на себя прежнего? — думала Зоська.

10

Пока Зоська обувалась в каморке, Антон, перебежав через наметенный в обору сугроб, глянул в одну дверь, в другую и вдруг, подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полутораста шагах от оборы небыстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седоками в черных шинелях. Антон сразу понял: полицаи. В обору долетали обрывки их разговора, смех, кто-то, матерно выругавшись, с ожесточением хлестнул кнутом лошадь.

Стоя за притолокой, Антон, однако, быстро опомнился от первого испуга, поняв, что полицаи направлялись не к ним, а мимо, по какой-то своей надобности, в сторону Немана. На обору никто из них не обратил внимания, ночных следов в снегу нигде не осталось, все хорошо заровнял снегопад. Антон перевел дыхание и вслушался в долетевшие с дороги слова, но смысл разговора уловить было трудно. Однако первое услышанное слово заставило его насторожиться. Он явственно разобрал «Сталинград», потом еще раз произнесенное кем-то из полицаев это же слово и едва различил затем «дали» или, может быть, «взяли». Это его заинтересовало. Он напряг все свое внимание, но ветер относил слова в сторону, и ему удалось разобрать еще лишь «наступление». Далее, сколько он ни вслушивался, понять ничего не мог — сани отъехали далековато и вскоре совсем скрылись на повороте дороги за каменным углом оборы.

Опасность вроде бы миновала, полицаи уехали, но Антон все еще стоял у притолоки, озадаченный и заинтересованный тем, что услышал. В каком смысле они упоми-

нали о Сталинграде? Что значит «дали»? *Сдали* или, может быть, *взяли*? И что может означать «наступление»? Чье наступление? А возможно, они говорили: отступление? Нет, скорее всего смысл был в том, что немцы предприняли новое наступление на Сталинград, где всю осень шли ожесточенные бои, и, наверно, взяли наконец этот далекий город на Волге.

Но что же тогда получалось?

Совершенно растерянный и озадаченный, он вошел в каморку, все продолжая ломать голову над этой полицейской шарадой. Зоська спрашивала его о чем-то, но он не слушал ее, он думал, что́ все это может означать для него лично. Конечно, сколько-нибудь убедительных фактов у него не имелось, были только загадки. Но он особенно и не нуждался в фактах, он уже был подготовлен к единственно приемлемому для него выводу: надо спешить! Надо, пока не поздно, кончать с партизанством, позаботиться о собственной голове, пока она еще на плечах, и внедряться в новую, на немецкий лад, жизнь, коль ничего не вышло с советской.

— Зось, ты понимаешь? — сказал он, не поворачивая к ней головы. — Немцы Сталинград взяли.

Он думал, что Зоська начнет сокрушаться или даже заплачет, он бы тогда ее утешил. Но, к его удивлению, она только моргнула и с наивным видом спросила:

— Это когда?

— Не знаю, — пожал он плечами. — Слыхал, полицаи там разговаривали.

— Враки, наверно, — подумав, сказала Зоська. — Хотя, может, и правда. Столько понахапали, что им. Сила!

— Сила, да, — согласился Антон, не совсем представляя, как ему вести разговор дальше. Он не ожидал со стороны Зоськи такой легкости по отношению к главной сути его вопроса и мучительно подыскивал в уме возможные подходы к главному. Зоська же, вроде безразличная к его известию, деликатным прикосновением холодных пальцев запахнула на нем кожушок.

— Застегнись, а то холодно. Полицаев много поехало?

— Человек шесть, наверно.

— Поехали мимо?

— Ну. Тут рядом дорога.

— Это хуже. И печку затопить нельзя?

— Печку нельзя, — сказал он и добавил не очень решительно: — Может, выйдем и потопаем в Скидель?

— Днем? Ну, что ты...

Нет, кажется, она оставалась при прежнем решении, подумал Антон, и намерена выполнять данное ей задание. А то, что вот-вот могла окончиться война и немцы всей своей мощью навалятся на их пущу и, как зайцев, перестреляют всех партизан, этого она вроде бы не допускала и в мыслях.

— Слушай, а ты знаешь, где находится Сталинград? — спросил Антон.

— Далеко, — сказала Зоська.

— Вот это ответ! — кисло усмехнулся Антон. — В школе за такой ответ ставили двойку.

Антон встал, надел в рукава кожушок. Зоська, стоя напротив, положила руки ему на плечи.

— Мы же не в школе, Антоша. Мы свой экзамен сдали, — сказала она со вздохом.

— Как бы не так, — сказал он и нетерпеливо высвободился. — Кажется, главный экзамен еще впереди.

— Наверно, — охотно согласилась Зоська. — Так трудно добраться до этого Скиделя, а там что будет — одному богу известно.

— Вот именно, — подтвердил он и спохватился, поняв, что каждый из них имеет в виду свое. — Поэтому слушай. Давай, пока есть время, обмозгуем все. Чтоб в дураках не остаться.

— Давай! — сказала она. — Только... Ты побудь, я на минутку...

Она выскользнула из каморки, тщательно притворив за собой дверь. Антон стоял, занятый своими мыслями, они кружились возле Зоськи, от благоразумного поведения которой слишком многое зависело в его решении. Конечно, он понимал, что прямолинейности партизанского мышления в ней будет достаточно, видно, не так просто склонить ее к единственно правильному выводу, придется, пожалуй, начать издалека и постепенно подвести к неизбежному. Главное, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может справиться вся Красная Армия. Зоська к тому же не вправе забывать, что в Скиделе у нее мать, и должна понимать, какой опасности подвергает ее как партизанка. Если до сих пор все в этом смысле сходило благополучно, то это вовсе не значит, что немцам или полиции в конце концов не станет известно, где находится доченька одной скидельской мамы. Антон чувствовал, что в этом был его главный козырь и он выбросит его под конец, если не по-

действуют все прочие козыри. Правда, в его неплохо продуманном плане было одно уязвимое место: то, что касалось Копыцкого. Как он отнесется к Голубину и его подруге, когда те явятся на жительство в Скидель, все-таки оставалось неизвестным. И даже если сам он отнесется к ним благосклонно, то как на это посмотрят его начальники, немцы?

Антон топтался на примятой соломе каморки, задумчиво глядя под ноги. В глаза ему попался растоптанный окурок на полу, нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты — тонкий, из желтоватой бумаги, хотя, конечно, курить тут мог кто угодно — от немцев до партизан, наверное, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него — из-под соломы вытянулся целый клубок замусоленных, ссохшихся от крови бинтов, которые он брезгливо отбросил в сторону носком сапога и стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно бледным лицом.

— Антон! Там...

— Что такое?

— Там убитые!

Убитые — не живые, убитых можно было не бояться, подумал Антон, убирая руку из кармана с наганом. Зоська выскочила из каморки, и он не спеша пошел за ней через языки снежных суметов в дальний, с обрушенной крышей, конец оборы.

— Вот, видишь? Я гляжу, думала — камни, подхожу, а это убитые. Глядь, боже! Да это же наш Суровец! — вся содрогаясь от волнения, говорила Зоська.

Антон подошел к стене, где в сумраке нависшей полуобвалившейся крыши за грудой камней лежали убитые.

Действительно, один из них был Суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета кителю со множеством пуговиц на борту — такого шикарного кителя не было ни у кого в отряде. Других признаков удалого подрывника осталось немного, разве что его непокорная, всегда распадавшаяся надвое шевелюра, которая теперь была примята и смерзлась от залепившего ее снега. Суровец лежал на спине вдоль стены, раскинув босые, в грязных потеках ноги, с правого бока чернела у него рваная дыра в кителе. Видно, еще у живого из нее наплыло много крови, которая темной лужей смерзлась на грязном, в

навозе, земляном полу. Рядом, привалясь правым плечом к стене, сидел, согнувшись и низко уронив голову, другой партизан, в грязной голубой майке. Все верхнее с него было снято, и в майке на спине чернели три кровяных дыры от пуль, вышедших где-то спереди, — все там у него, на груди, животе и коленях было залито заскорузлой спекшейся кровью. Этого второго Антон знал мало, даже не помнил его фамилии, он появился в отряде недавно, говорили, какой-то комсомолец из местных.

— Вот видишь? Антон! — схватила его за руку Зоська. — Это как же? Ведь это же их убили?

— Ну, понятно, убили. Не удавили же, — сказал Антон и тронул сидящего за плечо. Труп, покачнувшись на коленях, мягко завалился на бок, не двинув ни одной закостеневшей конечностью, — поджатые к животу руки и согнутые в коленях ноги так и остались в прежнем, согнутом, положении.

— В спину. Видишь, из автомата сзади. Полицейская работа, сразу видать, — сказал Антон и посмотрел на Зоську, которая изменилась в лице; Антон переживал тоже, но не очень сильно. Он уже разучился сильно переживать за других, настало время позаботиться о себе. Чтобы не пришлось кому-либо переживать за него самого.

— Антоша, как же так? Они ведь пошли в Лиду, как же они оказались здесь? И где остальные? Ведь никто же из шестерых не вернулся.

— Теперь как узнаешь? — сказал Антон. — Теперь тут все — темный лес.

— Слушай, а почему полицаи их не забрали? Почему здесь оставили? — не унималась с вопросами Зоська, кажется, готовая вот-вот заплакать. Обеими руками она вцепилась в кожушок Антона.

— А я откуда знаю? Может, для приманки. Вот мы пришли, а они и нагрянут. Кто их, сволочей, знает.

Зоська, побледнев, во все глаза смотрела на Антона.

— Что же нам делать, Антон? — испуганно вопрошала она.

— Черт его знает, что делать. Пойдем пока отсюда.

Они перелезли через обрушенную со стены груду камней и вернулись в свой конец оборы. Зоська все оглядывалась, остро переживая гибель знакомых людей, у Антона же было такое чувство, словно он попал в западню и не спешит из нее вырваться. Он уже знал по опыту, что промедление никогда не сулит хорошего и запросто может погубить любого. (Не оно ли погубило в этой оборе и Су-

ровца?) Вполне возможно, что полицаи при случае или регулярно наведываются в это одинокое в поле убежище и кое-кого застают тут. Нет, надо скорее смываться отсюда, думал Антон. Но как смоешься, когда в этом поле ты виден на пять километров и в любой момент тебя могут настичь полицаи?

— Придется пока торчать тут, — сказал он, заглядывая в широкий проем сорванных с петель ворот. — Только наблюдать надо. А то...

Зоська поняла и тоже остановилась, выглянув на ветреный снежный простор. Поле перед оборой лежало пустое, с едва заметным отсюда следом саней на дороге; в ворота задувал промозглый, насыщенный влагой ветер; рыхлый, нападавший за ночь снег всюду осел, будто подтаял; кустарник возле оборы резко зачернелся на его белизне; с толстых сучьев мощного вяза то и дело валились вниз мокрые комья снега. Там где-то, на невидимой из оборы верхушке, возилась и громко кричала ворона.

— Цыц, зараза! — сказал Антон, подумав, что ворона теперь ни к чему, ворона может их выдать. Подняв из-под стены обломок стропила, он ступил на шаг из ворот и замахнулся. На вязе, оказывается, расположилась целая воронья стая, Антон запустил палкой — вороны одна за другой нехотя снялись и низко полетели куда-то за обору.

— Зося! — сказал Антон, возвращаясь в обору. Зоська все еще с бледным лицом внимательно посмотрела на него, и в этом ее взгляде была бездна безысходной печали. — Зося! Ты понимаешь наше положение? — сказал он, тоже заглядывая ей в глаза.

— Ну, понимаю, — тихо ответила она.

— Нет, ты не понимаешь, — сказал он. — Если действительно Сталинград взят, то... войне конец. Или они замирятся, или... Ведь России ничего не остается. Сибирь? Но что в той Сибири? Ведь они зашли вон куда, за Москву. Ты понимаешь?

— Я понимаю, — по-прежнему тихо ответила Зоська.

— Поэтому чего же мы дождемся в этой Липичанской пуще? Они же нас собаками перетравят. Если мы раньше с голоду не дойдем.

Зоська слегка отвернулась от него и с прежней горькой тоской в глазах глядела из ворот в пасмурную даль поля, на котором поблизости решительно ничего не было, лишь вдали по горизонту тянулась сизая полоса леса.

— Может, и так, — горестно сказала она.

— Так вот, малышка! У тебя в Скиделе мать, у меня

там, я говорил тебе, начальником полиции Копыцкий, мой землячок из Борисова. Он должен помочь. Давай останемся у тебя. Будем жить, как люди, как муж и жена. Я же полюбил тебя, Зоська.

Кажется, он сказал все и, осторожно обняв ее за плечи, привлек к себе, не почувствовав, однако, ответного ее движения. Зоська ничем не выказала ни радости, ни несогласия. Она будьто одеревенела в его руках, и он тихо воскликнул, вложив в свое восклицание всю ласку, на которую был способен:

— Зоська!

— Да, — вздохнув, сказала она. — Ты это пошутил? Ведь пошутил, правда? — И отстранилась, деликатно, но настойчиво высвобождаясь из его рук.

— Нисколько! Я вполне серьезно.

Она сделала три вялых шага и остановилась у притолоки, все наблюдая за полем. Антон снова порывисто обнял ее сзади и легонько поцеловал в щеку.

— Не надо, Антон.

— Ну как же... Ведь я люблю тебя.

— За это спасибо. Но... То, что ты предлагаешь, в другое время было бы... было бы счастьем. А теперь...

— Ну а теперь что?

— А теперь подло. И даже больше, чем подло.

— Чудачка! — сказал он, почувствовав, что начинает нервничать. — Вот ты наслушалась пропаганды... А ты не подумала, кроме всего, о своей матери? Что с ней будет?

— Не знаю, что будет, Антон, — каким-то чужим, изменившимся голосом сказала Зоська. — Но в такое время бежать из отряда... Знаешь, так даже шутить нельзя. Это чересчур страшно.

— А я тебе говорю, самое время. В отряде оставаться больше нельзя.

— Время действительно трудное. И потому бежать — это предательство. Это ты сказал не подумав.

— Нет, я все хорошо обдумал. Я хочу сохранить тебя, и твою маму, и себя, конечно. Иначе, ведь ты понимаешь, мы все обречены на гибель. Как те вон, — кивнул он в дальний конец оборы.

— Что ж, возможно, — согласилась Зоська, во второй раз ставя его в тупик. Он больше всего боялся, что она не поймет его доводов, а она, оказывается, доводы хватала на лету, но никак не могла принять следовавшие за ними выводы.

— Возможно, возможно! — начал терять рассудительное спокойствие Антон. — Так что же ты хочешь? Погибнуть? Может, тебе жить надоело?

Зоська со вздохом повернулась к нему лицом и взяла его за большую пуговицу на кожушке.

— Антон, ты понимаешь... Кому жить не хочется! Я совсем и не жила еще. Но что же ты предлагаешь? Идти к фашистам? Что же это такое? Это же хуже смерти. Тут надо потерять всякую совесть. Они же чума двадцатого века. Против них поднялся весь мир. С ними жить невозможно, они же звери.

— Ну, это смотря для кого звери. Если с ними по-хорошему...

— Ты смеешься: по-хорошему? Они вон перебили столько и тех, кто к ним по-плохому, и тех, кто по-хорошему, и тех, кто никак. Люди для них — скот на убой, а не люди.

— Ну ладно! — сказал он нетерпеливо. — Я разве говорю, что они золото? Но у нас нет выбора. Что же нам делать? Они — сволочи, но они побеждают. И мы вынуждены с этим считаться.

— Во-первых, еще не победили. И победят ли, это еще неизвестно. Даже если взяли Сталинград и если возьмут Москву. Есть еще Урал. Сибирь...

— Что в той Сибири?..

— Мы — люди. И мы никогда их не примем, даже если они и победят. Ты говоришь: нет выбора. Выбор есть: или мы, или они. Вот в чем наш выбор.

— Да-а, — сказал он, помолчав. — Здорово, однако, тебя напропагандировали.

— Пропаганда тут ни при чем. Я сама это знаю. Потому что глаза имею и уши. Поэтому давай не будем. Давай забудем этот дикий наш разговор.

— Разговор можно забыть, — упавшим голосом сказал Антон. — Да от этого легче не будет. Надо делать что-то.

Он был разочарован и опасался, что все испортил, пойдя вот так, напрямик. Кажется, надо было иначе, тоньше и с подходом. А он в лоб ляпнул свое предложение. Теперь вот получай. Теперь он и не знал, с какой стороны к ней подступиться. Кажется, все свои козыри он уже выложил в этой игре и ни на шаг не продвинулся к цели.

Антону надоело топтаться на мокром снегу у ворот, и он, отойдя подальше, нашел подходящий камень, подкатил его ближе к выходу и сел, прислонившись к стене.

В трех шагах от него с подавленным видом стояла Зоська. Было очевидно, что отношения между ними обретали новый характер и следовало немедленно что-то предпринять, чтобы еще спасти их и заодно себя тоже. Но Антон, кажется, зашел в тупик и просто не знал, что можно было предпринять, чем подействовать на эту строптивую упрямицу.

— Зось! — сказал он после длительной паузы. — Я думал, что ты меня действительно любишь.

— В том-то все и дело, — быстро обернулась она. — Иначе был бы другой разговор.

— Это какой же?

— Простой. Разве бы я смогла с тобой так разговаривать?

— Как?

— Так терпеливо. Переубеждать тебя.

— Меня, знаешь, переубеждать не надо.

— Нет, надо, Антон, — сказала она, опускаясь перед ним на корточки. — Это у тебя блажь. Минутная слабость. Это убитые на тебя так подействовали. На меня, знаешь, тоже... подействовали. Может, правда, в обратном смысле.

— В каком же?

— А, знаешь, самой жить расхотелось.

— Вот это и видно!

— Нет, ничего тебе не видно, Антон. Знаешь, иди-ка ты назад в отряд. В случае чего, я подтвержу, что ты был со мной. Скажу, что я попросила тебя проводить...

— Чудачка! — невесело усмехнулся Антон. — Ты сначала вернись после всех твоих заданий.

— Постараюсь, — сказала она.

— Постараешься! Этого мало. Суметь надо. А ты такая умелая...

— Да, я не очень умелая, сознаюсь. Но...

— Вот. И не агитируй меня. Я в отряд не вернусь, — жестко сказал Антон. — С меня хватит. Я воевал честно все восемь месяцев. Но — буде! И тебя не пущу.

— Ты шутишь? — сказала она странно похолодевшим голосом.

— Нисколько!

Антон вскочил с камня, выглянул из ворот. Его охватила решимость. Только она могла помочь ему сладить со своей судьбой и с этой упрямой девчонкой. Пусть вопреки ее воле. Но он знал, что с девчонками всегда обращаются вопреки их воле, и те потом не обижаются. Некоторые

даже благодарны всю жизнь. Надо лишь действовать решительнее, меньше слушая их неразумный лепет и причитания.

11

Остаток этого ветреного зимнего дня они проторчали на стуже за притолокой широких ворот, не сводя глаз с поля и дороги. Но в поле везде было пусто, а на дороге лишь один раз проехали сани с двумя мужиками, и больше никто не показывался. Зоська, немного всплакнув, чувствовала себя совершенно убитой, соседство мертвых подрывников, которых они не могли даже захоронить, подействовало на нее удручающе. Но больше всего ее заставил страдать Антон. В том, что он задумал злую нелепость, у нее не было никакого сомнения, но она не находила способа, как отвратить его от этой нелепости. Все ее доводы он тут же отвергал с легкостью, руководствуясь собственной, в общем, неплохо отработанной логикой, за которой было естественное для человека желание выжить. Но каким образом?

Зоська тоже очень хотела выжить, но тот способ спасения, который усиленно навязывал ей Антон, она принять не могла. Он же упрямо не соглашался ни на какие ее уговоры и не внимал никаким ее увещеваниям.

И стало так, что за время, когда они, то и дело опасливо возвышая голоса, спорили и когда подолгу угрюмо молчали за своей притолокой, Зоська почувствовала, как в ее глазах начала убывать человеческая ценность Антона. Порой он вызывал в ней жалость обидным неразумением простых, как снег, истин, а порой и презрение своим явно сквозившим расчетом. Боясь окончательно поддаться этому недоброму к нему чувству, Зоська сдерживала себя, ей начинало казаться, что в основе конфликта между ними лежит не его намерение, а какое-то недоразумение, что стоит ему что-то объяснить, как он станет прежним. И она, все пытаясь растолковать ему его заблуждения и не в состоянии сладить с его упорством, думала: какой же он в самом деле? Такой, каким ей показался вначале — сильный, участливый, все умеющий партизанский парень или напуганный за свою жизнь шкурник, который вознамерился и ее склонить к шкурничеству? Правда, пока он не сделал ей ничего плохого и вел себя, как обычно, только говорил не совсем обычные для нее слова. Но от этих слов ей становилось страшно.

Так что же ей делать, что делать?..

Было, однако, очевидно, что, кроме как сидеть тут в ожидании ночи, пока ничего сделать нельзя, и они то молчали, то вполголоса спорили, то зябко топтались за притолокой, стуча зубами на промозглом сквозном ветру. Но вот день подошел к вечеру, в поле стало заметно темнеть, дорога, ведущая на далекий большак, лежала пустая, и Антон глубже надвинул на голову шапку.

— Так, ладно, — сказал он в ответ на какие-то свои мысли. — Пошли!

Зоська сильно озябла и едва сдерживала дрожь в настылом теле, все в ней рвалось из этой проклятой оборы, но из ворот она вышла не сразу, ноги вдруг потеряли легкость, и она робко ступила на мокрый осевший снег. Ее прежнее расположение к Антону убывало по мере того, как убывал этот день, и к вечеру его осталось немного. Ей уже не хотелось идти за ним, в мыслях царило смятение, впору было поворачивать назад, за Неман, в отряд.

Она попыталась отогнать плохие предчувствия, сказав себе, что рано еще отступаться от этого человека, оставляя его в нелепейшем заблуждении; надо еще попытаться переубедить его, не дать сделать последний опрометчивый шаг, за которым — гибель. Все-таки он был неплохой партизан и симпатичный парень, этот Антон Голубин, решившийся на такое отчасти и из-за нее тоже. И она схватилась за последнее, еще доступное ей средство.

— Антон! Постой...

Он быстро шагал по насыщенному влагой снегу, направляясь вдоль кустарника поодаль от дороги, и нехотя остановился возле кольев ограды. Весь его угрюмый взъерошенный вид говорил: ну, что тебе еще надо? Зоська подбежала ближе, чтобы в сгустившихся сумерках лучше видеть его лицо, и не узнала его: таким оно стало чужим и недобрым.

— Антон, ты подумай... Я, знаешь, даю слово... Я никому не скажу. А ты иди назад. Хочешь, я напишу Шевчуку... Карандашик у тебя найдется?

— Что ты напишешь? — холодно спросил он, стоя к ней боком.

— Ну, что я тебя уговорила проводить меня. Чтобы тебя там за самоволку...

— Тоже мне скажешь!.. — пренебрежительно буркнул он и, как всегда, споро зашагал вдоль кустарника.

«Что же делать? Что делать? — едва не со слезами в который раз спрашивала себя Зоська. — Неужели

он уйдет? И куда? Ведь его же немцы повесят. Как он не понимает этого?»

Еще подсознательно, но все определеннее она чувствовала, что идти с ним дальше нельзя, что так она просто завалит задание, подведет под петлю людей, себя и, вполне вероятно, — маму. Что Антон в таком его состоянии — словно бы пьяный или хуже пьяного, что он может натворить такого, чего сам не ожидает. Но он, как и вчера, казалось, нимало не беспокоясь, уверенно шагал по снежной целине к недалекому уже Скиделю. Заволоченное облаками небо быстро темнело, снег внизу лежал белой нетронутой целиной, дул свежий западный ветер, принесший промозглую ростепель и за день превративший свежевыпавший снег в хлюпкую кашу, в которой быстро промокли Зоськины сапоги. Идти было трудно, ноги проваливались до самой земли, но она немного согрелась и пошла медленнее. Антон ушел далеко, однако она видела на снегу глубокие его следы и не боялась отстать, а догонять его ей не хотелось. Она даже подумала, что, может, он так и уйдет один, оставив ее в ночи, и не испугалась этой своей мысли. Чем-то она даже понравилась ей, эта мысль.

Но он не ушел один. Шагая впереди, он все-таки находил время оглянуться и, наверное, заметив, как далеко она отстала, приостановился возле опушки. Впереди был молодой хвойный лесок, справа лежало голое равнинное поле. Зоська не помнила этих мест, но чувствовала, что Скидель совсем где-то рядом. Идти оставалось час или два, и за это время ей предстояло что-то решить. Она уже знала, что идти с ним в Скидель просто не имела права.

— Ну, что ты отстаешь? — спросил он с упреком, когда она подошла ближе. — Или устала?

— Ногу натерла, — неохотно ответила Зоська. Действительно, в левом ее сапоге толстым узлом сбилась портянка, которая больно натирала стопу на подъеме.

— Так переобуйся.

Еще не зная, что предпринять, Зоська быстро огляделась окрест — далеко впереди на лесной опушке, ей показалось, блеснул огонек.

— Там что — деревня?

— Там? — Антон вгляделся в плотно осевшие на снег зимние сумерки. — Деревни тут не должно быть. Хутор, наверно.

— Зайдем на хутор, — сказала она.

— Зачем? До Скиделя вон пять километров.

— Ну зайдем. Мне надо.

— Вот еще! Зачем тебе хутор? Придем на место, там можно посушиться и вообще...

Но она быстро пошла вперед вдоль опушки на робко мерцавший вдали красноватый огонек. Она не знала, зачем ей был нужен этот одинокий хутор, но чувствовала, что нельзя ей теперь идти в Скидель и надо протянуть время.

Они долго шли по раскисшему снегу вдоль леса на то исчезавший, то снова появлявшийся далекий огонек в чьем-то окне. Зоська уже не старалась заговорить с Антоном, она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы. Это же надо так все испохабить в ее и без того непростой дороге, думала она про Антона, чувствуя себя глубоко уязвленной и обманутой. Оказывается, она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя... Все-таки он не отказывался от нее — наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней, и она была не против, она даже была бы рада. Если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться — как с этим могла согласиться Зоська?

И помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы никогда ему не простят его партизанства и рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет.

Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задание.

Огонек вдали исчез, они долго ничего не видели в темени, кроме неясного серевшего в ночи снежного поля и шумящей на ветру хвойной опушки рядом. Но опушка тянулась и тянулась куда-то в снежные сумерки, пока за очередным поворотом перед ними опять не появился крохотный красноватый огонек в окошке. Под самым лесом ютилось несколько хуторских построек, чернел на снегу пунктир изгороди, и в темном небе на сучьях старых деревьев тускло белел снег. Антон остановился, Зоська тоже придержала шаг — с хутора донесся скрип колодезного журавля и неясно послышался шум переливаемой из ведра воды.

Антон, ничего не сказав, направился вдоль ограды к постройкам, и Зоська, немного отстав, пошла следом. По-видимому, они зашли с тыльной стороны усадьбы, от леса; хату и окошко с огоньком скоро прикрыли снежные крыши сараев, появилась банька на отшибе. Под низкой стеной у избы лежала покрытая снегом куча бревен, видно, заготовленных на дрова или на какую-нибудь постройку. Антон только обошел эти бревна и почти столкнулся с человеком в кожухе, несшем в обеих руках два деревянных ведра воды.

— О, полные, удача будет! — вместо приветствия шутливо воскликнул Антон. Человек остановился, молча поставил ведра на снег, рассматривая в полумраке ночного пришельца. — В хате чужих нет? — тихо спросил Антон.

— Не, нема, — глухим голосом ответил человек.

— Хозяин? — кивнул Антон.

— Так, так.

— Ну, приглашай в хату. Погреться надо.

— Проше, проше пана, — не очень, однако, обрадованно проговорил хозяин. Оставив на снегу ведра, он поспешил к дощатому очищенному от снега крыльцу, открыл низкую дверь. — Проше пана.

Переступив вслед за Антоном порог, Зоська очутилась в просторном тристене, хозяин закрыл за ней дверь, и она огляделась. Напротив входа топилась печь с большими закопченными чугунами у огня — наверно, на корм скоту, подумала Зоська. Возле печи с ухватом в руках стояла не старая еще, белолицая женщина, спокойно и молча оглядевшая Антона, потом скользнувшая взглядом по Зоське. Из-за стола удивленно глядел на них сидевший над раскрытой книгой мальчуган-подросток, перед ним хлипко мигал огонек коптюшки, той самой, наверно, которая и привела их сюда.

В избе царил полумрак, тянуло стужей от двери, дрова в печи, наверно, только еще разгорались.

— Вот передохнуть, — сказал Антон, стоя под несмутившимся взглядом женщины.

— Проше, проше, — тихо сказала хозяйка и поставила в угол ухват.

Зоська попыталась понять, куда они попали, что за люди на этом хуторе, но сразу понять что-либо было трудно. Кажется, хозяин и хозяйка разговаривали по-польски, значит, были, видимо, из местной шляхты, как понимала Зоська, всегда имевшей свое особенное отно-

шение к миру. Светловолосый мальчишка выскочил из-за стола и услужливо придвинул поближе к гостям стоявшую у стенки скамью.

— Проше пани и пана сядать, — с ласковой напевностью в голосе сказала хозяйка.

— Сядем, — сказал Антон. — Садись, Зоська, переобувайся. Погреемся немного.

Зоська с удовольствием опустилась на гладкую дубовую скамейку, стянула раскисший сапог. Мальчик опять сел на свое место у коптюшки.

— Что читаешь? — спросила Зоська, заглядывая в книгу.

— Я? — преодолевая смущение, переспросил мальчик. — «Таямничий острав», — ответил он по-белорусски.

— Знаю. Хорошая книга.

— Ага. Только конца нет. Конец тут выдранный, — сказал, смущаясь, мальчишка.

— Конец, проше пана, выдранный, так он ее четыре раза прочел. Уже почти наизусть знае, — сказала от печи хозяйка.

В ее тоне Зоське послышалось чуть-чуть прикрытое удовлетворение необычным пристрастием сына-читателя.

— Так если бы конец был, — грустно протянул мальчишка, играя с потрепанной книгой. Зоська поправила портянку и с усилием натянула мокрый сапог.

— Так ты и не знаешь, чем кончилось? Я тебе сейчас расскажу. Тебя как звать?

— Вацек.

— А ну дай книгу, Вацек.

Она придвинулась ближе к коптилке, взяла у мальчика книгу. Хозяйка подошла к столу и с явным интересом наблюдала за гостьей и сыном. Глянул в книгу и Антон. За их спинами в полумраке таилось заросшее щетиной лицо хозяина.

— Так. На чем тут обрывается? Ага, взрыв острова. Ну вот. А дальше люди бросились в море. Корабль ведь они достроить не успели и спасались на рифах. Гибель, казалось, была неотвратимой. Но в самый последний момент на горизонте появился корабль капитана Гранта. Грант плыл за Айртоном...

— А, чтобы снять его с острова? — догадался Вацек.

— Вот-вот. И капитан Грант спас всех.

С редким для подростка вниманием в серых, широко раскрытых глазах Вацек следил за каждым движением ее лица, ловя каждое ее слово, и этот его взгляд и его

внимание живо напомнили Зоське довоенных ребят в Скиделе, которым, случалось, она тоже читала интересные книжки. Всего полтора года прошло с той мирной и полной надежд поры, а как все круто изменилось в мире. И, наверное, изменилась она сама. Куда только девались ее молодой задор, постоянная легкость в жизни. Все придавила, оплевала, растоптала война.

— Любишь книжки читать? — спросила Зоська.

Вацек протяжно, по-взрослому вздохнул и закрыл книгу.

— Люблю, но негда взять книжек. У Стасика Кемпеля было три, так я их уже прочитал...

— Проше, пани, пробачить, — мягко вмешалась в разговор хозяйка. — Вацек был отличник в школе, грамоту имеет. Стэфан! — в несколько другом тоне обратилась она к мужу. — Покаж пани грамоту.

— Так, кохана...

Стэфан послушно исчез где-то во второй половине избы, и хозяйка спросила у Зоськи:

— Далеко пани идет?

— Нет, не далеко, — ответила Зоська. — Тут рядом. Да вот ногу натерла.

— Ой, ой, как не добже в дороге. Надо ехать, пани.

— Ну зачем? Мы пешком...

— Наверно, пани с паном ядать хотят? — с ласковой певучестью в голосе спрашивала хозяйка.

— Спасибо. Мы, знаете...

— А что? Мы не против, — подхватил Антон. — Грех от еды отказываться.

Из другой половины избы вышел хозяин с завернутой в старую газетку школьной грамотой сына, но не успел он развернуть газетку, как хозяйка распорядилась:

— Стэфан, несь млеко, сало...

— Так, кохана, — заученно ответил Стэфан, почти выбегая из тристена.

Зоська не очень внимательно пробежала несколько строчек грамоты отличника пятого класса и передала грамоту Антону. Кажется, они сделали правильно, зайдя на этот хутор. Судя по первому отношению, хозяева были приветливые и добрые люди, а главное, ни о чем не спрашивали и, наверно, мало интересовались, кто их ночные гости. Только хозяйка спросила, куда идут, но это слишком обычный вопрос в таких случаях, за которым, пожалуй, не было ничего, кроме простого любопытства.

Хозяйка тем временем стала быстро накрывать на стол, разостлала коротенькую льняную скатерку, достала из шкафчика несколько чистых глиняных мисок, деревянные ложки. Потом взяла краюху ржаного хлеба и стала ее кроить, приставив к груди, — в точности, как это делала Зоськина мама. Платок она сдвинула с головы на плечи, и ее белое, моложавое лицо с тонкими морщинками у губ светилось спокойной сдержанной добротой. Такие женские лица всегда нравились Зоське, хотя и встречались они в это суровое время нечасто.

— Проше сядать, пани. И пана, — приветливо пригласила хозяйка Антона.

Зоська подвинулась дальше за стол, из-за которого сразу, как только стали его накрывать, скромно удалился Вацек, рядом уселся Антон. Трудно дыша от спешки, в хату ввалился хозяин с крынкой молока и большим куском сала в заскорузлых пальцах. Хозяйка, как показалось Зоське, со стыдливой поспешностью выхватила у него этот кусок и не спеша отрезала от него на столе несколько крупных ломтей.

— Проше ядать, проше. Мы люди небогатые, но гостям радые.

Зоська про себя усмехнулась наивной, хотя и чистосердечной претензии на шляхетско-польское обращение их хозяйки, польский язык которой, изрядно пересыпанный местными белорусскими речениями, выдавал в ней здешнюю уроженку, разве что католичку. По тому, как покорно и молчаливо стоял в стороне хозяин, словно ожидая ее распоряжений, Зоська поняла, кто здесь главнее. Впрочем, главенство хозяйки не казалось грубым или оскорбительным, она исполняла его с вполне подобающим в таких случаях тактом. Хозяин к тому же, видно, привык к своей участи подчиненного и не очень страдал от того.

Они быстро съели по миске гречневой с молоком каши, выпили горячего, заваренного сушеной малиной чая. Вацек деликатно стоял в сторонке, и Зоська пригласила его к столу, где он за компанию с гостями тоже принялся пить чай. Все тут было легко и, в общем, приятно у этой опрятной гостеприимной хозяйки, которая угощала их душевно и просто, словно давно и хорошо знакомых людей. Зоська старалась не разговаривать с Антоном, который тоже молчал и с озабоченным видом ел все, что было на столе. Зоська напряженно думала, что делать, когда ужин будет окончен? Здесь, при свидетелях, они не

могли больше объясняться, хотя все объяснения, кажется, были окончены. Важно было определить также, за кого их принимает хозяйка: за партизан или каких-нибудь полицейских агентов. А может, ни за тех и ни за других, а просто за двух мирных людей, направлявшихся по каким-то своим делам и застрявших в дороге. Это было бы самое лучшее. А если не так? Все-таки хутор у самого леса и поблизости от местечка, наверно, они тут не первые гости.

Душевная тревога сильно омрачала эту неожиданную теплоту гостеприимства, которое все же кончалось. Зоська, однако, хотела как можно дольше протянуть время на этом хуторе, может, даже заночевать тут. Но Антон, по-видимому, был настроен иначе и, съев вдобавок ко всему кусок хлеба с салом, принялся благодарить хозяйку.

— Ну, пани, спасибо! Так накормили, дай вам бог здоровья.

— И пану нех бог дае здравья.

— Пану бог даст, куда денется. Как говорится, обогрелись и пора в путь-дорожку.

Он начал выбираться из-за стола, и у Зоськи тревожно забилось сердце при мысли, что сейчас надо решиться. Надо отказаться идти с ним дальше, пусть идет, куда хочет, один.

— Может, у пана и закурить найдется? — обратился Антон к хозяйке.

— Ест, ест, — подтвердила она. — Стэфан, дай пану пшипалить.

Исполнительный хозяин без слов метнулся в другую половину хаты и вернулся с кожаным кисетом в руках. Мужчины не торопясь свернули цигарки, потом Стэфан достал на конце лучины огонек из печи, и они прикурили.

— Ну, как живется на хуторе? — поинтересовался Антон, сквозь дым испытующе следя за хозяином. Тот, вроде затрудняясь с ответом, почесал затылок.

— Так, пан. Как когда. То добже, то кепско.

На его заросшем густой щетиной лице действительно отразилось затруднение, и он тоже с подчеркнутым вниманием посмотрел на собеседника.

— Не беспокоят под лесом?

— Так. Коли не беспокоят. А коли и боспокоят.

— А кто беспокоит? Немцы? Партизаны?

— Як пану сказать? Коли так, а коли этак.

Однако тактичный мужичок, не гляди, что простова-

тый с виду, подумала Зоська, глядя на большую, с дымящей цигаркой руку присевшего у печи хозяина. Рука его, однако, была спокойна, и вся внешность выражала уважительное ожидание. Хозяйка убирала со стола посуду, переставила в печурку коптюшку, чтобы в тристене было светлее, и не вмешивалась в разговор мужчин. Вацек низко сидел на чем-то в дальнем углу, не спуская внимательного взгляда с гостей.

— Ну что ж, нам пора, — Антон затушил в пальцах цигарку. Остаток ее он сунул за измятый отворот шапки и надел шапку на голову. — Зося!

Зося, уронив голову, неподвижно сидела в конце стола.

— Давай, потопали. Отдохнули, поели, — сказал Антон и поднялся, загородив собой половину тристена.

Медленно подняв голову, Зоська увидела обращенные к ней вопросительные взгляды хозяйки от печи, хозяина с табуретки напротив. Что-то, видно, они почувствовали в ее поведении, и это насторожило их.

— Ты иди один, — хрипловато от волнения выдавила она. — Я здесь останусь.

— Хе! — сказал Антон. — Новость! Как это — останусь?

— Просто. Останусь на хуторе.

Она уже справилась с первым обезоруживающим ее волнением и обрела твердость Главное было сделано — они размежевались, и, кажется навсегда. Допущенное ею легкомыслие следовало исправлять, и как можно скорее.

— Погоди, — спокойно сказал Антон после недолгой паузы и сделал шаг в ее сторону. — Ты это что — серьезно?

— Вполне серьезно.

— Не понимаю.

— Что понимать? Я с тобой не пойду.

— Это почему?

— Ты знаешь почему.

Как в мелком ознобе, в ней все дрожало от напряжения. В ответ на деланное его спокойствие ей хотелось закричать, заплакать, но она сдерживалась, все-таки рядом были люди, которые неплохо отнеслись к ней и не знали причины того, что произошло между ними. Антон в раздумье недолго постоял у стола, потом шагнул назад и сел на скамью.

— Нет, так дело не пойдет! — со спокойной твердостью объявил он. — Так ничего у тебя не выйдет,

Хозяйка жестом услала Вацека во вторую половину избы, хозяин отошел к хозяйке, и оба они с удивлением глядели на Зоську, будто приросшую к скамье за столом. Стало тихо. Разгоревшиеся дрова в печи гоняли по потолку и бревнам стены багровые блики. Зоська поняла, что предстоит бой, но она твердо решила не уступать.

12

Сев на скамью, Антон почувствовал, как тягуче загудело в его голове — такое с ним случалось нечасто. Пока он не счел себя одураченным, но с особенной ясностью понял, что эта строптивая девчонка еще наделает ему хлопот. Тем более затащив его на этот идиотский хутор, к этим неизвестно в чью пользу настроенным хозяевам. Впрочем, хозяев он мало опасался, он был уверен, что с ними сладит хотя бы с помощью оружия. Было бы, однако, лучше, если бы они вели себя тихо, сохраняя нейтралитет к его драме.

А драмы, пожалуй, не избежать, думал Антон. Как он не воздерживался, а кажется, придется употребить силу, другого выхода у него не оставалось. Бросить ее тут одну он не мог: что ему было делать без нее в Скиделе? О возвращении его в отряд не могло быть и речи — из леса он уже ушел окончательно и бесповоротно. Но он рисковал оказаться ни с чем — уйдя из леса, не дойти до местечка, — а так жить было невозможно. Так что же ему было делать?

Хозяева о чем-то тихо перешептывались у печи, украдкой бросая осуждающие взгляды то на него, то на Зоську, которая словно окаменела за концом стола. Пока они не встревали в чужой для них и, наверно, малопонятный конфликт, и Антон подумал, что, возможно, удастся настроить их в свою пользу, против Зоськи.

— Вот! — кивнул он в ее сторону. — Заупрямилась женка. Понравилось ей у вас, не хочет идти.

— Я тебе не женка! — тут же резко ответила из-за стола Зоська.

— Как это — не женка? — удивился Антон. — Во, дает баба! От мужа отказывается.

— Врешь! Ты никогда не был мне мужем! — с надрывом выкрикнула Зоська и заплакала.

Антон слегка растерялся. Он всегда терялся при виде плачущей женщины и не знал, о чем говорить дальше. Но все-таки он решил придерживаться того вариан-

та, что Зоська — его жена, затеявшая недостойную ссору с мужем.

— Ну, что возьмешь с бабы! — снисходительно сказал он, обращаясь к хозяину, который с озабоченным видом топтался возле печи и никак не отреагировал на его обращение.

Зоська, однако, скоро перестала плакать, пальцами вытерла слезы, поправила сбившийся платок на голове. Антон украдкой поглядывал на нее, и несколько раз в его душе предательски шевельнулась жалость — зачем столько упрямиться? Уж он-то постарше ее и лучше разбирался в жизни, возможно, он спас бы ее от гибели и, глядишь, устроил ее судьбу. Только бы она доверилась ему. Так нет. Довела все до скандала, который неизвестно как уладить теперь при посторонних.

— Зося! — сказал он и встал со скамьи. — Ну, не в местечко, доведи меня хоть до околицы. Потом пойдешь, куда хочешь.

В этом была его хитрость — на окраине местечка уж он бы с ней справился. Зоська на минуту притихла, словно обдумывая его предложение, и холодно ответила, как отрубила:

— Нет!

— Я не знаю, с какой там стороны и войти, — хитрил он.

— Дорога приведет.

— Дорога-то приведет, но... Не с руки по дороге.

— У людей спросишь.

Однако, черт возьми, пока ничего не получалось. Неужели действительно ничего и не получится, и ему придется одному идти в Скидель? И одному заявиться к Копыцкому? Но как бы его, одного, не приняли за партизанского шпиона, получившего задание устроиться в местечке! Копыцкий ведь тоже может в нем усомниться, не гляди, что земляк. Все-таки своя рубашка каждому ближе к телу, а в такое проклятое время недолго расстаться и с рубашкой, и с собственным телом тоже.

Нет, ему обязательно нужна была она — как жена, хозяйка будущего дома и, что важнее всего, — как заложница. Заложница, какая ни есть — гарантия для немцев и для того же Копыцкого, особенно если взять в расчет еще и ее мать. Антон уже знал, что к человеку с заложниками — семьей, матерью, детьми — немцы относились с гораздо большим доверием, чем к одиночке, у которого ни кола, ни двора, а только одни, пусть са-

мые благие, намерения. Как все деловые люди, немцы обожали гарантии.

Но вот возьми ее, эту гарантию, окаменевшую в своем диком упрямстве на скамье за столом.

Шло время, наверно, уже была близка полночь. Антон непростительно терял одну за другой все и без того немногочисленные свои возможности и начинал волноваться. Так, черт возьми, недолго и вовсе остаться с носом. Особенно если щепетильничать с этой упрямицей да оглядываться на хозяев. Но уж с хозяевами он щепетильничать не имел намерения.

— Эй ты! — резко обернулся Антон к Стэфану. — Давай веревку!

— Что пан хцэ? — удивилась хозяйка, выступив вперед и как бы загораживая собой мужа.

— Давай веревку! Быстро!

Хозяйка побледнела, уставясь в его исполненное мрачной решимости лицо, а хозяин, уронив руки, стоял за ней, видно, не решаясь выполнить его требование без дополнительной команды жены.

— Я что вам сказал! — со сдержанной угрозой проговорил Антон и вытащил из-за пазухи наган.

Тихонько ахнув, хозяйка отступила назад, а хозяин, нагнувшись в темный угол возле двери, молча подал ему недлинную спутанную веревку. Антон приказал:

— Разбери! Разбери, распутай! Что смотришь, не понимаешь?

Дрожащими, ставшими совсем непослушными руками хозяин кое-как разобрал веревку, Антон сунул наган за пазуху.

— Ну, — сказал он Зоське, в ужасе откинувшейся за столом. — Пойдешь?

— Нет! Нет! Ты не посмеешь!

— Я? Я посмею, черт тебя возьми! — выкрикнул он, распаляясь от своего угрожающего крика, и хватил за угол стола. Рывком он отшвырнул стол в сторону, услышав, как сзади сдавленно вскрикнула хозяйка, но он уже схватил Зоську за руку и одним точным движением подломил руку за спину. Зоська ойкнула, выгибаясь от боли и оборачиваясь к нему спиной, он сильно толкнул ее грудью на пол и, поймав вторую руку, тоже заломил за спину. Пока она причитала и дергалась, пытаясь вырваться, он быстро обмотал ее кисти веревкой, затянул узел. Она сопротивлялась, как только могла, но что для него было ее сопротивление! Связать человека он мог в мину-

ту. Чтобы она не отбивалась сапогами, другим концом веревки перехватил еще и ноги у щиколоток.

Изрядно, однако, запыхавшись, он поднялся с пола, стараясь не слушать Зоськиных причитаний, обернулся к хозяевам. Те, прижавшись друг к другу и, наверно, помертвев от страха, стояли у печи. Но теперь он не намерен был с ними объясняться, тем более оправдываться — пришла пора действовать.

— Запрягай лошадь! Живо! — скомандовал он хозяину. Тот снова немым истуканом глядел на него, не в состоянии двинуться с места.

— Лошадь, говорю, живо!

— Так нема, пан, лошади, — наконец пробормотал он, и Антон почти закричал:

— Как нет? Запрягай, говорю, лошадь!

— Пане, не маю лошадь. Забрали лошадь...

— Кто забрал? — спросил Антон, почувствовав, однако, что его замысел еще более усложняется, если не совсем летит в тартарары. — Кто забрал лошадь?

— Не знам, пане. Люди пришли, забрали.

— Врешь! — выпалил Антон первое, что в таком случае пришло ему в голову, и снова выхватил наган из-за пазухи.

Хозяин беспомощно развел руками, вроде испуг его проходил, но появилось какое-то ранее не замечаемое в нем упрямство или даже непослушание. Кажется, он тоже переставал подчиняться.

— Пан може стшэлить, але...

— А ну пошли! — подтолкнул его Антон, которому вдруг показалось, что все-таки он хитрит — где-то в сараях во дворе, наверно, спрятана его лошадь. — А ты — марш туда! — указал он хозяйке на дверь в другую половину избы. — Живо!

Хозяйка без слов прошмыгнула в дверь, Антон прикрыл дверь сильнее и, пошарив рукой возле печи, нашел ухват. Кажется, он хорошо подпер им дверь, туго подсунув ручку ухвата под верхнюю палку двери.

— Зажигай фонарь!

— Так, пан, нема лихтара, — снова развел руками хозяин. — Пан сам будет видеть.

«Черт возьми, увидишь там что без огня!» — выругался про себя Антон. Но у него еще было в кармане несколько плоских немецких спичек, и он толкнул дверь на выход.

— Пошли!

Пропустив хозяина вперед, он вышел за ним и задержался: входную дверь тоже надо было запереть. Но она открывалась внутрь, подпереть ее было нельзя и, кажется, нечем. Видя, как Антон возится с дверью, хозяин на ощупь нашел накидную планку и сунул ему в руки большой замок без ключа.

— От так, пане, так...

Антон запер дверь, просунув дужку замка в пробой, и они направились в хлев.

Да, в хлеву коня не было. Одна загородка совсем пустовала, в другой, когда он зажег спичку, к проходу повернула голову пестрая, лениво жевавшая жвачку корова, где-то тревожно закудахтал петух на насесте. Антон с досадой бросил в навоз догоревшую спичку.

— А с той стороны?

В другой конец хлева, отгороженного бревенчатой переборкой, вела низкая дверь со двора. Они обошли кучу навоза у входа, и хозяин, отбросив запоры, отворил и ее. Здесь воняло свиньями, слышна была их сонная возня в соломе, вряд ли тут могла находиться лошадь. Для верности Антон все-таки посветил через порог спичкой и понял: напрасно.

Но это было совсем уж нелепо. Зачем же тогда он устраивал весь этот спектакль, вязал на полу Зоську? Не нести же ее на себе пять километров в Скидель... Однако неужели же это исправное кулацкое хозяйство действительно обходилось без лошади? Или его все-таки надували, где-то упрятав лошадь, которую он просто не мог найти?

Они вышли во двор, Антон остановился. Остановился и хозяин в молчаливом ожидании того, что должно последовать дальше. Но Антон теперь решительно не знал, что предпринять. Действительно, лошади на хуторе могло и не быть, ее могли спрятать в лесу, у соседей, в ближайшей деревне. Где еще можно было искать? Антон окинул взглядом тусклые в ночи силуэты сараев и заметил на отшибе еще какую-то постройку — ток или пуню.

— А там что?

— Там? Там, пане, сено, але... — с затруднением начал объяснять хозяин.

— Ах, сено! Сено, значит, имеется, а коня нет? А ну посмотрим!

Он быстро прошел по мокрому снегу к сараю, отворил легкую, пугающе скрипнувшую в тиши дверь. Тут действительно сильно и знакомо запахло пересохшим се-

ном, но было совершенно темно, и он снова сунул руку в карман за спичкой.

— Не, не! — встрепенулся хозяин, предупреждающе хватая его за руки. — Не можно палить...

— Не бойся, не сожгу, — сказал Антон и все же посветил спичкой. Весь конец сарая был забит сеном, рядом стояли вилы, грабли, какие-то прислоненные к стене доски — похоже, коня не было и тут.

— Нет?

— Нема. Я пану мувил: забрали коня.

Чертовщина какая-то, подумал Антон, не зная даже, что думать дальше. Похоже, он по-настоящему влип на этом проклятом хуторе, завяз, как в болотной трясине, — ни взад, ни вперед. Оставалось разве что идти на мировую с Зоськой, может, как-нибудь улещить ее. Но для этого придется ее развязать, какой же разговор со связанной?

Узкой тропинкой они повернули к хате. Антон на минуту прислушался: не едет ли кто по дороге? Но везде было тихо, над лесной равниной лежала глубокая ночь, сильно дул западный ветер, снег под ногами таял, было сыро и зябко.

13

Когда Антон запер двери, Зоська осталась на затоптанном земляном полу и, зажав в зубах плюшевый конец воротника, беззвучно рыдала. Никогда еще за все восемнадцать лет ей не было так больно и так мучительно обидно. Короткая борьба с Антоном совершенно обессилила ее. Как ни отчаянно она сопротивлялась, все же не могла противостоять его злой мужской силе, он расправился с ней в считанные секунды, и теперь она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой — так он туго скрутил их веревкой. Из разговора Антона с хозяином Зоська поняла его намерение и поняла также, что она пропала. Как самая последняя дура, она доверилась этому шкурнику, а потом полдня сомневалась в его предательстве, еще пытаясь в чем-то переубедить его, не дать совершить свой последний гибельный шаг. Теперь вот ее ждала расплата. Он купит себе жизнь ценой ее гибели: как глупую телку, повезет и сдаст ее на расправу полиции. Что ж, итог достоин его вероломства, равно как и ее беспросветной глупости.

Раздираемая обидой и запоздалой ненавистью к Го-

лубину, она корчилась на боку в темном промежутке между столом и скамьей, на которой недавно сидела. Под ее мокрым плечом хлюпала холодная лужица, натекшая с ее ног, и ей так хотелось завыть, закричать, позвать на помощь людей, открыть им глаза на этого лжепартизана. Но что толку было кричать, звать тут было некого. И, лишенная способности шевельнуться на полу, она горячечно металась в мыслях в поисках хоть какой-нибудь возможности выхода. Но, кажется, выхода не было, и оттого было нестерпимо обидно и больно.

По всей видимости, теперь для нее начинался другой отсчет времени, которым она не распоряжалась, наоборот, время стало распоряжаться ею, и ей оставалось лишь покориться его немилосердному ходу. Но она не могла покориться, все-таки она жаждала совладать с бедой, тем более что Голубин ушел, конечно, предусмотрительно заперев дверь снаружи. Она слышала его шаги на крыльце и его короткий разговор с хозяином, затем их шаги пропали во дворе, и она, перестав плакать, вслушалась. Ей показалось, он возвращается: стукнула дверь. Но это была не та дверь, за которой исчез Голубин, а та, что вела в другую половину избы. Она действительно тихонько задергалась, словно затряслась под чьей-то невидимой рукой. Зоська удивленно приподняла голову с пола — слабый огонек коптилки в печурке едва освещал мрачный потолок тристена и серый прямоугольник двери, подпертой ухватом. Но вот верхний конец ухвата будто сам по себе пополз в сторону, медленно освобождая дверь от подпора, и та наконец растворилась. В тристен проскользнул Вацек, за ним вбежала хозяйка, оба бросились к Зоське.

— Ой, панечка, панечка, тикайте...

Сглотнув соленые слезы, она встрепенулась, неудачно попытавшись сесть, ноги сразу подвернуло веревкой, за которую тут же ухватился Вацек. Упав возле нее на колени, он начал яростно дергать туго затянутый узел, и хозяйка, метнувшись к печи, сунула в его руки нож.

— Бежите, бежите, панечка!..

Мальчишка быстро перерезал веревку, ноги ее освобожденно распрямились, она вскочила, сбрасывая с перетянутых кистей намотанные остатки веревки. Она еще не вполне осознала, что это спасение, она лишь почувствовала, что возможности ее вдруг увеличились, и особенно остро поняла, что у нее появились союзники. Это сразу удвоило ее силы, она скинула с себя обреченность

и устремилась к неясной еще, едва блеснувшей вдали надежде.

— Сюда, сюда...

Где-то в запечье хозяйка отбросила в сторону полосатую занавеску-дерюжку, Вацек знакомо стукнул клямкой двери, и на нее пахнуло холодом улицы — и свободой. «Спасибо!» — бросила она сдавленным шепотом и, наткнувшись на что-то в темноте и едва не упав, рванулась к спасительно замерцавшему проему раскрытой во двор двери.

Ну, конечно, здесь был ранее не замеченный ими черный ход из хаты во двор с дровосеком возле порога и разбросанными вокруг толстой колоды поленьями; чуть в стороне громоздились заснеженные комли сложенных под стеной бревен; она бросила взгляд в другую сторону — за плотом в снегу темнела на отшибе банька, мимо которой они проходили, направляясь к усадьбе.

— Туда, туда бегите! — махал ей с порога Вацек, и она через пролом в изгороди побежала к баньке.

Она бесконечно долго бежала по свежему снегу каких-нибудь пятьдесят метров к баньке, ежесекундно ожидая услышать крик или даже выстрел сзади, теперь она знала, что пощады от него ей не будет. Но приземистая длинная хата с тристеном, наверно, прикрывала ее от двора, или, может, Антон был в хлеву, искал лошадь. Странно, но в эти секунды она почти жаждала его окрика, она хотела засвидетельствовать его растерянность, пусть бы себе стрелял, черта теперь он попадет в нее. А в беге она еще могла посоревноваться с ним, пусть попробует догнать ее...

Но пока он не крикнул и не бросился ее догонять, очевидно, он все еще не заметил ее побега, и она с распиравшим грудь дыханием забежала за баньку. Далее за изгородью и неширокой полосой огорода темнела в ночи высокая стена леса, который готов был спасти ее, надо лишь не терять время, пока не спохватился Голубин. Но то ли с усталости или еще почему, она не бросилась дальше, в лес, а прижалась спиной к шершавым бревнам стены, и слезы снова покатились по ее щекам.

— Ах, ты ж подлец! Ах, подлец... — сказала она себе, всхлипнув, и обмерла — со двора донесся знакомый голос Антона. Но голос был в меру спокоен, без крика и тревоги, что-то он спрашивал там, и ему тихо отвечал хозяин. Кажется, он все еще не обнаружил ее побега — они говорили о лошади. Но что будет, когда он вернется

в избу и не найдет ее там? Ведь он может перестрелять всех, поняв, что она сбежала с их помощью. Боже, что ожидало эту несчастную семью?..

Она выглянула из-за угла, но во дворе между темных стен хаты и сараев ничего не было видно. Антон с хозяином куда-то исчезли, может, уже вернулись в избу. Конечно, ей следовало без промедления бежать в лес, авось он не сразу бросился бы за ней по следам, но она медлила. Ее опять словно парализовало за этой провонявшей копотью и дымом банькой, вся она тряслась от охватившей ее на ветру стужи и с ужасом ждала криков и выстрелов — теперь уже не со двора, а в избе.

— Ах, подлец! Ах, предатель!..

Не в состоянии что-либо решить и вся нервно трясясь от стужи и страха, она стояла у стены уже минуту, если не больше, чувствуя, как убывают ее с таким желанием обретенные шансы спастись... Вдруг она снова услышала голоса во дворе, и это вернуло ей часть самообладания — значит, они еще не в избе и самое страшное откладывалось еще на две-три минуты. И тогда, все вглядываясь из-за неровного угла бани во двор и постройки, она увидела на сером снегу две неясные вдали фигуры: высокую — Антона и пониже — хозяина, которые уходили куда-то к сараям. Тут только она смекнула, что он будет обыскивать сараи, что лошади пока не нашел. Тем самым он дарил ей еще несколько скупых минут, и она вдруг поняла, что́ сейчас сделает.

Чуть забирая в сторону, чтобы снова прикрыться избой, она бросилась назад ко двору. Минуту назад, выбежав из двери, она видела на дровосеке вогнанный в колоду топор. Теперь, по-кошачьи крадучись возле стены, она вбежала на дровосек и схватилась за гладкое холодное топорище, обеими руками с усилием выдернула топор из колоды. Потом обогнула с другой стороны избу, перелезла через невысокий штакетник ограды, взбежала на знакомое крыльцо с увесистым замком на двери. Но на крыльце спрятаться было негде, все тут было открыто, а снова бежать через дровосек в избу у нее не было времени. Конечно, она ничего не обдумала и даже не осмотрелась как следует, но иначе она не могла. По-прежнему ее душила обида, слезы то и дело застили ее взгляд, и она с трудом принуждала себя к осторожности. Пробежав по двору до угла, чтобы взглянуть на сараи, она тут же отшатнулась к стене — они уже шли по снегу от сараев к избе. Зоська прижалась спиной к стене и занесла

топор. Их шаги приближались, сердце ее глухо стучало в груди, отдаваясь в бревнах стены, давящий комок застрял в горле. Но она не заплакала, она лишь сглотнула слезы и, как только он шагнул из-за угла, со всей силой взмахнула из-за плеча топором. Тут же она поняла — неудачно, Антон круто, по-волчьи, вывернулся и сильно ударил сам. Занесенный во втором взмахе топор стукнулся о стену и отлетел к ногам, Зоська вскричала, и он, матерно, со злобой выругавшись, опрокинул ее на снег, ударил раз и другой, приподнял, встряхнул и снова ударил.

— Ах ты, курва, твою мать! Что удумала... Ах, курва!..

Недолго, но жестоко избив ее на снегу, Антон вволок Зоську в тристен. В этот раз она не сопротивлялась, сразу сокрушенная не столько его озверелым напором, сколько своей роковой неудачей. В мыслях ее зло загорелось: «Убивай, гад!», и она сперва даже не почувствовала боли, поняв наконец, что теперь уже все. Теперь уж надежды у нее не оставалось.

— Мерзавка, что удумала! Ах, курва! — в то остывающем, то снова вспыхивающем бешенстве хрипел Голубин, бросив ее на пол. — Я к ней по-доброму, а она... А вы! — вдруг вызверился он на притихших у печи, растерянных и перепуганных хозяев хутора. — Ты ее выпустила, стерва! — закричал он, угрожающе шагнув к хозяйке.

— Не, не, пан! Ниц не ведам...

— Не ведам! Я тебе покажу — не ведам! Враз прикончу тут! Вместе с твоим гаденышем! Падла! И с ним тоже! — грозно обернулся Антон к хозяину. — Лошадь спрятал-таки, подлец! Теперь сам ее понесешь.

Медленно, без сил приподнявшись на полу, Зоська сплюнула кровавую слюну. Кажется, он выбил ей зуб, очень болела челюсть, заложило в боку, дышать было нечем. Пока он распинался, угрожая хозяевам, она села, немощно опершись рукой, уронив низко голову. Изо рта все шла кровь, и она думала: что будет дальше? Обозленный неудачей, он мог в любую минуту порешить всех в этой хате. Правда, за наган он еще не хватался, наверное, живые они были ему нужнее, и, прежде всего, конечно, была нужна ему Зоська. Иначе с чем он предстанет перед полицией в Скиделе? Значит... Значит, будет лучше, если он ее не довезет до Скиделя. Ей надо умереть раньше. Так будет лучше для нее самой, для тех, кто в отряде, для связных в деревнях. Наконец —

для ее матери в Скиделе. Зоське надо как можно скорее умереть и тем отвести позор и большую беду от многих.

Новый поворот в ее положении осветил все другим светом, придал новый оттенок всем ее помыслам, поиному перестроил ее намерения. Она вся притихла, собралась, сосредоточилась на своей новой цели. Теперь уж ей стало не до задания, которого она не смогла выполнить, отпали заботы о сроках, даже пропала жалость к этой вот доброй женщине и ее сыну Вацеку. Чтобы не причинить им несчастья, она должна как можно скорее уйти из жизни, в которой ее ждало худшее, чем сама смерть.

Но как это сделать?

Ее долго и подробно инструктировали, посылая на это задание, она выучила наизусть все пароли и отзывы, запомнила много имен людей, названия деревень и улиц. Она старалась узнать и запомнить все, что могло ей понадобиться, и узнала многое, кроме самого важного: как умереть в последний момент, когда жизнь обернется для нее бедой? Сидя на полу, она украдкой оглядела мрачные углы тристена, заглянула в темень под лавкой, под стол, раза два бросила взгляд на стену у порога. Там висела какая-то одежда, коромысло, старый картуз на гвозде, но не было ничего такого, что могло бы пригодиться ей. На полу валялся обрывок веревки, перерезанной Вацеком, но что теперь проку от веревки! Оставалось одно — выхватить у Антона наган и застрелить его и себя. Это было бы куда как удачно... Но если убить его, то зачем убивать себя? Ведь тогда можно будет спастись. Значит, так: убить его и спастись. Одна попытка не удалась, авось удастся другая.

Кажется, опять появилась хоть слабенькая надежда, и Зоська, немного отдышавшись, стала втихомолку следить за Антоном, который расхаживал по тристену. Она ждала, что он приблизится к ней, и тогда... В руках у нее была еще сила, пожалуй, она бы смогла выхватить наган, рукоятка которого всегда немного торчала у него из-за пазухи. Но Антон пока был занят хозяевами и на нее почти не обращал внимания, его снова заботила мысль о лошади.

— Так говори: где взять коня? — строго спросил он, останавливаясь перед хозяином. Тот недоуменно пожал плечами.

— Не ведам, пан. Нема коня. Пан видел...

— Видел! Спрятал, зараза! Теперь ты вот что... Деревня далеко?

— Яку пан мыслит деревню?

— Любую. Какая поближе. Сколько километров?

Хозяин молча переглянулся с хозяйкой.

— Деревня? Деревня ест близко. Пенть килёмэтров, — сказала хозяйка, и оба они уставились на Антона, видно, не понимая, что тот надумал.

— А хутор? Хутор есть ближе?

— Хутор ест.

— Сколько километров?

— Килёмэтров два бэндзе, — сказал хозяин. — Близко ест хутор.

— Ага! Значит, так! — обрадованно решил Антон. — Ты топай на хутор и чтоб через час был здесь с лошадью. Понял?

Хозяин вздохнул и помялся, прежде чем что-либо ответить.

— Так, пан. Але сосед не бардзо дасть конь. Много лепш бэндзе, если пан сам сходит на хутор.

— Нет, так не выйдет. Ты пойдешь, а я останусь. Понял? А будешь хитрить, не приведешь коня — сожгу хутор. Понял?

Хозяин вздохнул, хозяйка заплакала, закрыв аккуратным передничком лицо, и хозяин тихо обнял ее за плечи.

— Не тшэба, кохана. Нех бэндзе, як пан сказал. Я пшиведу коня. Нех пан чека.

— Это другой разговор, — спокойнее сказал Антон. — Только живо мне! Даю час времени.

Зоська попыталась удобнее сесть на полу, но только шевельнулась, как сильно заболело в боку, и она тихонько застонала. Она поняла, что этот час времени стал мерой и ее возможностей. За этот час ожидания обязательно надо предпринять что-то, потом, наверно, уже будет поздно. Потом возможностей у нее не останется, время будет служить только ему, работая против нее.

Но что она могла сделать?

Хозяин удобнее застегнул свой кожух, надел рукавицы и, что-то тихо сказав жене, пошел к двери. Антон придирчивым взглядом проводил его до порога и, как только дверь за ним затворилась, круто обернулся к хозяйке.

— А ну марш в ту комнату! И не шевелись мне!

Хозяйка сразу исчезла за филенчатой, оклеенной блеклыми обоями дверью. Антон окинул взглядом тристен и, наверно, не найдя того, что искал, схватил обеи-

ми руками стол, который размашисто, через все помещение двинул под дверь, надежно подперев ее из тристена.

— Вот так! Теперь пусть попробует выйти.

Они снова остались вдвоем. Зоська продолжала сидеть на едва освещенном земляном полу, стараясь не глядеть на Антона, она и без того ощущала каждое его движение рядом. Челюсть болела, наверно, напухала щека, и она тихонько поглаживала ее рукой. Подперев дверь, Антон подставил к столу топчан, ощупал и запер на крюк наружную дверь, заглянул в темное окно с запотевшими стеклами и присел на скамью. Однако что-то ему мешало, он заметно беспокоился о чем-то и, вскочив, рукой нащупал на лопатке прореху, прорубленную в кожухе топором.

— Зараза! — сказал он и выругался. — Убить хотела!

— Хотела! — не сдержалась Зоська. — Жаль, не удалось.

— И не удастся, — сказал он, расстегивая ремень. Однако, еще не расстегнув его, вынул из-за пазухи наган и старательно затолкал его в тесный, чем-то набитый карман брюк. Зоська во второй раз едва не застонала с досады, поняв, что вся задумка ее пошла прахом, что из кармана нагана не выхватить. И зачем она отвечала ему, может, он не обратил бы внимания на эту прореху, лучше бы отвлечь его на что-либо другое.

Антон тем временем снял кожушок и при скудном свете коптилки принялся рассматривать косую через всю спину дыру. «Может, он станет ее зашивать, повернется боком, — подумала Зоська. — Может, рискнуть?» Но уверенности в успехе на этот раз у нее не было, она просто могла не успеть.

Нет, он не стал зашивать прореху — он отодвинул стол и приоткрыл дверь.

— Эй ты! Поди-ка сюда! Вот тебе задание — зашить дыру. Поняла?

— Добже, пан, — пролепетала из-за двери хозяйка.

— Десять минут времени. Поняла?

— Добже, пан.

— Давай шей! — сказал он и, захлопнув дверь, снова вплотную задвинул ее столом.

Сидеть на полу в неудобной позе стало утомительно, Зоська попыталась переменить положение и подвинулась, чтобы прислониться к стене. Но только она приподнялась, как Антон вскочил с топчана.

— Эй, куда? А ну стой! Ишь, прыткая какая...

Он грубо толкнул ее снова на освещенную середину пола, подобрал откуда-то из-под скамьи обрывок, наверно, все той же веревки.

— Руки! Руки давай. Свяжем, чтоб спокойнее было.

— Гад ты! — сказала она, уже не сопротивляясь, и он начал туго крутить ее кисти веревкой. Она только болезненно морщилась, едва сдерживая в себе боль и обиду.

— Больно же...

— Ничего, потерпишь. Больнее будет.

— Нет уж. Больнее, чем от тебя, мне никогда не будет.

— Будет. В полиции будет больнее, — просто сказал он, с силой затягивая узел.

— И ты отведешь меня в полицию? — спросила она дрогнувшим голосом.

— А куда же прикажешь тебя отвести? Я хотел — к матери. Но ведь ты против.

— Мало того, что подлец, так ты еще и предатель, — сказала она, снова не сдержав быстро навернувшихся на глаза слез.

Антон тщательно затянул узел, проверил его надежность, поднялся с корточек и сел у стола. Он недобро молчал. Глотая слезы, чтобы не разрыдаться перед ним, молчала и Зоська. Ни одному из ее намерений, видно, не суждено было сбыться, видно, предстояло готовиться к самому худшему, что только могло случиться в ее положении. Скосив взгляд, она продолжала, однако, следить за Антоном, который, сдвинув на затылок шапку, откинулся спиной к столу и устало вытянул длинные ноги. Коптюшка из печурки слабо освещала его туго обтянутые свитером плечи, одну сторону крепкого, вытянутого лица, на котором теперь бугрилась недобрая, злая решимость.

— Вот ты говоришь: предатель, — вроде даже с обидой заговорил он. — Верно, может, даже придется и предать. Но кто меня вынудил на это?

Зоська кисло усмехнулась.

— Тебе нужны оправдания? — сказала она, чувствуя, однако, что не надо вступать с ним в разговор — гадко все это и противно. Все разговоры уже переговорены, теперь между ними — пропасть, в которую очень скоро, наверно, придется свалиться ей.

— Мне наплевать на оправдания. Но ты испортила

всю мою жизнь. Я уже не говорю, что ты пыталась меня убить. А я ведь чего хотел? Я хотел с тобой жить. Как полагается, по-людски. А ты предателя из меня делаешь.

— Ты до меня стал предателем!

— Ошибаешься! Я не предатель. Я еще никого не предал. Разве что начну с тебя первой. Раз ты меня на это толкаешь...

— Что ж, предавай! — зло сказала она, чувствуя, как все в ней затряслось от бессильной злой ярости. — Предавай. Не ты первый. Но помни, самый первый давно подавился тридцатью сребрениками. И за ним подавятся же все остальные.

Антон, казалось, пропустил мимо ушей эти ее слова, его не трогали древние аналогии, так же как перестали трогать и Зоськины слезы. Похоже, он сам был уязвлен не меньше ее и теперь дал выход своим обидам.

— Ты наплевала мне в душу. Подняла на меня топор!

— А ты не наплевал мне в душу? Не опозорил меня?

— Я? Нет. Я тебе помогал. Без меня ты бы давно уже влипла.

Зоська подумала, что в этом отчасти он, может, и был прав. Все-таки на протяжении последних двух дней он немало помогал ей. Но после того, что случилось, ее благодарность к нему пропала. Она уже готова была возненавидеть себя за то, что принимала эту его некогда необходимую ей помощь.

— Я не просила тебя помогать.

— Мало что не просила. Я по своей воле. Потому что любил тебя.

— Сволочь ты!

— Спасибо. Но теперь ты мне поможешь. Ведь тебе все равно пропадать. Так послужи мне хоть напоследок.

— Нет! Нет!!! — выкрикнула она, содрогаясь на жестком полу. — Этому не бывать. Не надейся. Я тебя покрывать не стану.

— А я и не прошу покрывать. Ты только потерпишь маленько. До Скиделя. Вот и вся твоя задача.

Зоська в отчаянии уронила голову и замерла. Значит, она не ошиблась, разгадав его замысел, значит, он ее обрекал. Удивительно только, как она не поняла это в самом начале. Поддалась его обаянию, вняла его любовному лепету, растаяла от его ласк. Вот это любовь? А она думала... Сколько она перечитала о ней в книжках, нагляделась в кино, сколько перемечтала в девичестве, до войны, да и в отряде в лесу. Какой она пред-

ставлялась красивой! А ей выпала хуже и подлее, чем сама жизнь. И кто виноват? Немцы? Война? Время? Он уверяет, что во всем виновата она. Она же уверена, что виной всему он и его так далеко идущие планы. Зачем они сошлись в тот ночной час возле незамерзшей Щары, зачем она позволила вытащить себя из реки... Не лучше ли было бы тихо и незаметно уйти под лед, чтобы избежать стольких пережитых и еще предстоящих мучений?..

14

Антон все прислушивался к немой тишине ночи, ожидая услышать во дворе знакомый лошадиный топот, времени уже прошло достаточно, должен был воротиться хозяин. Но он не возвращался, хотя, наверно, уже перевалило за полночь. Свернувшись калачиком, Зоська лежала на полу, и Антон изредка поглядывал на нее — не развязалась ли? Он уже вынес ей приговор, и, как ни удивительно, ему не было жаль ее — пусть пропадает. Пусть пропадает, если она такая беспросветная дура, ни черта не понимающая в жизни. Действительно, много ли нашлось бы в отряде мужчин, которые ради такой соплячки стали бы рисковать головой, спасать ее от войны? А он вот решился. Он ушел из отряда, провел ее сквозь осиные полицейские гнезда, оберегал, согревал. А она? Чем за все это отплатила ему она?

Как последняя идиотка, напичканная копеечной пропагандой, она не способна увидеть разницы между жизнью, войной и тем, что о них писалось в газетах и говорилось на митингах. А еще студентка! А может, именно потому, что студентка? Образованная, начиталась книжек. Он вот не очень любил читать книжки, зато он хватал все на ходу. Он понимал все практически и давно знал, что практика — вот единственно стоящая школа жизни, потому что в книжках все не о том и не так. Надо смотреть, как делают жизнь другие, и поступать если не лучше, то и не глупее остальных. И еще не медлить, не тянуться в хвосте, не явиться к шапочному разбору. Хотя и спешить не годится, надо хорошо оглядеться. А она: «Предатель, изменник...» Куда как грозно и страшно, но все глупо и в корне неправильно. Теперь, когда из его замыслов ничего не вышло, что же ему оставалось? Отпустить ее с богом в Скидель, а куда самому? И что от нее будет проку в этом ее Скиделе? У первого же контрольного пункта ее остановит полиция, передаст ге-

стапо — и прощай, Зоська. Изуродуют и повесят на площади перед костелом. Или расстреляют в овраге. И кому от этого польза? А то еще вытянут на допросе адреса, явки, имена связных и агентов, начнут хватать семьями, погубят массу людей...

Так не лучше ли будет для нее и для всех, если она, не успев ни с кем встретиться в этом ее Скиделе, попадет прямо к Копыцкому и тем окажет хорошую услугу Антону? Уж, наверное, начальник полиции не усомнится в намерениях своего земляка, когда тот предстанет перед ним с приведенной из-за Щары разведчицей. Наверно, это ему зачтется. Да и ей будет легче, ведь никаких встреч в Скиделе у нее еще не было, никаких заданий она еще не успела выполнить — он за это поручится. Может, даже ее и не повесят — отправят куда-нибудь в лагерь. Совесть? Конечно, он не стал бы утверждать, что совесть его спокойна, было вроде не по себе, что-то его тревожило. Но что он мог сделать? Он давно уже знал, что если прислушиваться к совести, то скоро откинешь копыта. Не так просто с этой самой штуковиной, которая называется совестью, сносно прожить даже в мирное время, не говоря уже о войне. Ведь тут борьба. Кто — кого. Он не слабак и не неудачник, но почему бы ему в трудный час не заполучить частичку того, с чем все время носятся эти пропагандисты совести? Пусть вот тем самым и докажут свою готовность к самопожертвованию во имя ближнего. Ведь теперь он для нее — самый ближний. Тем более что именно среди женщин широко распространена прямо-таки врожденная потребность жертвовать ради ближнего всем, вплоть до собственной жизни. Пускай вот и пожертвует для него жизнью, если она в тягость этой образованной дуре. Он ей предоставляет такую возможность. Пусть пользуется им. Антону не жалко.

Но что-то долго не возвращается хозяин. Может, и на соседнем хуторе не оказалось лошади, пошел на следующий. Скорее всего, так и получилось. В том, что хозяин вернется, у Антона не было ни малейших сомнений: он достаточно полагался на силу своей угрозы. Эти хуторяне пуще жизни дорожат своим хутором и отлично понимают, что для такого, как он, поднести спичку под стреху — дело пяти секунд. Тут уж покрутишься, но исполнишь все, что потребуют.

— Эй! — крикнул он в затворенную дверь хозяйке. — Твой куркуль не сбежал?

— Ой, не сбежав, пане. Скоро пшиведе конь, пане.

— Кожух готов?

— Скоро, скоро готов.

— Давай скорей! А то холодно стало...

Действительно, в тристене стало прохладно, дрова в печи прогорели, от наружной двери несло стужей. Коптюшка в печурке стала постепенно меркнуть, наверно нагорел фитиль или кончалось горючее. Антон подошел к печи и, вынув булавку, подтянул фитилек. Стало вроде светлее.

В это время где-то в сарае голосисто, хотя и хрипловато спросонья закричал петух, и Антон вздрогнул: так недолго досидеть до утра. «Вот же сволочь, — подумал он про хозяина. — Как бы не подвел под монастырь. Ну пусть только вернется...»

15

Как это случилось, Зоська сама не заметила, но вскоре она задремала, скорчившись на затоптанном холодном полу со связанными на животе руками. Все ее горькие беды остались в тридевятом царстве, далеко, в другом мире, в другом времени и месте. Она не сознавала во сне, то ли это была война, или, может, довоенное время, или она выпала из всякого времени и очутилась в каком-то новом временно́м измерении. Однако она ни на секунду не расставалась со своими ощущениями, которые и во сне оставались полными мук и тревоги. Она не знала, что было причиной этой ее тревоги, но ей было плохо, очень неспокойно; скверное ожидание чего-то еще худшего непрестанно угнетало ее. В поле ее зрения, однако, не было ничего плохого, наоборот, перед ней расстилалась весенняя благодать поля с зеленой травой и какими-то цветами на ней, вблизи высилась удивительно белая, словно из сахара, остренькая колокольня костела или, может быть, церкви, где вот-вот должен был появиться Он. Кто Он — Зоська не знала, она не представляла даже его облика, но в точности знала, что Он — существо одушевленное, очень строгое и, несомненно, доброе. Правда, с ним надо быть очень почтительной и вести себя скромно, как со школьным директором по меньшей мере — это она чувствовала с предельной четкостью.

В то же время она никак не ощущала себя физически, она даже не знала, как и во что она одета и есть ли у нее руки и ноги, словно она совсем без плоти, без

своего прежнего облика или потеряла способность зрительно воспринимать этот облик. Что касается окружавшего ее внешнего мира, то он с достаточной полнотой воспринимался ею во всей своей вещности, она видела вокруг каких-то людей, идущих, стоявших и разговаривавших, словно на базаре в праздничный день. Возможно даже, это происходило на их рыночной площади или где-то на краю местечка. Несмотря на беспорядочную суету и говор вокруг, люди тоже ждали появления Его, хотя, может, и не так напряженно и томительно, как ждала Зоська.

Но произошла странная перемена в этой атмосфере всеобщего ожидания, почему-то никем, даже самой Зоськой, никак не замеченная, — просто одно состояние незаметно сменилось другим, и вместо бесплотного Его вверху оказалась сама Зоська. Она легко и свободно парила в высоте над землей, деревьями, людьми, какими-то крышами построек, озером и извилистой лентой реки. Это был радостный пьянящий полет, сладостное ощущение простора и беспредельной свободы в нем, Зоська легонько взмахивала руками, чтобы держаться на высоте, где она не чувствовала ни собственного веса, ни притяжения земли, ни даже сопротивления воздуха. Внизу были, наверно, все те же люди, одиночки и разрозненные группки их, но теперь ей не было дела до этих людей, ей хотелось без конца предаваться благостному чувству парения в этом теплом и ясном воздушном пространстве.

Однако что-то уже изменилось то ли в ней самой, то ли в этом пространстве, какая-то сила властно повлекла ее вниз, она почувствовала все прибывающий вес тела и сильнее замахала руками. Но удержаться на высоте она уже не могла и катастрофически быстро снижалась; земля, крыши, деревья и телеграфные столбы на дороге все приближались, она изо всех сил работала руками, но прекратить снижение не могла. Ее с властной неотвратимостью влекло вниз, где уже бежали, крича и суетясь, какие-то люди в черном, протянутыми руками они вот-вот готовы были схватить ее за ноги, и ей требовалось огромное усилие, чтоб уберечься от их длинных ухватистых рук. Предчувствуя, что ее ждет на земле, она изо всех сил работала руками, и эти руки почему-то вдруг превратились в крылья — широкие черные крылья птицы, в которую превратилась и она сама.

Но крылья не помогли ей взлететь, она уже была на земле, в огромном сугробе среди снежного поля и, цеп-

ляясь грудью за снежные комья, отчаянно пыталась оторваться от снежной земли, но тщетно. Огромные крылья лишь разметали сыпучий снег, махать с каждой минутой становилось труднее, силы ее кончались, и в сознании бился испуг от мысли, что если она не взлетит, то погибнет.

Потом она вроде бы отделилась от черной птицы и увидела ее как бы со стороны — распластанной на снегу с распростертыми, пересыпанными снегом крылами и поникшей головой на склоненной, со всклокоченными перьями шее. Птица делала последние конвульсивные взмахи и отчаянно билась острою грудью о снег. Она уже не взлетала — она умирала, эта огромная черная птица на морозном снегу, и вместе с ней в безысходной тоске, казалось, умирала Зоська...

Но нет, она не умерла — она вдруг проснулась с сознанием того, что вокруг что-то изменилось, может, даже случилось что-то. В накинутом на плечи кожушке Антон открывал дверь, из которой в облаке стужи в тристен ввалился хозяин, за ним какой-то низкорослый человек в шинели, с красным от ветра лицом, толстяк в суконной поддевке и чернобородый мужик в армяке и с винтовкой. Зоська метнулась с пола к стене, пытаясь подняться на непослушных ногах и не понимая, что происходит. Антон отступил к печи под направленным на него автоматом переднего из вошедших, который с незлобивой уверенностью командовал:

— Руки вверх! Вверх, вверх! Во так! Пашка, обыскать!

Зоська с бьющимся от сонного испуга сердцем жалась к стене и не знала, что делать. Она только глядела, как толстячок в серой поддевке, которого передний назвал Пашкой, решительно сдернул с Антона его кожушок, лапнув по брючным карманам, вытащил из правого кармана наган, начал что-то нащупывать в левом. Внешне почти спокойный, Антон стоял, небрежно приподняв руки и несколько растерянно бормотал:

— Ребята, да что вы? Ну что вы? Своего не признали? Я же из Суворовского...

— Это мы посмотрим еще, из какого ты «Суворовского», японский городовой! Чем тут занимаешься? — строго спросил маленький с красным лицом и подобрал автомат. — А она? Кто она такая?

Тут они все враз обернулись к ней, рассматривая ее

при едва мерцавшем огоньке коптилки, и до сознания Зоськи медленно, как после обморока, стала пробиваться мысль, что это же свои, наверно, из какой-то Липичанской бригады, ребята-партизаны. Но, почти поверив в свою догадку, она почему-то не обрадовалась, тут же смекнув, что хорошего из этого выйдет немного. Скорее опять будет плохо.

— Она тоже из Суворовского, — сказал Антон и приопустил руки. Никто из них не заметил этого, все смотрели на измученную, прильнувшую к стене Зоську. Зоська между тем молчала, не вправе называть себя, хоть и чувствовала, что сейчас, видно, начнется разбирательство и надо что-то ответить.

— А почему связана? Это что — ты ее связал? Японский городовой!.. — хмуря светлые бровки на еще юном лице допрашивал тот, что стоял с автоматом. Видно, он тут был старшим.

— Я связал, — просто сказал Антон, и хозяин, стоявший позади всех, едва заметно кивнул головой, подтверждая его слова.

— Почему связал?

— Видите ли, — помялся Антон и бодро объяснил: — Мы были на задании, ну и она решила переметнуться к немцам.

— Врешь!! — вся содрогнувшись, исступленно крикнула Зоська. — Врет он!

Она опять готова была зарыдать от беспредельной обиды и этого нового коварства спутника. Антон, нисколько не смутившись от ее крика, передернул плечом в сторону хозяина.

— Вон — свидетель.

— Вот как? — краснолицый внимательно посмотрел на Зоську.

— Постой! — вдруг другим тоном сказал толстяк Пашка. — Я ее знаю. Она в самом деле из Суворовского. Зося, кажется.

Зоська, не ответив, только прервала свой тихий плач, вытерла о плюшевое плечо мокрую щеку и внимательнее взглянула на своего заступника. Нет, он был ей незнаком, кажется, она видела его впервые, хотя вполне возможно, что где-то с ним и встречалась.

— Это он решил переметнуться к немцам, — сказала она спокойнее. — Вон пусть хозяин скажет. Он тут все слышал.

Все враз повернулись к хозяину, но тот, не поспешая

с ответом, помялся, поморщился, потом заговорил на своей смеси белорусского с польским:

— Я, пан, мало разумем... Так, штось пан говорил. В Скидель быдто идти. Пани не хотела идти. Почему — не разумем.

— Ну, это враки! — с уверенностью сказал толстяк Пашка. — Товарищ сержант, ей-богу, это наша девка. Я ее знаю.

— Японский городовой! — в явном затруднении воскликнул краснолицый и скомандовал: — Развязать!

— Хорошая девка, ей-богу, — сказал толстячок и ступил к Зоське.

Повозившись с минуту над ее узлом, он развязал веревку, и Зоська с облегчением опустила затекшие кисти. Чернобородый с винтовкой молча стоял у выхода. Хозяин отодвинул стол к печи, и в отворившейся двери появилась испуганная хозяйка с Вацеком. Они молча наблюдали за тем, что происходило в тристене, на стенах которого непрестанно шевелились-мелькали мрачные тени людей. Стоя чуть в сторонке, сержант пристально следил за каждым движением Зоськи и Антона, что-то глубокомысленно обдумывая и то и дело хмуря тонкие бровки на строгом молодом лице.

— Так! А того связать! — указал он на Антона, и толстячок повернулся к нему с веревкой. Антон растерянно развел руками.

— Да что вы, ребята? Я — свой!

— Это еще мы посмотрим, какой ты свой. А ну, руки назад!

Делать было нечего, Антон с неохотой заложил назад руки и спиной полуобернулся к толстенькому, который обмотал кисти веревкой.

— Вот так.

— Это безобразие, сержант! Мало что оружие отобрали, так еще и вязать! За что? Что эта сказала? И вы ей поверили? Может, у меня с ней особые счеты.

— Это какие еще счеты? — ехидно поинтересовался сержант.

— Хотя бы полюбовные. А она...

— Японский городовой! Ты не темни нам тут про любовь! А ну, марш!

Они расступились, пропуская Антона вперед на выход, и тот заколебался.

— Куда?

— Куда надо. Ну! Марш!

— Дайте хоть полушубок надеть, — заметно занервничал Антон, и толстячок набросил ему на плечи его кожушок. Антон шевельнул плечами и после секундного колебания решительно шагнул к двери.

— Ты тоже! — бросил Зоське сержант, и она пошла за Антоном.

На дворе висела предрассветная темень, в которой едва серел снег и совсем сникли, ссутулились темные силуэты сараев. Холодный промозглый ветер недобро дунул Зоське в лицо, неприятной изморозью остудив ее щеки, и она с упавшим сердцем подумала, что ее тоже ведут как арестантку. Но куда они поведут их, эти липичанские ребята? Уж не собираются ли они устроить скорый суд и расправу над Антоном, а заодно и над ней тоже? Но, повидимому, суд-расправа пока откладывались, для того надо было выйти из опасной зоны или зашиться поглубже в лес. Хотя, судя по мрачной решимости этого сержанта, он мог их обоих с легкостью прикончить где хочешь.

Скорым шагом они прошли мимо колодца и вышли в ночное поле. Злосчастный хутор скоро без следа растворился в серой промозглой тьме ночи, слился с сумеречной стеной хвойного леса. Зоська, однако, не оглядывалась, она едва поспевала за Антоном; пустые опущенные рукава его кожушка метались по ветру, словно крылья подстреленной птицы, и Зоське на минуту припомнился ее загадочный сон перед пробуждением. Сон, несомненно, имел какой-то зловещий для нее смысл, в другой раз она бы долго ходила под его впечатлением, теперь же размышлять о нем не было времени. Действительность была мало приятнее сна, и снова было не ясно, чем все окончится.

Они быстро шли ночным полем по неглубокому, чуть причерствевшему к утру снегу. Антон старательно шагал за идущим впереди всех чернобородым, которого сержант называл Салеем, и Зоська догадалась, что этот — ее землячок, из местных. Но рассчитывать на него не приходилось, она поняла, что здесь всем заправлял этот молодой сержант, к которому неизвестно как было подступиться. Впрочем, она получила возможность перевести дыхание, все-таки она избежала гибели, Антоновы планы рухнули, и Зоська с благодарностью вспомнила хозяина хутора, этого безропотного исполнителя воли жены, который не растерялся, спас хутор и Зоську. Но, странное дело, Зоська не ощущала в себе облегчения, скверные

предчувствия продолжали ухватисто властвовать над ее сознанием.

Они все шли полем, мимо каких-то кустарников, сверху из темного неба падал невидимый в ночи редкий снежок, отдельными снежинками таявший на ее лице, и она совершенно не представляла, куда их ведут. Теперь, когда опасность слегка отвела свою занесенную над ней косу, Зоська все больше стала думать о том, что ей все-таки надо в Скидель. Все-таки задание оставалось в силе, и теперь вроде бы отпало то, что не давало возможности его выполнить. Об Антоне Зоська старалась не вспоминать даже, он перестал для нее существовать и, хотя шагал в трех шагах впереди, он теперь был — ничто. Стремление окончательно освободиться от всего, что так позорно связалось с ним, и делать свое дело все настойчивее овладевало ею, и она не утерпела.

— Ребята, а куда вы нас ведете? — спросила она по возможности беззаботнее.

— Куда надо! — холодно бросил сержант, идущий последним в этой цепочке.

— Тут такое дело, — сказала, подумав, Зоська. — У меня задание.

— Какое задание?

— Ну... Я же не могу вам объяснить какое. Мне надо в сторону Скиделя.

— К немцам?

— Ну почему к немцам? — готова была обидеться Зоська. — У меня задание.

— У нас тоже задание, японский городовой! — недружелюбно парировал сержант. — А мы вон вожжаемся с вами, время тратим. Вот возьмем и шлепнем обоих к чертовой матери.

— За что? — оглянувшись, попыталась улыбнуться Зоська.

— За то! Война, задание, а они тут любовь крутят. Да мародерством занимаются по хуторам. А теперь — задание...

Нет, он был невыносим, этот молодой задавака, и заслуживал того, чтобы его хорошенько отчитать. Но теперь Зоська решила промолчать, черт с ним! Куда-то же в конце концов они их приведут, не будут же они днем тащиться среди снежного поля, значит, к утру где-то укроются. Действительно, было видно, что они торопились, сержант несколько раз тихо, но требовательно покрикивал на направляющего: «Салей, шире шаг!», и тот

ускорял и без того весьма торопливый свой шаг. Зоська уже вспотела, но старалась не отстать от шагавшего перед ней Антона, который, нагнув голову, с оттопыренным на спине кожушком споро шел за передним. Там, в хате, когда она корчилась на полу со связанными руками, а он всевластно распоряжался ее судьбой, они были разделены неодолимой непримиримостью, и думалось, что помирит их разве что смерть. Но с появлением партизан положение их изменилось. Антону связали руки, но и ей вроде не развязали, оба они оказались под конвоем в этом ночном поле, судьбы обоих затянуло дымкой неопределенности, и эта неопределенность снова как бы объединила их обоих. Зоська подсознательно чувствовала все это, и это ее угнетало. Хуже всего, однако, что с ними почти не разговаривали, никто их ни о чем больше не спрашивал, и Зоська не знала, как все объяснить этим суровым малоразговорчивым людям. Она просто не находила, с чего начать.

Похоже, однако, что они держали путь в лес, который уже проступил поодаль в рассветных сумерках, — снова в сторону Немана, удаляясь от Скиделя. Зоська с тоскливой озабоченностью заметила это, но что она могла сделать? Ее вели как арестованную и даже не хотели объяснить — куда. Но все-таки она чувствовала, что с ней плохого не сделают. На ее стороне была правда и, кажется, появился заступник, вот этот проворный толстячок Паша, который ее где-то видел.

Тем временем почти совсем рассвело — из серой тьмы выплыло такое же серое зимнее поле, — голая ровнядь с недалеким впереди леском. От этого леса в поле врезался неглубокий овражек с кустарником, завидев который Салей взял в сторону, и они стали приближаться к овражку. Шедшие сзади сержант с толстячком о чем-то тихо переговаривались, Зоська, отрываясь от своих переживаний, раза два вслушалась, но расслышать ничего не могла, а Антон вдруг дернул шеей и вроде споткнулся даже. Зоська придержала дыхание — похоже, сзади говорили о каком-то наступлении, и Антон с интересом спросил:

— Ребята, не слыхать, чтó на фронте?

— А тебе зачем знать, что на дороге? Чтоб немцам передать?

— Нет, правда? Как Сталинград? — добивался на ходу Антон, и Зоська заметила, как он весь подобрался и затих.

— Сталинград дал фрицам в зубы, — сказал Пашка. — Поперли немцев под Сталинградом.

— Да ну? — с открытым от изумления ртом обернулся Антон.

— Ты шагай, шагай! — прикрикнул сержант. — А то удивился, японский городовой!..

— Нет, в самом деле? Ведь немцы говорили, что Сталинград взяли.

— Взяли! Подавились там твои немцы. Вон на шестьдесят километров отбросили. Фронт прорван, наши наступают.

— Ай-яй! Гляди ты! — совсем уже изумился Антон.

— Вот, вот, — сказал сержант. — Но тебе-то чего радоваться? Ты же другого ждал.

Зоська не вмешивалась в разговор и ни о чем не спрашивала — после недолгого замешательства все в ней возликовало. Словно что-то свалилось с плеч, давившее ее долгие месяцы, и она явственно почувствовала, как ей недоставало именно этого известия о Сталинграде. Хотя она, может, и не понимала военной важности этого далекого города, но всегда чувствовала, как нужна там победа. Если это только не слухи. Если это на самом деле. Но ребята, должно быть, знают, они даже передают подробности: прорван фронт, и наши продвинулись на шестьдесят километров. И она, заметив, как сник Антон, со злорадством подумала: пусть вот утешится! Ведь он так переживал эту неудачу под Сталинградом, толкнувшую его вчера на измену, теперь пусть возрадуется. Неудачи нет — есть победа! Что же он так померк, ссутулился и опустил свои круглые плечи? Ничего у него не вышло из его коварных шкурнических замыслов и ничего не выйдет.

Салей привел их в едва заметное на равнине углубление все расширявшегося и уходившего в глубь овражка, они дошли до редкого, расползшегося по склону кустарника, и сержант сзади скомандовал:

— Стоп! Посидим здесь. А ты, — кивнул он Салею, — давай дуй. Двадцати минут хватит?

Салей помялся в своем подпоясанном широким офицерским ремнем армяке, пятерней отер мокрую черную бороду. Неподвязанные уши его черной шапки небрежно топорщились в стороны.

— Попробую...

— Ну и добро. Давай дуй, — распорядился молодой командир, по виду годившийся в сыновья этому Салею.

Осклизаясь на снегу, Салей пошел вверх по склону, а они остались стоять внизу. Толстенький Пашка полез в карманы и стал собирать закурку. На его добродушном лице не было ни озабоченности, ни даже малейшей серьезности, в уголках губ таилась мягкая улыбочка, будто он занимался чем-то малосерьезным, хотя в общем ему интересным. На остром, свежепокрасневшем, словно обожженном лице сержанта, напротив, отражалась крайняя степень важности, какое-то желчное недовольство собой или скорее другими, и Зоська подумала, что с ним надо держать ухо востро. Такие в своей озлобленности способны на все, а озлить их всегда легче легкого, и по первому поводу они вспыхивают как порох.

— Вот. А теперь мы подрубаем, а вы посмотрите, — без тени юмора сказал сержант, доставая из кармана что-то завернутое в бумажку, и Зоська отвернулась. Еда ее мало интересовала, она все думала, как бы ей вызволиться из-под опеки этих людей.

16

Стоя на снегу в овражке, Антон не смотрел ни на отвернувшуюся рядом Зоську, ни на двух партизан, которые принялись закусывать из бумажки, и запах вареного мяса мучительно дразнил его обоняние. В который раз за сегодняшнее утро и ночь он был оглушен, почти раздавлен свалившимися на него неожиданностями. Мало ему было скандального упрямства Зоськи, вероломной выходки хозяина хутора, пошедшего за конем, а приведшего партизан, так теперь еще и Сталинград. Город, который, по его мнению, был обречен и со дня на день должен был пасть, тем самым знаменуя конец проклятой войны и победу немцев, оказывается, не только выстоял, но и дал в зубы немцам. Теперь там наступление, война затягивалась, победа еще неизвестно кому достанется. Не о том ли говорили вчера и полицаи, разговор которых так нелепо недослышал Антон и по этой причине едва не сделал свой опрометчивый шаг. Может, теперь он должен благодарить Зоську за ее спасительное для обоих упрямство, простить ее выходку с топором, вообще попытаться примириться с ней? Действительно, новый поворот в войне вынуждал Антона пересмотреть кое-что из своих прежних решений, перестроиться в соответствии с новыми обстоятельствами.

Если только позволят эти обормоты из Липичанской

пущи, связавшие его руки и ведшие неизвестно куда. Уж не на ту ли сторону Немана? В таком виде он не мог появиться в партизанской зоне, где его сразу возьмут под арест, уж там ему не избежать обвинений. Всякую возможность обвинений надо было погасить тут. Но как? С этим озлобленным недомерком, которого они называют сержантом, даже и поговорить невозможно, он заранее все знает и уверен, что Антон — враг. Да и Зоська тоже окрысилась против — не подойдешь. Но, поразмыслив, Антон пришел к выводу, что в его положении, как ни странно, выручить его сможет именно Зоська. Может утопить окончательно, а может и вызволить, — это уже будет зависеть от ее к нему отношения.

Сержант с толстяком тем временем, наверно, доели мясо (по крайней мере, от них перестало нести раздражающим запахом) и теперь лениво дожевывали хлеб, поглядывая на обрыв, где должен был появиться посланный куда-то Салей. Зоська, отвернувшись, сосредоточенно ковыряла носком сапога в снегу. В овражке было затишно, падал редкий снежок. Ноги в постоянно сырых сапогах скоро начали зябнуть на несильном морозце. Антон напряженно соображал, что делать, с какой стороны подойти к сержанту или хотя бы к Зоське. Он чувствовал, что пока была такая возможность, потом она может исчезнуть и он ни к кому ни с какой стороны не подступится.

Но он ничего не надумал, хотя прошло, наверное, побольше двадцати минут, и Салей не возвращался. Это его невозвращение стало заметно тревожить сержанта, который, стоя на дне овражка и заложив руки в карманы поношенной, с рыжими подпалинами от костров шинели, все поглядывал на обрыв и нетерпеливо топтался в снегу — уже вытоптал небольшую, с квадратный метр, площадку. Наконец, потеряв, наверное, терпение и в который раз недобрым словом помянув японского городового, он начал взбираться на склон. Там, за овражком, где начиналась пашня, было ровнее и наблюдать оттуда было сподручнее. В минутном озорстве запустив в их сторону ком снега, сержант скомандовал:

— А ну давай все сюда! Все, все! И вы тоже.

Зоська, за ней толстячок Пашка и последним Антон стали взбираться по склону вверх. Лезть по скользкой, засыпанной снегом траве было вообще неудобно, а со связанными руками и подавно. На середине склона Антон поскользнулся и довольно сильно грохнулся грудью о

землю, сразу почувствовав на губах соленый привкус крови. Сержант наверху злорадно хохотнул, и Антону понадобилось порядочное усилие над собой, чтобы не поддаться нахлынувшему на него бешенству. Им смешно! Связали, обезоружили, куда-то волокут силой и еще потешаются над его немощью. Умышленно не торопясь, с расстановкой, он поднялся с колен, кое-как утвердился на разъезженном косогоре; возле на снег упало несколько алых капель крови. Они все втроем спокойно стояли вверху над обрывом и с насмешливой издевкой смотрели на неуклюжее его восхождение, и он со вкусом продемонстрировал им свое унижение — пусть порадуются. Это падение зубами о землю уже мало прибавляло к той сумме неудач, которые обрушились на него сегодня, и без того он чувствовал себя несправедливо обиженным и пострадавшим. Под их злорадными взглядами он кое-как выбрался из оврага, оставляя за собой алые на снегу пятна, и покорно остановился перед конвоирами.

— Что раскровянился?! — невольно сказал сержант, перестав улыбаться. — А ну утрись. Неча тут кровью сморкаться.

Антон стоял молча и не шевельнулся даже, когда сбоку к нему неожиданно шагнула Зоська. Протянув руку, она рукавом сачка коротко отерла его подбородок, сделав это в совершенном молчании двумя небрежными движениями руки, и Антон едва удержался, чтобы не вздрогнуть от ее прикосновения. Только когда она отошла с таким видом, будто ей нет до него больше дела, что-то внутри у него шевельнулось — тоска по утраченному или, может, надежда.

— Так, так! — язвительно ухмыльнулся сержант. — Теперь вижу, японский городовой!..

Он не договорил — все враз обернулись к недалекой вершине холма, где чуть в сторонке от цепочки своих уходящих следов появился Салей. Он быстро шел вниз к овражку, местами широко осклизаясь по снегу, и сержант с толстяком, наверно, что-то учуяв, насторожились. Антон, чуть отвернувшись, вытер о воротник кожушка кровь, все еще плывшую из ссадины на подбородке, и тоже смотрел на быстро подходившего Салея. Он чувствовал, что тот несет весть, которая и для него может оказаться важной.

— Ну что? — нетерпеливо окрикнул сержант подошедшего шагов на двадцать посыльного, но тот только махнул рукой.

— Что, не дошел? — спросил толстяк Пашка.

— Дошел! Да что толку?

— А что?

— Серого взяли! — объявил Салей, подошедши, и скинул винтовку прикладом в снег, сдвинул на затылок шапку. От его мокрого лба шел пар.

— А эта?.. Баба его? — напомнил сержант.

— Баба осталась. От нее и узнал. Через березнячок не пройти.

— Да ну?

— Облава там! Полиция и жандармерия. Как раз в березах устроились.

— А если правее? Полем?

— А там деревня. Из деревни все на виду. Не пустять.

— Дела, японский городовой! — уныло ругнулся сержант и обернулся назад к оврагу. Полминуты он суженными глазами вглядывался в серое притуманенное пространство.

— Что ж нам теперь, дневать тут? — обращаясь к нему, тихо сказал Пашка.

— А хрен его знает.

— Я так думаю, — после паузы запаренным голосом сказал Салей. — Можно попробовать возле чугунки. Насыпка там невысокая, но... Каких полверсты.

— А через насыпь не увидят? — усомнился Пашка.

— Нет, не увидять. Ползком если.

— Ползком! С этими вот? — зло кивнул сержант в сторону Антона.

— Если тольки ползком, — настаивал Салей.

— Ну и задача, японский городовой! — выругался сержант и сел задом в мягкий, еще не слежавшийся снег.

Антон настороженно вслушивался, стараясь понять что-то из их разговора, но понял только, что пройти где-то нельзя, что где-то на их пути немцы. Теперь он даже не знал, как отнестись к этой незадаче. С одной стороны, он почувствовал невольную радость оттого, что у этих обормотов что-то не получалось, — и пусть, не только же его настигать неудачам. Но, поразмыслив, он ощутил смутное опасение, как бы все это не обернулось для него еще худшим.

Недолго посидев на снегу, хмуря свои тонкие бровки, сержант кивнул Пашке, и тот опустился напротив на корточки, со вниманием уставясь в его острое, по-заго-

ворщически оживившееся лицо. Вскоре толстячок уже понимающе закивал головой. Салей, опершись на винтовку и стоя вполоборота, вслушивался в их разговор. Антон издали тоже попытался кое-что услышать, но сержант вовремя учуял его интерес и обернулся.

— Ну, ты! А ну, отойди! Отойди, отойди! На пятнадцать шагов марш!

Делать было нечего, Антон, не торопясь, отошел немного и остановился, искоса поглядывая на партизан. Неясная тревога начала будоражить его и без того неспокойные чувства. Он не разобрал ни одного слова из сказанных сержантом двух-трех отрывистых фраз, но заметил, как вытянулось на минуту обычно добродушное, мягкое лицо толстяка Пашки, которое, правда, скоро опять стало прежним. Салей, поморщившись, вполголоса подтвердил:

— А что ж, можно...

Не столько поняв, сколько догадавшись, Антон сперва почти помертвел от страха, а потом в сознание его кипятком шибанул испуг, и он бросился грудью вперед к сержанту.

— Нет! Что вы делаете? За что? Я партизан, я с немцами с весны дрался, а вы? Не имеете права!

— Ты чо? Ты чо? — медленно поднялся сержант. — А ну, тихо!

— Это безобразие! Я честный человек! Я свой, советский, а вы...

— Ти-хо! — крикнул сержант. — Японский городовой! Ты что разошелся? Ты же вон к немцам деру дать собирался. Ты же их агент!

— Я не агент! Я партизан из Суворовского. Это она по злобе, — кивнул он в сторону Зоськи. — Между нами там произошло... Пусть она подтвердит. Зося! — обернулся он к Зоське с такой болезненной тоской в глазах, что, кажется, камень не остался бы безучастным. Зоська, однако, посмотрела на него, сузив глаза, и промолчала.

— Что же, мы на руках тебя понесем? — язвительно растягивая слова, проговорил сержант. — Там, может, с боем пробиваться придется. И ползти надо.

— Понятно, ползти, — согласно подтвердил Салей.

— Ну что ж! Я поползу. Я умею. Доверьте, ей-богу. Зачем же губить безвинного? Я же ничего не сделал!

В нем все напряглось и вибрировало от предчувствия того, что сейчас, видно, все для него и решится. И по-

следнее слово будет за этим сержантом. Но почему бы не вступиться за него Зоське? Почему она молчит, как воды в рот набравши? Ведь эти его видят впервые и по наговору принимают за какого-то агента, но ведь она может сказать, что он не агент. Ведь он партизан! Из той же Липичанской пущи, из того же отряда, что и Зоська. Почему же она не заступится за него? Неужели она не понимает, что они надумали с ним сделать?

— Зося, скажи им: я же не враг! Ты же знаешь, я честно воевал и честно воевать буду. Мало ли что между нами случилось! При чем же тут они? Скажи же им, Зося!

Стоя чуть в стороне, Зоська отрешенно смотрела куда-то в нетронутый, с редкими былинками снег, и сержант вдруг вспомнил:

— А что ей говорить? Она уже сказала. Там, на хуторе. Что ты к немцам перебежать собрался.

— Нет! — запальчиво перебил его Антон. — Нет! Это ошибка. Сплошное недоразумение...

— А ведь и ты говорил, будто она тоже решила перебежать? Так как тебя понимать?

— Это неправда! Я ошибался.

— Хорошая ошибочка, японский городовой! А если бы мы ее шлепнули? Послушав тебя?

— Ну что вы! Я это со зла. С обиды! Потому что она... Мы с ней поругались. Ведь я... Ведь мы полюбовно. Зося, скажи им. Что же ты молчишь? Ведь они хотят меня застрелить!

Зося, как ему показалось, немного смягченным взглядом повела по его расхристанной фигуре, потом взглянула поодаль на троих партизан. Видно, она колебалась, и сержант, которому стало надоедать это разбирательство, крикнул:

— Так что? Он правду говорит? Или демагогию разводит?

Теперь они все уставились в мучительно напрягшееся лицо Зоськи, и Антон смекнул, что от ее ответа будет зависеть, жить ему или умереть тут же. Но, будто окаменев лицом, она продолжала молчать.

— Что ж, предавай! — с отчаянием обреченного процедил он сквозь зубы. — Пусть убивают! За мою любовь...

— О, он уже про любовь! Ловкач, японский городовой! — съязвил сержант и привычным движением плеча скинул в руку автомат. Обветренные губы Зоськи

вздрогнули, и, словно боясь не успеть, она пролепетала:

— Ладно, не надо. Он свой...

— Так какого же черта?! — взъярился сержант, держа в руке автомат. — Какого черта ты нам мозги там мутила? То кричала: перебегать надумал, а теперь наоборот. А то вот — обоих, к чертовой матери...

— Я со зла, — тихо сказала Зоська.

— Товарищ сержант! — взмолился Антон, почувствовав, что, несмотря на взрыв гнева, сержант заколебался и надо не дать ему вновь обрести уверенность. — Товарищ сержант, я же говорил... Развяжите меня, я докажу. Ей-богу! Ведь я свой, советский...

— Вот видишь! — сказал сержант Зоське. — Он уже и развязать просится.

— Пусть, развяжите, — сказала Зоська.

— Чудеса! Стэфан говорил, на хуторе с топором бросалась, а тут — развяжите! Ну и женская логика! Ладно, что ж, действительно... Пачкаться тут об него. Пашка! — кивнул он толстому. — Развяжи! Но имей в виду, чуть что — сразу очередь в спину. Я цацкаться не люблю, японский городовой!

— Ну что вы, товарищ сержант...

Легким движением Антон скинул с себя незастегнутый кожушок, и Пашка развязал сзади веревку. «Как здорово, черт возьми, иметь руки несвязанными, — подумал Антон. — Словно обрести свободу». Но свобода была еще не полная, хотя и появилась надежда. Быстро успокаиваясь, Антон надел в рукава кожушок, тщательно застегнул его на все пуговицы.

— Отдали бы оружие, а, товарищ сержант, — вспомнил он про наган.

— А шиш не хочешь! Еще ему и оружие! — рассердился сержант. — Вот придем, разберутся, тогда и получишь.

«Значит, еще на подозрении. Еще будут держать на прицеле, — думал Антон. — Ну что ж, пусть пока так. Еще неизвестно, голубчики, как вам удастся пройти мимо немцев. Это еще мы посмотрим...»

— Итак, шагом марш! — сказал сержант, закидывая на плечо автомат. Салей с Пашкой уже стояли в готовности двинуться, Антон тоже теперь не медлил, только Зоська что-то замешкалась.

— Погодите, — сказала она. — Мне надо в Скидель.

— Вот те и раз! — зло обернулся сержант. — Опять ей в Скидель! А этого я куда поведу? Что я скажу там?

Нет, сперва дойдем до Липичанки, разберемся, а потом куда хошь. Хоть в Берлин к Гитлеру!

— Вы сорвете задание.

— Вы сами сорвали свое задание. Чего стали? — крикнул он на своих. — А ну марш! Салей — вперед!

Салей послушно зашагал по склону наискосок к вершине холма, за ним тронулся Антон. Сержант, выждав, пропустил вперед себя Зоську, толстяка Пашку и сам пошел замыкающим.

17

«Вот же послал бог спасителей, как только от них отвязаться?» — думала Зоська, снова шагая по склону вслед за Антоном. Ей так не хотелось тащиться неизвестно куда, беспокойство за невыполненное задание охватило ее с новою силой.

Она давно упустила все сроки, нарушила всякий порядок, напутала и все усложнила до крайности. Конечно, у нее не хватило опыта, знаний, а больше всего — характера, простой человеческой твердости. Она уже раскаивалась, что заступилась за Антона, наверно, теперь без него было бы легче, наверное, он заслужил того, чтобы его расстреляли. Но в судьи ему она не годилась, она вообще никому не годилась в судьи, потому что сама во многом чувствовала себя виноватой. К тому же в случае с Голубиным она не была лицом беспристрастным, скорее заинтересованным, и теперь, когда немного поостыла от происшедшего ночью на хуторе, почувствовала, что честнее будет устраниться от этого малоприятного дела. Вот приведут в отряд и пусть тогда его судят. На то есть начальство, товарищи, люди поумнее, а главное — более решительные, чем она. Зоська не хотела больше связываться с ним и его судьбой. Хватит с нее того, что у них уже было.

Быстрым шагом они перешли равнинное поле и углубились в такой же равнинный сосновый лесок. Идти было легко. Еще не старые, редкие, без подроста сосенки, хотя и плохо скрывали людей, зато позволяли хорошо видеть вокруг. Салей впереди беспрестанно крутил головой, но, кажется, в лесу было пусто. Они все молчали, только смотрели и слушали. Но лесок скоро кончился, впереди опять раскинулось притуманенное пространство поля, и Салей, не дойдя шагов двадцать до опушки, остановился.

— Товарищ сержант!..

Сержант быстро прошел вперед, вместе с Салеем укрылся за низкорослой молодой сосенкой. Впереди в поле что-то происходило, кажется, там были люди, но отсюда Зоська ничего еще не могла увидеть и следила только за тем, как сержант сторожко наблюдает из-за сосенки. Возле нее, скинув к ноге немецкий карабин, стоял толстяк Пашка. Тревожное беспокойство Зоськи за невеселые свои дела слегка унялось, вытесненное тревогой другого рода, тем более что теперь все зависело от этих людей, она же была лишена и возможностей и инициативы и ничего предпринять не могла.

— Идите сюда! — негромко позвал их сержант, и они все подошли к его низкорослой сосенке. — Вон, видите?

Вглядевшись через поле в растянувшуюся опушку дальней сосновой рощи, Зоська увидела там людей, лошадей с повозками, очевидно, там проходила дорога, и люди зачем-то остановились на ней и ждали. С этой стороны, от поля, дорогу и людей слегка прикрывала редкая березовая рощица, сквозь которую, однако, просматривалось все на дороге. Откуда-то справа в ту сторону бежала наискосок невысокая насыпь железной дороги с рядом телефонных столбов и жиденькой полоской кустарника. Наверно, это и была та самая «чугунка», о которой говорил в овражке Салей.

— Видели? — кивнул, оглянувшись, сержант. — Попробуем по «железке».

— Понятно, — сказал Антон таким тоном, словно он был тут равноправный боец, а не человек под арестом. — Только перебежками надо.

— Не перебежками, японский городовой, а на пузе! По-пластунски, ясно? — свирепо поправил его сержант.

— Можно и по-пластунски. Лучше всего по канаве.

— По канаве, вот именно. Значит, так! — обернулся сержант. — Я иду первым. За мной — ты! — указал он на Антона. — Потом Пашка и ты, — ткнул он пальцем в Зоську. — Салей, будешь последним. В случае чего — огонь и рывком в лес. Понятно?

— Ясно! — прежним тоном ответил за всех Антон.

Они свернули между сосен вправо и, не выходя на опушку, направились в сторону железнодорожной линии. В леске их не было видно, но лесок не достигал железной дороги, опушка скоро свернула в сторону, впереди был голый участок поля, который предстояло переходить в открытую. Сержант раздосадованно помянул японского го-

родового, помедлил, и Зоська подумала: пошлет кого-нибудь первым. Но не послал. Оглянувшись по сторонам и слегка пригнувшись, помчался по полю сам. За ним, так же пригнувшись, широко засигал по снегу Антон. Пашка-толстяк выждал пожалуй, больше, чем требовалось, и, когда сержант уже достигал невысокой железнодорожной насыпи, по-бабьи поводя задом, потрухал по свежим его следам. Зоська не стала ждать, когда он отбежит далеко, и побежала за ним. Хотя и было далековато, но она видела за насыпью лошадей и повозки, стоящие возле такой же сосновой опушки, там же виднелось несколько человеческих фигур, но разобрать отсюда, чем они занимались, было невозможно. Тем не менее с дороги, кажется, их не заметили, они благополучно перебежали от леса к насыпи, не услышав ни крика, ни выстрела. Пока вроде бы все обошлось...

Кажется, и действительно обошлось, она поняла это с облегчением, когда сама добежала до жиденьких колючих кустиков придорожной посадки и когда туда, вроде не очень пригибаясь, скорее ссутулясь, притрухал Салей. Сержант боком лежал на снегу и жестом положил всех подле.

— Всё тихо? Так... Теперь на коротких дистанциях...

Сильно пригнувшись, он вскочил на ноги и побежал вдоль кустиков, за ними побежал Антон. Зоська почувствовала, как сердце ее забилось сильнее то ли с усталости, или оттого, что опасность все увеличивалась — теперь им предстояло прошмыгнуть под самым носом у немцев. Ах, если заметят! Действительно, было бы оружие, а то... Разве что проявит свое умельство этот строгий сержант. Насколько он был ей несимпатичен прежде, настолько сейчас на нем сошлась вся надежда.

Может быть, километр они, сильно пригнувшись, бежали вдоль невысокой насыпи. Но вот насыпь почти вовсе сошла на нет, а главное, кончились кустики, сержант упал грудью на бровку канавы, и они попадали тоже. Они не решались выглянуть из-за насыпи и только прислушивались, но вроде на той стороне их еще не заметили. Что ж, предстояло самое трудное — дальше надо было ползти.

Рыхлый неглубокий снег занялся под утро тоненькой ломкой коркой, которая, однако, больно царапала покрасневшие Зоськины руки; ее юбка и колени очень скоро намокли, но она не ощущала холода. Напротив, ей стало душно под теплым платком, и она сдвинула его на за-

тылок, она едва успевала за безостановочно мелькавшими в канаве сапогами Антона, боясь отстать и тем нарушить порядок. К тому же сзади, шумно пыхтя, на нее наседал Пашка — она раза два оглянулась, и его вспотевшее лицо оказалось возле самых ее ног. Где-то за ним, вскидывая обсыпанный, в армяке, зад, ворошился Салей.

Так, воткнувшись лицом в снег и ничего не видя вокруг, они проползли с полкилометра, и Зоське уже начало казаться, что она больше не выдержит. В груди у нее горело, спина, плечи и живот — все обливалось липким потом. Сбоку снова пошли реденькие кустики, кажется, уже недалеко был соснячок, и тут она едва не наткнулась на замерший Антонов сапог и тоже замерла, чуть приподняв голову. Только она обрадовалась неожиданной передышке, как сержант, обернувшись, яростным шепотом бросил: «Быстро! Вперед!», и сапоги Антона замелькали с такой быстротой, что она сразу отстала. Изо всех сил перебирая руками и размазывая коленями грязь под снегом, она бросилась за ним, ударилась коленом о какой-то камень в снегу, сжала зубы от боли. И все-таки она отставала. Она чувствовала близко притаившуюся опасность и понимала, что надо быстрее. Но быстрее она не могла. Когда, толкнув ее сапогом, через нее в какой-то непонятной спешке перевалился Пашка, она подумала: перевалится еще и Салей, и приготовилась оказаться последней. Но Салей не стал ее обгонять, он упорно полз сзади. Антона она уже не видела, она безнадежно отставала и, чтобы убедиться, что она пропала, набралась решимости и выглянула из канавы.

Вправо ничего не было видно — все-таки их прикрывала невысокая насыпь «железки», зато одного взгляда влево было достаточно, чтобы похолодеть от страха. Совсем недалеко впереди с поперечной дороги тянулось к «железке» несколько возов с седоками. Пока они, наверно, ничего не замечали в канаве, но, подъехав ближе, несомненно, увидят в ней все. Сержант, по-видимому, рванулся проскочить раньше, может, под носом у этих саней, но проскочить он уже не успеет. На несколько коротких секунд Зоська обмерла от увиденного, не имея сил догнать ушедших вперед и не зная, что делать. Хватая ртом воздух, она лежала ничком в канаве, пока не почувствовала сильный толчок в сапог.

— Бягом! Бягом, ты, не видишь?! — прикрикнул на нее Салей, и она вскочила.

Низко пригнувшись, она побежала в канаве за уходящими к сосняку тремя фигурами сержанта, Пашки и Антона, охваченная единственной целью — догнать. Самое страшное теперь для нее было отстать, потерять тех, от кого еще десять минут назад она готова была сбежать. Теперь она видела в них единственную для себя защиту, потеряв которую, была обречена в этом поле.

Однако бежать было ненамного легче, чем ползти, она совершенно вымоталась и загнанно дышала открытым ртом. Сильно пригибаясь, она не могла видеть вправо, откуда как-то угрожающе гулко бабахнул первый винтовочный выстрел. Она не знала, стреляли по ней или, может, по тем, что ушли вперед, но она сразу упала, тут же вскочив от сердитого крика Салея:

— Бягом ты, раззява, туды-т твою мать!..

Не зная, кого больше опасаться — тех, что открыли огонь за насыпью, или совсем уже близко подъехавших по дороге, она, заплетаясь ногами, снова побежала по истоптанной следами канаве. Ушедших вперед она уже не видела, перед ее лицом лишь мелькал разрытый ногами снег, и она, низко склоняясь, бежала по этому снегу. Но выстрелы из-за насыпи загремели чаще, одна пуля, видимо, попав в рельс, с пронзительным треском обдала ее щебенкой и снегом. Но Зоська не упала. Она только удивилась, увидев невдалеке по кювету попадавших партизан. Кажется, однако, они были живы, и Пашка даже стрелял через насыпь, остальные просто устало лежали. Зоська тоже упала возле знакомых растоптанных сапог Антона. Несколько минут хватала ртом воздух и слушала. Сержант все ругался, остальные молчали. Кажется, вперед ходу не было, путь к лесу уже был отрезан. Выпустив куда-то обойму, Пашка сполз задом с насыпи и убрал за собой винтовку.

— Собаки! — сказал он и вздрогнул от близко ударившей пули.

— Что? — спросил сержант, с потным, раскрасневшимся лицом лежавший на бровке канавы.

— Вон, к лесу бегут!

Как поняла Зоська, это было и еще хуже. Если бегут к лесу, значит, хотят перехватить их на опушке. Куда же тогда им податься?

— А ну, дай! — протянул руку сержант и схватил у Пашки винтовку. — Салей! Жахни по тем, пусть испугаются! — кивнул он за канаву, а сам рванулся выше к рельсу и, быстро прицелясь, выстрелил. Рядом в другую

сторону выстрелил Салей, горячая гильза из его винтовки обожгла Зоськину руку. Пашка с Антоном лежали не шевелясь и, только приподняв головы, напряженно вслушивались в перестрелку. Сержант быстро выпустил обойму и вдруг крикнул:

— Бегом вперед! Быстро!!

И, вскочив, опрометью бросился по канаве, за ним с неожиданной прытью припустили Пашка и Антон. Зоська с Салеем снова оказались последними. Но Зоська теперь пуще всего на свете боялась отстать и, осклизаясь по откосам канавы, побежала так, как, казалось, не бегала никогда в жизни.

Однако через сотню метров они снова попáдали возле маленького черно-белого столбика с цифрой 7 на боку. Частая винтовочная стрельба гремела, казалось, по всему полю. Сперва Зоська не слышала пуль, но, когда на ее глазах от столбика взлетел вверх бетонный осколок, она тотчас ощутила их злую силу и теснее прижалась к земле. Спасала канава. Только долго лежать в канаве, наверно, было нельзя, они и без того потеряли много драгоценного времени; полицаи уже сжимали их с обеих сторон.

— По одному, — сказал, задыхаясь, Антон. — Короткими перебежками...

Сержант зло оглянулся на него, поискал глазами Салея.

— Салей, огонь!

Салей снова начал стрелять с колена по тем, что подбирались с дороги. Наверно, они там были уже близко, но Зоська не выглядывала, она только вздрагивала, когда близкая пуля вонзалась в насыпь, обдавая ее щебенкой и снегом. Но вот, выбрав, наверно, момент, сержант рывком вскочил на ноги и, что-то прокричав, головой вперед бросился через рельсы, сразу исчезнув на той стороне однопутки. За ним, оглянувшись, менее ловко перебежал рельсы Пашка. Зоська лежала рядом с Антоном. Теперь, наверно, черед был за ним, но Антон почему-то медлил, и она, не поняв причину его промедления и чувствуя, что опять может отстать, выскочила из канавы.

Она благополучно перебежала наискосок рельсы, ухватив взглядом уже вбегавшие в соснячок знакомые две фигуры ребят, и выпрямилась, чтобы перескочить неглубокую с этой стороны канаву. Но в этот момент что-то непонятное с чугунным звоном ударило ее в голову.

Зоська пошатнулась, но не упала, в недоумении схватилась рукой за голову и, увидав на ладони кровь, поняла, что ранена. Она вяло перебежала канаву, влезла в засыпанные снегом заросли будылей и, зажимая ладонью рану повыше виска, побежала к недалекой опушке рощи.

Она боялась упасть и не оглядывалась. Только когда сзади и близко грохнул винтовочный выстрел, она на бегу оглянулась — это, пригнувшись, стрелял Антон. Салея не было видно, и она, шатаясь и очень боясь, чтобы не запнуться и не упасть, бежала по чистому снегу. Правая сторона головы как-то странно пухла от глубокой звенящей боли, кровь заливала ухо, щеку и шею под сбившимся на ворот платком, но она бежала к спасительной опушке рощи, где уже скрылись сержант и Пашка.

Антон догнал ее в двадцати шагах от опушки и снова на бегу выстрелил куда-то из винтовки. Впервые одним глазом (второй уже заплыл кровью) она взглянула в ту сторону, куда он стрелял, и ужаснулась: их настигали полицаи. Двое из них бежали с винтовками почти по пятам, один, остановившись, стрелял в Антона. Опушка молчала, сержант с Пашкой исчезли. Как-то увернувшись от пули, Антон перегнал Зоську и тотчас скрылся между сосенок. Зоська снова оказалась последней, а полицаи были в ста метрах сзади. Боль пухла в голове, охватив всю правую сторону, обида терзала ее сердце, она чувствовала, что погибает — глупо и совершенно напрасно. Но все же она заметила то место на опушке, где скрылся Антон, и под выстрелы и крики сзади тоже вбежала в сосняк. Теперь ее надежда была на Антона. У него была винтовка, он был ближе других. И Зоська бежала, как только могла бежать в чаще — раздирая руки, грудь, плечи, оберегая лишь голову от торчащих со всех сторон сучьев. Сзади слышались выстрелы и голоса, но, кажется, полицаи отстали и видеть ее не могли. Она побежала медленнее и, выбиваясь из сил, постепенно перешла на шаг.

На узкой полянке она увидела знакомые следы сапог на снегу и слепо побрела по ним. Чтобы не упасть, она то и дело хваталась рукой за ветки, другой зажимая рану. Теперь ей ничего не оставалось, как постараться догнать Антона, если он не ушел далеко, чтобы с его помощью перевязать рану. Сама она не могла этого сделать и боялась потерять сознание от потери крови. Она плохо видела в этой чащобе своим одним глазом и обра-

довалась, когда услышала за сосенкой треск ветки.

— Антон!..

— Ну что? Иди сюда...

С затянутого тучами неба сыпался мелкий снежок...

18

Антон подождал Зоську — а что ему оставалось делать, не бежать же ему вдогонку за этим баламутом-сержантом. Конечно, и сержант и Зоська теперь были ему ни к чему. Кажется, он выкрутился из беды, избежал самосуда, ушел от полицейской пули и даже вооружился винтовкой убитого на «железке» Салея. С Зоськой, наверно, все уже было кончено — зачем ему Зоська? Хотя... Кто знает, что будет дальше, но вот она выбежала из сосняка с залитой кровью щекой, и что-то в Антоне болезненно сжалось при виде ее недавно еще привлекательного, а теперь искаженного гримасой боли лица.

— Бинт есть?

Бинта, однако, у нее не оказалось, у него тоже не нашлось в карманах ничего подходящего для перевязки. Надо было разорвать что-нибудь из белья, но не раздеваться же тут, под носом у полицаев. Прежде всего следовало уносить ноги, коль уж оторвались от погони; каждая минута была дарована им для спасения.

— Вот черт! — выругался Антон, вслушиваясь в долетавшие с опушки голоса полицаев — еще чего доброго кинутся по следам вдогонку. Зоська, все зажимая ладонью рану, загнанно дышала, и он схватил ее за свободную руку.

— Как, терпеть можешь?

Она что-то сказала, но он, не расслышав, поволок ее сквозь туго пружинившие ветки сосенок — прочь от опушки, дальше, в глубь этой молодой рощи, пока ту не окружили полицаи. Окружат, тогда снова придется пробиваться с боем, что всегда пахнет кровью.

Но как-то неожиданно скоро роща кончилась, они выбежали на опушку, и Антон позволил себе остановиться, чтобы перевести дыхание. Зоська сразу упала на присыпанный снегом мох, а он сперва огляделся. Впереди лежало неширокое снежное поле, за ним темнела полоса новой рощи. Рассмотреть ее издали было трудно — сверху вовсю сыпал снег. Но, может быть, снег теперь к лучшему, подумал Антон, он укроет следы, будет легче уйти от преследования. Слегка отдышавшись, Антон повер-

нулся к Зоське, которая, уронив голову, боком лежала между сосенок.

— Ну, ты как?

Она не ответила, лишь простонала, сжав зубы. Плечо ее плюшевого сачка было в крови, платок с правой стороны тоже пропитался загустевшей кровью, на которую налипали снежинки. Антон прислонил к сухому сучку винтовку и решительно распахнул свой кожушок. Вытащив из-под свитера подол нательной сорочки, он отодрал от нее неширокую полосу и присел перед Зоськой.

— А ну, дай!

Кажется, девке здорово повезло сегодня — пуля слегка задела голову по касательной, а взяла бы на какой-нибудь сантиметр глубже, и перевязка уже не понадобилась бы. Морщась при виде сочившейся из раны крови, Антон обмотал свой лоскут поверх залепленных кровью и снегом волос, кое-как скрепил толстым узлом концы. Зоська, сильно побледнев, тихо постанывала, ее правый глаз, надбровье и даже щека заплывали мягкой синюшной опухолью. Перевязывая ее, Антон все время испытывал какое-то странное, неподвластное ему чувство, состоящее из жалости и почти непреодолимой брезгливости.

— Ничего, — слабо утешил он, закончив перевязку. — Главное — ноги целы. Куда-нибудь да дойдем.

Она сама осторожно повязала поверх его лоскута свой платок, отчего ее голова стала непомерно большой и уродливой. С Антоном она не разговаривала, видно, едва превозмогая боль, и он не стал приставать к ней с вопросами. Он больше вслушивался в неясные звуки леса и однообразный шум сосен, с тревогой ожидая услышать голоса полицаев. Но полицаи, видно, отстали, лес был спокоен, ровно шуршала снежная крупа по кожушку на плечах.

— Как, идти можешь?

Зоська вместо ответа сделала немощную попытку подняться, и он, подав ей руку, помог встать на ноги.

С короткими остановками они перешли поле и достигли следующей сосновой рощи. Только они вошли в нее, как Зоська вдруг остановилась, переломилась вся в пояснице, и Антон, оглянувшись, понял: ее тошнило. Пока она содрогалась, ухватившись за дерево, он растерянно стоял напротив, думая, как бы не пришлось нести ее на спине. Но нет, не пришлось, Зоська справилась с собой, распрямилась, и они пошли дальше. Правда, она все вре-

мя отставала, вынуждая Антона придерживать свой шаг, и шла, словно бы пьяная, то и дело оступаясь, вот-вот готовая упасть. Руку не опускала от головы, смотрела лишь себе под ноги. Кроме того, она все время молчала, и Антон не окликал ее, терпеливо поджидая во время остановок. Наверно, ей надо было отдохнуть, но он стремился уйти подальше от полиции, а потом... Но он и сам толком не знал, что будет потом.

Миновав рощу, они долго брели по голой снежной равнине неизвестно куда. Антон давно уже не узнавал местности, наверно, он здесь никогда прежде не был, и шел наугад. Снегопад не прекращался. Снежная крупа с ветром стегала с обеих сторон, чаще, однако, заходя сзади, и он думал, что направление выдерживает правильно. Видимость была скверная, а среди равнинного поля и вовсе ничего не стало видать — в сплошной белой мгле лишь мелькали, крутили, носились снежинки. Но вот чуть в стороне что-то засерело неясным округлым пятном — показалось, стожок или, может, скирда соломы. Однако вглядевшись, Антон догадался, что это — одинокое дерево в поле. Подумав, что пора отдохнуть, он свернул к этому дереву и, немного пройдя, сквозь сеть снегопада увидел вдали и другое высокое дерево, а за ним ряд деревьев пониже, приземистые силуэты построек, соломенную крышу с трубой. Похоже, они вышли к деревне. Деревня теперь была кстати, в ней, наверно, придется оставить Зоську. Но — если бы ночью. Днем появляться в незнакомой деревне — всегда большой риск, тем более под носом у немцев.

Широко ступая в неглубоком снегу, Антон подошел к дереву и остановился. Это была роскошная груша-дичок с богатой, прямо-таки художественно сформированной кроной, раскинувшаяся на меже двух земельных владений. Ниже под деревом, полузаметенная снегом, горбилась большая куча камней, собранных с этого поля. На языке местных крестьян она называлась крушней. Если присесть пониже, за крушней можно было укрыться от ветра и постороннего глаза, другого укрытия поблизости не было.

— Вон деревня, видишь? — кивнул он Зоське, когда та притащилась к дереву.

— Княжеводцы, — каким-то странно изменившимся голосом тихо сказала Зоська, и Антон, внимательно посмотрев на нее, догадался: это от опухоли, уже охватившей всю правую сторону ее лица.

— Что, знакомая деревня?

— Знакомая. Летом тут у подруги была...

— Вот и хорошо. Будет где перепрятаться. Потемнеет — пойдем. А пока садись, надо ждать.

Он вывернул из-под снега большой плоский камень на краю крушни, и Зоська с готовностью опустилась на него, уронив на руки голову ее левой, здоровой, стороной.

— Ляснуло твое задание, — сказал Антон, садясь на другой камень рядом. — И мое тоже. Что теперь делать?

Зоська, тихо постанывая, молчала, и он, приоткрыв затвор, заглянул в магазинную коробку винтовки. Там было всего два патрона и стреляная гильза в патроннике. Гильзу он выбросил на снег, патроны утопил глубже в коробку. Два патрона, конечно, мало, почти ничего, разве что на крайний, критический случай. Хорошо, однако, что раздобыл винтовку. Правда, сам едва не угодил в полицейские лапы, но винтовочку все-таки прихватил. Жаль, не успел поворошить у Салея в карманах, наверное, там нашлась бы лишняя обойма. Но и так едва добежал до опушки. Во всяком случае, с винтовкой уже можно будет возвратиться в отряд. Только что́ он скажет в отряде о своем трехдневном отсутствии?

Черт, как нескладно все получилось!

И надо же было ему выбрать такой неподходящий момент, нет чтобы переждать в лагере и услышать, что произошло в Сталинграде. Действительно, поспешишь — людей насмешишь. Но кто знал, что дела в Сталинграде обернутся таким неожиданным образом и в такое именно время. Да и Зоську никогда прежде не посылали в Скидель, как он мог упустить такой благоприятный момент?

Эх, Зоська, Зоська! Как она глупо разрушила все его замыслы и едва не погубила его и себя тоже... А может, она спасла себя и его? — вдруг подумал Антон. Если иметь в виду Сталинград, то действительно удержала от губительного последнего шага. Знала ровно столько, сколько знал он, а поди вот... Что значит чутье! У него же такого чутья не оказалось, и он едва не сунулся в этот полицейский гадюшник в Скиделе. Теперь нетрудно было представить, чем бы все кончилось, окажись он у того же Копыцкого. Вот и выходит, что Зоська была осмотрительней и косвенным образом спасла Антона.

Отвернувшись от ветра, Антон терпеливо сидел на камне, подняв воротник кожушка, винтовку положил на колени. В этой суете, беготне и перестрелке он не заме-

тил, сколько прошло времени, и думал, что скоро, пожалуй, начнет смеркаться. Но пока было светло, все сыпал снег, и в каком-нибудь километре от груши серели голые кроны деревьев и крыши хат в Княжеводцах. Надо было еще подождать. Он не чувствовал холода, и если бы не ветер, то в кожушке ему было, в общем, терпимо среди этого метельного поля под грушей.

Вот только как Зоська?

— Она где живет? Подруга твоя? — Антон обернулся к Зоське. — С какого конца?

Зоська медленно подняла осыпанную снегом голову и коротко взглянула на него со страдальческим выражением на искаженном лице.

— А тебе зачем?

— Ну как подойти? Если с этого конца, то можно рискнуть и теперь. Не тянуть до ночи.

Она опять опустила уродливо обвязанную голову и чуть слышно спросила:

— Ты спешишь?

— Спешу, конечно. Погулял, хватит. Пора и честь знать.

— Скидель недалеко. Пятнадцать километров.

— А зачем Скидель? Мне в отряд надо.

— Вот как! Значит, передумал?

— Ну хотя бы и передумал. Ты же слышала: заминка в войне получилась. Немцев от Сталинграда погнали. А там у них лучшие силы.

Зоська смолчала, и он стал подтягивать самодельный ремень на винтовке. Видно, этот Салей был такой партизан, как и его винтовка с ржавым, забитым грязью затвором, приклад был расколот продольной трещиной, ремень вместо тренчика привязан к ложе бечевкой. Надо будет все это привести в божеский вид, иначе какой же он партизан с никудышным оружием? Теперь, когда, к беде или к счастью, у него сорвалось с этим Скиделем, Антон даже как-то оживился, несмотря на пережитое, все-таки он возвращался к трудной, но уже ставшей привычной жизни в лесу, среди своих, знакомых людей. Вот только как они примут его после столь длительной самовольной отлучки — этот вопрос, как заноза, торчал во встревоженном его сознании. Он еще не додумал ничего до конца, но уже и без того чувствовал, что все будет зависеть от Зоськи. Зоська может его спасти, а может и погубить, когда он вернется к своим. Значит, прежде всего надо поладить с Зоськой.

— Зось, а Зось! Ты на меня не злись, — сказал он примирительно, почти с просьбой в голосе. — Я же хотел как лучше. Для тебя и для себя.

— А я и не злюсь. Что на тебя злиться...

— Вот молодец! — сказал он обрадованно. — Выйдем к своим, поправишься... Мы еще поладим с тобой, правда ведь?

— Нет уж, мы не поладим.

— Это почему? Ведь я же тебя...

— Помолчи лучше, — глухо перебила она, и он подумал: неужели обиделась напрочь? Или очень болит рана? Рана, конечно, скверная, как бы Зоська, если даже и выживет, не осталась навсегда дурочкой. Голова все-таки, не мягкое место сзади. Голову прежде всего беречь надо, потому солдатам на фронте выдают каски. Умные люди придумали. Если поврежден череп, то можно и умереть, это неважно, что пока стоишь на ногах и при памяти. Помер же вон от такой раны партизан из первого взвода Сажнев, хотя перед тем трое суток был на ногах и чувствовал себя неплохо.

— Слушай, Зоська, — сказал он помягче, почти ласково. — Ты вчера предлагала написать командиру. Ну обо мне, в общем...

— Что написать? — не поняла она.

— Ну, ты говорила. Что я помогал тебе и прочее. Что прикрыл группу там, на «железке». Ведь если бы не я, они бы всех, как Салея. Ведь так же?

— А зачем писать? — холодно сказала Зоська. — Ты что, меня уже хоронишь?

— Я не хороню. Но ведь ты остаешься, — кивнул он в сторону деревни, — а мне топать в отряд.

— Уж как-нибудь и я доберусь в отряд.

— Но пока ты доберешься, меня могут... Как я там оправдаюсь?

— О чем же ты раньше думал?

— Раньше о другом думал. О тебе, между прочим! — начал раздражаться Антон.

Он в самом деле чувствовал себя обиженным ее несговорчивостью. Вот же привел бог связаться с этой упрямицей, ни в чем невозможно с ней сладить. Прямо-таки странно, откуда это у нее берется? Судя по миловидной внешности, никогда не предположишь в ней этой твердости, с виду такая покладистая, улыбчивая, без грубого слова, всегда с готовностью понять и поддержать шутку. А тут... Язва стала, а не девка. Такие ему еще не попа-

дались. Всегда он умел договориться с любой, если не сразу, то погодя, добиться своего с помощью ласкового слова и веселой шутки. С женщинами ему в общем везло, и он нередко полагался на них в трудный момент своей жизни. А эта...

Снег продолжал сыпать, но вроде тише стал ветер, и, кажется, начало смеркаться. В поле вокруг потемнело, померкло заволоченное тучами небо. У Антона озябли в сырых сапогах ноги, и он, встав с камня, начал, притопывая, разминаться под грушей. Деревья и крыши в Княжеводцах все еще тускло серели за полем, но он знал, что через час-полтора станет темно. Он отведет Зоську в деревню, разыщет ее подругу, авось там будет спокойно и Зоська отлежится у знакомых. Ему же надо пробираться в отряд. Снег пока неглубокий, за ночь он сможет отмахать километров тридцать, местность по ту сторону Немана ему хорошо знакома. Но прежде чем расстаться с Зоськой, надо добиться от нее свидетельства, что он помогал ей в разведке, а не околачивался неизвестно где трое суток. Конечно, он понимал, что даже и с таким свидетельством будет нелегко избежать скандала, но с помощью Зоськи все, может быть, обойдется. Без нее же ему капут, самому ему не оправдаться.

— Уже темнеет, — измученным голосом сказала Зоська, приподняв голову.

Да, пожалуй, уже можно, не боясь быть замечеными, выходить в поле. Покамест они подойдут к деревне, стемнеет и еще больше, но Антон тянул время: ему хотелось напоследок окончательно договориться с Зоськой.

— Сейчас пойдем, — сказал он. — Давай руку, вставай, погрей ноги.

Он помог ей подняться с камня, и она, пошатнувшись, едва удержалась на ногах. Антон подхватил ее под руку, но нетерпеливым движением локтя она отстранила его.

— Я сама.

Что ж, пожалуйста, подумал он, давай сама, если сможешь. Но она не спешила сама, повернув набок голову, сперва неловко вгляделась в едва различимые в сумерках очертания Княжеводцев.

— Я пойду в деревню, — глухо сказала она, не оборачиваясь. — А ты иди за Неман.

— Зачем? — удивился Антон. — Сперва доведу тебя, устрою.

— Нет, — сказала она.

— Это почему? — насторожился он. Упорное неприятие его помощи чем-то озадачивало Антона, но он еще не догадывался, что́ тому было причиной.

— Я пойду одна.

— Нет, одну я тебя не пущу.

Она еще постояла, горбясь и болезненно прижимая руку к повязке, и вдруг молча опустилась обратно на камень.

— Вот еще фокусы! — сказал он. — Ты что, ночевать тут собралась?

— Иди за Неман! — тихо, но твердо сказала она. — Потом я пойду в Княжеводцы.

— Ах, вот как! — догадался Антон. — Не доверяешь, значит?

— Не доверяю.

— Да-а, — несколько растерянно сказал он и тоже опустился на камень повыше.

Оказывается, возможно и такое, подумал Антон. Он прикрывал ее огнем на «железке», не бросил в лесу, увел от преследования полицаев. Он, можно сказать, спас ее, рискуя собой, а она ему не доверяет. Она не хочет показать, куда пойдет в Княжеводцах, чтобы он не выдал подругу, что ли? Но он уже не собирался идти к немцам, он возвращался в отряд — чего же ей еще надо?

С трудом подавляя в себе озлобление против Зоськи, которая сегодня не переставала удивлять его своими необъяснимыми выходками, он вдруг почувствовал степень ее враждебности к нему, и ему сделалось страшно. Ведь с таким чувством к нему она запросто выложит в отряде все, что с ними случилось, и ему наверняка несдобровать. Если там узнают о его неосуществленном плане относительно Скиделя, услышат о его намерении обратиться к Копыцкому, его просто сведут в овраг, где он и останется. Но это было бы ужасно! Именно теперь, когда дела на фронте вроде вдохнули надежду, когда он решился до конца оставаться партизаном, когда он навсегда размежевался с немцами и с Копыцким, он может погибнуть от рук своих бывших товарищей. И всего лишь потому, что где-то усомнился, по молодости захотел выжить и в трудный момент не совладал с нервами...

И погубит его та самая, с которой он готов был связать себя на всю жизнь и из-за которой, может, едва не совершил свою самую большую глупость.

Но ведь не совершил же — вот что, наверно, главное.

Говорил, да. Но мало ли что может наговорить человек, когда жареный петух его в зад клюнет!

— Хорошо! — примирительно сказал Антон после долгого тягостного раздумья. — Хорошо... Я пойду за Неман. Но ты обещай мне помочь.

— В чем? — отрывисто спросила Зоська, не подняв головы. Обеими руками она опиралась о камни.

— Не говори никому, что я хотел с тобой... в Скидель.

Она сделала попытку повернуться к нему на камне, но только повела плечами. Тяжелая ее голова упрямо тянула всю ее книзу.

— А что я заместо скажу? Что проспала с тобой ночь в оборе? Что не дошла до Скиделя, потому что заночевала на хуторе? Что провалила это задание, доверяясь тебе? Что круглая дура, идиотка и преступница, которую только под суд?

Кажется, она заплакала, совсем уронив голову и подергиваясь плечами, и в этот раз он не пожалел ее — он почувствовал жалость к себе самому. Действительно, перспектива перед ним очерчивалась более чем незавидная, надо было срочно предпринимать что-то для своего спасения. Но он не знал, что́, и угрюмо сидел под крушней, тоскливым взглядом обшаривая вечерний простор. В поле почти уже стемнело, деревья и крыши в Княжеводцах тонули в быстро надвигавшемся сумраке, снежная крупа сонно шуршала в колючем сплетении ветвей груши.

— Вот ты, значит, какая! — с медленно нараставшим негодованием заговорил Антон. — За себя дрейфишь! Провалила задание и хочешь провалить мою жизнь?..

— За свою жизнь ты сам ответчик. Ты ее так направил. Разве я тебя не отговаривала?

— Допустим, я ошибся. Признаю. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Кто на печи сидит. А мы на ошибках учимся. Кто это сказал? Ты же образованная, должна знать. И ты еще женщина, ты должна быть доброй. А не такой непримиримой.

— Моя доброта меня и погубила, — тихо сказала Зоська.

— Ну вот! — подхватил Антон. — Сама признаешь. Так почему же ты и меня загубить хочешь? Я же тебе не враг!

— Бывают свои хуже врагов, — тихо сказала Зось-

ка. — Врага можно убить. А в своего не так легко выстрелить.

— Ах, вот как! Ты уже готова и стрелять! Это за что? За мою заботу?! За то, что я тебя спас?!

Антон вскочил на ноги — ее обвинения привели его в бешенство. Он — хуже врага?.. Он весь дрожал в гневе от одних только воспоминаний обо всем пережитом с ней за последние сутки. Сколько раз он ее выручал, сколько помогал ей, сколько пережил из-за ее глупых выходок. Конечно, он не забыл, что было и другое, что он допустил грубость, и она вправе была обидеться. Но теперь он не хотел помнить это. Он помнил лишь содеянное им добро и возмущался от мысли, что за это его добро она все время пыталась отплатить ему злом. И еще сожалеет, что не имела возможности выстрелить.

— Сука ты подлая! — крикнул он с тихой яростью, и она отшатнулась, замерла на камне.

Минуту спустя, не сказав ни слова в ответ, Зоська с трудом поднялась на ноги и, поддерживая рукой голову, куда-то побрела в обход крушни. Антон с ненавистью смотрел на нее сзади, она была ему омерзительна, и он в мыслях сказал себе, что не окликнет ее никогда. Пусть, как знает, спасает себя сама, а хочет, пусть гибнет, его дело малое. Скорее всего и погибнет. За первым же углом в деревне напорется на полицая и завтра со связанными руками очутится в Скиделе. Но пусть, он горевать не станет. С него уже хватит. Отныне он ей не товарищ и знать ее больше не хочет.

Искоса проследив, как она шатким шагом обогнула крушню, направляясь к деревне, Антон со злостью закинул за плечо винтовку. Ему надо было в обратную сторону — к Неману, в лес. Пути их навсегда расходились, и он не жалел ни о чем.

Он прошел десяток шагов от груши и остановился в растерянности, пораженный новою мыслью: а вдруг ей повезет? Она разыщет в деревне знакомую и расскажет ей обо всем, что произошло между ними? Рано или поздно об этом станет известно в отряде... Нет, он не мог допустить, чтобы она появилась в деревне. Для него это равносильно самоубийству...

— Зося! — крикнул Антон дрогнувшим голосом. — Зося!

Зоська словно не слышала и не обернулась. Ее темная с уродливой головой фигура медленно отдалялась от груши, и Антон вскинул винтовку. Он помнил, что в ма-

газинной коробке всего два патрона, но глаз у него был всегда зорок, а рука сохраняла твердость. Боясь упустить ее в сумерках, он торопливо прицелился в черную спину и плавно нажал на спуск.

Выстрел, сверкнув красным огнем, на секунду ослепил его, Антон опустил винтовку и пристально вглядełся в сумрак. Зоська темным пятном мертвенно лежала на снегу, раскинув в стороны руки. Не сводя с нее взгляда, он перезарядил винтовку, но второго выстрела, наверно, уже не потребовалось. К тому же последний патрон было разумно сберечь на какой-нибудь крайний случай!

— Вот! Так будет лучше, — зло сказал он себе, выругался, сплюнул и быстро зашагал через поле к лесу.

19

Ей было плохо, очень болело в боку и трудно было дышать, она все время пыталась сбросить с себя какую-то непонятную, давившую ее тяжесть, но недоставало силы, и тяжесть продолжала ее давить — мучительно и непрерывно. Слабые проблески сознания то и дело затягивались мутным наплывом беспамятства, она переставала ощущать себя, забываясь в немощи и боли. В короткие моменты прояснения лишь острее становилась боль, через которую едва пробивались невнятные обрывки яви, и Зоська не могла понять, что с ней случилось.

Но безотчетная работа сознания все-таки побуждала ее очнуться. Она ощутила, что умирает, и вся встрепенулась в испуге. Страх смерти вынудил ее на новый отчаянный рывок сознания, она вдруг очнулась, чтобы тут же опять погрузиться в беспамятство от сильной, охватившей ее всю боли.

Однако главное, наверно, все-таки произошло, она уже осознала грозящую ей опасность и набралась решимости противостоять ей. Она очень боялась смерти и очень хотела жить. Новым подсознательным усилием она прорвалась сквозь боль и вернула себе ощущение окружавшей ее реальности.

Она еще не могла раскрыть глаз, но уже поняла, что лежит на снегу и замерзает. В довершение к боли стужа жестоко терзала ее израненное, обескровленное тело, она вся сотрясалась в дрожи, и первым ее побуждением было унять эту дрожь. Но дрожь все усиливалась, охватив конечности, вместе с тем она почувствовала руки, ноги и попробовала повернуться, но только немощно про-

стонала от боли в боку. И без того нечеткое сознание каждый раз обрывалось на этой боли, и она не могла вспомнить, почему тут лежит. Наверно, стужа и боль вышибали все из ее памяти, и она, как младенец, начинала постигать мир с того, что было в непосредственной от нее близости.

Прежде всего это был снег, она бессознательно сгребла каждой рукой по горсти. Одубевшие пальцы плохо ей подчинялись, но она все-таки чувствовала ими холодную влажность снега. Такая же холодная знобящая влажность была у нее под боком, отчего морозною стужей зашлось бедро, на котором она лежала. Сквозь боль ощутив мокроту, она снова напряглась в усилии повернуться и приоткрыла глаза.

Вокруг было темно, с сумрачного неба сыпался мелкий снежок, рядом на ветру трепетала склоненная над снегом былинка. Зоська перевела взгляд ближе и не узнала собственных рук — так густо их засыпало снегом. Испугавшись, что скоро ее совсем занесет в этом метельном поле, она двинула одновременно двумя ногами и снова потеряла сознание.

Она не могла знать, сколько на этот раз пролежала в беспамятстве, но, когда сознание снова воротилось к ней, она уже вспомнила, где лежит. И она почувствовала еще, что особенно сильная боль, обессилившая ее тело, исходит из левого бока. Боль эта не дает ей вздохнуть, не дает резко двинуться, она же давит ее непосильным удушающим грузом, распластав на морозном снегу.

Но почему она одна? Почему она ранена в этом ночном снежном поле? Где люди? Где партизаны, и как она здесь очутилась?

Потребовалось несколько долгих минут и немалые усилия памяти, чтобы она медленно восстановила в сознании разрозненные моменты прошлого, предшествующие ее ранению. Она вспомнила Антона и поняла, что его рядом нет. Память ее, ухватившись за конец этой ниточки, потянула за нее дальше, и через несколько невнятных картин Зоська вспомнила полевую грушу и крушню под ней, потом — последний разговор с Антоном... Еще она куда-то пошла... Да она же направилась в Княжеводцы! Ведь тут же за полем, совсем близко от груши, видны были княжеводские крыши, и она пошла к ним, бросив Антона... А потом... Что было потом?

Потом был выстрел сзади...

Зоська не хотела плакать, но слезы сами собой полились по ее лицу, и она не вытирала их. Она снова перестала что-либо видеть впотьмах и едва удержалась в сознании. Превозмогая острую боль в боку, она уперлась правой ногой в слежавшийся снег и попыталась сдвинуться с места. Тело ее и в самом деле немного подвинулось, но Зоська тут же и выдохлась, опять и надолго замерев в неподвижности. И все-таки она очнулась, собрала в себе жалкие остатки сил, нащупала правым коленом ямку в снегу и продвинулась еще на полметра.

Она поползла — медленно, с продолжительными остановками, едва превозмогая приступы слабости, от которых мутилось сознание. Теперь, когда она вспомнила, как близко была деревня, она не хотела умереть в поле, она рвалась к людям. Но где они, люди? Как долог к ним путь и сколько еще надо силы, которой у нее почти не осталось?

Она ползла долго, казалось, целую вечность, временами теряя сознание. Иногда болевые удары с такой злобной яростью вонзались в ее бок и спину, что она беспомощно замирала на месте, долго не решаясь снова шевельнуть рукой или ногой. В голове ее что-то болезненно дергалось, казалось, там выдирали из черепа мозг, но к боли в голове она кое-как притерпелась. Хуже было с болью в боку, которая подкарауливала ее ежесекундно, стоило только ей двинуть левой ногой. Это была подлая и жестокая боль, и Зоська подумала, что она, видно, не даст ей доползти до деревни.

Но она должна доползти. Мысль об Антоне сильнее всего другого гнала ее в Княжеводцы. Она понимала, что может скоро умереть, но прежде она должна предупредить своих об этом перевертыше. Иначе он вернется в Липичанку, вотрется в доверие и снова предаст в удобный для него момент. Предать, обмануть, надругаться ему ничего не стоит, потому что для него не существует моральных запретов, он всегда будет таким, каким его повернут обстоятельства. А обстоятельства на войне — вещь слишком изменчивая, и такой же скользко-изменчивый по отношению к людям будет Голубин.

Но почему он такой? Или он таким родился, унаследовав характер от предков? Или таким его сделала жизнь? Но разве жизнь его была труднее, чем жизнь Зоськи с ее повседневным трудом ради куска черного хлеба? Но так жило в этих местах большинство здешних людей, и любой самый забитый бедняк из богом за-

бытой деревни знал, что нельзя поступаться совестью, нельзя идти против своих. Почему же Голубин не усвоил этого?

Зоська жестоко страдала от боли, душевные муки, однако, терзали ее не меньше. У нее не было никакой уверенности, дотянет ли она до деревни, доберется ли наконец до людей. Но ей очень нужны были люди, только они могли помочь ей. Было бы ужасно по отношению к себе, к матери, к товарищам, пославшим ее из леса, пойти и не вернуться, как не вернулся с задания их прежний командир Кузнецов, не вернулась, загадочно сгинув, группа Суровца, никогда не вернется убитый на «железке» Салей, да и мало ли еще кто. Нет, она должна собрать в себе силы, не поддаться смерти и вернуться к своим. Хотя бы затем, чтобы рассказать, что случилось и почему она не смогла сделать то, что должна была сделать.

Она помнила: деревня была совсем недалеко от груши, но не знала, сколько она проползла в этом снегу. Ветер все сыпал и сыпал мелкой крупой, заметая ее след в поле, но совершенно заметет он его, наверно, не скоро. «А вдруг сюда вернется Антон?» — в ужасе подумала Зоська. Вернется, чтобы добить ее, — ведь это вполне логично. И так удивительно, как он не прикончил ее: может, посчитал убитой? Или торопился уйти?

Зоська давно плохо видела одним левым глазом, да и было темно. Боль в голове не дала ей обернуться, и она только прислушалась, замерев на снегу. Но, кроме порывов ветра и привычного шума метели, кажется, ничего не было слышно.

Ее временами поташнивало, как после угара, сознание снова начало меркнуть, и она подумала, что, видно, не доползет. Видно, тут и останется. Но пока она еще что-то могла, она из последних сил подвинула себя в рыхлом снегу один, второй, третий раз и замерла в неподвижности. Впереди что-то чернело в метельных сумерках, но, падая в забытье, она не успела рассмотреть что. Потребовалась долгая мучительная пауза, прежде чем притупилась острота боли в боку, и, чуть повернув голову, она увидела впереди ограду. Парные колья с жердями-перекладинами изломанной линией тянулись от нее к деревне. Это была летняя ограда в конце огородов, значит, дома уже близко. Зоська обрадовалась этому открытию, будто предвестнику ее спасения, и, сделав неимоверное усилие, достигла наконец угловых кольев ограды. Чтобы

помочь себе проползти еще шаг-другой, она ухватилась за тонкий конец нижней жерди, и тот, тихо хрустнув, сломался. Больше силы у нее не осталось. Обескураженная неудачей, она полежала немного и, подняв в руке обломок, ударила им по жерди повыше. Ее удар гулко отдался в ночной тишине, и тотчас где-то вдали послышался визгливый собачий лай.

Зоська внутренне встрепенулась — это была удача; она подняла над собой палку и постучала несколько раз сильнее. Сигнал ее передался по ограде дальше, и, показалось, лай послышался ближе. «Лай же, лай, милая собачка! — подумала Зоська с нежностью. — Лай! Авось нас услышат...»

В счастливой уверенности, что доползла и что сейчас кто-то к ней выйдет, она вся обвяла и надолго потеряла сознание.

20

Навсегда разделавшись с Зоськой, Антон почувствовал облегчение, почти успокоение, словно свалил с плеч заботу, которая долго не давала ему покоя. Теперь свидетелей не было, никто не мог знать о его намерениях, его постыдной попытке улизнуть от войны. Он опять был чист, честен, безгрешен в отношении к Родине, людям и своим товарищам. Подогреваемый медленно остывающей злостью на Зоську, он не чувствовал никакого угрызения — подумаешь, убил девку. В мире, где шла война и каждый день убивали тысячами, где каждую минуту могли убить его самого, это маленькое убийство вовсе не казалось ему преступлением, — убил потому, что иначе не мог. Сама виновата. Погибла через свой дурацкий характер, который в такой обстановке рано или поздно привел бы ее к могиле. Не застрели ее он, ее все равно убили бы немцы, вытянув вдобавок кое-какие партизанские сведения, — кому от этого было бы лучше?

Скорым шагом Антон пересек померкшее поле и вышел к хвойной опушке рощи. Невысокие густые сосенки плотно смыкали свой ряд, и он с усилием пролез между ними, стряхнув на себя белесую в ночи тучу снега. Низко сгибаясь, почти на ощупь, он начал пробираться в глубь рощи. Он думал, что вдали от опушки сосняк станет реже, но вся роща оказалась плотно сросшейся хвойной чащобой, пробраться через которую даже днем стоило большого труда, не говоря уже о ночи.

Продираясь сквозь хвойные заросли, он больно расца-

рапал руку, разодрал кожушок на плече и стал думать уже не о том, чтобы выдержать направление к Неману, а хотя бы выбраться из этой чащобы. Но, круто взяв в сторону, он угодил в какой-то хвойный сушняк, оставшийся, наверно, после одного из летних пожаров, где и вовсе невозможно было ни пройти, ни пролезть из-за сплошного густосплетения колючих и твердых, как стальные спицы, ветвей. Поняв, что это место лучше обойти стороной, Антон повернул обратно, потом снова начал забирать влево. Но куда бы он ни подался, всюду его подстерегала непролазная чаща из колючек, ветвей и сучьев, отчаянно цеплявшихся за кожушок, обдиравших лицо, руки, то и дело срывавших с головы шапку. Он устал, разогрелся, взмок от пота и набившегося в каждую прореху снега.

Уже потеряв надежду когда-либо выбраться из этих колючих дебрей, Антон, сгибаясь в три погибели, преодолел очередную делянку особенно густого подроста и очутился наконец на опушке. Впереди было поле, он стряхнул с себя снег, ощущая на разгоряченном лице упругие удары ветра, по-прежнему сыпавшего впотьмах снежной крупой. Он пошел по полю, дав себе слово не лезть больше в заросли, где в такую ночь и такую погоду можно разве что скрываться от врагов. Ему же надо было поскорее попасть на Островок или, может быть, переправиться через Неман в другом подходящем месте. Теперь это заботило его больше всего другого, потому что задержка с переправой грозила завтра новой бедой в этом малознакомом приречном районе с его полицией, засадами, патрулями по деревням, хуторам, на дорогах.

В поле стояла ночная тишь, идти было легко, Антон понемногу пришел в себя и почти успокоился. Он старался не думать ни о недавнем убийстве, ни о том, что ему пришлось пережить с Зоськой. Чтó было, то все прошло, внушал он себе, в его положении разумнее позаботиться о будущем. По всей вероятности, придется разыскать того баламута-сержанта и его дружка Пашку, хотя Антон даже не знал их фамилий и не имел представления, из какого они отряда. Но они бы смогли подтвердить его отважный поступок при переходе «железки», все-таки он прикрыл их огнем и тем дал возможность спастись. Правда, они же могут рассказать и о неприятном конфликте с Зоськой на хуторе... Может, лучше не ссылаться на этих людей, что, хотя и усложнит объяснение причин его самоволки, зато позволит ему отречься

от Зоськи: ее он не видел, не встречал, ничего о ней не знает. Пошла и пропала, мало ли что может случиться с партизанской разведчицей во вражеской зоне... Внешне такая позиция выглядела вполне убедительной и не должна была вызвать больших подозрений, надо лишь вести себя твердо и нахраписто. Где был трое суток? Ходил в деревни, пытался разжиться обувкой. Сапоги совсем развалились, сколько раз говорил комвзвода, никакого внимания. А какой же из него партизан зимой без обувки? Почему не доложил начальству, не попросил отпустить? Шиш бы его отпустили, если бы он попросился.

Авось не застрелят.

После непролазных зарослей рощи шагать в ночном поле было одно удовольствие. Занятый своими мыслями, он отмахал километра три, если не больше, как вдруг обнаружил, что переменился ветер. Сперва дул вроде слева, а потом стал заходить сзади. Или, может, он сам, а не ветер переменил направление? Антон остановился, прислушался. Но в поле ничего не было слышно, кроме привычных порывов шуршащего снегом ветра. Тогда он вгляделся в снежные сумерки, в которых тонуло вокруг равнинное полевое пространство, и тоже не смог различить ничего определенного. Все же он взял чуть в сторону, показалось, там что-то возвышалось над горизонтом, хотя это мог быть мрачный край неба, и скоро, к его удивлению, из сумрака выплыла темная стена рощи. Но, по его представлениям, здесь не должно быть никакой рощи. Похоже, что он заблудился.

Слегка озадаченный, он остановился в нескольких шагах от деревьев, оперся на снятую с натруженного плеча винтовку. Взглядом он попытался проникнуть дальше в ветреные ночные сумерки, но взгляд схватывал каких-нибудь сто метров, не больше. На протяжении этих ста метров впереди была заметна лишь плавная кривизна опушки, которая почему-то показалась ему знакомой. Да они же сегодня проходили тут с Зоськой! Еще тут ее тошнило, и он стоял и смотрел на покалеченную огнем сосну на опушке. Вон, кажется, и та погорелица, голые ее сучья черными вилами торчат в небо. Черт возьми, куда его занесло!

Надо было заворачивать обратно, обогнуть рощу и выходить к Неману, но Антон, еще не давая себе отчета зачем, пошел к опушке. Возле деревьев было затишнее от настырного в поле ветра, он подошел к сосне и прислонился спиной к ее черному шершавому боку. Все-таки да-

вала о себе знать усталость, слегка кружилась голова, тягучий ветреный гул не прекращался в ушах. Позволив себе непродолжительный отдых, он почему-то перестал думать о том, как выйти к Неману и где перебраться на его левый берег. Его мысли уже занимало другое, перед глазами возникло памятное поле с грушей, где полузаметенное снегом лежит теперь остывшее тело Зоськи. К утру его, наверно, заметет совсем...

Странно, но он уже не испытывал к ней прежней неприязни, в глубине его чувств родилось новое отношение к ней, похожее скорее на сожаление и тихую безотчетную грусть. Он сокрушенно вздохнул, подумав, что все могло сложиться иначе, если бы... Но слишком многое включало в себя это «если бы», чтобы здесь размышлять о нем. Одно несомненно: война порушила все вековые отношения между людьми, поставила человека в условия, когда не подчиниться ее злой воле не было никакой возможности. Вот и здесь: разве он хотел ее убивать? Просто он сам хотел выжить, а выжить вдвоем сделалось невозможным.

Ночь нещадно отмеривала свои минуты, ему надо было уходить, а он все стоял под сосной, хоронясь от холодных порывов ветра, монотонно стучавшего по коре снежной крупой. Что-то мешало ему повернуть в обратную сторону и навсегда покинуть эти места. Чуть смежив глаза, он видел в ветреных сумерках поля знакомую грушу с грудой камней на меже... Это было совсем недалеко отсюда, сразу за рощей. Если идти скорым шагом, вся дорога туда займет минут двадцать. Робко заявив о себе, странное это желание стало быстро набирать силу и охватило его целиком. Он понимал всю бессмысленность этой затеи и спрашивал себя: зачем туда идти? Но робкий голос сомнения скоро умолк, побежденный желанием. Антон еще колебался, но уже знал, что долго не выдержит. Ему стало необходимо еще раз побывать на том месте, взглянуть на мертвое тело Зоськи, убедиться, что она долго не мучилась, что вокруг все тихо-спокойно, его никто не разыскивает, и потом с облегченной душой убираться за Неман.

Нервно содрогнувшись от нетерпения, он понял бессмысленность сопротивления желанию, ставшему сильнее его, и закинул за плечо винтовку.

Весь дальнейший путь к груше был ему хорошо знаком, да и линия опушки не дала потерять направление, он обогнул рощу и оказался на княжеводском поле.

Здесь предстояло пройти по прямой не более одного километра. Темная беззвездная ночь, кажется, и еще потемнела, не прекращаясь, сыпался снег, колючие его крупинки больно стегали по настылым рукам и лицу. Мороз, по-видимому, усиливался. Антон пристально вглядывался в полумрак и еще издали узнал раскидистую крону груши, в ветвях которой неприятно посвистывал ветер. На прежнем месте под грушей горбилась заметенная снегом куча камней. Но он только мельком взглянул на грушу и камни, пробежал мимо них в поле, где, однако, не увидел того, что ожидал увидеть. Очень хорошо помнил, как Зоська упала, раскинув на сером снегу черные руки, и лежала так, видная издалека. Теперь же приблизительно на том самом месте ничего вроде не было, и он подумал: как быстро ее занесло снегом. Но снег с самого вечера сыпался мелкий, даже на неровностях его намело не так много, под межой и крушней он был только по щиколотку. Немного встревоженный, Антон пробежал дальше, чем требовалось, повернул обратно. Странно, подумал он, неужели он ошибся в определении расстояния? Но он хорошо помнил, что Зоська отошла перед выстрелом метров на пятьдесят от груши, иначе в сумерках он бы в нее не прицелился. Так где же она могла быть? Неровной восьмеркой Антон обежал поле, снова зашел от груши, поточнее прикинул направление выстрела. Но на том месте, где она упала, сраженная его пулей, ее определенно не было.

Почуяв неладное, он пригнулся, чтобы различить на снегу следы, и увидел темное небольшое пятно, сгреб его в горсти вместе со снегом — несомненно, это была смерзшаяся кровь Зоськи. Но где же тогда сама Зоська?

Он упал на колени и обеими руками стал ощупывать снег, сразу наткнувшись пальцами на едва заметную для глаза, широко промятую в снегу борозду с ямками от коленей, и понял, что она уползла. Это открытие ошеломило его. Со смешанным чувством испуга, облегчения и страха он вскочил на ноги и, забыв на прежнем месте винтовку, пригибаясь, побежал по неровной разрытой борозде — через бурьян, мимо полузаметенного полевого куста в направлении невидимой отсюда, но недалекой деревни. Когда все стало ясно, Антон вяло распрямился, замедлил шаг, остановился совсем и тоскливым потерянным взглядом уставился в сумрак. Он ее не убил, только ранил, и она уползла в деревню, где у нее знакомые, связные, подруги. Ему туда хода нет.

С трудом пытаясь осмыслить новый поворот в своем положении, он вернулся назад, подобрал винтовку. Называется, пожалел патрон, и погубил жизнь. Проклятая Зоська! Сколько же это может еще продолжаться? Посчитав ее убитой, он скоро утратил свой гнев против нее, он даже готов был полюбить ее, мертвую, могущую своей смертью сослужить для него добрую службу. Но теперь он ее ненавидел снова. Она явилась чудовищно непреодолимой преградой в его и без того запутанной жизни. Как ему избавиться от нее?

Но избавиться, наверно, было уже невозможно, упустив ее, он терял над ней свою власть. Напротив, уйдя в Княжеводцы, она обрела грозную власть над ним и теперь может сделать с ним все, что захочет. Наверняка в это самое время, когда он мечется по темному полю, она уже рассказывает кому-то о его злодействе. Спустя несколько дней обо всем станет известно в отряде.

Неровным усталым шагом Антон шел против ветра, не чувствуя его леденящих порывов, понуро уронив голову, засунув в карманы руки. Плевать ему было на стужу, на этот проклятый ветер в голом промерзшем поле. Война загоняла его в тупик, из которого не было выхода. Куда он теперь мог податься, где обрести пристанище? Он даже не знал, где переночевать, поесть, обогреться; опасность угрожала ему с обеих сторон. По привычке он продолжал опасаться полиции и немцев, но и партизаны с нынешней ночи становились для него врагами. Теперь было бессмысленно искать переправу за Неман — в Липичанку ему путь заказан.

Но куда же тогда не заказан?

Все яснее сознавая безысходность своего положения, он видел немало виновников своих неудач, среди которых, однако, не было его самого. За тридцать без малого лет своей жизни он не привык признаваться себе в прегрешениях и, если случались накладки, любую вину готов был переложить на других. Сам же он в собственных глазах всегда оставался безгрешным, так как, будучи строгим к другим, был великодушным к себе самому. Себя он любил и уважал, хотел только добра, которого, случалось, его лишали другие, — немцы, партизанское начальство, иногда женщины. В данном случае поперек его жизни роковым образом встала партизанская разведчица Зося Нарейко, виновница всех его бед.

Антон брел в ночном поле, лишенный цели, душевно опустошенный, обозленный против других и, конечно,

прежде всего, — против Зоськи. Правда, теперь он корил и себя за оплошность, за то, что пожалел патрон и воздержался от второго выстрела. Зачем теперь ему этот патрон, зачем эта винтовка? Разве для того, чтобы убить себя? Но — дудки, убивать себя он не станет. Он еще молод и еще почти не жил. Несмотря на войну, хотел начать жить, как испокон веков живут люди, но не удалось. Видно, нельзя так все сразу — жить для себя, для других, воевать, любить женщину и быть счастливым. Жаль, поздно он убедился в этом. На кровавом собственном опыте, за который как бы не пришлось заплатить все той же собственной жизнью. Но жизнь у него одна, почему он должен в молодые годы расставаться с нею?

Отупев от неуемного встречного ветра, снега и усталости, Антон наткнулся в ночи на невысокую железнодорожную насыпь, почти не остерегаясь, перешел ее в рост и побрел дальше, стараясь не сбиться с направления, взятого от Княжеводцев. Не сразу он понял, что имеет целью тот польский хутор, где так неудачно провел последнюю ночь с Зоськой. Почему именно тот, а не какой-нибудь другой хутор, он не мог дать себе отчета. Может быть, он шел туда потому, что там все же были знакомые ему люди и он рассчитывал перекусить у них и обогреться. При этом ему было неважно, как они отнесутся к нему, он зла против них не имел, хотя прежний урок намеревался учесть на будущее. Теперь он не выпустит из избы никого, пока сам из нее не выйдет. Но прежде всего он поест и чуток отдохнет в тепле, а потом будет видно. Потом он что-либо придумает.

Ему следовало что-то срочно придумать ради спасения, но мысли никак не шли дальше ближайших забот этой ночи и того знакомого хутора, а что делать дальше, он не мог взять в толк. Ясно было лишь то, что к партизанам ему пути нет, к Копыцкому тоже. К Копыцкому был некоторый смысл явиться с Зоськой, без нее же в полиции его не ждет ничего хорошего. Вот же чертово положение, в которое загнала его война!

По-видимому, он все-таки ослаб за эти сутки непрерывной ходьбы по снегу, без сна и без пищи. Несколько раз он замечал, что начинает дремать на ходу, ощущение ежеминутной опасности притупилось в его сознании, он не узнавал местности и, кажется, снова не выдержал направления. С усилием стряхнув с себя дрему, он огляделся и понял, что снова сбился с пути. Как и позапрошлой ночью, перед ним лежала на пойме Котра. «Это же

надо, дважды заплутать на одном месте», — думал он, глядя на извилистую полосу кустарника вдоль речушки. По всей видимости, хутор остался правее, ближе к Скиделю. К тому же стало светать. Недавно еще плотный, затканный снегопадом сумрак заметно редел, снежные сумерки подернулись прозрачной рассветною синькой, долгая зимняя ночь тихо уступала свои права дню. Антон не заметил даже, когда прекратил сыпать снег, которого здесь намело почти по колено. Сзади за ним тянулись свежие, видные даже во мраке, следы, и он думал, что с такими следами далеко не уйти, так его быстро настигнут в поле.

Как и позапрошлой ночью, ему ничего не оставалось, как повернуть вдоль реки вправо. Правда, он мог повернуть и влево, но там, на узком мысу при впадении Котры в Неман, была большая деревня, а в большой деревне всегда недремно несет службу полиция. Антон предпочел не искушать судьбу-мачеху и держаться от деревень подальше. Но и до хутора было далековато, затемно он просто мог не успеть. И тогда он с облегчением вспомнил, что где-то поблизости отсюда ютилась та самая развалюха-обора. Другого пристанища в этих местах, наверно, сыскать не удастся.

Недалеко отойдя от реки, он скоро нашел эту обору, еще издали увидав под ней старое, обсиженное вороньем дерево. Уже совсем рассвело, поле вокруг лежало пустое, дул морозный северный ветер. Антон осторожно выбрался из кустарника, вслушался. Было чертовски холодно, даже воронье сидело на дереве, зябко нахохлясь, без своего извечного грая. Человеческих следов возле оборы вроде бы не было видно, и он с неизвестно почему дрогнувшим сердцем вошел в ее широко распахнутые ворота.

За ночь снежный сугроб возле дверей сильно увеличился и достиг противоположной стены, возле притолоки виднелись полузасыпанные следы, но, кажется, это были следы его и Зоськиных ног. Низенькая дверь в кубовую была растворена, и он нерешительно переступил высоковатый порог.

Тут было немного затишнее от ветра, но холодно, как и в поле. Антон опустился на слежалую гнилую солому, прислонился спиной к обшарпанному боку стены. Руки сунул за пазуху, колени прикрыл полой кожушка. Было бы неплохо вздремнуть хотя бы на недолгое время. Двадцати минут ему бы, наверно, хватило, чтобы снять оту-

пение и обрести прежнюю бодрость. Большего он не мог позволить себе.

С покорностью отдаваясь сразу охватившей его приятной истоме, он какое-то время еще напрягал слух, боясь прозевать опасность. Но, кроме невнятного шелеста соломы на крыше, сюда не проникало никаких больше звуков, было покойно, тихо и глухо. Готовясь уснуть, Антон думал, что не прошло еще двух суток, а как все катастрофически изменилось в его судьбе. Два дня назад с ним была Зоська, и с ней в нем жила надежда. Пусть глупая, несбыточная надежда, но ею тешилась его очерствевшая в лесных дебрях душа. Но вот стало так, что они разошлись врагами, жить на этой земле вместе с Зоськой сделалось невозможным. Он обрел одиночество, Зоська навсегда ушла из его жизни, но ему оттого легче не стало. По-прежнему он пребывал в безысходности и перестал понимать почему. Неужели все дело в Зоське? Но как тогда понять, что он, здоровый, неглупый мужик, попал в такую зависимость от этой сморкачки? Разве Зоська сильнее его, умнее или более приспособлена к этой кровавой войне? Ведь после своего ранения она уже дышала на ладан, одной ногой стояла в могиле, и он лишь тихонько толкнул ее. И тем не менее она выжила, где-то укрылась, и по-прежнему власть над его судьбой находилась в ее руках.

Он задремал, как ему показалось, не более чем на пять минут, и тут же проснулся от близкого голоса за стеной. Кто-то, вяло матерясь, беззлобно понукал лошадь. Как и два дня назад, Антон испуганно выскочил из кубовой и сразу же в проеме ворот увидел на дороге сани. В них, стоя на коленях, какой-то мужичок в стеганке глухим голосом материл рыжую, с облезлыми боками лошадку. Правил он в сторону Скиделя.

— Эй, стой! — крикнул Антон, появляясь в проеме ворот.

Мужичок оглянулся на обору и придержал коня, не зная, однако, как поступить дальше. Антон тоже не знал, зачем он остановил его, разве чтобы разжиться поесть? Или разузнать про обстановку в окрестностях и принять какое-либо решение. Он чувствовал, что без определенного решения протянуть долго не сможет. Невозможно жить между землей и небом, надо поскорее спускаться на землю. Где только найти лестницу на эту утраченную им землю?

В поле и на дороге вроде никого больше не было,

можно было выйти из оборы, но Антон предпочел подозвать мужичка к себе.

— Ты, давай сюда!

Он не сомневался, что мужичок без промедления исполнит его команду, и для пущей убедительности удобнее перехватил винтовку. И в самом деле мужичок бросил на солому вожжи и, оставив на дороге сани, не спеша, с явной опаской пошел к оборе. Пока он шагал по свежему снегу, Антон рассматривал его самодельный, из овчины треух на голове, старую латаную стеганку и лапти-чуни с перевязанными поверх грязных портянок веревками. Маленькие, часто мигающие глазки на заросшем лице еще издали настороженно уставились в вооруженного человека у оборы.

— Стой! — приказал Антон, когда мужичок шагов на пять не дошел до ворот, и тот послушно остановился. — Хлеба нету?

— Не-а, — удивленно сказал мужик. — Яки ж хлеб? Дома...

— Ясно. И ничего больше? В смысле пожрать...

— Ничога. Дорога ж не дальняя. Так што ж...

— А куда едешь?

— Так в Скидель, — махнул он рукой на дорогу и замер в ожидании новых вопросов.

— На базар?

— Не. Яки ж базар в понедельник? К доктору еду.

— Заболел?

— Ды не. Я не заболел. Але...

— Баба, значит? — вел малоинтересную беседу Антон, имея в виду исподволь выпытать у этого случайного проезжего кое-что из того, что его интересовало в первую очередь.

— Не баба — девка.

— Ах, девка... А там, на дороге, не видел — полицаев нет?

— Не, не видел. Можа, где и есть, а на дороге не видел.

— И партизанов не слышно?

— Не-а. Не слыхать. У нас, знаете, не слышно ничого. Глухо живем.

— А ты из какой деревни?

— Да из Княжеводцев, — сказал мужичок и показал в обратный конец дороги.

Антон испуганно замер. Упоминание о Княжеводцах

заставило его забыть все другие вопросы — кажется, появилась возможность выяснить, может, самое для него главное, и он, сузив глаза, резко спросил мужичка:

— Ах, за доктором едешь?

— Ну.

— К девке?

— Ну.

— К дочке?

Моргнув слезящимися глазами, мужичок вдруг замялся, словно поперхнулся перед ответом, и Антон, не давая ему оправиться, схватил за куцый отворот стеганки.

— Говори, к кому доктора! Быстро!

— Так к девке, сказал...

— Какой девке? К Зоське из Скиделя? Ну? Раненной в голову? Да? Да? Говори скорее!..

Но скорее говорить, наверное, уже не было надобности. Мужичок, беспомощно заморгав глазами, казалось, в мгновение лишился речи, руки его затряслись, растерянным взглядом он бессмысленно водил по рассвирепевшему от роковой догадки, обросшему колючей бородкой лицу Антона. Антон тоже зашелся в странной охватившей его лихорадке, смекнув яростно и самоочевидно, что судьба в последний раз бросала тонущему свой спасательный круг, за который он должен схватиться или пойдет ко дну. И, не размышляя долго, он из последних, еще оставшихся у него сил рванулся к этому кругу. Пока Зоська жива, он должен настичь ее в этих лесных Княжеводцах. То, что ему не удалось на хуторе, должно удаться теперь. Конечно, это не очень красиво по отношению к девушке, которую он любил, но в этом его спасение. В конце концов, не он придумал эту проклятую войну, где если не предашь — не уцелеешь. Что же ему остается?

— Так, ясно! — сказал Антон, резко оттолкнув от себя мужичка. — А ну — в Скидель! В Скидель скорее! — закричал он. — Быстро!!!

В испуге и явном смятении мужичок повернул к дороге, но Антон обогнал его и, подбежав к саням, схватил вожжи.

— Но-о! Скорей, рысью!

Хлестнув лошадь, он ввалился на ходу в розвальни, мужичок едва успел ухватиться за поперечину сзади, лошадка натужно рванулась по переметенной за ночь дороге, и Антон, став на колени, принялся нахлестывать ее вожжами.

Главное для него было — успеть.

21

Все последующее доходило до Зоськи в неясных, порой кошмарно-пугающих образах, бессвязных урывках чужих разговоров. Она слышала, как кто-то окликнул ее, как громче залаяла собачонка. Потом ее бережно подняли на руки и долго несли куда-то.

Она все время молчала, не находя сил ответить на тревожные чьи-то вопросы, да к ней и не очень приставали с вопросами, видно, скоро поняв, что она чуть жива. Зоське ничего не оставалось, как целиком положиться на этих людей, зная, что в Княжеводцах ей плохого не сделают. В Княжеводцах всегда помогут, если только ей еще можно помочь.

Она пришла в себя снова от острой, ударившей под самое сердце боли, раскрыла глаза и увидела близко над собой лампу с надбитым закопченным стеклом. Свет лампы поначалу ослепил ее, но все-таки она успела заметить рядом чье-то немолодое, озабоченное, со сведенными бровями лицо. Чьи-то холодные руки деликатно касались ее обнаженного бока, и она поняла: перевязывают. Зоська с напряжением стонала, не в состоянии молча выдержать боль, и женский, обращенный к ней голос сочувственно заговорил:

— Болит, девчатка? Такая рана!.. Потерпи, девчатка.

Конечно, она будет терпеть, она стерпит все, только бы остаться жить. Как никогда прежде, именно теперь она очень хотела жить. Если это еще возможно...

— И кто тебя так? — голосом погромче участливо спросил мужчина, но она только промычала в ответ. Разговаривать она не могла. Даже сама удивилась: слышать — отлично все слышала, а сказать ничего не могла. Как во сне.

Новый болевой приступ отбросил ее в забытье, долгий промежуток времени она нестерпимо мучилась в фантастическом мире кошмаров. Наверно, она стонала, возможно, у нее начался жар, потому что, когда она снова очнулась, услышала все тот же ласковый голос женщины:

— На, девчатка, молочка попей. Тепленькое молочко, гляди, полегчает...

Она сделала усилие и чуть приподняла голову. Чужими иссохшими губами не сразу нашла край шершавой посудины и торопливо сглотнула что-то безвкусное.

— Ну, еще немножко попей... Молочко те-еплое...

«Молочко те-еплое», — звучит милым голосом мамы,

которая третью неделю хлопочет возле пятилетней Зоськи и тихонько украдкой плачет. Зоська тяжело больна, вся в жару, ничего не ест, только пьет молочко. Она пластом лежит в углу на кровати, укрытая кожушком поверх лоскутного маминого одеяла, и очень ослабла. Но у нее ничего не болит, только все время хочется спать. И она спит — днем, утром, ночью, просыпаясь лишь затем, чтобы попить молочка. Болеть ей, однако, нетрудно, даже в общем приятно, потому что все к ней предупредительно-ласковы, добры и с радостью исполняют каждое ее желание, главное из которых — чтобы не плакала мама. Но это желание редко сбывается, и коротенький мамин всхлип резкой тревогой вырывает девочку из сна, вернее, из тягостно-липкой дремы, Зоська пугается и тоже хочет заплакать. Но она такая слабая, что только тихонько шепчет обметанными губами: «Не надо, мамочка... Мамочка, не надо...» И мать, заслышав ее, сразу утихает, приходит за занавеску и, склонясь над дочерью, бережно гладит ее заостренное исхудавшее личико шершавыми, не по-женски большими руками. Зоська успокаивается, хочет улыбнуться в ответ и слабым голосом пытается утешить маму:

«Мамочка, я не умру. Я не умру, мамочка...»

Но ее наивное утешение вызывает у матери новый, безудержный приступ плача. Уронив на постель голову, мать долго сотрясается в безутешном рыдании, и Зоська с недетской решимостью думает: нет, она ни за что не умрет, она будет жить, потому что как же тогда ее любимая, бедная мама?

Мама для нее — главная радость жизни, так же, как и она для мамы. Зоська знает это с раннего детства и думает, что никогда на свете не расстанется с мамой.

Но вот рассталась...

Люди говорили, что лицом она вышла в маму, что у нее материнский характер. Зоська и сама иногда думала, что свою доброту и покладистость определенно переняла от матери. Часто она страдала оттого, что нынешнее время меньше всего подходило для этого ее качества, иногда ненавидела в себе эту доброту, принимая ее за слабость, в то время как ей нужна была сила. Но всякий раз ее отвращал один вид людей, явно лишенных доброты, заскорузлых в черствости, и она понимала, как важно быть добрым. Значит — быть справедливым.

...Потом в полудреме она слышит чей-то тихий недалекий разговор-шепот, но там уже новые голоса, похоже — мужские, и до сознания ее доходит обеспокоенное слово

доктор. Она догадывается, что́ это значит, и хочет сказать, что не надо ее везти к доктору, который ей неприятен с детства, потому что доктор — человек из другого, неизвестного ей мира и с ним связаны малоприятные для нее переживания. Теперь у нее другие, не менее важные причины избегать доктора, но у нее нет сил сказать об этом, и она лишь тихонько стонет.

— Попей молочка, девчатка. Попей тепленького...

— Ну что ты пристала к ней с молочком? Видишь, не может! — раздраженно гудит мужской голос, в котором Зоське слышатся знакомые ноты, и она вся напрягается. Но нет, это не отец...

Отца она меньше любила, наверно, потому, что он был неразговорчив и строг, а иногда круто обходился с матерью. Но в раннем далеком детстве Зоська, может, больше других боготворила именно отца, особенно в редкие для него минуты досуга, когда он не был занят работой и находил возможность заняться детьми. Из каких-то глубинных уголков ее памяти выплывает давнишний день кануна праздника троицы в начале лета, полузаросшая муравкой дорога в теплой мягкой пыли за околицей, и они с сестрой, семенящие за отцом. Вытянутой в сторону рукой Зоська ведет по стеблям колосящейся ржи, вспугивая осевших на ночлег серебристых бабочек, острохвостые ласточки лихо носятся в погожем предвечернем небе, и за отцом тянется горьковатый аромат березовых веток, целую охапку которых они наломали в роще. Дома их ждал предпраздничный порядок в избе, только что вымытый мамою пол был густо забросан пахучими стеблями аира, они сразу принялись украшать хату ветками и обильно понатыкали их всюду, где только могла держаться хотя бы самая малая веточка. Всю ночь в хате стоял удивительный аромат леса и луга, Зоське снились счастливые сны, и вся ее детская жизнь была преисполнена предвкушения какой-то огромной и скорой радости.

...Она снова ощущает себя во власти знакомой с детства болезненно-немощной расслабленности, когда хочется только покоя, тишины и небытия, потому что в яви — страдания и боль. И вместе с тем в ней немая апатичная успокоенность за свою судьбу, которая теперь от нее не зависит.

Со временем она замечает, что ритмично раскачивается и плывет куда-то, словно во сне. Но сна нет, это уже явь. Зоська полураскрывает глаза, перед которыми — косматый край укрывшего ее кожушка и яркая синь рас-

светного неба. Мерные плавные толчки куда-то влекут ее, и ей даже приятно от этого ровного убаюкивающего движения в неизвестное. Не сразу она догадывается, что ее везут по полевой санной дороге. Она не может спросить, куда, но она и не тревожится. Значит, так надо.

Она лишь хочет понять, кто с ней? Чувствуется чье-то присутствие рядом, наверно, это возница, но кто? Ей бы только взглянуть на своего спасителя и ничего больше. Об Антоне она не думает — будь он проклят, убийца! Главное, она спасена, даст бог — поправится, и тогда она с ним посчитается. Она посмотрит в подлые его глаза, еще он поваляется у ее ног. Если раньше не перебежит к немцам.

— Но-но, шевелися, милая...

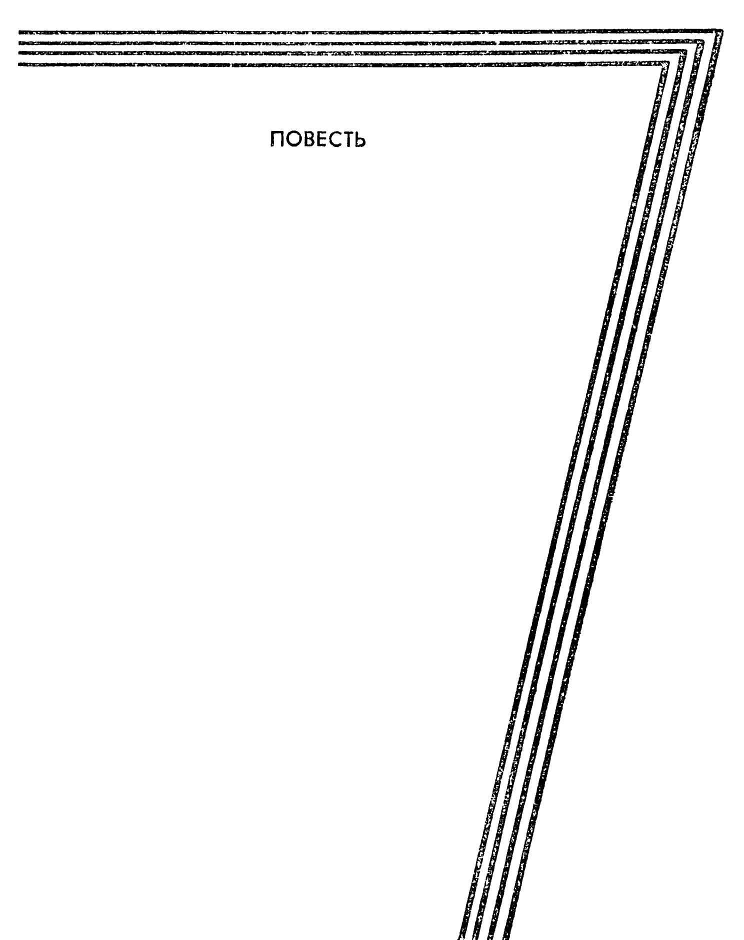
Это все та же поившая ее молочком тетка, и Зоське становится покойно, она уже привыкла к ее, схожему с материнским, голосу. Невысказанная благодарность щемящей тоской сжимает что-то внутри, и из Зоськиных глаз скатываются к уголкам губ две щекотные студеные слезинки.

— Ничего, девчатка, все будет хорошо. Перепрячем тебя в хорошее место, как-нибудь очуняешь. Молодая еще, жить будешь, деток народишь. Не век же этой проклятой войне продолжаться, — как свежий родничок в летний полдень, обнадеживающе звучит рядом, и Зоська благостно успокаивается под теплым кожушком.

Авось в самом деле правда: страшное позади, и она как-нибудь еще выкарабкается из своей беды.

1978 г.

ОБЕЛИСК



ПОВЕСТЬ

За два долгих года я так и не выбрал времени съездить в ту не очень и далекую от города сельскую школу. Сколько раз думал об этом, но все откладывал: зимой — пока ослабнут морозы или утихнет метель, весной — пока подсохнет да потеплеет; летом же, когда было и сухо и тепло, все мысли занимал отпуск и связанные с ним хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком, перенаселенном юге. Кроме того, думал: подъеду, когда станет свободней с работой, с разными домашними заботами. И, как это бывает в жизни, дооткладывался до того, что стало поздно собираться в гости — пришло время ехать на похороны.

Узнал об этом также не вовремя: возвращаясь из командировки, встретил на улице знакомого, давнишнего товарища по работе. Немного поговорив о том о сем и обменявшись несколькими шутливыми фразами, уже распрощались, как вдруг, будто вспомнив что-то, товарищ остановился.

— Слыхал, Миклашевич умер? Тот, что в Сельце учителем был.

— Как умер?

— Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня хоронить будут.

Товарищ сказал и пошел, смерть Миклашевича для него, наверно, мало что значила, а я стоял и растерянно смотрел через улицу. На мгновение я перестал ощущать себя, забыл обо всех своих неотложных делах — какая-то еще не осознанная виноватость внезапным ударом оглушила меня и приковала к этому кусочку асфальта.

Конечно, я понимал, что в безвременной смерти молодого сельского учителя никакой моей вины не было, да и сам учитель не был мне ни родней, ни даже близким знакомым, но сердце мое остро защемило от жалости к нему и сознания своей непоправимой вины — ведь я не сделал того, что теперь уже никогда не смогу сделать. Наверно, цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, ощутил быстро созревшую решимость поехать туда сейчас же, немедленно.

Время с той минуты, как я принял это решение, помчалось для меня по какому-то особому отсчету, вернее — исчезло ощущение времени. Изо всех сил я стал торопиться, хотя удавалось это мне плохо. Дома никого из своих не застал, но даже не написал записки, чтобы предупредить их о моем отъезде, — побежал на автобусную станцию. Вспомнив о делах на службе, пытался дозвониться туда из автомата, который, будто назло мне, исправно глотал медяки и молчал как заклятый. Бросился искать другой и нашел его только у нового здания гастронома, но там в терпеливом ожидании стояла очередь. Ждал несколько минут, выслушивая длинные и мелочные разговоры в синей, с разбитым стеклом будке, поссорился с каким-то парнем, которого принял сначала за девушку, — штаны клеш и льняные локоны до воротника вельветовой курточки. Пока наконец дозвонился да объяснил, в чем дело, упустил последний автобус на Сельцо, другого же транспорта в ту сторону сегодня не предвиделось. С полчаса потратил на тщетные попытки захватить такси на стоянке, но к каждой подходившей машине бросалась толпа более проворных, а главное, более нахальных, чем я. В конце концов пришлось выбираться на шоссе за городом и прибегнуть к старому, испытанному в таких случаях способу — голосовать. Действительно, седьмая или десятая машина из города, доверху нагруженная рулонами толя, остановилась на обочине и взяла нас — меня и парнишку в кедах, с сумкой, набитой буханками городского хлеба.

В пути стало немного спокойнее, только порой казалось, что машина идет слишком медленно, и я ловил себя на том, что мысленно ругаю шофера, хотя на более трезвый взгляд ехали мы обычно, как и все тут ездят. Шоссе было гладким, асфальтированным и почти прямым, плавно покачивало на пологих взгорках — то вверх, то вниз. День клонился к вечеру, стояла середина бабьего лета со спокойной прозрачностью далей, поредевшими,

тронутыми первой желтизной перелесками, вольным простором уже опустевших полей. Поодаль, у леса, паслось колхозное стадо — несколько сот подтелков, все одного возраста, роста, одинаковой буро-красной масти. На огромном поле по другую сторону дороги тарахтел неутомимый колхозный трактор — пахал под зябь. Навстречу нам шли машины, громоздко нагруженные льнотрестой. В придорожной деревне Будиловичи ярко пламенели в палисадниках поздние георгины, на огородах в распаханных бороздах с сухой, полегшей ботвой копались деревенские тетки — выбирали картофель. Природа полнилась мирным покоем погожей осени; тихая человеческая удовлетворенность просвечивала в размеренном ритме извечных крестьянских хлопот, когда урожай уже выращен, собран, большинство связанных с ним забот позади, оставалось ему обработать, подготовить к зиме и до следующей весны — прощай, многотрудное и многозаботное поле.

Но меня эта умиротворяющая благость природы, однако, никак не успокаивала, а только угнетала и злила. Я опаздывал, чувствовал это, переживал и клял себя за мою застаревшую лень, душевную черствость. Никакие мои прежние причины не казались теперь уважительными, да и вообще были ли какие-нибудь причины? С такой медвежьей неповоротливостью недолго было до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не сделав из того, что, может, только и могло составить смысл твоего существования на этой грешной земле. Так пропади она пропадом, тщетная муравьиная суета ради призрачного ненасытного благополучия, если из-за него остается в стороне нечто куда более важное. Ведь тем самым опустошается и выхолащивается вся твоя жизнь, которая только кажется тебе автономной, обособленной от других человеческих жизней, направленной по твоему сугубо индивидуальному житейскому руслу. На самом же деле, как это не сегодня замечено, если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего разумной человеческой добротой и заботою о других — близких или даже далеких тебе людях, которые нуждаются в этой твоей заботе.

Наверно, лучше других это понимал Миклашевич.

И кажется, не было у него особой на то причины, исключительной образованности или утонченного воспитания, которые выделяли бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сельским учителем, наверно, не

лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учителей. Правда, я слышал, что он пережил трагедию во время войны и чудом спасся от смерти. И еще — что он очень болен. Каждому, кто впервые встречался с ним, было очевидно, как изводила его эта болезнь. Но я никогда не слыхал, чтобы он пожаловался на нее или дал бы кому-либо понять, как ему трудно. Вспомнилось, как мы с ним познакомились во время перерыва на очередной учительской конференции. С кем-то беседуя, он стоял тогда у окна в шумном вестибюле городского Дома культуры, и вся его очень худая, остроплечая фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей показалась мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечьей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим, в густых морщинах лицом, как впечатление сразу менялось — думалось, что это довольно побитый жизнью, почти пожилой человек. В действительности же, и я это знал точно, в то время ему шел только тридцать четвертый год.

— Слышал о вас и давно хотел обратиться с одним запутанным делом, — сказал тогда Миклашевич каким-то глухим голосом.

Он курил, стряхивая пепел в пустой коробок из-под спичек, который держал в пальцах, и я, помнится, невольно ужаснулся, увидев эти его нервно дрожащие пальцы, обтянутые желтой сморщенной кожей. С недобрым предчувствием я поспешил перевести взгляд на его лицо — усталое, оно было, однако, совершенно спокойным.

— Печать — великая сила, — шутливо и со значением процитировал он, и сквозь сетку морщин на его лице проглянула добрая, со страдальческой грустью усмешка.

Я знал, что он ищет что-то в истории партизанской войны на Гродненщине, что сам еще подростком принимал участие в партизанских делах, что его друзья-школьники расстреляны немцами в сорок втором и что хлопотами Миклашевича в их честь поставлен небольшой памятник в Сельце. Но вот, оказывается, было у него и еще какое-то дело, в котором он рассчитывал на меня. Что ж, я был готов. Я обещал приехать, поговорить и по возможности разобраться, если дело действительно запутанное, — в то время я еще не потерял охоту к разного рода запутанным, сложным делам.

И вот опоздал.

В небольшом придорожном леске с высоко вознесшимися над дорогой шапками сосен шоссе начинало плавное

широкое закругление, за которым показалось наконец и Сельцо. Когда-то это была помещичья усадьба с пышно разросшимися за много десятков лет суковатыми кронами старых вязов и лип, скрывавшими в своих недрах старосветский особняк — школу. Машина неторопливо приближалась к повороту в усадьбу, и это приближение новой волной печали и горечи охватило меня — я подъезжал. На миг появилось сомнение: зачем? Зачем я еду сюда, на эти печальные похороны, надо было приехать раньше, а теперь кому я могу быть тут нужен, да и что тут может понадобиться мне? Но, по-видимому, рассуждать таким образом уже не имело смысла, машина стала замедлять ход. Я крикнул парнишке-попутчику, который, судя по его спокойному виду, ехал дальше, чтобы тот постучал шоферу, а сам по шершавым рулонам толя подобрался к борту, готовясь спрыгнуть на обочину.

Ну вот и приехал. Машина, сердито стрельнув из выхлопной трубы, покатила дальше, а я, разминая затекшие ноги, немного прошел по обочине. Знакомая, не раз виденная из окна автобуса, эта развилка встретила меня со сдержанной похоронной печалью. Возле мостика через канаву торчал столбик со знаком автобусной остановки, за ним был виден знакомый обелиск с пятью юношескими именами на черной табличке. В сотне шагов от шоссе вдоль дороги к школе начиналась старая узковатая аллея из широкоствольных, развалившихся в разные стороны вязов. В дальнем конце ее на школьном дворе ждали кого-то «газик» и черная, видимо, райкомовская «Волга», но людей там не было видно. «Наверно, люди теперь в другом месте», — подумал я. Но я даже толком не знал, где здесь находится кладбище, чтобы пойти туда, если еще имело какой-то смысл туда идти.

Так, не очень решительно, я вошел в аллею под многоярусные кроны деревьев. Когда-то, лет пять назад, я уже бывал тут, но тогда этот старый помещичий дом, да и эта аллея не показались мне такими подчеркнуто молчаливыми: школьный двор тогда полнился голосами детей — как раз была перемена. Теперь же вокруг стояла недобрая погребальная тишина — даже не шелестела, затаившись в предвечернем покое, поредевшая желтеющая листва старых вязов. Укатанная гравийная дорожка вскоре вывела на школьный двор — впереди высился некогда пышный, в два этажа, но уже обветшалый и запущенный,

с треснувшей по фасаду стеной старосветский дворец: фигурная балюстрада веранды, беленые колонны по обе стороны парадного входа, высокие венецианские окна. Мне следовало спросить у кого-нибудь, где хоронят Миклашевича, но спросить было не у кого. Не зная, куда деваться, я растерянно потоптался возле машин и уже хотел войти в школу, как из той же парадной аллеи, едва не наехав на меня, выскочил еще один запыленный «газик». Он тут же лихо затормозил, и из его брезентового нутра вывалился знакомый мне человек в измятой зеленой болонье. Это был зоотехник из областного управления сельского хозяйства, который теперь, как я слышал, работал где-то в районе. Лет пять мы не виделись с ним, да и вообще наше знакомство было шапочным, но сейчас я искренне обрадовался его появлению.

— Здорово, друг, — приветствовал меня зоотехник с таким оживлением на упитанном самодовольном лице, словно мы явились сюда на свадьбу, а не на похороны. — Тоже, да?

— Тоже, — сдержанно ответил я.

— Они там, в учительском доме, — сразу приняв мой сдержанный тон, тише сказал приехавший. — А ну давай пособи.

Ухватившись за угол, он выволок из машины ящик со сверкающими рядами бутылок «Московской», за которой, видно, и ездил в сельпо или в город. Я подхватил ношу с другой стороны, и мы, минуя школу, пошли по тропке меж садовых зарослей куда-то в сторону недалекого флигеля с квартирами учителей.

— Как же это случилось? — спросил я, все еще не в состоянии свыкнуться с этой смертью.

— А так! Как все случается. Трах, бах — и готово. Был человек — и нет.

— Хоть болел перед тем или как?

— Болел! Он всю жизнь болел. Но работал. И доработался до ручки. Пойдем вот да выпьем, пока есть такая возможность.

В старом, с облупившейся штукатуркой флигеле за поредевшими кустами сирени, среди которых свежо и сочно рдела осыпанная гроздьями рябина, слышался приглушенный говор многих людей, по которому можно было судить, что самое важное и последнее тут уже окончено. Шли поминки. Низкие окна приземистого флигеля были настежь раскрыты, между раздвинутых занавесок виднелась чья-то спина в белой нейлоновой сорочке и рядом

льняная копна высокой женской прически. У крыльца стояли и курили двое небритых, в рабочей одежде мужчин. Они скупо переговаривались о чем-то, потом умолкли, перехватили у нас ящик и понесли его в дом. По узкому коридорчику мы пошли за ними.

В небольшой комнате, из которой теперь было вынесено все, что можно вынести, стояли сдвинутые впритык столы с остатками питья и закусок. Десятка два сидевших за ними людей были заняты разговорами, сигаретный дым витыми космами тянулся к окнам. Заметно угасший темп поминок свидетельствовал, что идут они не первый уже час, и я понял, что мое запоздалое появление хуже отсутствия и легко могло быть истолковано не в мою пользу. Но не браться же за шапку, коль уж приехал.

— Садитесь, вот и местечко есть, — скорбным голосом пригласила к столу пожилая женщина в темной косынке, не спрашивая, кто я и зачем пришел: наверно, такое появление тут было делом обычным.

Я послушно сел на низковатую за высоким столом табуретку, стараясь не привлекать к себе внимания этих людей. Но рядом кто-то уже поворачивал ко мне свое отечное немолодое, мокрое от пота лицо.

— Опоздал? — просто сказал человек. — Ну что ж... Нет больше нашего Павлика. И уже не будет. Выпьем, товарищ.

Он сунул мне в руки явно не допитый кем-то, со следами чужих пальцев стакан водки, сам взял со стола другой.

— Давай, брат. Земля ему пухом.

— Что ж, пусть будет пухом.

Мы выпили. Чьей-то вилкой я подцепил с тарелки кружок огурца, сосед непослушными пальцами принялся вылущивать из помятой пачки «Примы», наверно, последнюю там сигарету. В это время женщина в темном платье поставила на стол несколько новых бутылок «Московской», и мужские руки стали разливать ее по расставленным всюду стаканам.

— Тише! Товарищи, прошу тише! — сквозь шум голосов раздался откуда-то из переднего угла громкий, не очень трезвый голос. — Тут хотят сказать. Слово имеет...

— Ксендзов, заведующий районо, — густо дохнув сигаретным дымом, прогудел над ухом сосед. — Что он может сказать? Что он знает?

В дальнем конце стола поднялся с места молодой еще

человек с привычной начальственной уверенностью на жестком волевом лице, поднял стакан с водкой.

— Тут уже говорили о нашем дорогом Павле Ивановиче. Хороший был коммунист, передовой учитель. Активный общественник. И вообще... Одним словом, жить бы ему да жить...

— Жил бы, если бы не война, — вставил быстрый женский голос, должно быть, учительницы, сидевшей рядом с Ксендзовым.

Завгайоно запнулся, словно сбитый с толку этой репликой, поправил на груди галстук. Говорить ему, судя по всему, было трудно, непривычно на такую тему, он с натугой подбирал слова — может, не было у него нужных на такой случай слов.

— Да, если б не война, — наконец согласился оратор. — Если б не развязанная немецким фашизмом война, которая принесла нашему народу неисчислимые беды. Теперь, спустя двадцать лет после того, как залечены раны войны, восстановлено разрушенное войной хозяйство и советский народ добился выдающихся успехов во всех отраслях экономики, а также культуры, науки и образования и особенно больших успехов в области...

— При чем тут успехи! — вдруг грохнуло над моим ухом, и пустая бутылка на столе, подскочив, покатилась между тарелок. — При чем тут успехи? Мы похоронили человека.

Завгайоно недобро умолк на полуслове, а все сидевшие за столом настороженно, почти с испугом начали озираться на моего соседа. Немолодые уже глаза того на покрасневшем, болезненно потном лице явно наливались гневом, большой, перевитый набрякшими венами кулак угрожающе лежал на скатерти. Заведующий районо многозначительно помолчал с минуту и спокойно, с достоинством заметил, словно нарушившему порядок школьнику:

— Товарищ Ткачук, ведите себя пристойно.

— Тише, тише. Ну что вы! — озабоченно склонилась к моему соседу сидевшая рядом с ним женщина.

Но Ткачук, по-видимому, вовсе не хотел сидеть тихо, он медленно поднимался из-за стола, неуклюже распрямляя свое грузное немолодое тело.

— Это вам надо пристойно. Что вы тут несете про какие-то успехи? Почему вы не вспомните про Мороза?

Похоже, назревал скандал, и я чувствовал себя не очень удобно в таком соседстве. Но я тут был человек посторонний и не считал себя вправе вмешиваться, кого-то

успокаивать или за кого-то вступаться. Заведующему районо, однако, нельзя было отказать в надлежащей на такой случай выдержке.

— Мороз тут ни при чем, — со спокойной твердостью остановил он выпад моего соседа. — Мы не Мороза хороним.

— Очень даже при чем! — почти крикнул сосед. — Это Мороза надо благодарить за Миклашевича! Он из него человека сделал.

— Миклашевич — другое дело, — согласился заврайоно и поднял до половины налитый стакан. — Выпьем, товарищи, за его память. Пусть его жизнь послужит для нас примером.

За столом началось обычное после тоста оживление, все выпили. Один только помрачневший Ткачук демонстративно отодвинулся от стола и откинулся к спинке стула.

— Мне с него брать пример поздно. Это он с меня брал пример, если хотите знать, — зло бросил он, ни к кому не обращаясь, и ему никто не ответил.

Заведующий районо старался больше не замечать спорщика, а остальные были поглощены закуской. Тогда Ткачук повернулся ко мне.

— Скажи ты про Мороза. Пусть знают...

— Про какого Мороза? — не понял я.

— Что, и ты не знаешь Мороза? Дожили! Сидим, пьем в Сельце, и никто не вспомнит Мороза! Которого здесь должен знать каждый... Что вы так на меня смотрите? — совсем уже разозлился он, поймав на себе чей-то укоризненный взгляд. — Я знаю, что говорю. Мороз — вот кто пример для всех нас. Как для Миклашевича был.

За столом притихли. Тут происходило что-то такое, чего я не понимал, но что, должно быть, отлично понимали другие. После минутного замешательства все тот же заведующий районо произнес с завидной начальственной твердостью в голосе:

— Прежде чем говорить, следует подумать, товарищ Ткачук.

— Я думаю, что говорю.

— Вот именно.

— Ну хватит! Тимофей Титович! Хватит вам, — с настойчивой кротостью начала успокаивать его молодая соседка. — Лучше съешьте колбаски. Это домашняя. В городе небось такой нет. А то вы совсем не закусываете...

Но Ткачук, видно, не хотел закусывать и, выдавив

желваки на морщинистых щеках, только скрежетал зубами. Потом взял стакан с водкой и залпом выпил ее до дна. На какую-то минуту мутные, покрасневшие его глаза страдальчески упрятались под бровями.

За столами стало тише, все молча закусывали, некоторые курили. Я повернулся к соседу справа — молодому парню в зеленом свитере, с виду учителю или какому-то специалисту из колхоза — и кивнул в сторону Ткачука:

— Не знаете, кто это?

— Тимофей Титович. Бывший здешний учитель.

— А теперь?

— Теперь на пенсии. В городе живет.

Я внимательно присмотрелся к моему соседу. Нет, в городе я, кажется, его не встречал, может, он недавно переехал откуда-то. На вид он уже стал безразличен ко всему тут и отчужденно примолк, уставясь на клетчатый край скатерти.

— Из города? — вдруг спросил он, вероятно, заметив мой к нему интерес.

— Из города.

— Чем приехал?

— Попутной.

— Своей не имеешь?

— Пока нет.

— Ну пейте, поминайте, я поехал.

— А вы чем поедете?

— Чем-нибудь. Не первый раз.

— Тогда и я с вами, — вдруг решил я. Оставаться тут, кажется, не имело смысла.

Сейчас мне трудно объяснить, почему я пошел за этим человеком, почему, с трудом добравшись до Сельца, так скоро и охотно расставался с усадьбой и школой. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете, а люди за этими столами меня занимали мало. Но и мой новый попутчик в то время совсем не казался мне ни интересным, ни чемнибудь привлекательным. Скорее напротив. Я видел возле себя изрядно подвыпившего, привередливого пенсионера; от его слов о своем превосходстве над покойным несло обычной стариковской похвальбой, всегда не слишком приятной. Даже если он и говорил правду.

Тем не менее с неясным еще чувством облегчения я встал из-за стола и вышел из комнаты. Ткачук был грузноватым, кряжистым человеком, в ботинках и сером по-

ношенном костюме с двумя орденскими планками на груди. Похоже, что он крепко выпил, хотя в этом не было ничего удивительного — пережил на похоронах, немного понервничал в споре, причина которого так и осталась для меня непонятной. Но, видно по всему, он не на шутку разозлился и теперь шел впереди по тропинке, подчеркивая свое нерасположение к какому бы то ни было общению.

Так мы молча миновали усадьбу и прошли в аллею. Не доходя шоссе, пропустили на нем грузовик, кажется, порожний и шедший в направлении города. Можно было бы крикнуть и немного пробежать, но мой спутник не прибавил шагу, и я тоже не проявил особого беспокойства. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было, шоссе в обе стороны лежало пустое, до блеска наглянцованное за день.

Мы дошли до развилки и остановились. Ткачук поглядел в одну сторону дороги, в другую и сел, где стоял, опустив ноги в неглубокую сухую канаву. Разговаривать со мной он не хотел, это было очевидным, и, чтобы не докучать ему, я отошел в сторонку, не упуская из виду дорогу. Из-за лесного поворота показалась легковушка, частный «Москвич» с горбатым, навьюченным багажом верхом, — обдав нас бензинным запахом, он покатил дальше. В той же стороне шоссе, которое теперь больше всего интересовало нас, было совершенно пусто. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили глаза, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла — машин там не было. Теряя интерес к дороге, я по-над канавой прошел к памятнику.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника, просто и без лишней затейливости сооруженный руками каких-то местных умельцев. Выглядел он более чем скромно, если не сказать бедно, теперь даже в селах устанавливают куда более роскошные памятники. Правда, при всей его незатейливости не было в нем и следа заброшенности или небрежения: сколько я помнил, всегда он был тщательно досмотрен и прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой, на которой теперь пестрело что-то из поздней цветочной мелочи. Этот чуть выше человеческого роста обелиск за какие-нибудь десять лет, что я его помнил, несколько раз менял свою окраску: был то белоснежный, беленный перед праздниками известкой, то зеленый, под цвет солдат-

ского обмундирования; однажды проездом по этому шоссе я видел его блестяще-серебристым, как крыло реактивного лайнера. Теперь же он был серым, и, пожалуй, из всех прочих цветов этот наиболее соответствовал его облику.

Обелиск часто менял свой вид, неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с пятью именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг в годы войны. Я уже не вчитывался в них, я их знал на память. Но теперь удивился, увидев, что тут появилось новое имя — Мороз А. И., которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской.

На дороге со стороны города вновь показалась машина, на этот раз самосвал, он промчал по пустынному шоссе мимо. Поднятая им пыль заставила моего спутника встать с его не слишком подходящего для отдыха места. Ткачук вышел на асфальт и озабоченно посмотрел на дорогу.

— Черт их дождется! Давай потопаем. Нагонит какая, так сядем.

Что ж, я согласился, тем более что погода под вечер стала еще лучше: было тепло и безветренно, ни один листочек на вязах не шелохнулся, а глянцевитая лента пустынного шоссе так и манила дать волю ногам. Я перепрыгнул канаву, и мы с давно не испытанным наслаждением пошагали по гладкому асфальту, изредка оглядываясь назад.

— Давно вы знали Миклашевича? — спросил я просто для того, чтобы нарушить наше затянувшееся молчание, которое начинало уже угнетать.

— Знал? Всю жизнь. На моих глазах вырос.

— А я совсем его мало знал, — признался я. — Так, встречались несколько раз. Слышал: неплохой был учитель, детей хорошо учил...

— Учил! Учили и другие не хуже. А вот он настоящим человеком был. Ребята за ним табуном ходили.

— Да, теперь это редкость.

— Теперь редкость, а прежде часто бывало. И он тоже в табуне за Морозом ходил. Когда мальцом был.

— Кстати, а кто этот Мороз? Ей-богу, я ничего о нем не слышал.

— Мороз — учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре тридцать девятого приехал. А он в октябре эту школу открыл. На четыре класса всего.

— Погиб?

— Да, погиб, — сказал Ткачук, неторопливо, вразвалку шагая рядом.

Пиджак его был расстегнут, узел галстука небрежно сполз набок, под уголок воротника. По тяжелому, не слишком тщательно выбритому лицу промелькнула тень горечи.

— Мороз был нашей болячкой. На совести у обоих. У меня и у него. Ну да я что... Я сдался. А он нет. И вот — победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал.

Кажется, я что-то начинал понимать, о чем-то догадываться. Какая-то история со времен войны. Но Ткачук объяснял так порывисто и скупо, что многое оставалось неясным. Наверно, надо было бы расспросить понастойчивей, но я не хотел показаться назойливым и только для поддержания разговора вставлял свои банальные фразы.

— Так уж заведено. За все хорошее надо платить. И подчас дорогой ценой.

— Да уж куда дороже... Главное, прекрасная была преемственность... Теперь же столько разговоров о преемственности, о традициях отцов... Правда, Мороз не был ему отцом, но преемственность была. Просто на диво! Бывало, смотрю и не могу нарадоваться: ну словно он брат Морозу Алесю Ивановичу. Всем: и характером, и добротой, и принципиальностью. А теперь... Хотя не может быть, что-то там от него останется. Не может не остаться. Такое не пропадает. Прорастет. Через год, пять, десять, а что-то проклюнется. Увидишь.

— Это возможно.

— Не возможно, а точно. Не может быть, чтобы работа этих людей пропала зазря. Тем более после таких смертей. Смерть, она, брат, свой смысл имеет. Великий, я тебе скажу, смысл. Смерть — это абсолютное доказательство. Самый неопровержимый аргумент. Помнишь, как у Некрасова: «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь, иди и гибни безупречно, умрешь не даром: дело вечно, когда под ним струится кровь». Вот! А тут крови пролилось ого сколько. Не может быть, чтобы зря. Да и Мороз доказал это самым красноречивым образом. Хотя ты ведь не знаешь...

— Не знаю, — честно признался я. — Когда-то Миклашевич собирался рассказать...

— Знаю. Он говорил. Он тогда к кому только не обращался. И к тебе хотел. Да вот... не успел.

Слова эти отозвались во мне болезненным укором. Недаром чувствовало мое сердце, что, сам того не желая, я все же допустил здесь ошибку. Но кто знал! Кто мог предполагать, что все это обернется таким печальным образом!

— Ты же из редакции? — искоса глянул на меня Ткачук. — Знаю. Фельетончики пишешь и так далее. За правду-матку воюешь. Вот он тогда и задумал подключить тебя к этому делу — вступиться за Мороза. Да нет, Мороз не осужденный, не пугайся. И не какой-то там прислужник немецкий. Тут дело другое...

— Интересно, — сказал я, когда Ткачук ненадолго смолк. — Знал бы я раньше...

— Теперь уже все сделано, нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и рассказывать. И написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды. Только вот сам... У тебя закурить найдется? — спросил он, похлопывая себя по пустым карманам.

Я дал ему сигарету, мы оба закурили, посторонились, пропуская черную, блеснувшую никелем «Волгу», которая шустро проскочила мимо. Наверно, «Волга» шла в город, но теперь ни он, ни я не сделали никакой попытки остановить ее — я предчувствовал, что Ткачук продолжит рассказ, а он как-то сосредоточенно ушел в себя, провожая рассеянным взглядом машину.

— Может, взяла бы? А, шут с ней. Пусть едет. Пойдем потихоньку. Тебе сколько лет? Сорок, говоришь? Ну, молодой еще век, многое впереди. Не все, конечно, но многое еще осталось. Если, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать чтоб плохое, иной раз еще и чарку могу взять. Но уже не то, что раньше. Раньше я, брат, этого автобуса редко когда и дожидался. А уж в те давнишние времена так и автобусов никаких не было. Надо в город — берешь палку и айда. Двадцать километров за три с половиной часа, и в городе. Теперь, наверно, больше потребуется, давно не ходил. Ноги еще ничего. Хуже вот — нервы сдают. Знаешь, не могу смотреть кино, если жалостливое какое или особенно про войну. Как увижу то горе наше, хоть и давно уже все пережито и помалу забывается, а, знаешь, что-то сжимает в горле. Да еще музыка. Не всякая, конечно, не джазы какие, а песни, которые тогда пели. Как услышу, ну просто нервы пилой пилит.

— Подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.

— Нет, мои уже не вылечат. Шестьдесят два года, что ты хочешь! Жизнь вдрызг истрепала, веревки вила из моих нервов. А ученые говорят — нервные клетки не восстанавливаются... Да. А когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В тридцать девятом после воссоединения Наркомат просвещения направил в Западную организовывать школы. Организовывал школы, колхозы, крутился, мотался, сам в школах работал. Вот и в этом самом Сельце после войны семь лет отгрохал...

— Время идет.

— Не идет, а мчится. Когда-то все думал: ну год-два поработаю, а потом в Минск подамся, в пединституте учиться хотел. Я ведь до войны только учительские двухгодичные окончил. Ну а жизнь иначе закомандовала. Война началась, никакого «педа» не вышло, и вот тут и прикипел на всю жизнь. Раньше райком не отпускал, школа, квартира, а теперь вот, когда можно катиться на все стороны, никуда уже и не тянет. Так, видно, и придется остаться в этой земле вместе с Морозом. Разве что с некоторым опозданием.

Он замолчал. Я докурил сигарету и тоже молчал. Мы уже миновали лесок, дорога бежала в выемке, по обе стороны которой высились песчаные откосы с соснами. Тут уже заметно сгустились вечерние сумерки, и даже вершины елей стояли в тени, только безоблачное небо в вышине еще светилось прощальным отсветом зашедшего солнца.

— Сегодня какое число? Четырнадцатое? Как раз в эту пору первый раз приехал в Сельцо. Теперь уже привычное дело все эти стежки-дорожки, а тогда все было новое, интересное. Усадьба эта, где школа, тогда не была такой запущенной, дом стоял ухоженный, раскрашенный, как игрушка. Пан Габрусь в сентябре дал драпака, бросил все, подался, говорили, к румынам, и тут Мороз школу открыл. На школьном дворе перед парадным высились два раскидистых дерева с какой-то серебристой листвой. Не деревья, а прямо-таки гиганты вроде американских секвой. Теперь такие кое-где еще по бывшим усадьбам остались, доживают век. А тогда их было во множестве. У каждого пана, считай.

В тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие, то в осадницких, а то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало, да и с учителями туго было до крайно-

сти. В этом Сельце вместе с Морозом работала Подгайская, пани Ядя, как мы ее звали. Пожилая такая женщина, жила тут и при Габрусе в том самом флигеле. Тонная была пани, старая дева. Русским языком почти не владела, белорусский немного понимала, зато что касается остального — ого! Воспитания была самого тонкого.

И вот как-то под вечер сижу я в своем кутке в районо, зарылся в бумаги — отчеты, планы, ведомости: ездил по району, неделю не был на месте, все запустил — жуть! Не сразу и услышал, как кто-то скребется в дверь, — заходит эта самая пани Ядя. Маленькая такая, щупленькая, но с лисой на шее и в шикарной заграничной шляпке. «Прошу извинить, пан шеф, я, прошу пана, по педагогическому вопросу». — «Что же, садитесь, пожалуйста, слушаю».

Садится на краешек кресла, поправляет свою великолепную шляпку и начинает сыпать почти сплошь попольски — едва разбираю. Все манеры изысканно воспитанной паненки, а самой лет за пятьдесят, такое сморщенное хитренькое личико. Что же оказывается? Оказывается, имеет конфликт со своим шефом в Сельце, коллегой Морозом. Оказывается, этот Мороз не поддерживает дисциплины, как равный, ведет себя с учениками, учит без необходимой строгости, не выполняет программ наркомата и самое главное — говорит ученикам, что не надо ходить в костел, пусть туда ходят бабушки.

Ну насчет костела я, естественно, не слишком обеспокоился, подумал: правильно делает Мороз, если так советует. А вот что касается панибратства, дисциплины, игнорирования наркоматовских программ, это меня встревожило. Но кто этот самый Мороз, понятия не имею, в Сельце ни разу еще не был. Ладно, думаю, при первой же возможности махну, посмотрю, что у него там за порядки.

Случай для этого подвернулся, однако, не скоро, но все же недели через две как-то вырвался, взял у хозяина, у которого квартировал, его велосипед, «ровар» поздешнему, и рванул по этому вот шоссе. Шоссе, конечно, было не то что нынче — булыжник. Ехать по нему на подводе или на роваре — все равно кишки вытрясешь. Но поехал. Поднажал как следует на педали и через час прикатил в ту самую аллейку под вязами. Хотел попасть на урок, но опоздал — занятия уже закончились. Еще издали вижу — на дворе полно детворы, думаю, игра ка-

кая, но нет, не игра — оказывается, идет работа. Заготавливают дрова. Бурей повалило то самое заморское дерево во дворе, вот теперь его пилят, колют и сносят в сарайчик. Мне это понравилось. Дров тогда не хватало, каждый день жалобы из школ насчет топлива, а транспорта в районо никакого — где взять, откуда привезти? А эти, вишь, сообразили и не ждут, когда там в районе надумают обеспечить их топливом, — сами о себе заботятся.

Слез я с велосипеда, все на меня смотрят, я на них: где же заведующий? «Я заведующий», — говорит один, которого я не сразу и заметил, потому что стоял он за толстенным комлем — пилил его с парнишкой, должно быть, переростком, ладным таким мальцом лет пятнадцати. Ну бросает пилу, подходит. И сразу замечаю: хромает. Одна нога как-то вывернута в сторону и вроде не разгибается, поэтому он здорово на нее припадает и кажется как бы ниже ростом. А так ничего парень — плечистый, лицо открытое, взгляд смелый, уверенный. Наверно, догадывается, кто перед ним, но никакой там растерянности или замешательства. Представляется: Мороз Алесь Иванович. Руку пожимает так, что сразу понимаешь: силен. Ладонь шершавая, твердая, должно быть, такая работа ему не впервой. А напарник его стоит там же и пробует водить пилой. Но пила ни с места — попала на сук, а толщина в комле больше метра. Мороз извинился, вернулся, чтобы закончить зарез, но и вдвоем, гляжу, не очень управятся — пилу чем дальше, тем сильней зажимает в распиле. Понятное дело: надо что-нибудь подложить. Чтобы подложить, надо сперва приподнять. Мороз бросил пилу, стал приподнимать комель, да в одиночку разве поднимешь. Тут ребятишки, кто постарше, тоже облепили бревно, а оно ни с места. Короче говоря, положил на траву я свой ровар и тоже за тот комель взялся. Силились, силились, кажется, приподняли, еще бы на сантиметр — и можно палку подсунуть, да этот последний сантиметр, как всегда, самый трудный. И тут, как на грех, из-за угла выплывает та самая пани Ядя. Увидела ровар, меня возле комля, да так и остолбенела.

Потом, когда я говорил с ней, понять ничего не могла, все поминала матку боску и недоумевала: что за учителя у Советов, имеют ли они хоть малейшее понятие о педагогическом такте и авторитете старших? Не беда, говорю, пани Ядя, авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут. В тепле работать будете. Но это по-

том. А тогда все же распилили мы эту чертову колоду, и я почти уже забыл, зачем приехал, скинул свой единственный пиджачок и пилил на пару с Морозом, потом кололи. Попотел вволю. Дети перенесли дрова в сарайчик, и Мороз отпустил всех по домам.

Ночевать пришлось там же, в школе. Мороз жил в боковушке при классе, спал на роскошной, в стиле барокко, панской кушетке с выгнутыми наподобие львиных лап ножками. Накрывался пальто, одеяла, конечно, не было. На ту ночь кушетка досталась мне, укрылся я своим пиджачком. Перед тем как лечь, поели бульбочки, мать одного ученика ради такого случая принесла с хутора кусок колбасы и крынку простокваши. Ужинали и знакомились. Хотя, пока пилили дрова, мне казалось, что знаю его всю жизнь. Родом он был с Могилевщины, уже пять лет учительствовал после окончания педтехникума. Нога такая с детства, долго болела да так и осталась. Я осторожненько завел речь о наших обычных делах: программах, успеваемости, дисциплине. И тогда услышал от него такое, что сначала вызвало во мне несогласие. А потом я стал допускать, что, возможно, он в чем-то прав. Как теперь погляжу с высоты моего пенсионного возраста, так был он абсолютно прав.

Да, он был прав, так как смотрел шире и, возможно, дальше, чем это принято смотреть, ограничивая свой кругозор профессиональными нормами. Нормы, они, брат, хорошая вещь, если не закостенели, не засохли от времени, не пришли в противоречие с жизнью. Словом, применять их, как и всякие нормы, надо с умом, смотря по обстоятельствам. А у нас как бывает? Теперь к каждой науке приставлен специалист-предметник, и каждый добивается наилучших знаний по своей специальности. И потому, скажем, математичке какой-либо бином Ньютона в сто раз дороже всей поэтики Пушкина или человековедения Толстого. А для языковеда умение обособлять деепричастные обороты — мерило всех достоинств школьника. За эти свои запятые он готов ребенка на второй год оставить и в институт не дать ходу. Математичка тоже. И никто не подумает, что этот бином, может, — и наверняка — никогда в жизни ему не понадобится, да и без запятых прожить можно. А вот как прожить без Толстого? Можно ли в наше время быть образованным человеком, не читая Толстого? Да и вообще, можно ли быть человеком?

Теперь, правда, уже присмотрелись к Толстому и ко

многому прочему, приобвыкли, утратили свежесть восприятия. А тогда все выглядело внове, значительнее, и Мороз, очевидно, отреагировал на это острее, чем я. Хоть я и был страше его лет на пять, членом партии и заведовал всем районо. И он мне сказал той ночью, когда мы лежали рядом — я на его кушетке, а он на столе — примерно следующее: «С программами в школе действительно не все в порядке, успеваемость не блестящая. Ребята учились в польской школе, многие, особенно католики, плохо справляются с белорусской грамматикой, их начальные знания не соответствуют нашим программам. Но вовсе не это главное. Главное, чтобы ребята теперь поняли, что они люди, не быдло, не какие-то там вахлаки, какими паны привыкли считать их отцов, а самые полноправные граждане. Как все. И они, и их учителя, и их родители, и все руководители в районе — все равные в своей стране, ни перед кем не надо унижаться, надо только учиться, постигать то самое главное, что приобщает людей к вершинам национальной и общечеловеческой культуры». В этом он видел свою наипервейшую педагогическую обязанность. И он делал из них не отличников учебы, не послушных зубрил, а прежде всего людей. Сказать такое, конечно, легко, труднее это понять, а еще труднее — добиться. Такое в программах и методиках не очень-то разработано, часы на это не предусмотрены. И Мороз сказал, что достичь этого можно только личным примером в процессе взаимоотношений учителя с учениками.

Наверно, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Духовенство — это известно, здесь еще есть более или менее достоверная картина. Роль попа, ксендза на каждом историческом этапе прослежена. А вот что такое сельское учительство в наших школах, что оно значило для нашего некогда темного крестьянского края во времена царизма, Речи Посполитой, в войну, наконец, да и после войны? Это сейчас спроси любого огольца, кем он станет, как вырастет, — скажет: врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, теперь есть такая возможность. И в действительности так и бывает, до космонавта включительно. А прежде? Если рос, бывало, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые? Вырастет — учителем будет. И это было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был пре-

дел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко. Или заработок хороший — не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена. Нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь и в конце концов — преждевременная могила от чахотки... И тем не менее скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная, неприметная работа тысяч безвестных сеятелей на этой духовной ниве. Я так думаю: в том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей. Пусть, может, я и ошибаюсь, но так считаю.

И тут, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. Мороз был именно одним из тех, кто сделал для людей многое, подчас на свой страх и риск, невзирая на трудности и неудачи. А неудач и разных конфликтов у него хватало.

Помню, как-то поехал в Сельцо инспектор из области — через день возвращается разгневанный и возмущенный. Оказывается, очередной скандал. Не успел товарищ инспектор войти в Габрусеву усадьбу, как в аллее его атаковали собаки. Одна черная, на трех лапах, а вторая — злая такая, маленькая и вертлявая (полицаи потом в войну их постреляли). Да. Ну, пока инспектор опомнился, собаки и располосовали ему штанину. Морозу, конечно, пришлось извиняться, а пани Ядя зашивала пану инспектору брюки, пока тот сидел в пустом классе в своих не слишком, наверно, свежих подштанниках. Оказывается, собаки были школьные. Именно так. Не сельские, не откуда-то с хутора и даже не лично учителя, а общие, школьные. Ребята где-то подобрали эту непотребщину, родители наказали утопить, но перед тем в классе читали тургеневскую «Муму», и вот Алесь Иванович решил: поселить щенков в школе и по очереди их досматривать. Так в Сельце завелись школьные собаки.

А потом появился школьный скворец. Осенью отстал от своей стаи, поймали его на лугу, мокрого доходягу, и Мороз тоже поселил его в школе. Сначала летал по классу, а потом смастерили клетку — больше для того, чтобы не съел кот. Ну, конечно, был там и кот, жалкое такое слепое создание, ничего не видит, а только мяукает — есть просит.

Тем временем быстро темнело. Серая лента дороги, выгибаясь на пригорках, пропадала в сумеречной дали.

Горизонт вокруг тоже утонул в сумерках, вечерней дымкой покрылись поля, а лес вдали казался тусклой глухой полосой. Небо над дорогой совсем померкло, только закатный краешек его за нашими спинами еще сочился далеким отсветом зашедшего солнца. Машины по шоссе шли с включенными фарами, но, как назло, все из города, нам навстречу. После никелированной «Волги» нас не обогнала ни одна машина. Слушая Ткачука, я время от времени оглядывался и еще издалека заметил две светлые точки быстро приближающихся автомобильных фар.

— Идет какая-то.

Ткачук замолчал, остановился и вгляделся тоже, его хмурый массивный профиль четко обозначился на светлом фоне закатного неба.

— Автобус, — сказал он с уверенностью.

Должно быть, мой спутник был дальнозорким, я на таком расстоянии не мог отличить легковушки от грузовой. И правда, вскоре мы уже оба увидели на шоссе большой автобус, который быстро нагонял нас. Вот он ненадолго исчез в невидимой отсюда ложбинке, чтобы затем еще отчетливее появиться из-за пригорка; ярче засверкали колючие огоньки его фар, и даже стал виден тусклый отсвет салона. Автобус, однако, замедлил ход, мигнул одной фарой и остановился, чуть съехав к обочине. Он не дошел до нас каких-нибудь метров триста, и мы, вдруг обнадеженные возможностью подъехать, бросились ему навстречу. Я несколько поспешно сорвался с места, Ткачук тоже попытался бежать, но тут же отстал, и я подумал, что надо хоть мне успеть, чтобы на минуту задержать автобус.

Бежать было легко, под уклон, подошвы гулко стучали по асфальту. Все время казалось, автобус вот-вот тронется, но он терпеливо стоял на дороге. Из него даже вышел кто-то, должно быть, водитель, оставив открытой дверцу, обошел машину и чем-то раза два стукнул. Я уже был совсем близко и еще больше напряг силы, казалось — добегу, но тут резко хлопнула дверца, и автобус сорвался с места.

Все еще не теряя надежды, я остановился на асфальте и отчаянно замахал рукой: дескать, стой же, возьми! Мне даже показалось, что автобус притормозил, и тогда я снова бросился к нему чуть ли не под самые колеса. Но на ходу открылась дверца кабины, и сквозь взметенную автобусом пыль донесся голос водителя:

— Нету, нету остановки. Чеши дальше...

Я остался один посреди гладкой полосы асфальта. Вдали, затихая, гудел мотор комфортабельного «Икаруса», на взгорке смутно маячила одинокая фигура Ткачука.

— Чтоб ты провалился, гад! — вырвалось у меня, надо же так обмануть.

Было обидно, хотя я и понимал, что не такое уж это большое несчастье — действительно, разве здесь была остановка? А раз не было, так какая нужда междугородному экспрессу подбирать разных ночных бродяг — для этого есть автобусы местных линий.

И все-таки вид у меня был, наверно, довольно убитый, когда я добрел до Ткачука. Терпеливо дождавшись меня, тот спокойно заметил:

— Не взял? И не возьмет. Они такие. Раньше бы всех подобрал, чтобы на бутылку сшибить. А теперь нельзя — контроль, ну и жмет. Назло себе и другим.

— Говорит, остановки нет.

— Но ведь останавливался. Мог бы... Да что там. Я уж в таких случаях предпочитаю помалкивать: себе дешевле обойдется.

Может, он и был прав: не надо было надеяться — не было бы и разочарования. Значит, придется помаленьку топать дальше. Правда, ноги уже порядком устали, но раз мой попутчик молчал, то и мне, пожалуй, следовало вести себя сдержаннее.

— Да, так, значит, про Мороза, — начал Ткачук, возвращаясь к прерванному рассказу. — Второй раз наведался я в Сельцо зимой. Холода стояли лютые, помнишь же, наверно, зиму сорокового — сорок первого года: сады вымерзли. Мне-то еще повезло, подъехал с каким-то дядькой в санях, ноги зарыл в сено, и то замерзли, думал, отморозил совсем. До школы едва добежал, было поздно, вечер, но в окошке горит свет, постучал. Вижу, будто кто-то глядит сквозь намерзшее стекло, а не открывает. Что, думаю, за напасть, уж не завел ли тут мой Алесь Иванович какие-нибудь шуры-муры. «Открой, — говорю. — Это я, Ткачук, из районо». Наконец открывается дверь, где-то лает собака, вхожу. Передо мной парнишка с лампой в руках. «Ты что тут делаешь?» — спрашиваю. «Ничего, — говорит. — Чистописание пишу». — «А почему домой не идешь? Или, может, Алесь Иванович после уроков оставил?» Молчит. «А где сам учитель?» — «Повел Ленку Удодову с Ольгой». — «Куда повел?» —

«Домой». Ничего не понимаю: какая нужда учителю учеников по домам разводить? «А что, он всех домой провожает?» — спрашиваю, а сам уже злюсь за такую встречу. «Нет, — говорит, — не всех. А этих потому, что маленькие, а через лес идти надо».

Ну что ж, думаю, ладно. Разделся, начал отогреваться, настроение пошло на улучшение. Но вот минул час, а Мороза все нет. «Так сколько до того села будет?» — спрашиваю. Говорит: «Версты три будет». Ладно, что ж делать, сидим ждем. Парнишка в тетрадке пишет. «А тебя он, наверное, оставил печку топить? — спрашиваю.— Ты где живешь?» — «Тут и живу, — отвечает. — Меня Алесь Иванович к себе взял, а то мой татка дерется». Э, вон оно, оказывается, в чем дело. Как бы оно не обернулось новыми неприятностями.

И скажу тебе, забегая вперед, так и вышло. Как я предчувствовал, так и получилось.

Часа через три возвращается Мороз. Ни стука, ни шагов, ничего, кажется, не было слышно, только парнишка тот Павлик... Да, да, ты угадал. Именно Павлик. Павел Иванович, будущий товарищ Миклашевич... Тогда был таким черноглазым, шустрым мальчонкой. Так вот, Павлик срывается, бежит через класс и открывает дверь. Вваливается Мороз весь заиндевелый, заснеженный, ставит в угол свою палочку с ручкой наподобие козлиной головы. Поздоровались. Объясняет, почему задержался. Оказывается, довел он этих девчушек домой, а там неприятность: что-то случилось с коровой, не могла растелиться, вот и задержался учитель, помогал матери. А девчушки? Ну это простая история. Наступили холода, мать забрала их из школы: дескать, обувка плохая и ходить далеко. В ту пору все это было делом обычным, но девчушки, славные такие близнята, хорошо учились, и Мороз понимал, что это означало для матери-вдовы (отец в тридцать девятом погиб под Гдыней). И он уломал бабу, купил девочкам по паре ботинок — стали учиться. Только когда прибыло ночи, забоялись одни ходить через лес, надо было проводить кому-то. Обычно это делал переросток Коля Бородич, тот, что некогда с учителем пилил колоду. А в тот день Бородич почему-то не пришел в школу, дома понадобился, вот и довелось учителю идти в провожатые.

Рассказал это он, я молчу. Черт знает, что ему сказать, педагогично это или нет, тут все наши педпостулаты попутались. Мороз вообще был мастер путать по-

стулаты, и я уже стал привыкать к этой его особенности. А про его квартиранта мы тогда не очень-то и говорили. Он сказал только, что парнишка побудет пока в школе, дома, мол, нелады. Ну что ж, думаю, пусть. Тем более такие холода стоят.

И вот спустя какие-нибудь две недели вызывают меня к прокурору. Что, думаю, за напасть, не любил я этих законников, от них всегда жди неприятностей. Прихожу, а там сидит незнакомый дядька в кожухе, и прокурор района товарищ Сивак строго так наказывает мне ехать в Сельцо и забрать у гражданина Мороза сына этого вот гражданина Миклашевича. Я попытался было возразить, но не тут-то было. Прокурор в таких случаях, как дубинкой, бил одним аргументом: закон! Ладно, думаю, закон так закон. Сели в милицейский возок и с участковым да с Миклашевичем покатили в Сельцо.

Приехали, помню, к концу занятий, вызвали Мороза, стали объяснять, в чем дело: постановление прокурора, на стороне гражданина Миклашевича закон, надо вернуть парнишку. Мороз выслушал все молча, позвал Павла. Тот как увидел отца — съежился, будто зверек, близко не подходит. А тут вся детвора за дверьми, оделись, а по домам не расходятся, ждут, что будет дальше. Мороз и говорит Павлику: так, мол, и так, поедешь домой, так надо. А тот ни с места. «Не пойду, — говорит. — Я у вас хочу жить». Ну Мороз неубедительно так, конечно, неискренне объясняет, что жить у него больше нельзя, что по закону сын должен жить с отцом и, в данном случае, с мачехой (мать недавно умерла, отец женился на другой, ну и пошли нелады с мальчишкой — известное дело). Едва уговорил парня. Тот, правда, заплакал, но надел свой пиджачок, собрался в дорогу.

И вот картина! Как сейчас, все перед глазами, хоть минуло уже... Сколько же? Должно быть, лет тридцать. Мы стоим на веранде, дети толпятся во дворе, а Миклашевич-старший в длинном красном кожухе ведет к шоссе Павлика. Атмосфера напряженная, детвора на нас не смотрит, а милиционер молчит. Мороз просто оцепенел. Те двое далековато уже отошли по аллейке и тут, видим, останавливаются, отец тормошит сына за руку, тот начинает вырываться, да куда там, не вырвешься. Потом Миклашевич одной рукой снимает с кожуха ремень и начинает бить сына. Не дождавшись, пока уйдут с чужих глаз. Павлик вырывается, плачет, детвора во дворе шумит, некоторые поворачиваются в нашу сторону с упре-

ком в глазах — чего-то ждут от своего учителя. Конечно, ждут, чтобы он заступился, ведь он их покровитель. И что ты думаешь? Мороз вдруг срывается с веранды и, хромая, через двор — туда. «Стойте, — кричит, — прекратите избиение!»

Миклашевич и впрямь остановился, перестал бить, сопит, зверем смотрит на учителя, а тот подходит, вырывает Павлову руку из отцовской и говорит прерывающимся от волнения голосом: «Вы у меня его не получите! Понятно?» Миклашевич, разъяренный,— к учителю, но и Мороз, не гляди, что калека, тоже грудью вперед и готов в драку. Ну тут уж мы подоспели, разняли, не дали подраться.

Разнять-то разняли, а что дальше? Павлик убежал в школу, отец ругается и грозится, я молчу. Милиционер ждет — он что, он исполнитель. Кое-как утихомирили обоих. Миклашевич пошел на шоссе, а мы втроем остались — что делать? Тем более что Мороз сразу же объявил с присущей ему категоричностью: такому отцу парня не отдам.

Вернулись с милиционером в район ни с чем, наказ прокурорский не выполнили. Передали все дело на исполком, назначили комиссию, а отец тем временем подал в суд. Да, было хлопот и неприятностей и ему и мне — хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился: комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого соломонова решения Мороз не спешил, и, наверное, правильно делал.

Тут еще надо вспомнить одно обстоятельство. Дело в том, что, как я уже говорил, школы создавались заново, почти всего не хватало. Каждый день в район приезжали из деревень учителя, жаловались на условия, просили то парты, то доски, то дрова, то керосин, то бумагу — и, уж конечно, учебники. Учебников не хватало, мало было библиотек. А читали здорово, читали все: школьники, учителя, молодежь. Книги добывали где только было возможно. Мороз, когда приезжал в местечко, наседал на меня чаще всего с одной просьбой: дайте книг. Кое-что я, конечно, ему давал, но, понятно, немного. К тому же, признаться, думал: школа маленькая, зачем ему там большая библиотека? Тогда он взялся добывать книги сам.

Километрах в трех от райцентра, может, знаешь, есть село Княжево. Село как село, ничего там княжеского нет, но когда-то неподалеку от него была панская усадьба —

в войну при немцах сгорела. А при поляках там жил какой-то богатый пан, после него осталась всякая всячина и, понятно, библиотека. Я там был как-то, поглядел — вроде ничего подходящего. Книг много, новые и старые, но все на польском да на французском. Мороз выпросил разрешение съездить туда, отобрать кое-что для школы.

И знаешь, ему повезло. Где-то на чердаке, кажется, откопал сундук с русскими книгами, и среди всего не слишком стоящего — разных там годовых комплектов «Нивы», «Мира божьего», «Огонька» — оказалось полное собрание сочинений Толстого. Мне он об этом ничего не сказал, а в первый же выходной взял в Сельце фурманку, ученика того, переростка, — и в Княжево. Но дело было к весне, дорога раскисла, как на беду, снесло мост, близко к усадьбе никак не подъехать. Тогда он начал носить книги через реку по льду. Все шло хорошо, но в самом конце, уже в потемках, провалился у берега. Правда, ничего страшного не случилось, но ноги промочил до колен, простудился и слег. Да слег основательно, на месяц. Воспаление легких.

Мне сказал об этом приезжий дядька из Сельца, и вот я ломаю голову: как быть? Учитель болеет, школу хоть закрывай. Пани Ядя, помнится, тогда уже не работала, выехала куда-то, замены ему никакой нет, ребятам раздолье. Знаю, надо бы съездить, да времени нет — мотаюсь по району: открываем школы, организуем колхозы. И все же как-то проездом завернул в ту аллейку. Дай, думаю, проведаю Мороза, как он там, жив ли?

Захожу в коридор — на вешалке полно одежды, ну, думаю, слава богу, значит, поправился, наверно, идут занятия. Открываю дверь в классе: стоит штук шесть парт — и пусто. Что, думаю, за лихо, где же дети? Прислушался: как будто разговор где-то, тихий такой, складный, словно молится кто-то. Еще прислушался: совсем чудно — слышу монолог князя Андрея под Аустерлицем. Помнишь: «Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче... И страдания этого я не знал тоже... Да, я ничего этого не знал до сих пор. Но где я?..»

Мне тоже почудилось: где я? Такого я не слышал уже лет десять, а когда-то, студентом, этот отрывок сам декламировал на литературном вечере.

Тихонько открываю дверь — в Морозовой боковушке полно детей, расселись кто где: на столе, на скамейках, на подоконнике и на полу. Сам Мороз лежит на своей кушетке укрытый кожушком и читает. Читает Толстого.

И такая тишина и внимание, что муха пролетит — услышишь. На меня никто не оглянулся — не замечают. И я стою, не знаю, что делать. Первое побуждение: просто закрыть дверь и уехать.

Но все-таки вспомнил, что я начальство, заведующий районо и ответственный за педпроцесс в районе. Это хорошо — читать Толстого, но, наверно, и программу выполнять надо. А уж если ты можешь читать «Войну и мир», так, должно быть, и учить можешь? А то зачем же ученикам брести за столько километров в это Сельцо?

Примерно так я и сказал Морозу, когда мы отправили учеников и остались одни. А он говорит в ответ, что все те программы, весь тот материал, что он пропустил за месяц болезни, не стоят двух страничек Толстого. Я позволил себе не согласиться, и мы поспорили.

В ту весну Мороз усиленно изучал Толстого, сам перечитал всего, многое прочитал ребятам. То была наука! Это теперь любой студент или старшеклассник, только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском, перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках и заблуждениях. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться, а вот их недостатки у каждого наперечет. Вряд ли кто помнит, на какой горе лежал раненный под Аустерлицем князь Андрей, а вот по части ошибочности непротивления злу насилием с уверенностью судит каждый. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения — он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочиста, душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Отвеется, как на ветру зерно от половы. Теперь я это понял отлично, а тогда что ж... Был молод, да еще начальник.

Обычно в мальчишеской компании находится кто-то постарше или пособразительнее, который своим характером или авторитетом подчиняет себе остальных. В той школе в Сельце, как мне потом говорил Миклашевич, таким заводилой стал Коля Бородич. Если ты помнишь, его фамилия стояла первой на памятнике, а теперь вторая, после Мороза. И это правильно. Во всей этой истории с мостом именно Коля сыграл первую скрипку...

Я видел его несколько раз, всегда он был рядом с Морозом. Плечистый такой, приметный парень, упрямого, молчаливого характера. Судя по всему, очень любил учителя. Просто был предан ему безгранично. Правда, никогда я не слышал от него ни единого слова — всегда он

поглядывает исподлобья и молчит, словно сердится за что-то. Было ему в ту пору шестнадцать лет. При панах, понятно, не очень учился, у Мороза ходил в четвертый класс. Да, еще один факт: в сороковом закончил четвертый, надо было подаваться в НСШ за шесть километров, в Будиловичи. Так он не пошел. Знаешь, попросился у Мороза ходить второй год в четвертый. Лишь бы в Сельце.

Мороз, кроме того, что учил по программе и устраивал читку книг вне программы, занимался еще и самодеятельностью. Ставили, помню, «Павлинку», какие-то пьески, декламировали, пели, как обычно. Ну и, конечно, были в их репертуаре антирелигиозные номера, всякие там басни про попа и ксендза. И вот об этих-то номерах прослышал ксендз из Скрылева, который во время службы в очередной праздник пренебрежительно отозвался об учителе из сельцовской школы. Как выяснилось потом, довольно подло оскорбил его за хромоту, словно тот был в этом виновен. Кстати, об этом узнали позже. А сперва случилось вот что.

Как-то встречает меня в столовке все тот же наш прокурор Сивак, говорит: зайди в прокуратуру. Я уже говорил, что страх как не любил этих визитов, но что поделаешь, не откажешься — надо идти. И вот, оказывается, в прокуратуру поступила жалоба от скрылевского ксендза на злоумышленника, который влез в святой храм и осквернил алтарь или как там у них, католиков, называется эта штуковина. Что-то написал там. Служки, однако, поймали осквернителя, им оказался сельцовский школьник Микола Бородич. Теперь ксендз и группа прихожан ходатайствуют перед властями о наказании школьника, а заодно и его учителя.

Что тут делать — опять разбираться? Через неделю в Сельцо выезжают следователь, участковый, какое-то духовное начальство из Гродно. Бородич не отпирается: да, хотел отомстить ксендзу. Но за кого и за что — не говорит. Ему втолковывают: не признаешься честно — засудят, не посмотрят, что малолеток. «Ну и пусть, — говорит, — засудят».

И что же ты думаешь, чем это кончилось? Мороз всю вину взял на себя, доложил начальству, будто все это результат его не совсем продуманного воспитания. Хлопотал, ездил куда-то в центр — и парня оставили в покое. Надо ли тебе говорить, что после этого не только школьники в Сельце, но и крестьяне со всей округи стали смот-

реть на Мороза как на какого-то своего заступника. Что у кого было трудного или хлопотного, со всем шли к нему в школу. Настоящий консультационный пункт открыл по различным вопросам. И не только разъяснял или давал советы, но еще и самому забот невпроворот было. Каждую свободную минуту — то в район, то в Гродно. Вот по этой самой дороге — на фурманках или попутных, нечастых тогда, машинах, а то и пешком. И это хромой человек с палочкой! И не за деньги, не по обязанности — просто так. По призванию сельского учителя.

По-видимому, мы протопали по шоссе час, если не больше. Стемнело, земля целиком погрузилась во мрак, туман затянул низины. Хвойный лес невдалеке от дороги зачернел неровным зубчатым гребнем на светловатом закрайке неба, в котором одна за другой зажигались звезды. Было тихо, не холодно, скорее свежо и очень привольно на опустевшей осенней земле. В воздухе тянуло ароматом свежей пашни, от дороги пахло асфальтом и пылью.

Я слушал Ткачука и подсознательно впитывал в себя торжественное величие ночи, неба, где над сонной землей начиналась своя, необъяснимая и недосягаемая ночная жизнь звезд. Крупно и ярко горело в стороне от дороги созвездие Большой Медведицы, над нею мигал ковшик Малой с Полярной в хвосте, а впереди, как раз в том направлении, куда уходила дорога, тоненько и остро поблескивала звездочка Ригеля, словно серебряный штемпель на уголке звездного конвертика Ориона. И мне подумалось, как все же выспренни и неестественны в своей высокопарной красивости древние мифы, хотя бы вот и об этом красавце Орионе, возлюбленном богини Эос, которого из ревности убила Артемида, как будто не было в их мифической жизни других, более страшных бед и более важных забот. Тем не менее эта красивая выдумка древних подкупает и очаровывает человечество куда больше, чем самые захватывающие факты его истории. Может, даже и в наше время многие согласились бы на такую легендарную смерть и особенно последующее за ней космическое бессмертие в виде этого туманного созвездия на краю звездного ночного неба. К сожалению или к счастью, но это не дано никому. Мифические трагедии не повторяются, а земля полнится собственными, подобными той, что некогда случилась в Сельце и о кото-

рой сейчас, переживая все заново, рассказывал мне Ткачук.

— И тут — война.

Сколько мы к ней ни готовились, как ни укрепляли оборону, сколько ни читали и ни думали о ней, а обрушилась она нежданно-негаданно, как гром среди ясного неба. Через три дня от начала, как раз в среду, здесь уже были немцы. Которые местные, здешние крестьяне, те уже, знаешь, привыкли на своем веку к частым переменам: как-никак при жизни одного поколения — третья смена власти. Привыкли, словно так и должно быть. А мы — восточники. Это было такое несчастье — разве думали мы когда, что на третий день окажемся под немцем. Помню, пришел приказ: организовать истребительный отряд, чтобы вылавливать немецких диверсантов и парашютистов. Я бросился собирать учителей, объездил шесть школ, в обед на роваре прикатил в райком, а там пусто. Говорят, райкомовцы только что погрузили в полуторку свои пожитки и покатили на Минск, шоссе, мол, уже перерезано немцами. Я поначалу опешил: не может быть. Если немцы, так должны же где-то отступать наши. А то с начала войны тут ни одного нашего солдата никто не видел и вдруг — немцы. Но те, что говорили так, не обманывали — под вечер в местечко и впрямь вкатило штук шесть вездеходов на гусеничном ходу, и в них полно самых настоящих фрицев.

Я да еще трое хлопцев — два учителя и инструктор райкома — огородами прошмыгнули в жито, через него в лес и подались на восток. Три дня шли — без дорог, через принеманские болота, несколько раз попадали в такие переделки, что врагу не пожелаешь, думали: каюк. Учителя одного, Сашу Крупеню, ранило в живот. А где фронт — черт его знает, не догонишь, наверно. Поговаривают, что уже и Минск под немцами. Видим, до фронта не дойдем, погибнем. Что делать? Оставаться — а где? У чужих людей не очень удобно, да и как попросишься? Решили возвращаться назад, все же в своем районе хоть люди знакомые. За полтора года по селам да хуторам перезнакомились со всякими.

И тут, понимаешь, оказалось, что все-таки плохо мы знали наших людей. Сколько было встреч, бесед, за чаркой иной раз сидели, казалось, все добрые, хорошие, честные. А на деле обернулось совсем иначе. Приволоклись мы в Старый Двор — хутор такой близ леса, в стороне от дорог, немцев там будто еще и не было. Ну, ду-

маю, самое подходящее место пересидеть здесь каких-нибудь пару недель, пока наши погонят немцев. Другое тогда и в голову не приходило — что ты! Если бы кто сказал, что война на четыре года затянется, его провокатором или паникером посчитали бы. Крупеня тем временем уже доходит, идти дальше нельзя. И я вспомнил, что в Старом Дворе есть у меня знакомец, активист, грамотный человек Усолец Василь. Как-то ночевал у него после собрания, поговорили по душам, понравился человек: умный, хозяйственный. И жена — моложавая такая женщина, гостеприимная, чистюля, не в пример другим. Грибками солеными угощала. В хате цветов полно — все подоконники ими заставлены. Вот мы поздно ночью и заявились к этому Усольцу. Так и так, мол, надо помочь, раненый и так далее. И что, думаешь, наш знакомец? Выслушал и на порог не пустил. «Кончилась тут, — говорит, — ваша власть!» И так грохнул дверью, что аж с подстрешья посыпалось.

Приютила нас простая, никому не знакомая тетка — трое малых детей, старший глухонемой, муж в армии. Как прослышала, что раненый (мы перед этим к другой семье в крайнюю хату зашли), как узнала, кто такие, всех перетащила к себе. Бедолагу Крупеню обмыла, накормила куриным бульончиком и спрятала под снопами в пуньке. И все, помню, охала: может, и мой, бедненький, где так мучается! Значит, любила своего бедненького, а это, брат, всегда что-то да значит. Ну а Крупеня через неделю помер, не помог и куриный бульончик: пошло заражение. Втихую закопали ночью на краю кладбища. И что же дальше? Посидели еще неделю у тетки Ядвиги, и я взялся нащупывать каких-нибудь партизан. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Не все же на восток поудирали. Без партизан ни одна война у нас не обходилась — сколько об этом книг написано да фильмов поставлено — было на что надеяться.

И, знаешь, напал-таки на группу окруженцев, человек тридцать бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев, из кавалеристов, решительный такой мужик, родом с Кубани, мастер ругаться в семь этажей, накричать, даже пристрелить под горячую руку мог. А вообще-то справедливый. И что интересно: никогда не угадаешь, как он к тебе отнесется. Только что грозил пустить пулю в лоб за ржавый затвор, а через час уже объявляет тебе благодарность за то, что на переходе первым заметил хутор, в котором оказалась возможность отдохнуть и под-

крепиться. А про затвор он уже и забыл. Такой был человек. Поначалу он меня удивлял, потом ничего, привык к этому его кавалерийскому норову. В сорок втором под Дятловом шел первым по тропке, за ним адъютант Сема Цариков и остальные. И надо же — какой-то паршивый полицай с перепугу пальнул от моста и прямо командиру в сердце. Вот тебе и судьба. В скольких страшных боях участвовал, и ничего. А тут за всю ночь одна пуля — и в командира.

Да, Селезнев был мужик особенный, крутой, своенравный, но, знаешь, голову на плечах имел, на рожон не лез, как некоторые. Заядлый на словах больше, а так — умел думать. Первые несколько месяцев просидели в лесу на Волчьих ямах — урочище так называется за Ефимовским кордоном. Потом уже, в сорок третьем, там обосновалась Кировская бригада, мы перебрались в пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Отличное, скажу тебе, место: болото, бугры, ямы да увалы — сам черт ногу сломает. Ну, погрелись мы малость в землянках, попривыкли к волчьей жизни в лесу. Не знаю, подсказал кто или майор сам понял, что война не на несколько месяцев, может, побольше протянется и что без местных ему не обойтись. Поэтому-то и принял в свое кадровое войско меня и еще некоторых: начальника милиции из Пружан, студента одного, председателя сельсовета с секретарем. А на Октябрьские праздники и прокурор наш, товарищ Сивак, заявляется, тоже до фронта не дошел, вернулся. Сначала рядовым был, а потом начальником особого отдела поставили. Но это потом уже, как Селезнева не стало. А в то время решили, что, пока спокойно, надо оглядеться да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомства с надежными людьми, пощупать на хуторах окруженцев, которые из частей разбежались да к молодицам пристроились. Перво-наперво разослал майор всех местных, здешних, а таких тогда уже человек двенадцать набралось, кого куда. Меня с прокурором, понятно, в наш бывший район. Риску, конечно, тут было побольше, чем в другом месте, — все-таки многие нас тут помнили, могли опознать. Но зато и мы знали больше и немного ориентировались, кому довериться, а кому нет. Да и вид у нас был не прежний, не сразу и узнаешь — обросли бородами, обносились. Прокурор в черной железнодорожной шинели, я в армяке и сапогах. У обоих торбы за спинами. Как нищие какие.

Поначалу решили зайти в Сельцо.

Не на усадьбу, конечно, а в село, — ты, может, знаешь, это через выгон от школы. В селе у прокурора был знакомый один, бывший сельский активист, вот к нему мы и направились. Но сперва из предосторожности зашли в одну хату на Гриневских хуторах — ту самую, что после войны завмаг из Рандулич купил и возле сельмага поставил. Хозяйка в Польшу выехала, года три хата стояла пустая, вот завмаг и откупил. А в войну в ней жили три девки при матери, невестка — сынова женка (сын в польско-германскую войну пропал, а потом аж у Андерса объявился). Вот пока мы портянки сушили, девки нам все и рассказали. И про новости в Сельце тоже. Оказывается, хорошо сделали, что сначала зашли к этим полячкам, а то бы не миновать беды. Дело в том, что этот прокурорский знакомый ходит уже с белой повязкой на рукаве — стал полицаем. Покряхтел прокурор от такой новости, а я, признаться, порадовался: было бы, наверно, хуже, если бы сразу сунулись полицаю в лапы. Однако скоро пришла и моя очередь удивляться и озадачиться — это когда я спросил про Мороза. Невестка и говорит: «Мороз все в школе работает». — «Как работает?» — «Детей, — говорит, — учит». Оказывается, тех самых своих пацанов собрал по селам, немцы дали разрешение открыть школу, вот он и учит. Правда, уже не в Габрусевой усадьбе — там теперь полицейский участок, — а в одной хате в Сельце.

Вот так метаморфоза! От кого-кого, а от Мороза такого не ждал. А тут прокурор высказывается в том смысле, что в свое время, мол, надо было этого Мороза репрессировать — не наш человек. Я молчу. Думаю, думаю, и никак в голове не укладывается, что Мороз — немецкий учитель. Сидим возле печки, глядим в огонь и молчим. Наладили, называется, связи. Один — полицай, другой — немецкий прихвостень, ничего себе кадры подготовили в районе за два предвоенных года.

И знаешь, думал я, думал и надумал сходить все-таки ночью к Морозу. Неужели, думаю, он меня продаст? Да я его, если что, гранатой взорву. Винтовки не было, а граната имелась в кармане. Селезнев запретил брать с собой оружие, но гранату я все-таки прихватил на всякий непредвиденный случай.

Прокурор отговаривал меня от этой затеи, но я не поддался, характер уж такой с детства: чем больше меня убеждают в чем-то, с чем я не согласен, тем больше мне хочется сделать по-своему. Не очень-то это помогает в

жизни, да что поделаешь. Правда, прокурор тут ни при чем. Просто боялся за меня, думал, как бы одному не пришлось возвращаться в лагерь.

Девки рассказали, как в деревне найти Мороза. Третья хата от колодца, со двора крыльцо. Живет у бабки-бобылки. Через улицу в другой хате теперь его школа.

Стемнело — пошли. Дождик моросит, грязюка, ветер. Начало ноября, а холодина собачий. Договорились с напарником, что я зайду один, а он меня подождет в загуменье, за кустиками. Ждать будет час, не приду — значит, дело плохо, что-то стряслось. Все же, думаю, за час управлюсь. Уж я разгадаю душу этого Мороза.

Прокурор остался за пунькой, а я вдоль межи — к хате. Темно. Тихо. Только дождь усиливается и шуршит в соломе на стрехах. За изгородью на ощупь добрел до калитки во двор, а она проволокой закручена. Я и так и этак — ничего не получается. Надо перелезать через изгородь, а изгородь высоковатая, жерди мокрые, скользкие. Наступил сапогом да как поскользнусь — грудью об жердь, та хрясть пополам, а я носом в грязь. И тут — собака. Так зашлась в лае, что я лежу в грязи, боюсь пошевелиться и не знаю, что лучше: удирать или звать на помощь.

И вот слышу, кто-то выходит на крыльцо, скрипнул дверьми, прислушивается. Потом спрашивает вполголоса: «Кто тут?» И собаке: «Гулька, пошла! Пошла! Гулька!» Ну, ясно, это же школьная сабачонка, трехлапая, что когда-то инспектора укусила. А человек на крыльце — Мороз, голос знакомый. Но как отозваться? Лежу и молчу. А собака опять в лай. Тогда он сходит с крыльца, хромая (слышно по грязи: чу-чвяк, чу-чвяк), топает к забору.

Встаю и говорю напрямик: «Алесь Иванович, это я. Твой бывший заведующий». Молчит. И я молчу. Ну что тут делать: назвался, так надо вылезать. Встаю, перелезаю забор. Мороз тихо так: «Тут левей держите, а то корыто лежит». Успокаивает собаку и ведет меня в хату. В хате горит коптилка, окно занавешено, на табуретке — раскрытая книга. Алесь Иванович пододвигает табурет ближе к печке. «Садитесь. Пальто снимите, пусть сохнет». — «Ничего, — говорю, — пальто мое еще высохнет». — «Есть хотите? Картошка найдется». — «Не голодный, ел уже». Отвечаю вроде спокойно, а у самого нервы напряжены — к кому попал? А он как ни в чем не бывало, спокоен, будто мы с ним вчера только расстались: ника-

ких вопросов, никакого замешательства. Разве только излишняя озабоченность в голосе. И взгляд не такой открытый, как прежде. Вижу, небрит, должно быть, дней пять — русая бородка пробилась.

Сижу мокрый, не снимая армяка, и он наконец присел на лавку. Коптилку поставил на табурет. «Как живем?» — спрашиваю. «Известно, как. Плохо». — «А что такое?» — «Все то же. Война». — «Однако, слышал, на тебе-то война не очень отразилась. Все учишь?» Он кисло, одной стороной лица усмехнулся, уставился вниз, на коптилку. «Надо учить». — «А по каким программам, интересно? По советским или немецким?» — «Ах вот вы о чем!» — говорит он и встает. Начинает расхаживать по хате, а я исподтишка внимательно так наблюдаю за ним. Молчим оба. Потом он остановился, зло глянул на меня и говорит: «Мне когда-то казалось, что вы умный человек». — «Возможно, и был умным». — «Так не задавайте глупых вопросов».

Сказал как отрезал — и смолк. И знаешь, стало мне малость не по себе. Почувствовал, что, наверно, дал маху, сморозил глупость. Действительно, как я мог сомневаться в нем! Зная, как он тут жил и кем был прежде, как можно было подумать, что он за три месяца переродился? И знаешь, почувствовал я без слов, без заверений, без божбы, что он наш — честный, хороший человек.

Но ведь — школа! И с разрешения оккупационных немецких властей...

«Если вы имеете в виду мое теперешнее учительство, то оставьте ваши сомнения. Плохому я не научу. А школа необходима. Не будем учить мы — будут оболванивать они. А я не затем два года очеловечивал этих ребят, чтоб их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Сколько смогу, разумеется».

Вот так он говорит, шаркая по хате, и не смотрит на меня. А я сижу, греюсь и думаю, а что, если он прав? Немцы ведь тоже не дремлют, свою отраву в миллионах листовок и газет сеют по городам и селам, сам видел, читал кое-что. Так складно пишут, так заманчиво врут. И даже партию свою как назвали: национал-социалистическая рабочая партия. И будто эта партия борется за интересы германской нации против капиталистов, плутократов, евреев и большевистских комиссаров. А молодежь и есть молодежь. Она, брат, как малышня на дифтерит, заразительна на всякие малопонятные штучки. Люди постарше, те уже понимают такие хитрости, всякого на-

смотрелись в жизни, мужика-белоруса на мякине не проведешь. А молодые?

«Теперь все хватаются за оружие, — говорит Мороз, расхаживая по хате. — Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. И это понятно: мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому — чтобы перед своими выпендриваться. Ведь перед своими форсить оружием куда безопасней, да и применить его можно вполне безнаказанно, вот и находятся такие, что идут в полицию. Думаете, все понимают, что это значит? Далеко не все. Не задумываются, что будет дальше. Как дальше жить. Им бы только получить винтовку. Вон в районе уже набирают полицию. И из Сельца двое туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить». И это правда, думаю. Но все-таки Мороз этот добровольно работает под немецкой властью. Как же тут быть?

И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой: ну и пусть! Пусть работает. Неважно где — важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на немцев. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть. Иначе для чего же тогда и жить? Разом в омут головой — и конец.

Но, оказывается, Мороз этот работал не только для будущего. Делал кое-что и для проклятого военного настоящего.

Час, должно быть, уже прошел, я побоялся за прокурора, вышел позвать его. Тот сначала упирался, не хотел идти, но холод донял, побрел следом. Поздоровался с Морозом сдержанно, не сразу включился в разговор. Но исподволь осмелел. Еще поговорили, потом разделись, стали сушиться. Морозова бабка что-то на стол собрала, даже бутылочка «мутной» нашлась.

Так посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. И надо сказать, именно тогда впервые открылось мне, что Мороз этот не нам ровня, умнее нас обоих. Ведь случается так, что все работают вместе, по одним правилам, кажется, и по уму все равны. А когда жизнь разбросает в разные стороны, разведет по своим стежкам-дорожкам и кто-то вдруг неожиданно выдвинется, мы удивляемся: смотри-ка, а был ведь как все. Кажется, и не умнее других. А как выскочил!

Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом

обошел нас и берет шире и глубже. Пока мы по лесам шастали да заботились о самом будничном — подкрепиться, перепрятаться, вооружиться да какого-нибудь немца подстрелить, — он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию смотрел как бы изнутри и видел то, чего мы не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. И знаешь, даже мой прокурор это понял. Когда мы уже вдоволь наговорились, совсем сблизились, я и сказал Морозу: «А может, бросай всю эту шарманку да айда с нами в лес. Партизанить будем». Помню, Мороз насупился, сморщил лоб, а прокурор тогда и говорит: «Нет, не стоит. Да и какой из него, хромого, партизан! Он здесь нам будет нужнее». И Мороз с ним согласился: «Сейчас, наверно, я тут больше к месту. Все меня знают, помогают. Вот уж когда нельзя будет...»

Ну и я согласился. Действительно, зачем ему в лес? Да еще с такой ногой. Наверно, и нам будет выгодней иметь своего человека в Сельце.

Вот так мы тогда погостили у него и со спокойной душой распрощались. И скажу тебе, этот Мороз стал для нас самым драгоценным помощником среди всех наших деревенских помощников. Главное, как потом выяснилось, приемник достал. Не сам, конечно, — мужики передали. Так его уважали, так с ним считались, что, как и раньше, не к попу или ксендзу, а к нему шли и с плохим и с хорошим. И когда отыскался где-то этот приемничек, так первым делом передали его своему учителю Алесю Ивановичу. И тот потихонечку стал его покручивать в овине. Вечером, бывало, забросит антенну на грушу и слушает. А после запишет, что услышал. Главное — сводки Совинформбюро, на них самый большой спрос был. У нас в отряде ничего не имели, а он вот разжился. Селезнев, правда, когда дознался, хотел тот приемничек для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек тридцать пять слушало, а так вся округа ими пользовалась. Тогда сделали так: Мороз два раза в неделю передавал сводки в отряд — у лесной сторожки висела дуплянка на сосне, туда мальчишки их клали, а ночью мы забирали. Помню, сидели мы той зимой по своим ямам, как волки, все сплошь замело снегом, холодина, глухомань, со жратвой туго, и только радости, что эта Морозова почта. Особенно когда немцев из-под Москвы шибанули, каждый день бегали к дуплянке... Постой, кажется, едет кто-то...

Из ночной темени сквозь легкие порывы свежего ветра донесся знакомый перестук конских копыт, звякнула уздечка. Колес, правда, не было слышно на гладком, подметенном автомобильным вихрем асфальте. Впереди, куда бежало шоссе, разрозненно сверкали огни недалекой придорожной деревни Будиловичи.

Мы остановились, немного подождали, пока из темноты, негромко постукивая подковами, появился тихий коник с одиноким седоком на возу, который лениво пошевеливал вожжами. Увидев нас на обочине, возчик насторожился, но молчал, видимо намереваясь проехать мимо.

— Вот кто нас подвезет, — без всякого приветствия сказал Ткачук. — Наверно, порожний, ага?

— Порожний. Мешки отвозил, — глуховато послышалось с воза. — А вам далече?

— Да в город. Но хотя бы до Будиловичей довез.

— Это можно. Как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В девять автобус. Гродненский. Теперь который?

— Без десяти восемь, — сказал я, кое-как разглядев стрелки на своих часах.

Повозка остановилась. Ткачук, кряхтя, влез на нее, я примостился сзади. Сидеть было не слишком удобно, жестковато на голых, с остатками мусора досках, но я уже не хотел отставать от моего спутника, который устало вздохнул и свесил с повозки ноги.

— А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы. Эх, годы, годы...

— Издалека идете? — спросил возница. Судя по его глуховатому голосу, был он тоже немолод, держался степенно и как бы чего-то от нас ждал.

— Из Сельца.

— А-а, так с похорон, значит?

— С похорон, — коротко подтвердил Ткачук.

Возница встряхнул вожжами, конь прибавил шагу — дорога пошла вниз. Навстречу по ту сторону мрачной, без единого огонька широкой низины все стригли в небе расходящиеся лучи автомобильных фар.

— А ведь молодой еще человек был учитель этот. Знал я его хорошо. В позапрошлом году в больнице вместе лежали.

— С Миклашевичем?

— Ну. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Больше про себя, а когда и вслух. Вот за-

был того писателя... Помню, говорилось там, что если нет бога, так нет и черта, а значит, нет ни рая, ни пекла, значит, все можно. И убить и помиловать. Вот так. Хотя он говорил, что это смотря как понимать.

— Достоевский, — бросил Ткачук и обратился к вознице: — Ну а ты, например, как понимаешь?

— Я-то что! Я человек темный, три класса образования. Но я так понимаю, что надо, чтобы в человеке что-то было. Стопор какой. А то без стопора дрянь дело. Вон в городе набросились на парня с дивчиной трое, чуть беды не наделали. Витька наш, хлопец из Будиловичей, вмешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.

— Побили?

— Не сказать чтоб побили — один раз кастетом по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали — известный бандюга оказался.

— Это хорошо, — оживился Ткачук. — Смотри, не испугался. Один против троих. Когда такое было в ваших Будиловичах?

— Ну, в Будиловичах, может, и не было...

— Не было, не было. Знаю я ваши Будиловичи — бедное село, выселки. Теперь что, теперь другое дело: под шифер да под гонт убрались, а давно ли на стрехах мох зеленел! Такое село на большаке, и что меня удивляло — ни одного деревца. Как в Сахаре какой. Правда, земля — один песок. Помню, как-то зашел — рассказали историю. Одного будиловчанина голодуха по весне прищемила, дошел на крапиве, ну и надумал на большаке разжиться. Ночью подстерег прохожего да и стукнул обушком по голове. Вон и теперь еще на околице возле камня крест стоит. Оказался нищий с пустой торбой. А этот каторгу получил, так из Сибири и не вернулся. А теперь гляди ты — какой кавалер нашелся в Будиловичах. Рыцарь.

— Ну.

— А куда в школу ходил? Не в Сельцо?

— До пятого класса в Сельцо.

— Ну, видишь, — искренне обрадовался Ткачук. — У Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать.

Машины быстро летели навстречу и еще издали ослепили нас сверкающим потоком лучей. Возчик заботливо свернул на обочину, лошадь замедлила шаг, и машины

с ревом промчались мимо, стегнув по возу щебнем из-под колес. Стало совсем темно, и с полминуты мы ехали в этой тьме, не видя дороги и доверяясь коню. Сзади по шоссе быстро отдалялся-стихал могучий нутряной гул дизелей.

— Кстати, вы не досказали. Как оно тогда обошлось с Морозом, — напомнил я Ткачуку.

— О, если бы обошлось. Тут еще долгая история. Ты, дед, Мороза не знал? Ну, учителя из Сельца? — обратился Ткачук к вознице.

— Того, что в войну?.. А как же! Еще и моего племяша разом загубили.

— Этого кого же?

— А Бородича. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Как не знать, знаю...

— Так я вот товарищу эту историю рассказываю. Значит, ты знаешь. А то можешь послушать, если не все слышал. В лесу небось не был? В партизанку?

— А как же! Был! — обидчиво отозвался человек. — У товарища Куруты. Возил раненых. Санитаром работал.

— У Куруты? Комбрига Куруты?

— Ну. От весеннего Николы в сорок третьем и до конца. Как наши пришли. Считай, больше года.

— Ну, Курута не нашей зоны.

— Мало что. Нашей не нашей, а был. Медаль имею и документ, — уже совсем разобиделся старик.

Ткачук поспешил смягчить разговор.

— Так я ничего, я так. Имеешь — носи на здоровье. Мы тут про другое... Мы про Мороза.

— Так вот, у Мороза первое время в общем все шло хорошо. Немцы и полицаи пока не привязывались, наверно, следили издали. Единственное, что камнем висело на его совести, так это судьба двух девочек. Тех самых, что когда-то домой отводил. Летом сорок первого, как раз перед войной, отправил их в пионерский лагерь под Новогрудок — организовывали тогда впервые межрайонные пионерские лагеря. Мать не хотела пускать, боялась, известное дело, деревенская баба, сама дальше местечка нигде не бывала, а он уговорил, думал сделать девчушкам хорошее. Только поехали, а тут война. Прошло уже столько месяцев, а о них ни слуху ни духу. Мать, конечно, убивается, да и Морозу из-за всего этого тоже неслад-

ко, как-никак, а все же и его тут вина. Мучит совесть, а что поделаешь? Так и пропали девчонки.

Теперь надо тебе сказать про тех двух полицаев из Сельца. Одного ты уже знаешь, это бывший знакомый прокурора — Лавченя Владимир. Оказывается, был он не тем, за кого мы его поначалу приняли. Правда, в полицию пошел сам или принудили, теперь уже не дознаться, но зимой в сорок третьем немцы расстреляли его в Новогрудке. Дядька, в общем, оказался хороший, много добра нам сделал и в этой истории с хлопцами сыграл довольно пристойную роль. Лавченя был молодец, хоть и полицай. А вот второй оказался последним гадом. Тогда я не знал его фамилии — по селам его звали Каин. И вправду был Каин, много бед принес людям. До войны жил с отцом на хуторе, был молодой, неженатый — парень как парень. Вроде никто про него, довоенного, плохого слова сказать не мог, а пришли немцы — переродился человек. Вот что значат условия. Наверно, в одних условиях раскрывается одна часть характера, а в других — другая. Поэтому у каждого времени свои герои. Вот и в этом Каине до войны сидело себе потихоньку что-то подлое, и, если бы не эта передряга, может, и не вылезло бы наружу. А тут вот поперло. С усердием служил немцам, ничего не скажешь. Его руками тут много чего наделано. Осенью раненых командиров расстрелял. С лета скрывались в лесу четверо раненых, из местных кое-кто знал, да помалкивал. А этот выследил, отыскал в ельнике земляночку и с дружками перебил всех ночью. Усадьбу нашего связного Криштофовича спалил. Сам Криштофович успел скрыться, а остальных — стариков родителей, жену с детьми — всех расстреляли. Над евреями в местечке издевался, облавы устраивал. Да мало чего! Летом сорок четвертого куда-то исчез. Может, где получил пулю, а может, и сейчас где-либо роскошествует на Западе. Такие и в огне не горят и в воде не тонут.

Так вот этот Каин все-таки что-то заподозрил вокруг Морозовой школы. Каким ни был Мороз осторожным, но что-то вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.

Однажды перед весной (снег уже начал таять) и нагрянула эта полиция в школу. Там как раз шли занятия — человек двадцать детворы в одной комнатенке за двумя длинными столами. И вдруг врывается Каин, с ним еще двое и немец — офицер из комендатуры. Учинили обыск, перетрясли ученические сумки, проверили книжки.

Ну, ясное дело, ничего не нашли — что можно найти у детишек в школе? Никого и не забрали. Только учителю допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли. Но обошлось.

И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и тот переросток Бородич что-то задумали. В общем-то, они были откровенны с учителем, а тут затаились даже от него. Однажды, правда, этот Бородич, будто между прочим, намекнул, что неплохо бы пристукнуть Каина. Есть, мол, такая возможность. Но Мороз категорически запретил это делать. Сказал, что, если потребуется, пристукнут без них. Самовольничать в войну не годится. Бородич не стал возражать, вроде бы согласился. Но такой уж был этот хлопец, что если втемяшится что в голову, то не скоро расставался он с этой мыслью. А мысли у него всегда были одна отчаяннее другой.

Дальше мне уже рассказывал сам Миклашевич, так что можно считать, что все тут чистая правда.

Случилось так, что к весне сорок второго вокруг Мороза в Сельце сложилась небольшая, но преданная ему группа ребят, которая буквально во всем была заодно с учителем. Ребята эти теперь все известны, на памятнике их имена в полном составе, кроме Миклашевича, конечно. Павлу Миклашевичу шел тогда пятнадцатый год. Коля Бородич был самым старшим, ему подбиралось уже к восемнадцати. Еще были братья Кожаны — Тимка и Остап, однофамильцы Смурный Николай и Смурный Андрей, всего, таким образом, шестеро. Самому младшему из них, Смурному Николаю, было лет тринадцать. Всегда во всех делах они держались вместе. И вот эти ребята, когда увидели, что на их школу и на их Алеся Ивановича насел этот Каин с немцами, решили тоже не оставаться в долгу. Сказалось Морозово воспитание. Но ведь ребятня, детишки, без оружия, почти с голыми руками. Дурости и смелости у них хоть отбавляй, а вот сноровки и ума, конечно, было в обрез.

Ну и кончилось это, понятное дело, тем, чем и должно было кончиться.

Миклашевич рассказывал, что после того, как Мороз запретил трогать этого Каина, они посидели малость да и взялись за свою затею втихомолку, тайно от учителя. Долго прикидывали, присматривались и наконец разработали такой план.

Я, вроде, говорил уже, что этот Каин жил на отцовском хуторе, через поле от Сельца. Почти все время отирался

в местечке, но иногда приезжал домой — попьянствовать да позабавиться с девками. Один приезжал редко, больше с такими, как сам, изменниками, а то и с немецким начальством. Тогда в здешних местах было еще тихо. Это потом уже, с лета сорок второго, загремело, и немцы не очень-то показывали нос в села. А в первую зиму держали себя нахально, отчаянно, ничего не боялись. В ту пору случалось, что Каин и на ночь оставался в хуторе, переночует, а назавтра утречком катит себе в район. Верхом, на санях, а то и на машине. Если с начальством. И вот ребята однажды подобрали момент.

Все случилось нежданно-негаданно, как следует не организованно. Ребятишки ведь неопытные. Да и откуда взяться опыту? Одна жажда мести.

Помню, была весна. С полей сошел снег, только в лесу да по рвам и ямам лежал еще грязными пятнами. В оврагах и на пашне было сыро и топко. Бежали ручьи, полные, мутные. Но дороги уже подсыхали, под утро порой жал небольшой морозец. Отряд наш малость увеличился, набралось человек полста: военные и местные пополам. Меня поставили комиссаром. То был рядовым, а то вдруг начальство, забот прибавилось не дай бог. Но молодой был, энергии хватало, старался, спал по четыре часа в сутки. В то время мы уже знали, предвидели — весной загремит, а вот оружия было маловато, на всех не хватало. Где могли, всюду добывали, выискивали оружие. Посылали за ним, помню, аж за сто километров, на государственную границу. Однажды кто-то сказал, будто на переправе через Щару прошлым летом наши, отступая, затопили два грузовика с боеприпасами. И вот Селезнев загорелся, решил вытащить. Организовал команду в пятнадцать человек, снарядил пару фурманок, руководить взялся сам — надоело сидеть в лагере. А меня оставил за главного. Первый раз оказался над всеми начальником, ночь напролет не спал, два раза посты проверял — на просеке и дальний, у кладок. Утром, только задремал в землянке, будят. Еле поднялся со своего хвойного ложа, гляжу: Витюня, наш партизан, долговязый такой саратовец, что-то толкует, а я спросонья никак не могу понять, в чем дело. Наконец понял: часовые задержали чужого. «Кто такой?» — спрашиваю. Отвечает: «А черт его знает, вас спрашивает. Хромой какой-то».

Услышав такое, я, признаться, встревожился. Сразу почувствовал: Мороз, значит, что-то стряслось. Сперва почему-то подумал о селезневской группе — показалось:

с ней что-то недоброе, потому и прибежал Мороз. Но почему сам Мороз? Почему не прислал кого из ребят? Хотя если б на свежую голову, так какое отношение имел Мороз к группе командира? Она даже не в ту сторону и выехала.

Встал, натянул сапоги, говорю: «Ведите сюда». И точно: вводят Мороза. В кожушке, теплой шапке, но на ногах туфли чуть не на босу ногу и мокрые до колен штаны. Не соображу никак, что случилось, а что плохое, это уж точно чувствую: весь взъерошенный вид Мороза красноречиво о том свидетельствует. Да и его неожиданное появление в лагере, где он никогда еще не был. Шутка ли, километров двенадцать отмахать по такой дороге. Вернее, без всякой дороги.

Мороз постоял малость, присел на нары, посматривает на Витюню: мол, не лишний ли. Я делаю знак, парень закрывает дверь с той стороны, и Мороз говорит таким голосом, словно похоронил родную мамашу: «Хлопцев забрали». Я не понял сначала: «Каких хлопцев?» — «Моих, — говорит. — Сегодня ночью схватили, сам едва вырвался. Один полицай предупредил».

Признаться, тогда я ждал худшего. Я думал, что случилось что-то куда более страшное. А то — хлопцев! Ну что они могли сделать, эти его хлопцы? Может, сказали что? Или обругали кого? Ну, дадут по десятку палок и отпустят. Такое уже бывало. В то время я еще не предвидел всего, что произойдет в связи с этим арестом морозовских хлопцев.

А Мороз немного успокоился, отдышался, закурил самосаду (раньше не курил вроде) и мало-помалу начал рассказывать.

Вырисовывается такая картина.

Бородич все-таки добился своего: ребята подстерегли Каина. Несколько дней назад полицай этот на немецкой машине с немцем-фельдфебелем, солдатом и двумя полицаями прикатил на отцовский хутор. Как было уже не однажды, на хуторе заночевали. Перед этим заехали в Сельцо, забрали свиней у Федора Боровского и глухого Денисчика, похватали по хатам с десяток кур — назавтра собирались везти в местечко. Ну, ребята все высмотрели, разведали и, как стемнело, огородами — на дорогу. А на дороге этой, если помнишь, недалеко от того места, где она пересекает шоссе, небольшой мосток через овражек. Мосток-то небольшой, но высокий, до воды метра два, хоть и воды той по колено, не глубже. К мостку кру-

товатый спуск, а потом подъем, поэтому машина или подвода вынуждена брать разгон, иначе на подъем не выберешься. О, эти сорванцы учли все, тут они были мастера. Тут у них все тонко было сработано.

Так вот, как стемнело, все шестеро с топорами и пилами — к этому мостку. Видно, попотели, но все же подпилили столбы, не совсем, а так, наполовину, чтоб человек или конь могли перейти, а машина нет. Машина переехать этот мосток уже не могла. Сделали все удачно, никто не помешал, не застукал; радостные, выбрались из овражка. Но как же всем спать в такое время, когда будет лететь вверх колесами немецкая машина. Вот двое и остались ради такого момента — Бородич и Смурный Николай. Выбрали местечко поодаль в кустах и засели ждать. Остальных отправили по домам.

В общем, все шло, как и было задумано, кроме небольшой мелочи. Но, как видно, эта-то мелочь их и погубила. Во-первых, Каин в тот день запозднился, проспал после пьянки. Рассвело, в деревне повставали люди, началась обычная суета по хозяйству. Миклашевич потом говорил, что они дома за всю ночь глаз не сомкнули и чем дальше, тем все больше тревожились: почему не прибегают дозорные? А дозорные терпеливо дожидались машину, которой все не было. Вместо нее на дороге утречком вдруг появляется фурманка. Дядька Евмен, ничего не подозревая, катит себе по дрова. Пришлось Бородичу вылезать из своей засады и встречать дядьку. Говорит: «Не едьте, под мостом мина». Евмен перепугался, не стал очень интересоваться той миной и повернул в объезд.

Наконец часов, может, в десять на дороге показалась машина. Как на грех, дорога была плохая, в лужах и выбоинах, скорости не было никакой, и машина тихо ползла, переваливаясь с боку на бок. Не было и разгона перед овражком. Помалу сползла под уклон, на мостке шофер стал переключать скорость, и тогда одна поперечина подломилась. Машина накренилась и боком полетела под мост. Как потом выяснилось, седоки и свиньи с курами просто съехали в воду и тут же благополучно повыскакивали. Не повезло одному только немцу, который сидел возле кабины, — как раз угодил под борт, и его придавило кузовом. Вытащили из-под машины уже мертвого.

А хлопцы как увидели, чего добились, ошалели от счастья и рванули по кустам в деревню. На радостях небось показалось, что всем фрицам и полицаям капут, ма-

шине тоже. И невдомек было им, что Каин и остальные тут же вскочили, стали поднимать машину, и кто-то тогда заметил, как в кустах мелькнула фигура. Фигура ребенка, пацана — больше ничего не удалось заметить. Но и этого оказалось достаточно.

В селе каждый слух облетает подворья молнией, через какой-то час все уже знали, что случилось на дороге у овражка. Каин прибежал за подводой везти труп немца в местечко. Мороз как услышал об этом, сразу бросился в школу, послал за Бородичем, но того не оказалось дома. Зато Миклашевич Павлик, видя, как встревожился их учитель, не выдержал и рассказал ему обо всем.

Мороз не находил себе места, но занятий в школе не отменил, начал только с небольшим опозданием. Ребята, что учились, все поприходили. Не было одного Бородича, хотя Бородич в то время уже не учился в школе, но бывал в ней часто. Мороз все поглядывал в окно, говорил после — все уроки провел у окна, чтобы увидеть, если кто чужой появится на улице. Но в тот день никто не появился. После занятий учитель во второй раз послал за Бородичем, а сам стал ждать. Как он сам мне потом признавался, положение его было нелепым до дикости. Понятно, ребята более-менее позаботились обо всем, что касалось самой диверсии, но как быть дальше, если диверсия удастся, они просто не думали. И учитель тоже не знал, что придумать. Он понимал, конечно, что немцы это так не оставят, начнется заваруха. Возможно, заподозрят и ребят, и его самого. Но в деревне три десятка мужчин, думалось, не так-то просто найти именно того, кого нужно. Если б он загодя знал, что готовят эти сорванцы, так наверняка бы что-либо придумал. А теперь все обрушилось на него так внезапно, что он просто не знал, что предпринять. Да и какая угрожает опасность, тоже было неведомо. И кому она угрожает в первую очередь? Наверно, прежде всего надо было повидать Бородича, все же он постарше, поумнее. Опять же, из соседнего села, может, был смысл до поры до времени припрятать у него ребят. Или, наоборот, прежде его самого где-нибудь спрятать.

Пока он сидел в ту ночь у своей бабки и ждал посланца с Бородичем, передумал всякое. И вот где-то около полуночи слышит стук в дверь. Но стук не детской руки — это он сообразил сразу. Открыл и остолбенел: на пороге стоял полицай, тот самый Лавченя, про которого

я уже говорил. Но почему-то один. Не успел Мороз сообразить что-то, как тот ему и выпалил: «Удирай, учитель, хлопцев забрали, за тобой идут». И назад, не попрощавшись. Мороз рассказывал, что сначала ему подумалось — провокация. Но нет. И вид и тон Лавчени не оставляли сомнений: сказал правду. Тогда Мороз за шапку, кожушок, за свою палку — и огородами в лесок за выгоном. Ночь просидел под елкой, а под утро не выдержал, постучал к одному дядьке, которому верил, чтобы узнать, что все-таки случилось. А дядька, как увидел учителя, аж затрясся. Говорит: «Утикай, Алесь Иванович, перетрясли все село, тебя ищут». — «А ребята?» — «Забрали, заперли в амбаре, у старосты, один ты остался».

Теперь-то уж точно известно, как все случилось. Оказывается, Бородич давно был на подозрении у этого Каина, к тому же кто-то из полицаев увидел его в овражке. Не опознал, но увидел, что побежал подросток, пацан, не мужчина. Ну, наверно, поговорили там, в районе, вспомнили Бородича и порешили взять. Ночью подкатывают к его хате, а тот дурень как раз обувает чуни. Целый день шатался по лесу, к ночи притомился, оголодал, ну и вернулся к батьке. Сначала у кого-то спросил на улице, сказали: все, мол, тихо, спокойно. Умный был парень, решительный, а осторожности ни на грош. Наверно, подумал: все шито-крыто, никто ничего не знает, его не ищут. А вечером как раз прибегает Смурный, так и так, вызывает Алесь Иванович. Только ребята стали собираться, а тут машина. Так и схватили обоих.

А схватив двух, нетрудно было забрать и остальных. Порой вот думается только: как это следователь нашел виновного, если никто ничего не видел, ничего не знает? Может, это и в самом деле непросто, если придерживаться каких-то там правил юриспруденции. Только немцы в таких случаях чихали на юриспруденцию. Каин и остальные рассуждали иначе. Если где обнаруживался вред немцам, они прикидывали по вероятности: кто мог его сделать? Выходило: тот или этот. Тогда и хватали того и этого вместе с их свояками и приятелями. Мол, одна шайка. И знаешь, редко ошибались, гады. Так и было. А если и ошибались, то не переиначивали, назад не отпускали. Карали всех скопом — и виноватых и невиновных.

До сих пор неизвестно в точности, как это Лавчене удалось предупредить Мороза. Наверно, они там сперва не планировали хватать учителя, а сделали это импро-

визированно, по ходу дела. Наверно, Каин допетрил, что где ребята, там и учитель. И вот Лавченя, которого мы считали подлюгой, улучил момент, буквально каких-то десять минут, и забежал, предупредил. Спас Мороза.

Вот как оно получилось.

А в лагерь на другой день приехал Селезнев. Привезли пару ящиков отсыревших гранат. Удача небольшая, хлопцы устали, командир злой. Я рассказал про Мороза: так и так, что будем делать? Надо, наверно, забирать учителя в отряд, не пропадать же человеку. Говорю так, а Селезнев молчит. Конечно, боец из учителя не очень завидный, но ничего не поделаешь. Подумал майор и приказал выдать Морозу винтовку с черным прикладом, без мушки (никто ее брать не хотел, бракованную) и зачислить его во взвод Прокопенко бойцом. Сказали об этом Морозу, тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам — словно в воду опущенный. И винтовка никак не подействовала. Бывало, вручаешь кому оружие, так столько радости, почти детского восторга. Особенно у молодых хлопцев, для которых вручение оружия самый большой в жизни праздник. А тут ничего подобного. Два дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал, все носил в руках. Как палку какую.

Так прошло еще два или три дня. Помню, хлопцы копали третью землянку на краю нашего стойбища, под ельничком. Народу по весне прибавилось, в двух стало тесновато. Я сижу себе над ямой, беседуем. И тут прибегает партизан, который был дневальным по лагерю, говорит: «Командир зовет». — «А что такое?» — спрашиваю. Говорит: «Ульяна пришла». А Ульяна эта — связная наша с лесного кордона. Хорошая была девка, смелая, боевая, язычок не дай бог, что бритва. Сколько хлопцы к ней ни подкатывались — никому никакой поблажки, любого отбреет, только держись. Потом, летом сорок второго, с Марией Козухиной чуть комендатуру в местечке не подорвали, уже и заряд подложили, да какая-то подлюга заметила, донесла. Заряд тут же обезвредили, а ее догнали верхами, схватили и расстреляли. А Козухина как-то спаслась, в блокаду ранена была, да пересидела в болоте. Теперь в Гродно работает. Недавно свадьбу справляла, сына женила. И я был приглашен, а как же...

Так вот, прибежала, значит, Ульяна. Я как услыхал об этом, сразу сообразил: дело плохо. Плохо, потому что

Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавала через связных раза два на неделе. А самой разрешалось прибежать только в самом крайнем случае. Так вот, наверно, это и был тот самый крайний случай. Иначе бы не пришла.

Я, значит, к командирской землянке и уже на ступеньках слышу — разговор серьезный. Точнее, громкий разговор. Селезнев кроет матом. Ульяна тоже не отстает. «Мне сказали, а я что, молчать буду?» — «Во вторник передала бы». — «Ага, до вторника им всем головы пооткручивают». — «А я что сделаю? Я им головы поприставляю?» — «Думай, ты командир». — «Я командир, но не бог. А ты вот мне лагерь демаскируешь. Теперь назад тебя не пущу». — «И не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет».

Захожу, оба смолкают. Сидят, друг на друга не смотрят. Спрашиваю как можно ласковее: «Что случилось, Ульянка?» — «А что случилось — требуют Мороза. Иначе, сказали, ребят повесят. Мороз им нужен». — «Ты слышишь? — кричит командир. — И она с этим примчалась в лагерь. Так им Мороз и побежит. Нашли дурака!» Ульяна молчит. Она уже накричалась и, наверно, больше не хочет. Сидит, поправляет белый платок под подбородком. Я стою ошеломленный. Бедный Мороз! Помню как сейчас, именно так подумал. Еще один камень на его душу. Вернее, шесть камней — будет от чего почернеть. Конечно, никто из нас тогда и в мыслях не имел посылать Мороза в село. Сдурели мы, что ли. Ясно, они и мальцов не отпустят, и его кокнут. Знаем мы эти штучки. Девятый месяц под немцами живем. Насмотрелись.

А Ульяна рассказывает: «Я разве железная? Прибегают ночью тетка Татьяна и тетка Груша — волосы на себе рвут. Еще бы, матери. Просят Христом-богом: «Ульяночка, родненькая, помоги. Ты знаешь как». Я им толкую: «Ничего не знаю: куда я пойду?» А они: «Сходи, ты знаешь, где Алесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он же умный, он их учитель». Я свое твержу: «Откуда мне знать, где тот Алесь Иванович? Может, удрал куда, где я его искать буду?» — «Нет, золотко, не отказывайся, ты с партизанами знаешься. А то завтра уведут в местечко, и мы их больше не увидим». Ну что мне оставалось делать?»

Да. Вот такая вызрела ситуация. Невеселая, прямо скажу, ситуация. А Селезнев погорячился, накричал и

молчит. И я молчу. А что сделаешь? Пропали, видно, хлопцы. Это так. Но каково матерям? Им ведь еще жить надо. И Морозу тоже. Мы молчим, что пни, а Ульяна встает: «Решайте, как хотите, а я пошла. И пусть проводит кто-либо. А то возле кладок чуть не застрелил какой-то ваш дурень».

Конечно, надо проводить. Ульяна выходит, я следом. Вылезаю из землянки и тут же нос к носу — с Морозом. Стоит у входа, держит свою винтовку без мушки, а на самом лица нету. Глянул на него и сразу понял: все слышал. «Зайди, — говорю, — к командиру, дело есть». Он полез в землянку, а я повел Ульяну. Пока нашел, кого ей определить в провожатые, пока ставил ему задачу, пока прощался, прошло минут двадцать, не больше. Возвращаюсь в землянку, там командир, как тигр, бегает из угла в угол, гимнастерка расстегнута, глаза горят. Кричит на Мороза: «Ты с ума сошел, ты дурак, псих, идиот!» А Мороз стоит у дверей и понуро так смотрит в землю. Кажется, он даже и не слышит командирского крика.

Я сажусь на нары, жду, пока они мне объяснят, в чем дело. А они на меня ноль внимания. Селезнев все ярится, грозит Мороза к елке поставить. Ну, думаю, если уж до елки дошло, то дело серьезное.

А дело и впрямь такое, что дальше некуда. Командир выкричал свое и ко мне: «Слыхал, хочет в село идти». — «Зачем?» — «А это ты у него спроси». Смотрю на Мороза, а тот только вздыхает. Тут уж и я начал злиться. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, будто они выпустят хлопцев. Значит, идти туда самое безрассудное самоубийство. Так и сказал Морозу, как думал. Тот выслушал и вдруг очень спокойно так отвечает: «Это верно. И все-таки надо идти».

Тут мы оба взъярились: что за сумасбродство? Командир говорит: «Если так, я тебя посажу в землянку. Под стражу». Я тоже говорю: «Ты подумай сперва, что говоришь». А Мороз молчит. Сидит, опустив голову, и не шевелится. Видим, такое дело, надо, наверно, нам вдвоем с командиром посоветоваться, что с ним делать. И тогда Селезнев устало так говорит: «Ладно, иди подумай. Через час продолжим разговор».

Ну, Мороз встает и, прихрамывая, выходит из землянки. Мы остались вдвоем. Селезнев сидит в углу злой, вижу, на меня зуб имеет: мол, твой кадр. Кадр действительно мой, но, чувствую, я тут ни при чем. Тут у него

свои какие-то принципы, у этого Мороза. Хотя я и комиссар, а он меня не глупее. Что я могу с ним сделать?

Посидели так, Селезнев и говорит со строгостью в голосе, к которой я все еще не смог до конца привыкнуть: «Потолкуй с ним. Чтоб он эту блажь из головы выбросил. А нет, погоню на Щару. Поплюхается в ледяной воде, авось поумнеет».

Думаю, ладно. Надо как-то поговорить с ним, уломать отказаться от этой глупой затеи. Конечно, я понимал: жаль хлопцев, жаль матерей. Но мы помочь не могли. Отряд еще не набрал силы, оружия было мало, с боеприпасами дело совсем аховое, а вокруг в каждом селе гарнизон — немцы и полицаи. Попробуй сунься.

Да, я честно собирался поговорить с ним и убедить его бросить и помышлять о явке в Сельцо. Но вот не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. А потом случилось такое, что стало не до Мороза.

Сидим, молчим, думаем и вдруг слышим голоса неподалеку, возле первой землянки. Кто-то пробежал мимо нашего оконца. Прислушался — голос Броневича. А Броневич только утром отправился на один хутор с сержантом Пекушевым — было задание насчет связи с местечком. Пошли туда на три дня, и вот вечером они уже тут.

Первым, учуяв недоброе, выскочил командир, я следом. И что же мы видим? Сидит перед землянкой Броневич, а рядом на земле лежит Пекушев. Глянул и сразу понял: мертвый. А Броневич, истерзанный весь, потный, мокрый по пояс, с окровавленными руками, заикаясь, рассказывает. Оказывается, дрянь дело. Возле одного хутора нарвались на полицаев, те обстреляли и вот убили сержанта. А славный был парень этот Пекушев, из пограничников. Хорошо еще, Броневич как-то выкрутился и приволок тело. У самого телогрейка на плече прострелена.

Помню, это была наша первая потеря в лагере. Переживали не приведи бог. Просто в уныние впали все. И кадровые и местные. И правда, хороший был парень: тихий, смелый, старательный. Все довоенные письма от матери перечитывал — где-то под Москвой жила. А он у нее единственный сын. И вот надо же...

Что поделаешь, начали готовиться к похоронам. Недалеко от лагеря, над обрывом возле ручья, выкопали могилу. Под сосной, в песочке. Гроба, правда, не было, могилку выстлали лапником. Пока хлопцы там управлялись, я потел над речью. Это ведь была моя первая речь перед войском. Назавтра построили отряд, шестьдесят два человека. У могилы положили Пекушева. Обрядили его в чью-то новую гимнастерку, синие брюки. Даже треугольнички на петлицы собрали, по три на каждую, чтобы все как положено в армии. Затем выступали. Я, командир, кто-то из его друзей-пограничников. Некоторые прослезились даже. Словом, это были первые и, пожалуй, последние трогательные такие похороны. Потом хоронили и чаще, и даже не по одному. Бывало, по десять в одну яму закапывали. А то и без ямы — листвой да иглицей присыплешь, и ладно. В блокаду, например. Да и самого командира похоронили просто — яму по колено выкопали, и все. Не переживали и десятой доли того, что по этому Пекушеву. Привыкли.

Так, значит, похоронили Пекушева. Речь моя удалась, с этой стороны я был доволен. Даже Селезнев как-то по-дружески, без своей вечной строгости поговорил, пока шли рядом к нашей землянке. Намерились уже спуститься туда, как подлетает Прокопенко: так и так, нет Мороза. С ночи нет. «Как с ночи? — взвился Селезнев. — Почему не доложили сразу?» А Прокопенко только пожимает плечами: мол, думали, отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время любил сидеть. В одиночестве.

Тут уж, знаешь, нам дурно стало.

Селезнев накинулся на Прокопенко, честил его как только умел. А он-то умел. А потом вызверился на меня. Обозвал последними словами. Я молчал. Что ж, наверно, заслужил. Спустились в землянку, Селезнев приказал позвать начальника штаба — был такой тихий исполнительный лейтенант Кузнецов, из кадровых — из командиров взводов. Все собрались, уже знают, в чем дело, и молчат, ждут, что скажет майор. А майор думал, думал и говорит: «Менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток».

Вижу, хлопцы носы повесили. Никому не хочется менять лагерь, очень уж подходящее место: тихое, в стороне от дорог. И счастливое. За всю зиму ни одной неожиданности на этот счет. А тут из-за какого-то хромо-

го идиота... Оно и понятно, им-то кто этот Мороз? После всего, что случилось, — разумеется, хромой идиот, не больше. Но ведь я-то, как никто тут, знаю этого хромого. Себя погубит, это уж точно, но никого не предаст. Не может выдать он лагерь. Не знаю, как доказать это, но чувствую твердо: не выдаст. И когда уже все готовы были согласиться с майором, я и говорю: «Не надо менять лагерь». Селезнев на меня как на второго идиота накинулся: «Как это не надо? Где гарантия?» — «Есть,— говорю, — гарантия. Не надо».

Стало тихо, все молчат, один Селезнев сопит да на меня из-под широких бровей поглядывает. А что я могу им сказать? Разве что начать рассказывать с самого начала, кто этот хромой учитель? Чувствую, не могу сейчас много говорить, да и не надо этого. Я только уперся на своем: лагерь менять не следует.

Не знаю, что подумали тогда Селезнев и остальные, поверили в мое голословное заверение или очень уж не хотелось срываться невесть куда с насиженного места, а только решили рискнуть, выждать с неделю. Решили, правда, выставить два дополнительных дозора — со стороны деревни и возле просеки в логу. И еще послали в Сельцо Гусака, у которого там проживал свояк, надежный, наш человек, чтобы проследить, как оно будет дальше.

Вот от этого-то Гусака и от наших людей из местечка, а потом уже и от Павлика Миклашевича и стало известно, как развивались дальнейшие события в Сельце.

Начинались Будиловичи. Возле крайней хаты за тыном горел электрический фонарь, который освещал калитку, скамейку рядом, голые кусты в палисаднике. Где-то в темноте за сараями яркой рубиновой каплей сверкал костерок, и ветер нес запах дыма — должно быть, жгли листья. Наш возница свернул с дороги, явно намереваясь въехать во двор, конь, словно поняв его, сам по себе остановился. Ткачук недоуменно прервал рассказ.

— Что, приехали?

— Ага, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного, у почты остановка.

— Знаю. Не первый раз, — сказал Ткачук, слезая с воза. Я тоже соскочил на выщербленный край асфальта. — Ну, спасибо, дед, за подвоз. С нас причитается.

— Не за что. Конь колхозный, так что...

Повозка свернула во двор, а мы, медленно ступая после неудобного сидения на возу, потащились по сельской улице. Тусклый свет фонаря на столбе не достигал следующего, светлые отрезки улицы чередовались с широкими полосами тени, и мы шли, попадая то на свет, то в потемки. Я ждал продолжения рассказа о Сельце, но Ткачук молча топал, прихрамывая, и я не решался торопить его. Где-то впереди затарахтел двигатель, мы посторонились, пропуская трактор на резиновых колесах, который лихо прокатил мимо; свет его единственной фары едва достигал дороги. За трактором впереди стало видно ярко освещенное крыльцо белого кирпичного домика с вывеской сельской чайной. Из ее застекленных дверей неторопливо вышли двое и, закуривая, остановились возле приткнутого к самой обочине ЗИЛа. Ткачук с какой-то новою мыслью посмотрел в ту сторону.

— Может, зайдем, а?

— Давайте, что ж, — покорно согласился я.

Мы обошли ЗИЛ и свернули на небольшой, посыпанный гравием дворик.

— Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какой домище отгрохали. Ей-бо, в этой не был еще, — словно бы извиняясь, объяснил он, пока мы шагали по бетонным ступенькам.

Я смолчал — к чему оправдываться: все мы грешны в этом малопочтенном деле.

Небольшое помещение чайной было почти пустым, если не считать углового столика у печки, за которым непринужденно восседали трое мужчин. Остальные полдюжины легких городских столиков и таких же кресел при них были не заняты. Женщина в синей нейлоновой куртке тихо переговаривалась через стойку с буфетчицей.

— Ты садись. Я сейчас, — кивнул мне на ходу Ткачук.

— Нет, вы садитесь. Я помоложе.

Он не заставил себя уговаривать, сел на первое попавшееся место за ближним столом, напомнив, однако:

— Два по сто, и хватит. И может, пива еще? Если есть.

Пива, к сожалению, тут не оказалось, водки тоже. Было только «Міцне», и я взял бутылку. На закуску бу-

фетчица предложила котлеты — сказала, свежие, только недавно привезенные.

Я подумал, что Ткачуку такое угощение вряд ли понравится. И действительно, не успел я все это донести до стола, как мой спутник неодобрительно сморщился.

— А беленькой не нашлось? Терпеть не могу этих чернил.

— Ничего не поделаешь, берем что дают.

— Да уж так...

Мы молча выпили по стакану «чернил». Немного еще осталось в бутылке. Закусывать Ткачук не стал, вместо этого закурил из моей мятой пачки.

— Беленькая, она, конечно, подлая, но вкус имеет. «Столичная», скажем. Или, знаешь, еще лучше самодельная. Хлебная. Из хороших рук если. Эх, умели когда-то ее делать! Вкуснота, не то что эта химия. И градус, я тебе доложу, имела, ого!

— А вы что... уважали?

— Было дело! — вскинул он на меня покрасневшие глаза. — Когда помоложе был.

Расспрашивать его насчет того «дела» я не решился — я с нетерпением ожидал продолжения рассказа о давних событиях в Сельце, Но он как будто потерял уже всякий интерес к ним, курил и сквозь дым косо поглядывал в угол, где хорошо подвыпившие мужчины горланили на всю чайную. Они ссорились. Один из них, в ватнике, так двинул столом, что с него едва не слетела посуда.

— Набрались. Того, лысоватого, немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. В партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.

— Бывает.

— Бывает, конечно. В войну три ордена отхватил, голова и закружилась. От гордости! Ну и догордился. Трояк уже отсидел, а все не унимается. А некоторые другие потихоньку, помаленьку, орденов не хватали — брали хитростью. И обошли. Обскакали. Вот так. Ну что? Досказать про хлопцев? Почему не спрашиваешь? Эх, хлопцы, хлопцы!.. Знаешь, чем старше становлюсь, тем все милее мне эти хлопчики. И отчего бы это, не знаешь?

Он грузно облокотился на наш шаткий столик, глубоко затянулся сигаретой. Лицо его стало печально-задум-

чивым, взгляд ушел куда-то в себя. Ткачук умолк, должно быть, как гармонист, настраиваясь на свою невеселую мелодию, что нынче звучала в его душе.

— Сколько у нас героев? Скажешь, странный вопрос? Правильно, странный. Кто их считал? Но посмотри газеты: как они любят писать об одних и тех же. Особенно если этот герой войны и сегодня на видном месте. А если погиб? Ни биографии, ни фотографии. И сведения куцые, как заячий хвост. И непроверенные. А то и путаные, противоречивые. Тут уж осторожненько, боком-боком — и подальше от греха. Не так ли ваш брат корреспондент?.. Вот мне, например, непонятно, почему героев, живых или погибших, должны искать пионеры? Пусть бы и те, и другие, и пионеры тоже — это другое дело. А так получается, что розыском героев должны заниматься пионеры. Неужели ребятишки лучше всех разбираются в войне? Или настырности у них побольше — легче к важным дядям достучаться? Я вот не понимаю. Почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было этих самых безвестных? Почему они умыли руки? Где военкоматы? Архивы? Почему такое важное дело передоверено ребятишкам?..

Да. А в Сельце дела стали плохи. Ребят заперли в амбар старосты Бохана. Был там такой мужик, возле сухой вербы хата стояла, теперь уже нету. Хитрый, скажу тебе, мужичок: и на немцев работал, и с нашими знался. Ну, а такое, знаешь же, чем обычно кончается. Что-то заприметили немцы, вызвали в район и назад уже не вернули. Говорят, в лагерь отправили, где-то и загнулся старик. Так вот, сидят ребята в амбаре, немцы таскают в избу на допросы, бьют, истязают. И ждут Мороза. По селу распустили слух, что вот-де как поступают Советы: чужими руками воюют, детей на заклание обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старосте, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурного мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула. Другим угрожают тем же, правда, ребята держатся твердо, стоят на своем: ничего не знаем, ничего не делали. Да разве у этих палачей долго продержишься? Стали бить, и первым не стерпел Бородич, говорит: «Я подпиливал. Чтобы душить вас, гадов. Теперь расстреливайте меня, не боюсь вас».

Он взял все на себя, наверно, думал, что теперь от остальных отвяжутся. Но и эти холуи не круглые идиоты — скумекали, что куда один, туда и остальные. Мол,

все заодно. Начали бить еще, вытягивать новые данные и про Мороза.

Про Мороза особенно старались. Но что ребята могли сказать про Мороза?

И вот в эту самую пору, в разгар пыток является сам Мороз.

Произошло это, как потом рассказывали, раненько утром, село еще спало. На выгоне легонький туманчик стлался, было нехолодно, только мокровато от росы. Подошел Алесь Иванович, видать, огородами, потому как на улице, у крайней избы, сидела засада, а его не заметила. Должно быть, перелез через изгородь — и во двор к старосте. Там, конечно, охрана, полицай как крикнет: «Стой, назад!» — да за винтовку. А Мороз уже ничего не боится, идет прямо на часового, прихрамывает только и спокойно так говорит: «Доложите начальству: я — Мороз».

Ну, тут сбежалась полицейская свора, немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок. Как привели в старостову хату, старик Бохан улучил момент и говорит так тихонько, чтоб полицаи не услышали: «Не надо было, учитель». А тот одно только слово в ответ: «Надо». И ничего больше.

Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Я так думаю, что именно из-за нее столько лет мариновали Мороза и столько сил стоило все это Миклашевичу. Дело в том, что когда в сорок четвертом турнули наконец немчуру, в местечке и в Гродно остались кое-какие бумаги: документы полиции, гестапо, СД. Бумаги эти, разумеется, были кем следует разработаны, приведены в порядок. И вот среди разных там протоколов, приказов оказалась одна бумажка касательно Алеся Ивановича Мороза. Сам видел: обыкновенный листок из школьной тетрадки в клетку, написанный по-белорусски, — рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля сорок второго года команда полицейских под его началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Алеся Мороза. Все это сплошная липа. Но Каину она была нужна, да и его начальству, наверно, тоже. Взяли ребят, а через три дня поймали и главаря банды — было чем похвалиться старшему полицаю.

И ни у кого никакого сомнения насчет правдивости рапорта.

Как ни странно, но случилось так, что и мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Уже летом сорок второго, когда настали для нас горячие денечки и набралось немало убитых и раненых, потребовали както в бригаду данные о потерях за весну и зиму. Кузнецов составил список, принес нам с Селезневым на подпись и спрашивает: «Как будем показывать Мороза? Может, лучше совсем не показывать? Подумаешь, всего два дня в партизанах побыл». Тут, естественно, я возразил: «Как это не показывать? Что же он тогда, сидя на печке, умер?!» Селезнев, помню, нахмурился — он не любил вспоминать эту историю с Морозом. Подумал и говорит Кузнецову: «А что крутить! Так и напиши: попал в плен. А дальше не наше дело». Так и написали. Признаться, я промолчал. Да и что я тогда мог сказать? Что он сам сдался? Кто бы это понял? Так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти две бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины.

Да. Что же в Сельце? «Бандиты» оказались все в сборе, главарь налицо, можно было отправлять в полицейский участок. Под вечер вывели всех семерых из амбара, все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Тот был избит до бесчувствия, и два полицая взяли его под руки. Остальных построили по два и под конвоем погнали к шоссе. Вот тут уже близок финал, что и как было дальше, рассказал сам Миклашевич.

Хлопцы еще в амбаре упали духом, когда услышали за дверьми голос Алеся Ивановича. Решили — схватили и его. Кстати, до самого конца никто из них иначе и не думал — считали, не уберегся учитель, ненароком попался к немцам. И он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. Говорил, что жизнь человеческая очень несоразмерна с вечностью и пятнадцать лет или шестьдесят — все не более чем мгновение перед лицом вечности. Еще говорил, что тысячи людей в том же Сельце рождались, жили, отошли в небытие, и никто их не знает и не помнит никаких следов их существования. А вот их будут помнить, и уже это должно быть для них высшей наградой — самой высокой из всех возможных в мире наград.

Наверно, это все-таки мало их утешало. Но то, что рядом был их учитель, их всегдашний Алесь Иванович, как-то облегчало их незавидные судьбы. Хотя, конечно,

они бы многое, наверно, дали, чтобы он каким-нибудь образом спасся.

Рассказывали, что, когда вывели их на улицу, сбежалась вся деревня. Полицаи стали разгонять людей. И тогда старший брат этих близнецов Кожанов, Иван, пробрался вперед и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь». Немец ему парабеллумом в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ну, тот и выстрелил. Иван так и скорчился в грязи. Что тогда началось: крик, слезы, проклятья. Ну да им что — повели хлопцев.

Вели по той самой дороге, через мосток. Мосток подправили немного, пешком можно было пройти, а фурманки еще не ездили. Вели, как я уже говорил, парами: впереди Мороз с Павликом, за ними близнята Кожаны — Остап и Тимка, потом однофамильцы — Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородича. Полицаев, рассказывали, было человек семь и четыре немца.

Шли молча, разговаривать никому не давали. Да и не хотелось, должно быть, им разговаривать. Знали ведь, что ведут на смерть, — что же еще могло ожидать их в местечке? Руки у всех были связаны сзади. А вокруг — поля, знакомые с детства места. Природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Говорил Миклашевич, такая тоска на него напала, хоть в голос кричи. Оно и понятно. Хоть бы успели малость пожить, а то по четырнадцать-шестнадцать лет хлопцам. Что они видели в этой жизни?

Так подошли к леску с тем мостком. Мороз все молчал, а тут тихонько так спрашивает у Павлика: «Бежать можешь?» Тот сначала не понял, посмотрел на учителя: о чем он? А Мороз снова: «Бежать можешь? Как крикну, бросайся в кусты». Павел догадался. Вообще-то бегать он был мастак, но именно — был. За три дня в амбаре без еды, в муках и пытках умение его, конечно, поубавилось. Но все-таки слова Алеся Ивановича вселили надежду. Павлик заволновался, говорил, аж ноги задрожали. Показалось тогда, что Мороз что-то знает. Если так говорит, то, наверное, можно спастись. И хлопец стал ждать.

А лесок вот он уже — рядом. За дорогой сразу же кустики, сосенки, ельник. Правда, лесок-то не очень гу-

стой, но все-таки укрыться можно. Павлик тут знал каждый кустик, каждую тропку, поворот, каждый пенек. Такое волнение охватило парня, что, говорил, вот-вот сердце разорвется от напряжения. До ближнего кустика оставалось шагов двадцать, потом десять, пять. Вот уже и лесок — ольшаник, елочки. Справа открылась низинка, тут вроде полегче бежать. Павлик смекнул, что, наверно, именно эту низинку и имел на примете Мороз. Дорога узенькая, на фурманку, не больше, два полицая идут впереди, двое по сторонам. В поле они держались чуток подальше, за канавой, а тут идут рядом, рукой дотронуться можно. И, конечно, все слышат. Наверно, поэтому Мороз и не сказал больше ни слова. Молчал, молчал, да как крикнет: «Вот он, вот — смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. Уловка не бог весть какая, но так естественно это у него получилось, что даже Павлик туда же глянул. Но только раз глянул, да как прыгнет, словно бы заяц, в противоположную сторону, в кусты, к низинке, через пеньки, сквозь чащобу — в лес.

Несколько секунд он все-таки для себя вырвал, полицаи прозевали тот самый первый, самый решающий момент, и парень оказался в чаще. Но спустя три секунды кто-то ударил из винтовки, потом еще.

Двое бросились по кустам вдогонку, поднялась стрельба.

Бедный, несчастный Павлик! Он-то не сразу и сообразил, что в него попали. Он только удивлялся, что это так ударило его сзади промеж лопаток. И отчего так не вовремя подкосились ноги. Это его больше всего и удивило, подумал: может, споткнулся. Но встать он уже не смог, так и вытянулся на колючей траве в прошлогоднем малиннике.

Что было потом, рассказывали люди — слышали, должно быть, от полицаев, потому что больше никто ничего не видел, а те, кому пришлось видеть, уже не расскажут. Полицаи приволокли хлопчика на дорогу. Рубашка на его груди вся пропиталась кровью, голова обвисла, Павлик не шевелился и выглядел совсем мертвым. Приволокли, бросили в грязь и взялись за Мороза. Избили так, что и Алесь Иванович уже не поднялся. Но до смерти забить не решились — учителя надо было доставить живым, — и двое взялись тащить его до местечка. Когда снова построились на дороге, Каин подошел к Павлику, сапогом перевернул его лицом кверху, ви-

дит — мертвец. Для уверенности ударил еще прикладом по голове и спихнул в канаву с водой.

Там его и подобрали ночью. Говорят, сделала это та самая бабка, у которой квартировал Мороз. И что ей там, старой, понадобилось? В потемках нашла мальчишку, выволокла на сухое, думала, неживой, и даже руки на груди сложила, чтобы все как полагается, по-христиански. Но слышит, сердце вроде стучит. Тихонько так, еле-еле. Ну, бабка в село, к соседу Антону Одноглазому, тот, ни слова не говоря, запряг лошадь — и к батьке Павлика. И тут, скажу тебе, отец молодцом оказался, не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал, сам натерпелся, а сына вынянчил. Спас парня от гибели — ничего не скажешь.

А тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще пять дней. Отделали всех — не узнать. В воскресенье, как раз на первый день пасхи, вешали. На телефонном столбе у почты укрепили перекладину — толстый такой брус, получилось подобие креста, и по три с каждого конца. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных, то с одной, то с другой стороны. Для равновесия. Так и стояло это коромысло несколько дней. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, как бы не в сорок шестом, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к Сельцу.

Из семерых чудом уцелел один Миклашевич. Но здоровья так и не набрал. Молодой был — болел, стал постарше — болел. Мало того что грудь прострелена навылет, так еще столько времени в талой воде пролежать. Начался туберкулез. Почти каждый год в больницах лечился, все курорты объездил. Но что курорты! Если своего здоровья нет, так никто уже не даст. В последнее время стало ему получше, казалось, неплохо себя чувствовал. И вот вдруг стукнуло. С той стороны, откуда не ждал. Сердце! Пока лечил легкие, сдало сердце. Как ни берегся от проклятой, а через двадцать лет все-таки доконала. Настигла нашего Павла Ивановича.

Вот какая, браток, история.

— Да, невеселая история, — сказал я.

— Невеселая что! Героическая история! Так я понимаю.

— Возможно.

— Не возможно, а точно. Или ты не согласен? — уставился на меня Ткачук.

Он заговорил громко, раскрасневшееся его лицо стало

гневным, как там, за столом в Сельце. Буфетчица с беспокойной подозрительностью поглядела на нас через головы двух подростков с транзистором, запасавшихся сигаретами. Те тоже оглянулись. Заметив чужое внимание к себе, Ткачук нахмурился.

— Ладно, пошли отсюда.

Мы вышли на крыльцо. Ночь стала еще темнее, или это так показалось со свету. Лопоухая собачонка пытливым взглядом обвела наши лица и осторожно принюхалась к штиблетам Ткачука. Тот остановился и с неожиданной добротой в голосе заговорил с собакой.

— Что, есть хочешь? Нет ничего. Ничего, брат. Поищи еще где-нибудь.

И по тому, как мой спутник шатко и грузно сошел с крыльца, я понял, что, наверно, он все-таки переоценил некоторые свои возможности. Не надо было нам заходить в эту чайную. Тем более по такому времени. Теперь уже было половина десятого, автобус, наверно, давно прошел, на чем добираться до города, оставалось неизвестным. Но дорожные заботы лишь скользнули по краю моего сознания, едва затронув его, — мыслями же своими я целиком находился в давнем, довоенном Сельце, к которому так неожиданно приобщился сегодня.

А мой спутник, казалось, снова обиделся на меня, замкнулся, шел, как и там, по аллее в Сельце, впереди, а я молча тащился следом. Мы миновали освещенное место у чайной и шли по черному гладкому асфальту улицы. Я не знал, где здесь находится автобусная остановка и можно ли еще надеяться на какой-либо автобус. Впрочем, теперь это мне не казалось важным. Посчастливится — подъедем, а нет, будем топать до города. Осталось уже немного.

Но мы не прошли, пожалуй, и половины улицы, как сзади появилась машина. Широкая спина Ткачука ярко осветилась в потемках от далекого еще света фар. Вскоре обе наши голенастые тени стремительно побежали вдаль по посветлевшему асфальту.

— Проголосуем? — предложил я, сходя на обочину.

Ткачук оглянулся, и в электрическом луче я увидел его недовольное, расстроенное лицо. Правда, он тут же спохватился, вытер рукой глаза, и меня пронзило впервые появившееся за этот вечер новое чувство к нему. А я-то, дурак, думал, что дело только в «червоном міцном».

В какой-то момент я растерялся и не поднял руки, машина с ветром проскочила мимо, и нас снова объяла

темень. На фоне бегущего снопа света, который она выбрасывала перед собой, стало видно, что это «газик». Вдруг он замедлил ход и остановился, свернув к краю дороги; какое-то предчувствие ясно подсказало — это для нас.

И действительно, впереди послышался обращенный к Ткачуку голос:

— Тимох Титович!

Ткачук проворчал что-то, не убыстряя шага, а я сорвался с места, боясь упустить эту неожиданную возможность подъехать. Какой-то человек вылез из кабины и, придерживая открытой дверцу, сказал:

— Пролезайте вовнутрь. Там свободно.

Я, однако, помедлил, поджидая Ткачука, который неторопливо, вразвалку, подходил к машине.

— Что же это вы так задержались? — обратился к нему хозяин «газика», и я только теперь узнал в нем заведующего районо Ксендзова. — А я думал, вы давно уже в городе.

— Успеется в город, — пробурчал Ткачук.

— Ну, залезайте, я подвезу. А то автобус уже прошел, сегодня больше не будет.

Я сунулся в темное, пропахшее бензином нутро «газика», нащупал лавку и сел за бесстрастно-неподвижной спиной шофера. Казалось, Ткачук не сразу решился последовать за мной, но наконец, неуклюже хватаясь за спинки сидений, втиснулся и он. Заведующий районо звучно захлопнул дверцу.

— Поехали.

Из-за шоферского плеча было удобно и приятно смотреть на пустынную ленту шоссе, по обе стороны которого проносились навстречу заборы, деревья, хаты, столбы. Посторонились, пропуская нас, парень и девушка. Она заслонила ладонью глаза, а он смело и прямо смотрел в яркий свет фар. Село кончалось, шоссе выходило на полевой простор, который сузился в ночи до неширокой ленты дороги, ограниченной с боков двумя белесыми от пыли канавами.

Заведующий районо повернулся вполоборота и сказал, обращаясь к Ткачуку:

— Зря вы там, за столом, насчет Мороза этого. Непродуманно.

— Что непродуманно? — сразу недобро напрягся на сиденье Ткачук, и я подумал, что не стоит опять начинать этот нелегкий для обоих разговор.

Ксендзов, однако, повернулся еще больше — казалось, у него был какой-то свой на это расчет.

— Поймите меня правильно. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано...

— А его имя и не репрессировали. Его просто забыли.

— Ну пусть забыли. Забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Ну в самом деле, — оживился Ксендзов, — что он такое совершил? Убил ли он хоть одного немца?

— Ни одного.

— Вот видите! И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал — безрассудное...

— Не безрассудное! — обрезал его Ткачук, по нервному прерывающемуся голосу которого я еще острее почувствовал, что сейчас говорить им не надо.

Но, как видно, у Ксендзова тоже что-то накипело за вечер, и теперь он хотел воспользоваться случаем и доказать свое.

— Абсолютно безрассудное. Ну что, защитил он кого? О Миклашевиче говорить не будем — Миклашевич случайно остался в живых, он не в счет. Я сам когда-то занимался этим делом и, знаете, особого подвига за этим Морозом не вижу.

— Жаль, что не видите! — чужим, резким голосом отрезал Ткачук. — Потому что близорукий, наверно! Душевно близорукий!

— Гм... Ну, допустим, близорукий, — снисходительно согласился заведующий районо. — Но ведь не я один так думаю. Есть и другие...

— Слепые? Безусловно! И глухие. Невзирая на посты и ранги. От природы слепые. Вот так! Но ведь... Вот вы скажите, сколько вам лет?

— Ну, тридцать восемь, допустим.

— Допустим. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так? А я ее своими руками делал. Миклашевич в ее когтях побывал да так и не вырвался. Так почему же вы не спросите нас? Мы ведь в некотором роде специалисты. А теперь же сплошь и во всем специализация. Так мы — инженеры войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы...

— А что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза, — загорячился и Ксендзов.

— Подписал. Потому что дураком был, — бросил Ткачук.

— Вот видите, — обрадовался заведующий районо. Он совсем уже не интересовался дорогой и сидел, повернувшись к нам, жар спора захватывал его все больше. — Вот видите. Сами и написали. И правильно сделали, потому что... Вот теперь вы скажите: что было бы, если бы каждый партизан поступил так, как Мороз?

— Как?

— В плен сдался.

— Дурак! — зло выпалил Ткачук. — Безмозглый дурак! Слышишь? Останови машину! — закричал он шоферу. — Я не хочу с вами ехать!

— Могу и остановить, — вдруг многообещающе объявил хозяин «газика». — Если не можете без личных выпадов.

Шофер, похоже, и впрямь притормаживал. Ткачук попытался встать — ухватился за спинку сиденья. Я испугался за моего спутника и крепко сжал его локоть.

— Тимох Титович, подождите. Зачем же так...

— Действительно, — сказал Ксендзов и отвернулся. — Теперь не время об этом. Поговорим в другом месте.

— Что в другом! Я не хочу с вами об этом говорить! Вы слышите? Никогда! Вы — глухарь! Вот он — человек. Он понимает, — кивнул Ткачук в мою сторону. — Потому что умеет слушать. Он хочет разобраться. А для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров. И миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент? И в чью пользу...

Что-то в Ткачуке надорвалось. Захлебываясь, словно боясь не успеть, он старался выложить все наболевшее и, должно быть, теперь для него самое главное.

— Мороза нет. Не стало и Миклашевича — он понимал прекрасно. Но я-то еще есть! Так что же вы думаете, я смолчу? Черта с два! Пока живой, я не перестану доказывать, что такое Мороз! Вдолблю в самые глухие уши. Подождите! Вот он поможет, и другие... Есть еще люди! Я докажу! Думаете, старый! Не-ет, ошибаетесь...

Он еще говорил и говорил что-то — не слишком вразумительное и, наверно, не совсем бесспорное. Это был неподконтрольный взрыв чувства, быть может, вопреки желанию. Но, не встретив на этот раз возражений, Ткачук скоро выдохся и притих в своем углу на заднем сиденье. Ксендзов, пожалуй, не ждал такого запала и тоже умолк, сосредоточенно уставившись на дорогу. Я также молчал. Ровно и сильно урчал мотор, шофер развил хорошую скорость на пустынной ночной дороге. Асфальт бешено летел под колеса машины, с вихрем и шелестом рвался из-под них назад, фары легко и ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побеленными стволами...

Мы подъезжали к городу.

1972 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВОЛЧЬЯ СТАЯ

Впервые на русском языке повесть опубликована в журнале «Новый мир» № 7, 1974 г. Первое издание повести на белорусском языке в книге «Воўчая зграя», Мінск, «Мастацкая літаратура», 1975 г., на русском — в книге «Его батальон», Москва, «Молодая гвардия», 1976 г.

КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ

Впервые на русском языке повесть опубликована в журнале «Новый мир» № 3, 1969 г. Первое издание повести на русском языке — в книге «Пойти и не вернуться», Москва, «Советский писатель», 1980 г.

ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ

Впервые на русском языке повесть опубликована в журнале «Нева» № 5, 1978 г. Первое издание повести на белорусском языке в книге «Пайсці і не вернуцца», Мінск, «Мастацкая літаратура», 1979 г., на русском — в книге «Альпийская баллада», Москва, «Молодая гвардия», 1979 г.

ОБЕЛИСК

Впервые на русском языке повесть опубликована в журнале «Новый мир» № 1, 1972 г. Первое издание повести на белорусском языке — в книге «Абеліск», Мінск, «Мастацкая літаратура», 1972 г., на русском — в книге «Обелиск», Москва, «Молодая гвардия», 1973 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Быков В. В.

Б 95 Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 3. Повести /Пер. с белорус. авт. и Г. Куреневой; Худож. Ю. Боярский. — М. : Мол. гвардия, 1985. — 431 с.

В пер.: 1 р. 90 к. 100 000 экз.

В третий том собрания сочинений Василия Быкова вошли повести «Волчья стая», «Круглянский мост», «Пойти и не вернуться», «Обелиск». В этих произведениях писатель раскрывает тему партизанской борьбы с немецко-фашистскими оккупантами на территории Советской Белоруссии в годы второй мировой войны.

Б $\frac{4702120200—237}{078(02)—85}$ Свод. пл. подписных изд. 1985. ББК 84Бел7 С(Бел)2

Василий Владимирович Быков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 3.

Редактор
В. Пелихов

Художник
Ю. Боярский

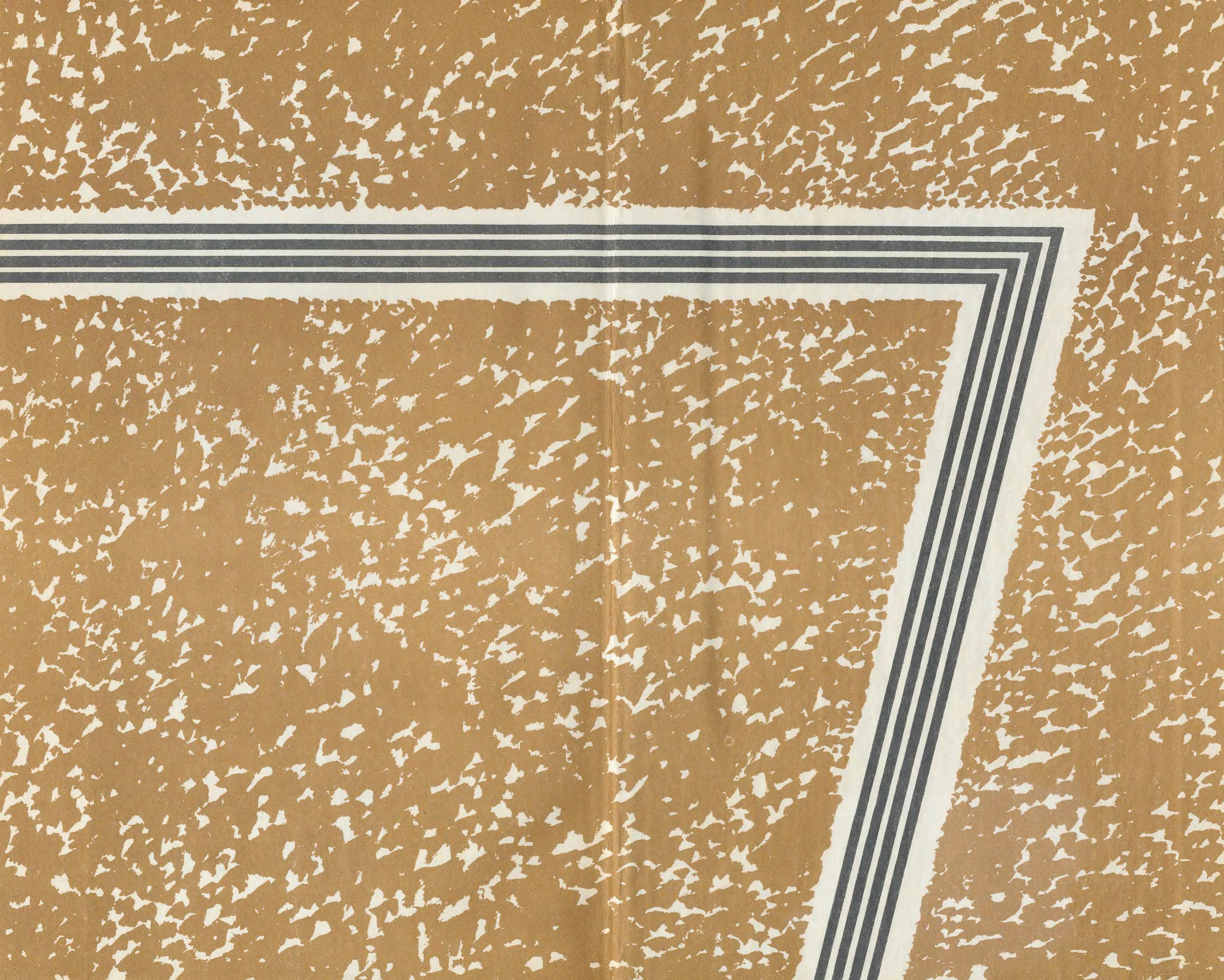
Художественный редактор
А. Романова

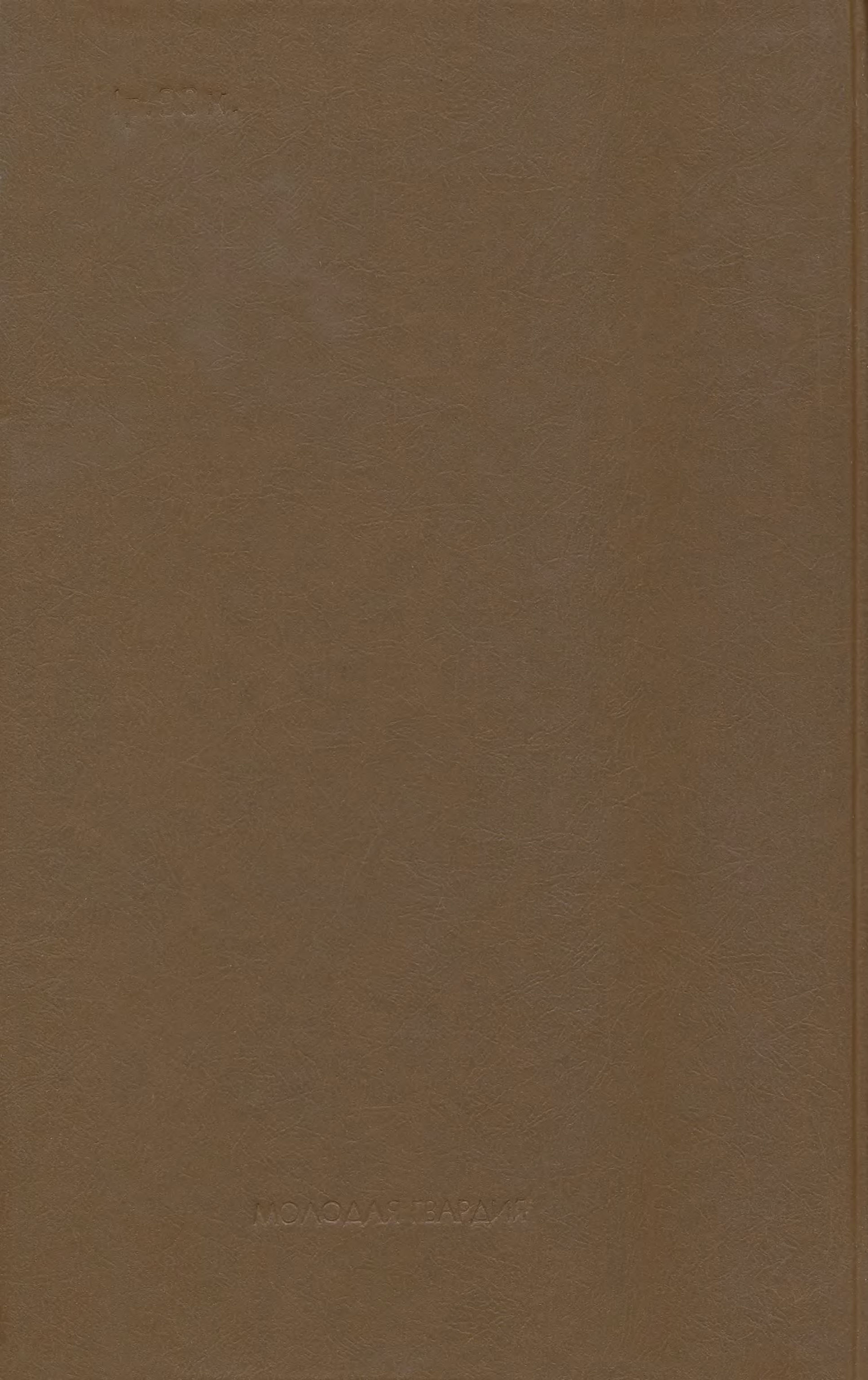
Технический редактор
Н. Носова

Корректоры
И. Ларина, Н. Самойлова

Сдано в набор 31.01.85. Подписано в печать 18.07.85. А13495. Формат 84Х108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,08. Учетно-изд. л. 24,6. Тираж 100 000 экз. (50 001—100 000 экз.). Цена 1 р. 90 к. Заказ 2485.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.




МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ